

ДЖОН
РИД

2





ДЖОН РИД

ИЗБРАННОЕ

Книга 2

ОЧЕРКИ
СТАТЬИ
СТИХОТВОРЕНИЯ
АВТОБИОГРАФИЯ
ПИСЬМА

ВОСПОМИНАНИЯ
О ДЖОНЕ РИДЕ

Москва
Издательство
политической
литературы
1987

Под общей редакцией
Д. А. ЛИСОВОЛИКА

Составитель
И. М. КРАСНОВ

Рид Дж.

Р49 Избранное. Кн. 2. Очерки. Статьи. Стихотворения. Автобиография. Письма. Воспоминания о Джоне Риде: Пер. с англ.— М.: Политиздат, 1987.— 527 с., ил.

Во второй том сборника включены избранные очерки, статьи, стихотворения, письма и автобиография Джона Рида, написанные в период 1906—1920 гг., а также воспоминания о Риде его друзей и единомышленников. Значительная часть воспоминаний публикуется на русском языке впервые.

Книга адресована массовому читателю.

Р $\frac{0905000000-161}{079(02)-87}$ 288—87 ББК 84.7США+66.61(7США)

© ПОЛИТИЗДАТ, 1987 г.



*Джон Рид.
Портрет работы Роберта Хэммонда —
друга Дж. Рида, его однокашника
по Гарвардскому университету*



**Наставники
и соратники Джона Рида,
видные деятели
американского рабочего,
социалистического
и коммунистического
движения**

*Линкольн Стеффенс
(1866—1936)*

*Юджин Дебс
(1855—1926)
(внизу)*

*Уильям Хейвуд
(Большой Вилл,
1869—1928)*



*Элизабет Г. Флинн
(1890—1964)*

*Уильям З. Фостер
(1881—1961)
(внизу)*

*Чарльз А. Рутенберг
(1882—1927)*





Альберт Р. Вильямс
(1883—1962)



Арт Шилдс
(р. 1888)



Луиза Брайант
(1890—1936)



Друзья и современники
Джона Рида

*Бордмен Робинсон
(1876—1952) —
американский
художник-график*

*Майкл Голд
(1894—1967) —
один из первых
пролетарских
писателей США,
публицист
(внизу)*

*Хуго Геллерт
(1892—1984) —
американский
художник-график*





*Джессика Смит
(1895—1983) —
писательница,
журналистка,
видный общественный
деятель США*



*Корлисс Ламонт
(р. 1902) —
доктор философии,
видный общественный
деятель США*



Основные журналы США,
в которых Джон Рид
работал и публиковался:

«Харвард мансли»

«Кольерс»

«Метрополитен»

The MASSES



APRIL 1930

A STORY BY LINCOLN STEPPENS IN THIS NUMBER



THE SEVEN ARTS

THIS UNPOPULAR WAR
By John Reed

AUGUST, 1917

«Мэссиэ»

«Либерейтор»

«Себен артс»

Liberator

JANUARY 1920

20 CENTS



RUSSIA VICTORIOUS

The Story of Isaac McBride's
Adventures in the Soviet Republics

THE COMMUNIST

All Power To The Workers!

OFFICIAL ORGAN OF THE UNITED COMMUNIST PARTY OF AMERICA

Vol. 1 No. 4

July 31, 1930

Five Cents

STAND BY SOVIET RUSSIA!

WORKINGMEN of the United States!

The capitalists who control the government of this country are preparing to again send you forth upon the battlefield to kill and be killed in a war to save the capitalist system of exploitation and robbery.

The World War of the capitalists fighting to destroy their rivals in the struggle for profits and was monstrous expensiveness for themselves, vast outflow of lives and billions of treasure. All Europe still lies prostrate in the ruins of misery and suffering produced by that war.

You, workingmen of the United States, have not paid the price in money and suffering which the workers of Europe have paid. You died and manual does not run like millions. Your hard ears have not slowly started to death. But you have your death. If we are free to live with

the Polish capitalists and it is announced in Washington that the United States will furnish money and munitions to Poland.

Workingmen of the United States, there are 2 1/2 the first steps in a new great war to crush the first Workers Republic and restore the rule of the capitalists on the western hemisphere. As before the war, first this country will furnish money and munitions, then it will open the growth of the disease to go forth and slaughter our own capitalist class is already carrying on the propaganda with which it to prepare the way for sending American armies to do the dirty anti-world capitalist in Europe.

AMERICAN WORKINGMEN, IS THIS TO-DAY WILL REALLY GO OUT TO? WE KNOW OF YOUR WORKINGMEN AND

UPTON SINCLAIR'S

A BOLD NEW WAY OF SEEING THE WORLD AND THE FUTURE

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

THE BIRTH OF A SOCIALIST REPUBLIC

RED RUSSIA



John Reed's Story of the

Lenine Revolution

and the Birth of a Socialist Republic

WE have been offered thousands of dollars for these events of the greatest event in the world in the greatest revolution in the United States. For the *Massachusetts Magazine* John Reed told every battle from and every important event in Europe. He was in Russia eight months before the Revolution, and he arrived there upon the very day when Lenin had just stepped on the City of the Revolution.

"The morning I was at the scene of the death of the emperor following the 17th.

the film to the same image. In the afternoon I was present at the opening of the 1st National Assembly of Soviets. In the evening I witnessed the assault on the Winter Palace, entering with the first three shots.

This is the best of an eye witness John Reed is.

You must read the full story of the two proletarian revolutions in the world written by a Russian reporter who was there with the first images.

John Reed's articles will be published *exclusively* in **THE LIBERATOR** beginning February 1930. Send your subscription today. \$1.50 a year.

«Коммунист»

«Эптон Синклер»

Анонс о публикации статей
Джона Рида в журнале
«Либереитор» № 1 за 1918 г.

NEW MASSES

OCTOBER 1930

15 CENTS



JOHN REED NUMBER ★

Обложка журнала «Нью Мэссиз»,
посвященного Джону Риду.
Художник Хуго Геллерт



THE DYNAMITE SOWER

By ROBERT MINOR



Джон Рид:
«Капиталистический
мир —
это ужасы нищеты,
бесконечная
вереница
несправедливости,
жестокое
неравенство»
(иллюстрации
из американских
изданий)



*Солидарность с Советской Россией
(иллюстрации из американских
изданий)*



*Обложка книги Джона Риды
«Десять дней,
которые потрясли мир».
Нью-Йорк, 1967 г.*



Джон Рид.
Рисунок художника И. Бродского, сделанный им
на II конгрессе Коминтерна в июле 1920 г.

ИЗБРАННОЕ





ОЧЕРКИ

ВОЙНА В ПАТЕРСОНЕ

В Патерсоне, штат Нью-Джерси, разгорелась война, но война своеобразная. К насилию прибегает лишь одна сторона — владельцы фабрик. Их слуги — полицейские — избивают дубинками беззащитных мужчин и женщин, топчут лошадьми послушных закону граждан. Их наймиты — вооруженные сыщики — расстреливают ни в чем не повинных людей. Принадлежащие владельцам фабрик газеты «Патерсон пресс» и «Патерсон колл» печатают подстрекательские статьи, призывают к преступлениям, к насильственным действиям против руководителей стачки. Кэррол, главный судья города, — их ставленник. Он выносит суровые приговоры мирным пикетчикам, арестованным во время полицейских облав. Полиция, печать, суд — все в бесконтрольном распоряжении хозяев фабрик.

Против них поднялись двадцать пять тысяч рабочих шелкоткацких фабрик. Из них в активной борьбе участвуют не более десяти тысяч. Единственное их оружие — линии пикетов.

Позвольте мне рассказать вам о том, что я увидел в Патерсоне, и вы сами решите, которая из борющихся сторон действовала «по-анархистски» и вразрез с «американскими идеалами».

Шесть часов утра. Моросит дождь. Мрачные и холодные улицы Патерсона безлюдны. Но вот появилась группа — около двух десятков полицейских. Они медленно брели по улице с дубинками под мышкой. Мы обогнали их

и направились к фабричному району. Здесь нам стали попадаться идущие туда же рабочие; воротники их пальто были подняты, руки засунуты в карманы.

Мы вышли на длинную улицу, по одну сторону которой тянулись здания шелкоткацких фабрик, а по другую — деревянные многоквартирные дома. Люди высовывались из окон и дверей домов, весело смеясь и непринужденно болтая, как в праздничный день после завтрака. В их поведении не чувствовалось ни ожидания какой-либо беды, ни напряженности или страха. Тротуары были почти безлюдны, только у фабричных зданий медленно прогуливались взад и вперед под дождем человек пятьдесят. Они ходили парами: мужчины, молодые парни, кое-где мужчина с женщиной.

С наступлением дня потеплело. Многие вышли из домов и стали расхаживать по улице, собираясь небольшими группами на перекрестках. Люди энергично жестикулировали, но разговаривали вполголоса, часто посматривая на перекрестки улиц.

Неожиданно появился полицейский, размахивая дубинкой.

«А-а-а...» — тихо прокатилось по толпе.

Шесть мужчин укрылись от дождя под навесом у входа в пивную. «Убирайтесь! Живо!» — гаркнул полицейский, надвигаясь на них. Мужчины спокойно повиновались. «Освободите улицу! Немедленно расходитесь по домам! Не стойте здесь!» Все молча уступили полицейскому дорогу, но вновь сгрудились, как только он удалился прочь. Появились еще полицейские. Грубо, с бранью расталкивали они народ, но это не имело успеха. Никто им не отвечал. Злые, небритые, с мутными глазами, эти полисмены за девять недель непрекращающейся борьбы со стачечниками, очевидно, дошли до полного изнеможения.

На тротуаре у фабричных зданий линия пикетчиков достигла примерно четырехсот человек. Несколько полицейских грубо расталкивали плечом стоящих, выискивая,

к чему бы придраться. Прошел рабочий с жестяным ведром под охраной двух сыщиков. «Вон! Вон отсюда!» — раздалось с разных сторон. Двое молодых итальянцев, которые стояли, прислонившись к фабричной ограде, встретили его смешками и угрозой, как это делают в Ирландии: «Скзб, поди-ка сюда, я тебе голову оторву!» Полицейский грубо схватил парней за плечо. «Проваливайте к черту отсюда!» — закричал он, толкая их в угол, где стал бить их ногами. В толпе никто не издал ни звука, не шелохнулся.

Несколько далее по улице мы увидели, как толстый полицейский вдруг остановился перед молодой женщиной с зонтиком, стоявшей в пикете. «Какого черта *вам-то* здесь нужно? — рывкнул он. — Проклятье, убирайтесь домой!» — и он поднес дубинку прямо к ее рту. «Я не пойду домой! — пронзительно закричала она со сверкающими от гнева глазами. — У, ты, толстая морда!»

Численность пикетчиков все росла и росла. Собирались молча. Группами, парами забастовщики патрулировали вдоль тротуаров. Никто уже не смеялся. В глазах у всех горела ненависть. Ведь забастовщики в большинстве своем были пылкие итальянцы, а полицейские — самые жестокие головорезы, которые вот уже девять недель оскорбляли и избивали их. Я еще удивлялся терпению бастующих.

Дождь полил сильнее. Я попросил у одного мужчины разрешения постоять на крыльце его дома. Перед крыльцом стоял полицейский. Звали его, как я узнал позже, Маккормак. Мне пришлось обойти его, чтобы подняться на ступеньки.

Вдруг он обернулся и выпалил, обращаясь к владельцу дома: «Все эти парни живут в этом доме?» Мужчина указал на себя и еще трех забастовщиков, а затем отрицательно мотнул головой, указывая на меня.

«Тогда убирайся отсюда к дьяволу!» — заорал полицейский, указывая на меня дубинкой.

«Этот джентльмен разрешил мне стоять здесь. Дом принадлежит ему».

«Ничего не значит, делай, что я тебе приказываю. Убейся отсюда, да поскорее, черт возьми!»

«И не подумаю!»

Тогда он подскочил ко мне, схватил меня за руку и силой вытолкнул на тротуар. Другой полицейский схватил меня за другую руку, и они дали мне пинка.

«Ну теперь убивайся с этой улицы», — заявил полицейский офицер Маккормак.

«Не желаю уходить ни с этой, ни с какой другой улицы. Если я нарушил закон — арестуйте меня».

Маккормак был ужасно смущен моим требованием. Он не собирался меня арестовывать и заявил об этом с множеством проклятий.

«Ваш номер я *приметил*, — заявил я спокойно, как только мог, — не скажете ли вы мне теперь ваше имя?»

«А я раскусил *твой* номер, — проревел он. — Ты арестован».

Он положил мне руку на плечо и повел по улице.

Полицейский был явно недоволен тем, что ему *пришлось* меня арестовать, так как не мог предъявить мне никакого обвинения. Я ровным счетом ничего не сделал. Он чувствовал, что должен заставить меня сказать хоть что-нибудь, что можно было бы выдать за нарушение закона. Чтобы добиться этого, он проклинал меня, осыпая ругательствами и непристойными словами, грозил своей дубинкой и цедил сквозь зубы: «Ты... болван!.. Хотел бы я выбить из тебя дубинкой всю дурь!»

На все эти угрозы я отвечал веселыми шутками.

Двое других полицейских пришли ему на помощь и осыпали меня новыми ругательствами. Но вскоре я заметил, что они повторяются, и немедленно сказал им об этом. «Стоило мне проделывать весь путь до Патерсона, чтобы взять верх над каким-то фараоном!» — заявил я. Эврика! Наконец-то они уличили меня в преступлении. Когда я

был доставлен к судье, это мое замечание было поставлено мне в вину.

Меня втиснули в тюремный автомобиль и повезли под непрерывающийся звон колокольчика вдоль линии пикета. Мы ехали под крики: «Вон, фараоны!» — и иронические приветствия. Люди с воодушевлением махали нам руками.

После допроса в главном управлении меня поместили в арестантскую камеру. Камера была около четырех футов в ширину и семи футов в длину, а потолок был всего на фут выше человеческого роста. В ней помещались железная койка, подвешенная на цепях к боковой стенке, и страшно грязная открытая параша в углу. В подобные камеры три дня назад бросили большую партию пикетчиков. Их сажали *по восемь, девять человек в камеру* и держали без пищи и воды в течение двадцати двух часов. Среди них была молодая девушка лет семнадцати, которая, идя во главе процессии рабочих, подошла вплотную к сержанту полиции и предложила ему арестовать их всех.

Несмотря на ужасные условия, усталость и жажду, эти заключенные *не переставали бодро перебрасываться словами и петь весь день и ночь напролет.*

Примерно через час наружная дверь с лязгом отворилась, и полицейские втолкнули в коридор около сорока пикетчиков, смеявшихся и перебрасывавшихся шутками. Их заперли в камеры, по двое в каждую. Вскоре поднялся адский шум. Заключенные приподнимали тяжелые железные койки и с грохотом ударяли ими о металлические стены. Это напоминало стрельбу целой батареи пушек.

«Да здравствует ИРМ!» — выкрикнул кто-то. И сейчас же все в один голос откликнулись: «Ура!»

«Да здравствует главарь бездельников!» (По адресу начальника полиции Бимсопа.)

«Долой!» — заорали сорок глоток. В этом крике чувствовалась такая ненависть, какой я никогда раньше не замечал в этих людях.

«К черту майора Макбрайда!»

«Доло-о-о-й!» В железной коробке тюрьмы звуки разносились очень гулко, и этот крик был ужасен и грозен.

«Да здравствует Хейвуд ¹! Да здравствует единый большой союз! Ура! Да здравствует стачка! К черту полицию! Долой! Долой! Ура!»

«Музыку! Музыку!» — кричали итальянцы. В ответ на это какой-то голос запел, подражая гитаре: «Трень-брень, трень-брень»; а другой, сочный тенор, затянул первый куплет итало-английской песенки, написанной и положенной на музыку одним из участников забастовки. Песенка предназначалась для собраний забастовщиков. Запевала обращался к хору:

«Нравится ли вам мисс Флинн ²?»

Хор: «Да! Да! Да! Да!»

«Нравится ли вам майор Макбрайд?»

Хор: «Нет! Нет! Нет! Нет!»

«Ура! Да здравствует ИРМ!»

Хор: «Ура! Ура! Ура!»

«Бис! Бис!» — закричали все, хлопая в ладоши, гремя койками. Появился полицейский офицер и потребовал прекратить шум. Его встретили криками «Долой!» и насмешливыми возгласами. Кто-то попросил воды. Полицейский налил полную оловянную кружку и поднес ее к двери камеры. Вдруг из-за двери просунулась чья-то рука и вышибла кружку из его рук. «Скэб! Убийца!» — пронзительно закричали отовсюду. Полицейский ретировался. Шум продолжался.

¹ Уильям Д. Хейвуд (Большой Билл) — руководитель Западной федерации горняков, один из основателей ИРМ и организатор многих рабочих выступлений. Впоследствии вступил в коммунистическую партию. — Прим. ред. а.м. изд.

² Элизабет Гарли Флинн — в то время одна из руководителей ИРМ. Позднее активная участница рабочего движения и руководящий деятель Коммунистической партии США. — Прим. ред. а.м. изд.

Приближалось время судебного разбирательства у главного судьи города. Но вдруг разнесся слух, что в окружной тюрьме нет больше свободных мест. Словно в подтверждение этому неожиданно появились полицейские и стали отворять двери камер. Забастовщики с радостными возгласами покинули тюрьму. Их голоса доносились до меня с улицы, откуда освобожденные, смешавшись с ожидавшей их у ворот тюрьмы толпой, направились обратно на линию пикетов.

Вскоре я предстал перед главным судьей Кэрроллом. У м-ра Кэрролла было умное, жестокое, неумолимое лицо, как у большинства чиновников полицейского суда. Но он хуже большинства таких чиновников. Он приговаривает нищих к *шести месяцам заключения* в окружной тюрьме, не дав им сказать ни слова в свою защиту. Он также посылает маленьких детей туда, где они оказываются в обществе наркоманов и бродяг, людей с открытыми гноящимися язвами на теле. Он заключает их в окружную тюрьму, где воздух отвратительный и нечем дышать, а пища полна смертоносных ядов, и даже взрослые люди там заболеливают и теряют здоровье.

М-р Кэрролл прочел обвинительный акт против меня. Затем мне разрешили рассказать, что со мной произошло. Полицейский офицер Маккормак преподнес такое хитро-сплетение лжи, которое, я уверен, он сам никогда не сумел бы состряпать. «Джон Рид,— заявил главный судья,— двадцать дней». Все было кончено.

Так я попал в окружную тюрьму. В приемной тюрьмы меня вновь допросили, обыскали, чтобы проверить, нет ли у меня припрятанного оружия, и отобрали деньги и ценные вещи. Затем распахнулась огромная железная решетчатая дверь, я спустился на несколько ступенек и оказался в огромном пустом помещении, куда входило три яруса камер. Около восьмидесяти заключенных бродили вдоль стен, разговаривали, курили, ели присланные из дома продукты. Более половины заключенных составляли забастов-

щики. Все они были в верхней одежде. Их держали в тюрьме впредь до рассмотрения их дел коллегией присяжных, решающей вопрос о передаче дел в суд, обещая отпустить на поруки тех, за кого будет внесен залог в пятьсот долларов.

Посреди камеры окруженный тесной толпой низкорослых людей со смуглыми лицами возвышался Большой Билл — Хейвуд. Его огромные руки двигались в такт словам. Он что-то объяснял столпившимся вокруг него людям. Широкое, с резкими чертами лицо Хейвуда, испещренное рубцами и шрамами, было словно высечено из камня. Оно излучало спокойствие и силу. Арестованные забастовщики — один из многочисленных маленьких отрядов, отчаянно сражавшихся в авангарде трудящихся, — оживали и набирались сил при одном лишь взгляде на Билла Хейвуда, при звуке его голоса. Они смотрели на него с нескрываемой любовью. Вялые лица, помертвевшие от разъедающей рутины повседневной работы в лишенных солнца мастерских, озарялись надеждой и пониманием. На лицах, покрытых рубцами и кровоподтеками от ударов полицейских дубинок, появлялись улыбки при одной мысли, что они вернутся обратно на линию пикетов. У некоторых забастовщиков лица покрылись морщинами и исхудали от девятинедельного голодания и нищеты. На них были видны следы глубокого страдания и знаки страшной жестокости полиции. Но ни на одном лице не было заметно разочарования, колебания или страха. Один итальянец сказал мне с горящими глазами: «Мы все — единый большой союз. Слово «ИРМ» запечатлено в сердцах народа».

«Да! Да! Верно! ИРМ! Один союз!» — заговорили наперебой все тихими, но полными чувства голосами, толпясь вокруг.

Я обменялся с Хейвудом рукопожатием.

«Ребята, — сказал Хейвуд, указывая на меня, — этот человек хочет знать все о событиях. Расскажите ему об этом».

Они окружили меня, пожимали мне руки, улыбались, приветствовали меня. «Как плохо, что ты попал в тюрьму,— говорили они с сочувствием.— Мы все расскажем. Да. Да. Ты славный парень».

И они рассказали мне все, что могли. В большинстве своем они были еще очень слабы и истощены после ужасно проведенной ночи в камере предварительного заключения. Некоторых забастовщиков арестовали, когда они, пикетируя, ходили взад и вперед вдоль фабричных зданий. Их поставили в ряд у стены, а затем отправили в тюрьму, якобы за участие в «незаконных сборищах». Других дубинками загнали в тюремный автомобиль, обвинив в «бунте», в то время как они спокойно поджидали трамвай, возвращаясь домой после пикетирования. Они предстали перед теми же присяжными, которые ранее предъявили обвинение Хейвуду и Гэрли Флину. *Четверо присяжных были владельцами шелкоткацких фабрик, один — главой местного отделения компании Эдисона (рабочих которой Хейвуд пытался поднять на забастовку). Среди них не было ни одного рабочего.*

«Никто из нас не внес залога,— сказал один из забастовщиков, покачивая головой.— Мы останемся здесь. Пусть набивают проклятую тюрьму. Скоро здесь не останется свободного места, и они не смогут продолжать арестовывать пикетчиков».

Был день посетителей. Я подошел к двери, чтобы поговорить с другом. За дверью находилась приемная; она была полна женщин и детей, державших свертки, картонные коробки и ведерки с заботливо приготовленными мелкими подарками. Голодные и оборванные жены и дети принесли все это, чтобы облегчить своим родным пребывание в тюрьме. В комнате стоял сплошной стон, по изможденным лицам текли слезы. Дети через решетку разглядывали небритые лица отцов и старались коснуться их руками...

Надзиратель приказал мне идти в «отделение для осужденных», где меня заставили влезть в ванну и надеть

обычную арестантскую одежду. Не буду и пытаться описывать все ужасы, которые я наблюдал в этом помещении. Достаточно сказать следующее: более сорока человек лениво бродили по длинному коридору, с одной стороны которого были расположены двери камер. Свежий воздух и свет проникали сюда через единственное маленькое воронкообразное отверстие в потолке. У одного заключенного были на ногах язвы от сифилиса, а тюремный врач лечил его пилюлями с сахаром от «нервов»; семнадцатилетний мальчик *без приговора суда* оставался в этом коридоре, лишенном солнца, в течение более *девяти месяцев*; здесь же был один кокаинист, регулярно получавший с воли наркотики. Кроме того, помещение наполнял однообразный, ужасный, непрекращающийся крик человека, лишившегося в этом аду рассудка и продолжавшего находиться среди нас.

В этом отделении для «осужденных» было около четырнадцати стачечников: итальянцев, литовцев, поляков, евреев, был один француз и один «свободнорожденный» англичанин. Этот англичанин был чудесный парень. Он был единственным англосаксом среди арестованных пикетчиков, не считая руководителей, и, пожалуй, единственным, кто был арестован действительно за пикетирование. Его осудили за то, что он оскорбил хозяина, который вышел из ворот фабрики и приказал ему сойти с тротуара. «Подождите, вот я выйду отсюда, — говорил он мне. — Если только чертовы рабочие, говорящие по-английски, не пойдут в пикеты, я навлеку на них проклятье Кромвеля».

Был здесь и один поляк, чувствительный парень, с аристократическими манерами, член местного стачечного комитета, прирожденный борец. Он занимался чтением курса лекций Боба Ингерсолла, переводя их всем остальным. Похлопывая рукой по книге, он сказал с улыбкой: «Мне все равно. Могу оставаться здесь хоть целый год...»

Весело смеясь, забастовщики рассказывали мне, как духовенство города Патерсона пыталось со своих кафедр

убедить их, ссылаясь на бога, выйти на работу, вновь вернуться к подневольному труду, отдаться на милость владельца фабрики! Они рассказали о постыдных и смешных переговорах между духовенством и стачечным комитетом, в которых духовенство сыграло роль Иуды. Было трудно поверить этому, пока я не прочел в газете проповедь, произнесенную накануне в пресвитерианской церкви достойным Уильямом А. Литтелом. У него хватало бесстыдства поносить руководителей стачки, советовать рабочим быть почтительными и покорными своим хозяевам, внушать им, что причиной их бедствий является множество трактиров, говорить об ужасной испорченности тех рабочих, которые не соблюдают церковные праздники, и нести прочий вздор подобного рода. И это в то время, когда люди боролись за самое свое существование и торжественно воспевали братство человечества.

Был здесь в тюрьме и штрейкбрехер — толстяк с отвислыми щеками. Судья засадил его сюда по ошибке. Забастовщики подвергли его полнейшему ostracismu. Они вставали и уходили, если он подсаживался к ним. Никто с ним не разговаривал, все словно не замечали его присутствия, поэтому он находился в самом жалком положении, в полнейшем одиночестве.

«Мне это послужит уроком, — жалобно простонал он. — Никогда, никогда больше я не буду скэбом!»

Ко мне подошел молодой итальянец с газетой и показал подряд три статьи. Одна была под заголовком «Американская федерация труда надеется на следующей неделе прекратить забастовку», другая — «Виктор Бергер заявил: «Я — член Американской федерации труда и не люблю организацию ИРМ в Патерсоне» и третья — «Социалисты Нью-Йорка отказываются помогать забастовщикам Патерсона».

«Я не понимаю, объясните мне, — спрашивал он, глядя на меня жалобно. — Я — социалист, я состою в профсоюзе. Я бастую вместе с ИРМ. Социалистическая партия

говорит: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» АФТ говорит: «Все рабочие, сплотитесь!» Каждая из этих обеих организаций говорит: «Я защищаю рабочий класс». Хорошо, говорю я, я и есть рабочий класс. Я объединяюсь, я бастую. Тогда они мне говорят: «Нет, ты *не должен* бастовать». Что это? Я не понимаю. Объясните мне».

Но я не мог ему ничего объяснить. Все, что я мог сказать ему, это то, что значительная часть социалистической партии и Американской федерации труда забыла о классовой борьбе и, как видно, увлеклась забавной игрой по всем правилам капиталистического общества под названием «Чур-чура, кто имеет право голоса!».

Когда срок моего заключения окончился, я попрощался со всеми этими добрыми, непосредственными, славными людьми, облагороженными участием в высоком деле. Именно *они* являлись душой стачки, а не Билл Хейвуд, Гэрли Флинн или какая-либо другая личность. И если они даже потеряют всех своих руководителей, из их рядов выйдут новые вожди, так как *сами массы* поднялись на борьбу, и стачка будет продолжаться. Не забывайте о них! Двенадцать лет они терпели поражение в стачечной борьбе, двенадцать долгих лет разочарований и неисчислимых страданий. Они не должны опять проиграть, они не могут проиграть.

Когда я проходил через переднюю общую камеру, все вновь столпились вокруг меня, теребили за рукав, пожимали руку, дружески, горячо, доверчиво и красноречиво. Хейвуд был взят на поруки. «Вы выходите на волю, — твердили они приветливо. — Вот хорошо. Мы рады, что вы уходите. Скоро и мы будем свободны и обязательно вернемся в пикеты».

1913 г.

The Masses, 1913, June

Печатается по: Рид Дж.
Избранные произведения.
М., 1957, с. 44—53

С ДЖИНОМ ДЕБСОМ В ДЕНЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ

— Что вам угодно, м-р Спаркс? — спросил официант в аптеке с фамильярностью, принятой между коренными жителями Терре-Хота (штат Индиана), и уважением, которого заслуживал этот преуспевающий политический деятель.

— Дай мне орехового мороженого, Джордж, — сказал юрист, живший за углом на Сикамор-стрит. Его настоящее имя было не Спаркс. На нем был новый серый костюм, украшенный маленьким американским флажком, значками первого и третьего займов свободы и эмблемой Красного Креста.

— Настоящая праздничная погода, как и полагается четвертого июля, а, Джордж?

Из окна аптеки видна была необычайно оживленная Эйт-стрит. По ней шли семьи, направлявшиеся к центру города: мамы и папы в праздничных нарядах, с потными лицами, детишки с флажками в руках. Тут же проезжали древние автомобили окрестных фермеров, украшенные флагами и битком набитые степенными парнями. Издали слабо доносились то треск пущенной наудачу шутихи, то еле слышные мелодии военного оркестра, играющего на параде. Горячий, удушливый ветер гнал изредка по улице клубы желтой пыли.

— Да, дни стоят жаркие, что надо, — ответил Джордж. — Мы собираемся скоро запереть лавку. Пойдем в город смотреть парад.

Он зачерпнул ложечку мороженого и возобновил прерванную болтовню.

— Говорят, в Кливленде арестовали Джина Дебса... Все находившиеся в комнате прекратили разговор и подняли головы.

— Да, — произнес юрист удовлетворенно. — Да-а-а. Судя по тому, что пишут в газетах, мне кажется, что Джин

хватил на этот раз через край. Думаю, что теперь его засадят.

В углу за столиком сидел старик с умным гладко выбритым лицом и седыми, расчесанными на стороны бакенбардами. На нем был белый крахмальный воротничок. При этих словах он поднял глаза.

— Вы думаете, что они посадят Джина в тюрьму? — спросил он с некоторой тревогой.

— Он должен наравне с другими понести наказание за то, что нарушил закон, — сказал назидательно Спаркс. — Тот, кто причиняет неприятности правительству, должен сам ожидать того же. Не такое сейчас время, чтобы болтать о социализме...

Джордж, приготовлявший молочную смесь, остановился.

— Вы знаете Хенка, полисмена? Ну так вот, он был здесь вчера вечером и сказал, что Джина Дебса следовало бы запереть двадцать пять лет назад.

В ответ послышался одобрительный ропот.

— Это не делает чести городу, — возвестил мистер Спаркс. — Ведь на те деньги, которые Джин Дебс зарабатал лекциями, он не купил ни одной облигации займа свободы...

Костлявый, с кирпичным лицом юноша, который сидел с двумя хихикающими девицами в пышных муслиновых платьях, крикнул злобно:

— Держу пари, что, если бы кайзер когда-либо услышал о Джине Дебсе, он пожаловал бы ему железный крест!

Старик с бакенбардами осторожно вмешался.

— Ну-ну, вы хватили малость через край, — заметил он. — Все мы знаем Джина Дебса. Джин не предатель. Только немножко легкомыслен, вот в чем его беда...

В Терре-Хоте все знают Джина Дебса. Здесь он родился шестьдесят два года назад. Его родители приехали в Америку из Эльзаса. Отец Джина был человеком зажиточным — у него были мельницы в Кольмаре. Он полюбил де-

вушку, работавшую на одной из его мельниц и, чтобы жениться на ней, отказался от наследства. Вместе они приехали в Индиану как иммигранты и прошли через все тяжкие испытания бедности. И хотя все это произошло до 1870 года, старик Дебс никогда не мог примириться с тем, что Эльзас принадлежит Германии. На своей могильной плите он приказал выгравировать надпись: «Родился в Кольмаре, Эльзас, Франция».

Так же как его родители, Джин проделал определенную экономическую и политическую эволюцию. Вместе с отцом он голосовал сначала за партию гринбекеров, потом за популистов. Таким типично американским путем Джин Дебс и его родители пришли к социализму...

Терре-Хот — богатый сельский городок Индианы — был родиной Юджина Филда, Джеймса Уиткомба Райли и множества других новеллистов и поэтов. Всякий раз, проезжая в поездке эту страну, я не могу отделаться от чувства, что в конечном счете это и есть подлинная Америка.

Повсюду видны чистенькие деревни, белые, окруженные деревьями дома фермеров, колосющиеся пшеницей поля. Меж глинистых берегов текут неглубокие реки, по отлогим, волнистым холмам бродят ленивые коровы и босоногие дети. Там и сям разбросаны церковные шпили и кладбища, перенесенные сюда из Новой Англии протестантами, но смягченные и ставшие более просторными при соприкосновении с Югом и Западом. Везде можно встретить сельские школы и безобразные, но милые сердцу памятники Гражданской войны. Картину довершают сикоморы со стрекочущими в их листве цикадами и почти пугающий своим буйным плодородием чернозем. От него поднимаются летом животворные пары, насыщающие жаркую атмосферу этой равнинной страны. Они распространяют вокруг себя характерный для Америки несколько слащавый привкус — смесь сентиментальности и юмора.

Все вместе — это Средний Запад, страна с традицией оседлого сельского населения, которой предшествовала

романтика Гражданской войны, а еще раньше — эпические подвиги двигавшейся на Запад расы переселенцев и завоевателей...

Здесь живет Джин Дебс — истинный собрат Филда и Райли, американец, уроженец Среднего Запада, человек проникательный, добродушный и неукротимый. Когда я был еще мальчиком, мое представление о дяде Саме целиком совпадало с образом Джина Дебса. И я до сих пор не уверен, что инстинкт меня обманывал.

В день четвертого июля мы с Артом Янгом¹ отправились в Терре-Хот навестить Джина. Всего лишь месяц назад распространился страшный слух, от которого сжались наши сердца: «Джин Дебс изменяет партии!» Джин разоблачил эту клевету в резком заявлении, опубликованном в нью-йоркской газете «Колл»². Затем последовало его турне по средним штатам, во время которого ему повсюду угрожали арестом, насилием и даже линчеванием... Но Дебс продолжал хладнокровно выступать по расписанию, этот бесстрашный и непоколебимый человек, горячо любящий свой народ.

А потом последовали его речь в Кантоне³, представлявшая собой открытый манифест интернационализма, и его арест в Кливленде.

«Джин Дебс арестован. Они арестовали Джина», — передавали друг другу потрясенные люди, и сердца их сжимались от любви, жалости и гнева. Ни одно событие, происшедшее в Соединенных Штатах в этом году, не взволновало до такой степени массы людей. Ни длительные сроки наказания, к которым присуждали протестовавших

¹ Крупный американский художник и мастер социальной карикатуры. — *Прим. ред. ам. изд.*

² Социалистическая газета, основанная в 1909 г. — *Прим. ред. ам. изд.*

³ Знаменитая антивоенная речь Дебса, произнесенная в Кантоне на съезде социалистической партии штата Огайо 16 июня 1918 г. За эту речь он был арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы. — *Прим. ред. ам. изд.*

против военной службы людей, ни осуждение по закону о шпионаже и антиправительственной деятельности редакторов, лекторов и активистов социалистической партии, ни подавление социалистической прессы — ничто, казалось, не затронуло глубоко народ. Другое дело — арест Джина Дебса и осуждение как изменника родины. Это была как бы пощечина, нанесенная тысячам простых людей. Многие из них вовсе не были социалистами, но они слышали его речи и поэтому любили его. Что же говорить о сотнях тех, кому он помог, кого одарил своей дружбой или спас от беды...

«Джин Дебс арестован! Наш Джин! Ну это уж чересчур!»

Случилось так, что Аллан Бенсон¹ выступил в газете со статьей, где критиковал власти за то, что они арестовали Дебса именно в тот момент, когда тот собирался переходить в национальную партию. Теперь, сидя в своей затемненной гостиной, с бюстами Вольтера, Руссо и Боба Ингерсолла за спиной, Дебс посмеивался над проницательностью мистера Бенсона. Я не мог не представить себе мысленно забавную картину: Джин Дебс в компании благочестивых проповедников сухого закона и социалистов-ренегатов! «Дешевый сброд» — таково было суждение Джина о всем их круге.

Когда мы приехали, он был в постели, но настоял на том, чтобы ему помогли встать. «Он чувствует себя неважно, — сказала жена, — ему нездоровилось весь год». Каким изможденным и высоким он выглядел, каким усталым казалось его длинное, сжигаемое болезнью тело. И все же, когда он выступил вперед, приветствуя нас, нам показалось, что от всего его существа исходит какое-то мягкое сияние. Он протягивал нам обе руки и глядел на нас с такой радостью, как будто питал к нам глубокую привя-

¹ Прежний лидер социалистической партии и ее кандидат на пост президента на выборах в 1916 г. — *Прим. ред. ам. изд.*

занность... Мы чувствовали себя словно окутанными симпатией Джина Дебса. Я никогда прежде не был знаком с ним, но слышал его выступления. Какую непреодолимую жизненную силу излучало в такие минуты все его существо, какое тепло, мужество и веру!

Теперь он стал старше, и напряжение, вызванное борьбой и жертвами, произвело в нем большие опустошения; но его улыбка сохранила все свое простодушие, а обаяние — глубину. По-прежнему он неудержимо загорался, когда речь шла об оказании кому-нибудь услуги...

Джин заговорил. Те, кто не слышал, как он говорит, никогда не поймут, что это было. Не эрудиция, не изысканный подбор выражений и не хорошо модулированный голос составляли его силу, сила была в энергии его пылающего лица, в быстром и слегка сбивчивом потоке его искренних слов. Он рассказывал о своем путешествии, описывая с чисто детским удовольствием, как он перехитрил детективов, следивших за ним в Кливленде; как повсюду мэры и патриотические комитеты предупреждали его о том, чтобы он не выступал, а он все-таки выступал.

— А вы не боитесь линчевания? — спросил я его.

Джин улыбнулся.

«В том-то и дело, что я как-то не думаю об этом. Мне кажется, что таким образом я предохраняю себя психологически. Так, я совершенно уверен, что, пока я не спускаю с них глаз, они не осмелятся ничего совершить. Ведь в конце-то концов все они — малодушные трусы. Их надо держать под наблюдением, в этом вся штука...»

Все время, пока мы разговаривали с ним, по улице проезжали украшенные флагами автомобили, издали доносился шум парада... Глядя в потемневшее окно, мы наблюдали за прохожими. Проходя мимо нашего окна, они кивали или указывали на него со смешанным выражением злобы и какого-то страха. Видно было, как они говорят друг другу: «Здесь живет Джин Дебс» — с таким же выражением, как другой сказал бы: «Вот дом предателя».

— Пойдемте,— предложил внезапно Джин,— посидим у парадного подъезда. Покажем им хорошее зрелище, раз они хотят меня видеть.

Итак, мы уселись у подъезда и спяли с себя пальто. Проходившие мимо лишь смотрели украдкой в нашу сторону и шептались. Но, встречаясь глазами с Джином, они кланялись ему самым сердечным образом.

Джин рассказал нам, как население Индианы и всех средних штатов было запугано и терроризировано лигами «лояльности», гражданскими комитетами и «бдительными», как оно было взвищено и доведено до истерики...

Прежняя откровенность, которая еще накануне войны была характерной чертой фермеров Индианы, теперь совершенно исчезла. Никто не решался поверить свои мысли другому. Очень многие любили его, Джина Дебса, но не отваживались проявить свои чувства иначе как в анонимных письмах... И он заговорил о руководителях движения, которых чернь избивала, обмазывала дегтем и вываливала в перьях, после чего они прекращали всякое сопротивление и становились на точку зрения большинства...

— Если бы что-нибудь подобное сделали со мной,— сказал Джин,— то даже если бы я и изменил свое мнение, я вряд ли смог бы объявить об этом.

Было что-то и трагическое и забавное в том, как Терре-Хот относился к Джину. До войны Джин умножил славу своего города и соответственно пользовался огромной популярностью. Прежде благодаря деятельности его организации практически все население города Терре-Хота было против войны... Но с начала войны здесь произошла обычная перемена. Весь город был мобилизован как психологически, так и умственно — весь, за исключением Джина Дебса. И люди попроще не могли взять этого в толк.

Банкиры, законники и торговцы ненавидели его лютой ненавистью. Даже проповедники-евангелисты, которые прежде не раз умоляли его выступить на молитвенных собраниях, теперь организовывали митинги, на которых обли-

чали «врагов в нашем лоне». Никакие имена при этом не упоминались. Никто не осмеливался назвать Джина Дебса в лицо врагом. Когда он выходил на улицу, все были с ним подчеркнуто вежливы. Оперативные работники департамента юстиции, добровольные детективы всех видов, агенты по распространению займа свободы — все они рыскали вокруг его дома, но не отваживались войти и предстать перед старым львом. Однажды «патриотический» комитет дельцов напал на рабочего-немца и осыпал его угрозами. Услышав об этом, Джин послал комитету записку, гласившую: «Чем ходить в дом этого бедняги, приходите-ка лучше ко мне. У меня есть дробовик, который ждет не дождется ваших молодцов». Но члены комитета не пришли...

У меня хранится портрет Джина Дебса. Его продолговатое, костлявое лицо изображено на фоне ярких петуний, растущих в ящике на перилах. Широко улыбаясь, он подымает свою худую руку, и длинные, как у музыканта, пальцы словно подчеркивают значение его слов.

— Что, разве плохо держалось большинство наших ребят? Превосходно. Если все это не могло их сломить, значит, это вообще невозможно. Социализм приближается, и им не удастся преградить ему путь, как бы они ни старались. Чем больше та сторона совершает промахов, тем лучше для нас...

И когда мы спускались по лестнице, он, по-прежнему сердечный и обаятельный, пожимал нам руки и хлопал нас по плечу. На прощание он сказал громко, так, чтобы соседи могли его слышать:

— Передайте всем ребятам, которые борются, где бы они ни находились, слова Джина Дебса. Он пойдет с ними до самого конца без колебаний и без страха!

1918 г.

The Liberator, 1918, September

Печатается по: Рид Дж.
Избранные произведения.
М., 1957, с. 222—228

СТАТЬИ

ЧЬЯ ВОЙНА?

*Из статьи,
опубликованной
в журнале «Мэссиз»,
апрель 1917 г.*

К тому времени, когда данная статья будет опубликована, Соединенные Штаты могут уже оказаться в состоянии войны¹. В тот день, когда была передана германская нота², над Уолл-стрит развевался американский флаг, маклеры на бирже пели гимн «Звездное знамя»³, и по их лицам катились слезы, а курс акций повысился. Со сцены раздаются «патриотические» баллады типа баллад Джорджа М. Когана⁴ — Ирвинга Берлина, в театрах играют государственный гимн, размахивают национальным флагом и портретом многострадального Линкольна и измученный зритель, с которого только что содрал три шкуры спекулянт театральными билетами, впадает в истерику. Дамы из высшего общества, чьи мужья владеют банками, готовят бинты для раненых — в точности так же, как это делается в Европе; начался сбор средств в миллионный фонд по обеспечению полевых госпиталей льдом; колоссально вырос бостонский фонд для эвакуации девиц в глубь страны.

¹ Прогноз Джона Рида оправдался. 6 апреля 1917 г. конгресс США объявил о состоянии войны с Германией. — *Прим. сост.*

² Имеется в виду «мирная» нота Германии державам Антанты от 12 декабря 1916 г. — *Прим. сост.*

³ «Звездное знамя» — популярная американская песня, написанная в 1814 г. Фрэнсисом С. Кэйем и утвержденная конгрессом в 1931 г. в качестве национального гимна США. — *Прим. сост.*

⁴ Коган Джордж М. (1878—1942) — американский актер, драматург, автор многих популярных американских песен. — *Прим. сост.*

Правление англо-франко-бельгийского постоянного фонда помощи слепым в предвкушении появления страшных жертв добавило к названию организации слово «американский». Наши солдаты, охраняющие акведуки и мосты, стреляют в своих же товарищей, принимая их за тевтонских шпионов. Ходят разговоры о «всеобщей воинской повинности», «солдатках» и «походе на Берлин»...

Я знаю, что такое война. Я побывал в армиях всех воюющих стран, кроме одной, и видел, как умирают люди, как они сходят с ума, как лежат в госпиталях и мучаются от адских болей. Но война несет и нечто худшее, чем все это. Война — это отвратительное массовое помешательство, война — это распятие тех, кто говорит правду, удушение творческих работников, оттягивание на неопределенное время принятия реформ, подавление революционных выступлений и всякого развития социальных сил. Уже сейчас в Америке называют «предателями» тех граждан, которые противятся вступлению страны в европейскую схватку, а о тех, кто протестует против еще большего ограничения нашей и без того жалкой свободы слова, говорят как об «опасных сумасшедших». Мы уже видели первое проявление цензуры, когда военно-морское командование, которому подчиняется радиостанция в Сейвилле, запретило передачу последних известий из Америки на Германию, и поэтому самые дикие выдумки доходили в Берлин через Лондон, что создало ситуацию, чреватую опасными последствиями... Печать вопит, требуя войны. Церковь вопит, требуя войны. Юристы, политики, биржевые спекулянты, общественные деятели — все они вопят, требуя войны. Рузвельт снова собирает свой трижды отвергнутый семейный полк.

Но независимо от того, дойдет дело до настоящих военных действий или нет, вред уже нанесен. Милитаристы своего добились. Я знаю, что по меньшей мере два важных общественных движения прекратили свою деятельность, потому что всем все стало безразлично. И еще долгие годы

Соединенные Штаты будут местом, где свободному человеку будет тяжело жить, где к нему будут относиться менее терпимо и менее гостеприимно. Возможно, уже слишком поздно, но я хочу высказать, что я обо всем этом думаю.

Чья это война? Не моя. Я знаю, что сотни тысяч американских рабочих, занятых на предприятиях наших великих «патриотов» от финансового мира, не получают зарплаты, обеспечивающей нормальную жизнь. Я видел бедняков, которых без суда отправляли в тюрьмы на длительные сроки... Мирных забастовщиков, их жен и детей расстреливали и сжигали заживо частные шпики и «добровольцы». Богатые постоянно богатеют, стоимость жизни растет, а рабочие беднеют. Трудящимся не нужна война, даже гражданская. Но спекулянтам, предпринимателям, плутократам... им всем война нужна, как нужна она подобным же категориям людей в Англии и Германии; и они ложью и фальсификацией будут распалать нас до тех пор, пока мы не озвереем, и тогда мы начнем драться и умирать за них.

Я один из бесчисленных простых людей, которые ежедневно читают газеты — периодически «Нью рипаблик» — и хотят справедливо судить о событиях. Мы многого не знаем о международной политике, но мы хотим, чтобы наша страна не садилась на шею малых народов, чтобы она не поддерживала американских хищников, которые вывозят капитал за границу и порой на этом обжигаются, чтобы она не вмешивалась в драку, не имеющую к ней никакого отношения. Мы считаем, что международное право является выражением здравого смысла народов, результатом коллективного опыта общения их друг с другом и что оно годится для всех народов и понятно каждому.

Мы простые люди. Прусский милитаризм казался нам невыносимым; мы считали, что оккупация Бельгии — преступление; немецкие зверства приводили нас в ужас, так

же как и мысль о том, что немецкие подводные лодки без предупреждения подрывают суда со множеством мирных пассажиров на борту. Но затем мы услышали, что в Англии и Франции людей, отказывающихся идти на фронт и убивать, бросают в тюрьму, штрафуют, высылают и даже расстреливают, что союзнические армии оккупировали и захватили часть нейтральной Греции...

Те из нас, кто голосовал за Вудро Вильсона, сделали это потому, что считали, что он справедлив, понимает обстановку, не допустил, чтобы мы ввязались в драку бешеных собак в Европе, и потому что плутократы были против него. Мы знаем о войне достаточно, чтобы оставить некоторые иллюзии, и хотели оставаться нейтральными. Мы допускаем, принимая во внимание положение, в которое президент сам себя поставил, что он мог ответить на ноту Германии только так, как он это сделал, но ведь если бы мы были нейтральны, то и нота не была бы послана. Президент не спросил совета у народа; он не захотел спросить у нас, нужна ли нам война или нет. Вина не наша. Это не наша война.

The Masses, 1917, April, p. 11—12

*На русском языке опубликовано
в «За рубежом», 1974, № 33,
с. 16—17*

ОБ ИНТЕРВЕНЦИИ В РОССИИ

*Из статьи,
опубликованной
в журнале «Либерейтор»,
ноябрь 1918 г.*

Мой арест федеральными властями и предъявление мне обвинения в связи с речью против интервенции союзников в России поднимают более важный вопрос, чем сама интервенция. Он непосредственно касается войны в защиту «демократии», которую ведут правительства Соединенных Штатов и союзных держав.

Я считаю, что американский народ неправильно информирован об обстановке в Европе, и особенно в России, и что в отношении России наше правительство действует, основываясь на ложной информации. Более того, людям, которые могут информировать широкие круги народа о положении в России, либо велено молчать, либо, если они выступают публично, их арестовывает министерство юстиции, а если хотят выступить в печати, министерство связи задерживает их корреспонденцию.

В подобных условиях невозможно составить себе ясное представление о необходимых эффективных действиях за границей, и суверенный американский народ не может правильно диктовать демократическую внешнюю политику своим слугам в конгрессе и Белом доме.

Какими новостями из России пичкают публику, видно по частным газетным сообщениям, утверждающим, будто Советское правительство пало... и будто во всей России царят хаос и анархия, сообщениям, вновь и вновь опровергаемым уже одними только донесениями союзнического командования из России. Одним из примеров, иллюстрирующих мое утверждение, является серия телеграмм, совершенно бездоказательно утверждающих, будто большевики убивают тысячи людей, особенно иностранцев. Неразбериху, царящую в самих газетах в отношении истинного положения в России, с поразительной ясностью продемонстрировала на днях, например, газета «Нью-Йорк таймс», которая опубликовала в одном и том же номере статью о массовых убийствах в России англичан, французов и американцев и заметку об окончании переговоров между Советским правительством и правительством Финляндии о безопасном выезде из России всех иностранцев, желающих ее покинуть.

Меня самого, как и некоторых других американцев, имевших возможность близко познакомиться с характером и действиями Советского правительства, заставили молчать с помощью простой уловки: у нас под предлогом

«изучения» отобрали все документы и все материалы с фактическими данными, которые мы привезли с собой из России. Лишь тем чиновникам и корреспондентам, которые по тем или иным причинам настроены враждебно к Советам, позволяют свободно выступать публично и в печати с неверными фактами и необоснованными заключениями.

Кроме этих предубежденных наблюдателей почти все остальные источники информации о России — это германские источники, целью которых является дискредитация Советского правительства. Например, у нас не был опубликован полный отчет русских о переговорах в Брест-Литовске, хотя он и имеется; американский народ должен довольствоваться явно искаженной версией, опубликованной Берлином и предназначенной для обмана как немецкого, так и других народов...

Пять месяцев спустя, не связавшись с теми советскими руководителями, с которыми правительства союзников находились в непрерывном общении с ноября 1917 г., не предъявив властям Российской республики никаких претензий или требований, союзнические войска вторглись на территорию России, стали расстреливать русских граждан и штыками поддерживали ряд «правительств», крайняя неустойчивость которых говорила об отсутствии поддержки народных масс, этим они резко отличаются от Советского правительства, которому после десяти месяцев «непризнанного» существования в России не противостоит никакая-либо серьезная оппозиция... С действиями советских руководителей также может познакомиться любой, кто пожелает прочесть достоверные сообщения. Действительно, советские руководители не всегда безоговорочно верили «демократическим» заявлениям союзнических руководителей; действительно, они не восхищаются нашей формой правления... действительно, германское правительство делало, по-видимому, все возможное, чтобы содействовать расчленению России.

Каковы бы ни были на словах намерения союзнических правительств, последние, включая и наше собственное, предстают как организаторы экспедиции, которая нарушила политический суверенитет России, вмешалась в ее внутренние дела, дойдя в этом даже до поддержки правительств, враждебных Советскому, и поэтому Советское правительство считает, что они ведут против него войну.

С какой целью? Просто чтобы помочь каким-то шести-десяти тысячам чехословаков добраться до Франции? Уже не для этого ли десятки тысяч войск были сняты с Западного фронта и отправлены на другой конец света? Наша печать сообщает о «преобразовании Восточного фронта». Но в американском заявлении определенно говорится, что «если даже предположить, что военная интервенция в том виде, как ее очень часто предлагали, действительно достигнет своей непосредственной цели нападения на Германию с востока, то, по мнению правительства, она скорее оказалась бы лишь средством использования России, чем средством помочь ей»¹.

Если бы речь действительно шла о «преобразовании Восточного фронта», то сами русские с охотой произвели бы это преобразование, но союзники отказались принять их предложение. Нет, тон официальной печати союзнических стран ясно показывает, если недостаточно убедительны действия союзнических войск, что целью интервенции в России является свержение Российской Советской республики. И в эту авантюру вопреки его официально провозглашенному желанию оказалось втянутым правительство Соединенных Штатов.

Возможность подобной смены курса заложена в американском меморандуме союзным послам:

¹ Советско-американские отношения. 1919—1933. Сборник документов по международной политике и международному праву. М., 1934, № 9, с. 25.

«Правительство Соединенных Штатов не хочет быть понятым в том смысле, что, ограничивая таким образом свои собственные действия, оно стремится, хотя бы в скрытой форме, ограничить выступление или направить политику ассоциированных с ним держав»¹.

Здесь уместно вспомнить о полемике, которая, судя по сообщениям печати, началась в Японии по поводу двух версий заявления японского правительства об интервенции. Одна версия, предназначенная для внешнего мира, утверждает, что несколько тысяч войск должны быть посланы во Владивосток «немедленно»; согласно же второй версии, опубликованной в самой Японии, несколько тысяч войск должны быть посланы «для начала».

Телеграфное сообщение из Токио от 10 сентября очень многозначительно:

«Контингент японской кавалерии совместно с отрядом казачьего атамана Семенова 6 сентября вступил в город Читу в Забайкалье.

Создание русско-японской экономической организации для торгового и промышленного развития Сибири фактически завершено. Россия представлена двенадцатью богатыми жителями Сибири, а Япония — «Банком избранных», «Ориентал дивелопмент компани» и «Сино-джапаниз индастриал компани». Капитал организации составит от 10 до 20 миллионов рублей».

В сообщении из Вашингтона от 7 октября говорится: «Военная торговая палата опубликовала новое постановление, в котором объявила, что начиная с сегодняшнего дня будут рассматриваться заявления об экспорте любых товаров в Россию...

Значение заявления Военной торговой палаты состоит в том, что оно отражает намерение правительства как

¹ Советско-американские отношения. 1919—1933. Сборник документов по международной политике и международному праву, № 9, с. 18.

можно скорее начать широкую торговлю с Сибирью и Архангельской областью, которые успешно сопротивляются германскому влиянию».

Я обвинил союзнических представителей в России в том, что они поощряли контрреволюционные движения в России и поддерживали их. Это правда, так же как и то, что германские агенты также поддерживали подобные контрреволюционные выступления. Начиная с корниловского мятежа в конце августа 1917 г., в котором оказались замешаны англичане, и потом в движении Каледина, в сепаратистских выступлениях Украины и Финляндии, в «восстаниях» Семенова, хорватов, чехословаков, «северного правительства» во главе с Чайковским и во всех мелких «республиках», организованных ренегатами и царскими чиновниками, действовали внешние силы, и это правда. Лишь наше правительство сохраняло руки чистыми, только наше правительство действовало так, будто бы действительно собиралось оставаться «другом русского народа», каким его изображал президент Вильсон.

И русский народ ценил это; советские руководители верили Америке; когда Советская власть предпринимала репрессивные меры в отношении граждан других стран, к американцам относились снисходительнее. По указанию американских дипломатических представителей я сам беседовал с советскими руководителями о сотрудничестве с Америкой и поэтому пишу сейчас с полным знанием дела. И я знаю и сам чувствую, что это расхождение между делами Америки и словами Америки убивает веру в Америку и надежду на Америку, так же как была убита вера России в другие страны и надежда на них.

В июне чехословаки¹ во Владивостоке с явной помощью английского консульства произвели кровавый переворот,

¹ Имеется в виду спровоцированный Антантой в мае — августе 1918 г. контрреволюционный мятеж частей бывших чехословацких военных, находившихся в России.— *Прим. ред.*

расстреляв на улицах безоружных рабочих и бросив за решетку членов местного Совета. 4 июля вышедшие на похороны двадцать тысяч рабочих поставили грубые, некрашенные гробы этих жертв перед американским консульством, призывая Америку в день празднования Дня независимости Америки признать борьбу России за освобождение.

Ежедневно нам твердят, будто Советское правительство России разваливается, будто чехословаки, союзники и русские контрреволюционеры победоносно наступают, будто «повстанческие» правительства Северной России, Восточной Сибири и Самары стремительно привлекают на свою сторону русские народные массы. На самом же деле эти так называемые правительства, состоящие из антисоветских элементов, абсолютно лишены всякой поддержки, за исключением поддержки имущих классов и иностранных штыков.

Продолжение нашей нынешней политики в России означает, что союзникам к 1919 г. придется перебросить миллион своих солдат с Западного фронта в Россию. В этом случае тысячи американских отцов и матерей, сестер, жен и невест захотят узнать, будет ли принесена в жертву жизнь их мужчин в битве на равнинах России, которая будет еще более ожесточенной, чем битва при Галлиполи. И тысячи американцев, которые действительно верят в свободу, захотят в один прекрасный день узнать, почему Америка, вместо того чтобы возглавить свободный мир, присоединилась к тем, кто задался целью повернуть историю вспять.

Нам пора узнать правду о России.

The Liberator, 1918, November,
p. 14—16

Печатается по: Великий Октябрь
и прогрессивная Америка,
М., 1967, с. 63—94

БЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД

*Из статьи,
опубликованной
в газете «Революшнри эйдж»
от 4 января 1919 г.*

Подавление свободы слова и печати, заключение в тюрьму социалистов и защитников рабочего класса, линчевание и другие виды самосуда, как, например, обмазывание дегтем и обваливание в перьях, нападение солдат на митинги, организованные социалистами, запрещение красного флага в Нью-Йорке,— все это европейская социалистическая печать, в частности французские и итальянские газеты, называет белым террором в Америке. Что это за внутренняя война и в чьих интересах она ведется, видно из того, как она проводится. Убийство Фрэнка Литтла в штате Монтана, высылка рудокопов с медных рудников в штате Аризона¹, продолжающееся преследование Тома Муни в Сан-Франциско, создание на всей территории Соединенных Штатов белогвардейских организаций, имеющих большую власть: местных Советов национальной обороны, Американской лиги защиты² — все эти события должны были ясно показать, что в глазах капиталистов это не что иное, как «война за демократию».

Каждого труженика, независимо от того, насколько он патристически настроен и насколько он сочувствует войне, должно быть, не раз выводили из себя угрозы уволить

¹ По-видимому, здесь Дж. Рид имеет в виду нападение двухтысячного отряда вооруженных сыщиков на бастовавших в августе 1917 г. горняков в районе Бисби (штат Аризона), в результате чего были схвачены 1162 горняка, погружены в товарные вагоны, вывезены в пустыню и оставлены там на произвол судьбы.— *Прим. сост.*

² Местные Советы национальной обороны, Американская лига защиты — специальные военно-пропагандистские организации, созданные в период развернувшейся президентской кампании за подготовку и вступление США в первую мировую войну.— *Прим. сост.*

его с работы, если он не купит облигаций займа свободы¹ или не внесет пожертвования в пользу Красного Креста. Жители Среднего Запада не скоро забудут разгул террора, введенного там банкирами, фабрикантами и редакторами газет во время войны. Тучи правительственных и частных шпионов, из-за которых все, будь то лояльные или нелояльные граждане, иностранцы или американцы, были очень осторожны в выражении своих мыслей... Что это за страна: свободная Америка, борющаяся за свободу, или царская Россия, или кайзеровская Германия?

Однако многие честные и сознательные рабочие говорят, будто все это было неизбежно в условиях войны. Более того, говорят они, их зарплата была сравнительно высока, работы было хоть отбавляй, и правительство защищало их права. Если хозяева отказывались выслушивать их справедливые жалобы, разве не могли они обращаться в военно-трудовое управление², где заседал их могущественный друг Фрэнк Уолш? Разве военно-трудовое управление не заставляло хозяев допускать существование профсоюзов и разве оно само не организовало рабочих, создавая посреднические комиссии, уполномоченные правительством вести переговоры с комитетом работодателей? Разве правительство не установило официально сетку расценок и не определило условия труда? И, нако-

¹ Внутренние государственные займы, выпускавшиеся правительством США после вступления страны в первую мировую войну под громким названием «Займ свободы», легшие тяжелым бременем на плечи трудящихся.— *Прим. сост.*

² Военно-трудовое управление — совещательный орган, общее руководство которым осуществлял министр труда Уильям Вильсон. Непосредственными же руководителями этого управления были У. Тафт — бывший президент США — и Ф. Уолш — заместитель председателя Национальной военной комиссии по вопросам труда. Управление выполняло функции посредника между предприятиями и рабочими в целях урегулирования трудовых конфликтов во всех отраслях промышленности, «имевших важное значение для успешного ведения войны». На деле учитывались интересы предпринимателей.— *Прим. сост.*

нец, приближается тот демократический мир, которому американский рабочий класс пожертвовал половину своих сил, ради которого он позволил разгромить свои профсоюзы,— уж этот-то мир, безусловно, покончит со всеми несправедливостями в отношении рабочего класса.

Но теперь, когда мир наступил, рабочий класс, к своему удивлению, видит, что правительство Соединенных Штатов не только не регулирует положение, но даже не имеет плана реконструкции. В одно мгновение расторгаются правительственные контракты, и тысячи рабочих остаются без работы. Профсоюзные организации уничтожены, и предприниматели не намерены позволить их восстановить. А рабочие, которые надеялись на обещания Сэма Гомперса, президента Вильсона и Фрэнка Уолша, вдруг прозревают и обнаруживают, что у них самих нет планов на период перехода к мирному труду и что они находятся в худших условиях, чем до войны. Единственный класс, который имеет план перевода промышленности на мирную продукцию, это наниматели, фабриканты, банкиры — словом, активные капиталисты. И план их прост. Открытый цех¹, уничтожение даже старых профсоюзов и ликвидация маломощных организаций, созданных военно-трудовым управлением.

Рабочие Бриджпорта, рабочие Бетлехема являются в настоящее время свидетелями того, как увольняют не только всех активных профсоюзных деятелей, но также и членов рабочих комиссий, созданных военно-трудовым управлением правительства Соединенных Штатов. С каждым днем становится все яснее, что патриотизм класса капиталистов существует лишь до тех пор, пока он приносит прибыль.

¹ Система «открытого цеха» означает, что предприниматель не признает на своем предприятии профсоюза, не заключает с ним коллективного договора. Эта система направлена против профсоюзного движения.— *Прим. сост.*

В штате Аризона оправдали агентов и приспешников владельцев медных рудников, выславших в свое время ба-стовавших рабочих, в большинстве своем членов АФТ, оправдали этих богачей и трусливых убийц, находившихся у них на жалованье, умышленно нарушивших закон и плевавших на конституцию. Сомневается ли теперь хоть один американский рабочий в невинности Тома Муни и в отвратительной нечестности калифорнийского суда и прокурора, которые вынесли ему приговор? Президент Соединенных Штатов послал в Калифорнию комиссию для расследования дела Муни, и эта комиссия потребовала пересмотра его дела, и, несмотря на это, его приговаривают к пожизненному заключению. А дело руководителей ИРМ¹, которых приговорили к огромным срокам заключения по обвинению в их якобы пропемецких симпатиях, хотя на суде против них не имелось ни малейших улик! А Юджин Дебс, которого приговорили к десяти годам тюрьмы! А Роуз Пастор Стоукс², а все те отважные мужчины и женщины, которые решались говорить правду, когда это было опасно, и сейчас томятся в тюрьмах!.. Разве трудно догадаться, за что их наказали? И в то же время много ли взяточников, разбогатевших на правительственных контрактах, много ли спекулянтов можете вы припомнить, которые отбывают тюремное заключение? Как могли американские рабочие, имея перед глазами такие разительные примеры, надеяться, что после войны с ними поступят честно?

В Америке отдельный рабочий-индивидуалист, придерживающийся старых взглядов, говорит: «Ну и что же?

¹ В августе 1918 г. в Чикаго федеральный суд по обвинению в заговоре с целью нарушения законов о профсоюзах необоснованно осудил 93 участника процесса на сроки от 4 до 35 лет, подвергнув одновременно штрафу от 20 до 30 тысяч долларов каждого.—
Прим. сост.

² *Стоукс Роуз Пастор* была приговорена к 10 годам тюремного заключения в Канзас-Сити. В 1919 г. стала членом КП США.—
Прим. сост.

Дебс и Роуз Пастор Стоукс — социалисты; члены ИРМ — анархисты. Ну а что касается Муни, то Гомперс и президент Вильсон позаботятся, чтобы его судили по справедливости. Да, кроме того, он не член моего профсоюза. Все это меня не касается».

Но капиталист так не рассуждает. Он говорит: «Мне все равно, как они сами себя называют. Они представители рабочего класса, и у них опасные идеи. Я не могу позволить им разлагать рабочих, довольных своей участью». Капиталисты заодно друг с другом. И они относятся к рабочему классу как к единому классу. В Питсбурге рабочим сталелитейных заводов запрещено объединяться в профсоюз.¹ Когда рабочие хотят устроить собрание, им почти невозможно снять зал. А когда им удастся все же его снять, агенты компании и полиция оценивают все близлежащие улицы и записывают фамилии всех, кто идет на собрание; на следующее утро этих людей увольняют...

Капиталисты контролируют американское правительство. Даже Вудро Вильсон говорил об этом в «Новой свободе»¹. Голосуя за республиканскую и демократическую партии, рабочий класс держит капиталистов у власти. Контролируя правительство, капиталисты, естественно, принимают законы, и притом законы, выгодные для них самих. Но даже и этим законам капиталисты не подчиняются, когда тот или иной закон идет вразрез с их интересами. Только рабочий класс подчиняется законам — ему приходится подчиняться, так как полиция и армия не на его стороне.

Но рабочий класс — это не только личный состав армии и полиции, он же приводит в движение каждое колесо и каждое орудие труда в стране. Если бы рабочий класс одновременно прекратил работу даже на несколько

¹ Имеется в виду книга В. Вильсона «Новая свобода», вышедшая в 1913 г., в которой изложена суть предвыборной политической платформы Вильсона. — *Прим. сост.*

дней, власть капиталистов в Америке была бы поколеблена до самого основания. Если бы рабочие голосовали за своих собственных кандидатов на выборные посты и принимали свои собственные законы, а затем пригрозили бы, что сложат свои орудия труда, если этим законам не будут подчиняться, Америка принадлежала бы рабочим, как этому и следовало бы быть.

Однако в Америке профсоюзы не только борются с другими организациями, но отдельные цеховые профсоюзы борются друг с другом, почти не поддерживают друг друга, а иногда и выступают как штрейкбрехеры по отношению друг к другу. Это как раз то, что нужно капиталистам, которые, как только, по их мнению, отдельные цеховые профсоюзы становятся слишком сильными, тайно не дают им объединиться в индустриальные профсоюзы; нельзя забывать, что капиталисты ведут непрерывную борьбу за восстановление открытого цеха...

Этому можно противопоставить лишь одно — индустриальные профсоюзы, социалистическую партию, всеобщую стачку и рабочую демократию, при которой тем, кто трудится, и будет принадлежать вся власть.

*The Revolution Age, 1919,
January 4, p. 8*

*Печатается по:
Октябрь, 1979, № 9, с. 192—195*

ЛИБКНЕХТ УБИТ

*Статья,
опубликованная
в журнале «Либерейтор»,
март 1919 г.*

Карл Либкнехт убит. И вместе с тем никогда он не ощущался таким живым, как в эти дни, когда его имя проносится над миром подобно порыву ветра, который гонит перед собой сухие листья.

Кажется, что после нашей встречи с ним в Берлине в декабре 1914 г. прошло много лет. Но и сейчас он встает

передо мной как живой, Я вижу его смуглое округлое лицо, как бы побледневшее в свете затемненной зеленым абажуром настольной лампы, вижу твердые очертания его губ и щеточку усов, мягкий взгляд его темных глаз. Он казался застенчивым, чуть ли не робким. Бросая короткие фразы в ожидании моих вопросов, Либкнехт нервно вертел в руках нож для разрезания бумаги. Обе двери его кабинета, ведущие в коридор и в зал заседаний районного комитета социал-демократической партии, были распахнуты. Казалось, Либкнехту безразлично, что кто-нибудь может услышать его ответ на мой вопрос: по-прежнему ли он бескомпромиссно враждебен по отношению к правительству?

«А разве может быть у социалиста какая-либо иная позиция?» — просто спросил он.

* * *

И в этом была суть дела. Если капиталистическое государство ввергло мир в преступную войну, что еще может делать социалист, как не бороться с ним до конца?

Против кайзеровской Германии с ее дисциплинированной промышленностью, железными армиями и феодальной аристократией, против тщательно насаждаемого урапатриотизма, против трусости и нерешительности популярных в стране лидеров — вот против чего открыто выступил этот человек, бывший в рейхстаге единственным представителем самой обездоленной, самой угнетенной, самой бесправной части населения. В Германии были и есть и другие революционные вожди, мужчины и женщины, вступившие в непримиримую борьбу с германским империализмом, но Либкнехт находился на виду у всех, на него смотрел весь мир — и вот там, в рейхстаге, когда все вокруг него гнулось под ужасным нажимом, Либкнехт выступил против официальной мощи самой высокоорганизованной державы на земле:

Известна истина: осмелившийся говорить будет услышан. Либкнехт был услышан. Услышали его союзные дипломаты и люди, формирующие общественное мнение, и сказали, что он за Антанту. Услышали его немецкие социал-демократы большинства, кайзеровские социалисты и исключили Либкнехта из своих рядов. Но его слышали и массы немецкого народа, немецкие солдаты в окопах, немецкие рабочие на военных заводах, безземельные крестьяне Саксонии. Его голос был услышан и по другую сторону фронта; и французские солдаты, в умах которых в тот момент безнадежно смешались национализм и интернационализм, от глубины души сказали: «Либкнехт — самый отважный человек на земле».

Мы, американские социалисты, выступали против войны довольно нерешительно. Но представьте себе страну, в десять раз более организованную, в десять раз лучше контролируемую, страну, правящий класс которой в десять раз хитрей нашего, а общественность убеждена, что идет «война в защиту нации». Вспомните, что произошло с Лафолеттом¹, когда он осмелился выступить против войны. Если можете, представьте себе конгрессмена-социалиста, призванного в армию рядовым и подвластного военному суду и тем не менее выступившего против правительства в десять раз решительней Лафолетта, причем не от имени «демократии», а от имени беднейших рабочих... Представьте все это, и вы поймете, что сделал Либкнехт...

И народ слышал его. Поэтому, когда немецкое правительство не могло уже больше переносить разоблачения со стороны этого защитника интересов рабочих всего мира, оно все же не осмелилось приговорить его более чем к четырем годам заключения. (Неужели вы думаете, что, если бы рабочие Америки выступили хотя бы вполсилы

¹ *Лафолетт Роберт Марион* (1855—1925) — американский буржуазно-либеральный общественный деятель.— *Прим. ред.*

столь же решительно в защиту своего общего дела, Том Муни был бы в тюрьме? Ни одного дня! Ни одного часа!)

И когда наконец разразилась революция, передавшая бразды правления в робкие руки кайзеровских социалистов, то первым делом берлинских рабочих было освобождение Карла Либкнехта из тюрьмы. И когда он ехал в усыпанном цветами экипаже по ликующим улицам Берлина, он, конечно, знал, что приближается его роковой час. Когда осененный красным стягом Либкнехт воскликнул: «Будущее принадлежит народу!» — сам он чувствовал, что его дни сочтены.

* * *

Народ совершил революцию. Так же как это было с русскими меньшевиками и эсерами, власть оказалась в руках немецких социал-демократов большинства, твердо решивших не уступать этой власти, а удержать ее. Либкнехт знал, что Шейдеман и Эберт не осмелятся использовать власть в интересах народа. Он знал, что власть должен захватить сам народ. Одна тирания была уничтожена, но он предупреждал об угрозе другой тирании — более страшной, более опасной, чем тирания окруженного мишурной пышностью кайзера и горстки юнкеров, — о тирании международного капитализма.

«Разве, находясь у власти, буржуазия допускала вас к участию в управлении страной? Нет! Значит, теперь рабочие должны лишить буржуазию влияния в правительстве. Нам нужно правительство солдат и рабочих, правительство, олицетворяющее пролетариат, правительство, которое не склонится перед Антантой.

Никаких сделок с империалистами Антанты. Мы должны покончить с ними так же, как мы покончили с германским самодержавием. Революция обязательно распространится и на страны Антанты; но мы, которые заставили русских потерять целый год, настаиваем теперь, что революция в Англии и Франции разразится в ближайшие сутки...»

Так говорил Либкнехт в первый день после своего освобождения.

Тон буржуазной прессы в союзных странах внезапно изменился. Она начала называть Либкнехта фанатиком, глупцом, германофилом. Кайзеровские же социалисты стали для нее разумными людьми, желающими восстановить порядок. Намеряли, что для этого они могут даже пригласить союзные войска.

В массах немецкого народа шло брожение. Идеи спартаковцев распространялись, подобно лесному пожару. Наконец чувства эти вылились в грандиозные демонстрации, контрдемонстрации, стычки, восстание... Независимые социал-демократы сначала колебались, но в конце концов перешли на сторону спартаковцев; Либкнехт, Роза Люксембург и несколько других преданных им людей возглавили это стихийное восстание немецкого народа.

Верное своим принципам «умеренного» социализма, правительство Эберта — Шейдемана, объединившись с немецкой мелкой буржуазией, прибегло к помощи войск для подавления рабочих, пытавшихся захватить власть. Я хочу объяснить здесь, что это были за войска. Это были полки с Западного фронта, отступившие в полном порядке перед врагом, покорные своим офицерам неразложившиеся части, хорошо вооруженные и все еще исполненные чувства патриотизма. На этом фронте не происходило братания, не велось там и революционной пропаганды, ибо союзные войска во Франции оберегались от революционных социалистов так же тщательно, как и от немецких шпионов.

Эти полки не подверглись и разлагающему влиянию пропаганды спартаковцев. Их не размещали в крупных промышленных городах, и военная иерархия, которая стремилась восстановить на престоле кайзера и которой нужна была сила для осуществления этого плана, тщательно оберегала эти полки от пропаганды. Они были переданы в распоряжение правительства социал-демократи-

ческого большинства, и во главе их были поставлены такие генералы, как фон Гинденбург¹, ибо для того, чтобы свершилась контрреволюция, нужно было сначала разгромить революцию.

Не будучи уверено в своих собственных сторонниках, правительство Эберта — Шейдемана вынуждено было принять помощь кайзеровских солдат и берлинских белогвардейцев, которых оно вооружило и натравило на рабочих и солдат. Спартаковское восстание было подавлено.

Либкнехт, Роза Люксембург и несколько других лидеров в то время спаслись. Впереди у них было много дел. Нужно было провести демонстрацию, показать народу, что, как только дело доходит до настоящей борьбы классов за власть, «умеренные» социалисты неизбежно становятся на сторону буржуазии.

Наступили выборы в Национальное собрание. Целые недели — даже еще до спартаковского восстания — стены берлинских зданий были залеплены листовками со словами: «Убейте Либкнехта!» В своем большинстве рабочие и солдаты отказались принять участие в голосовании. Вспыхивали стихийные забастовки, избирательные пункты подвергались нападениям. Спартаковцев могла удовлетворить лишь диктатура пролетариата. Они и слышать не хотели о каком-то учредительном собрании...

* * *

И вот тайной полицией правительства Эберта — Шейдемана удалось напасть на след Карла Либкнехта и Розы Люксембург; они были арестованы и доставлены в отель «Эден». Можно не сомневаться, что правительство Эберта — Шейдемана не менее кайзеровских властей было напугано поддержкой, которую оказывали Либкнехту

¹ Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — германский генерал-фельдмаршал, президент Германии в 1925—1934 гг.— *Прим. ред.*

массы. Социал-демократы большинства не хотели убивать Карла Либкнехта.

Но по городу поползли слухи; их передавали из уст в уста в кафе, клубах, офицерских школах, банках... Начала собираться толпа — чиновники, белогвардейцы, буржуа, студенты-белопокладочники. Привилегированные классы впадали в панику при одной мысли, что они могут вот-вот лишиться собственности. Они стекались к отелю «Эден». Их были тысячи. Либкнехта там уже не было. Его перевели в загородную тюрьму. Когда его вели через вестибюль, хорошо одетые господа набрасывались на него с кулаками, а «порядочные» дамы плевали ему в лицо.

Окружившая отель «Эден» жаждавшая крови толпа ворвалась в здание. (Точно такую же свирепую кровожадность проявила газета «Нью-Йорк трибюн», оправдавшая солдат, напавших на безоружных мужчин и женщин, собравшихся на митинг в Мэдисон-сквер гарден.) Там это скопище напало на Розу Люксембург — хрупкую, маленькую, хромую женщину. Ее избили до смерти, а потом бросили ее тело в канал... (Точно так же линчевали Фрэнка Литтла¹ в Монтане.)

Либкнехта везли в автомобиле по Шарлоттенбергершоссе, через Тиргартен. Он был изранен, в кровоподтеках, измучен. Его конвоировали надежные люди — несколько кайзеровских офицеров и группа солдат, на которых они могли положиться.

В Тиргартене машина, по-видимому, испортилась, и Либкнехт и его конвоиры должны были выйти из нее. По официальной версии, Либкнехт попытался бежать и скрыться в кустах Тиргартена, а охрана застрелила его во время попытки к бегству. Весьма любопытно, что в том довольно оживленном районе в это время никого не было...

¹ Литтл Ф.— один из организаторов забастовочного движения в США. Ночью 1 августа 1917 г. был схвачен группой наемных бандитов в гостинице г. Бьютт и предан суду Линча.— *Прим. ред.*

Газета независимых социал-демократов «Фрайхайт» утверждала, что это ложь. Либкнехт, писала она, был попросту убит конвоировавшей его охраной. Посмертное вскрытие показало, однако, что в него стреляли сзади...

Но, товарищи, разве результаты вскрытия убеждают вас? В течение ряда лет в Мексике действовал закон, разрешающий убивать заключенных при попытке к бегству. Политические заключенные в Мексике всегда пытались бежать. По крайней мере, так говорили конвойные, которые привозили изрешеченные пулями трупы. И, конечно, среди немецких офицеров есть и такие, которые достаточно разумны для того, чтобы понимать, что, собираясь сочинить сказку об убийстве при попытке к бегству, они должны были быть последовательны и стрелять жертве в спину...

* * *

Я могу ясно представить себе, как это произошло. Хмурый день, над головой нависли серые тучи, а под ногами хлюпает подтаявший снег. Под Бранденбургскими воротами проезжает автомобиль. Охранники ухмыляются и кричат сидящим в машине солдатам. Либкнехт схвачен! Пусть свершится возмездие!

Либкнехт сидит на заднем сиденье. По обе стороны его — хмуро молчащие солдаты с винтовками, зажатыми между колен. До них доносится отдаленный рокот большого города, шум почти уже подавленного восстания, в рабочих кварталах слышатся одиночные выстрелы...

На откидных местах сидят два офицера. В руках у них пистолеты. Они нервничают, оглядываются по сторонам. Ведь Либкнехта могут попытаться отбить... На переднем сиденье шофер-солдат и рядом с ним еще один офицер. Он откинулся на своем месте и тихим голосом что-то яростно доказывает сидящему позади него офицеру.

Теперь автомобиль несется вдоль длинного шоссе. С большинства деревьев в Тиргартене листья уже облете-

ли, и они стоят голые. На снегу под ними еще видны следы толпившихся здесь несколько дней назад восставших. Сквозь голые деревья и кустарники парк хорошо просматривается в любом направлении.

Офицер, сидящий впереди, спрашивает: «Здесь?» Офицер на откидном сиденье показывает на медленно плетущуюся лошадь, впряженную в повозку. Автомобиль проносится дальше. Наконец лошадь и повозка остались где-то позади. Нигде не видно ни души. Огромный парк пуст.

«Стоп!»

Либкнехт слегка удивлен, но, уже предчувствуя конец, поднимается и выходит. Солдаты выходят вместе с ним.

«Что случилось? — спрашивает Либкнехт. — Почему мы здесь остановились?»

Солдаты безучастны. Один офицер ухмыляется, другой слегка побледнел.

«Сейчас мы разделаемся с тобой, — свирепо говорит третий. — Черт бы тебя взял!»

Офицеры отходят от него и останавливаются на небольшом расстоянии. Солдаты становятся на равное расстояние от Либкнехта, один сзади него, другой в стороне.

Либкнехт поворачивается так, чтобы видеть их обоих.

«Товарищи, — говорит он твердым голосом. — Вы...»

Один из офицеров, не колеблясь, поднимает револьвер и стреляет. Либкнехт быстро оборачивается и хватается за горло. Один из солдат хладнокровно поднимает ружье и стреляет. Голова Либкнехта поникла, он падает на землю.

Так, или почти так, умер Либкнехт.

Он был убит международным классом капиталистов. Чего еще можно было ожидать? Но помните! Кровью Либкнехта и немецких рабочих обгарены руки немецких социал-демократов большинства, кайзеровских социалистов — Эберта, Шейдемана и прочих; это они с помощью кайзеровских солдат подавили рабочее восстание и рассчитались за эту помощь жизнью Либкнехта и Розы Люксембург.

Что же касается кайзеровских социалистов, то их по-

беда стала их поражением. Этот последний урок был нужен для того, чтобы показать, до какой глубины падения могут дойти и дойдут «умеренные» социалисты. Я уверен, что Либкнехт понимал, какое значение будет иметь его смерть, и был готов заплатить такую небольшую цену за победу революции в Германии...

И с такой же неизбежностью, с какой приходит весна, сбудутся через несколько месяцев пророческие слова Карла Либкнехта:

«Будущее принадлежит народу!»

*The Liberator, 1919,
March, p. 16—18*

*Печатается по:
Вопросы истории КПСС,
1963, № 8, с. 81—85*

ОТЛИВ НА ВОСТОК

*Статья,
опубликованная
в журнале «Либерейтор»,
июнь 1919 г.*

Инспектор Нью-Йоркского порта Байрон Р. Ньютон сообщает, что число иностранцев, уезжающих из Соединенных Штатов в Европу, достигает в среднем тысячи человек в день. Капиталистическая печать встревожена. Приводимый ниже отрывок из редакционной статьи нью-йоркской газеты «*Ивнинг сан*» (курсив Дж. Рида) весьма характерен для множества аналогичных статей, опубликованных во всех частях страны.

«Вот уже несколько месяцев из Нью-Йоркского порта к себе на родину выезжает значительно больше иностранцев, чем в предыдущие годы. Этот отлив людей внушает тревогу — отчасти потому, что мы теряем рабочую силу, отчасти же потому, что подобное проявление нежелания этих людей оставаться в нашей стране наводит нас на мысль, что что-то у нас не в порядке».

Несмотря на попытки правительственных органов успокоить гордость американцев, уязвленную этим бегством,

вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что бегство это происходит как раз тогда, когда наше правительство усиливает кампанию по высылке рабочих иностранного происхождения, осмеливающихся участвовать в деятельности рабочих организаций. Это проявление чисто прусского беззакония со стороны американских властей закономерно завершает длительную и кровавую историю капиталистической эксплуатации иностранцев в нашей стране.

Один из принципов, провозглашенных при основании американской республики, заключается в том, что она «обеспечивает право убежища для угнетенных всего мира». Как любая другая идеологическая фраза, эти слова использовались капитализмом для прикрытия бесстыдной политики эксплуатации труда. С помощью этих высокопарных слов толпы обнищавших рабочих Европы зазывались в Америку; их использовали в промышленности вместо рабочих англосаксонского происхождения и платили зарплату, на которую невозможно было обеспечить себе приличного существования. В Европе был излишек населения и не было работы. В Америке была работа для всех — тяжелая, унижительная работа за ничтожную зарплату, но все же работа. Живя, как животное, занимаясь штрейкбрехерством, подвергаясь несказанному унижению, иммигрант мог надеяться накопить хотя бы немного денег, но не для того, чтобы жить в Соединенных Штатах, а для того, чтобы вернуться на родину и жить там. То, что рабочий возвращался на родину разбитым духовно и физически, не имело значения.

Вот для чего Америка предоставляла убежище «угнетенным всего мира». Сотни тысяч иностранцев приезжали в нашу страну каждый год; их привлекало не золото, а слухи о свободе, отсутствие обязательной воинской повинности, фотографии статуи Свободы на рекламных плакатах судоходной компании. Их обманывали и оскорбляли в порту прибытия, бросали в зловонные трущобы; они по-

полняли ряды самых низших слоев промышленного пролетариата, надрывались на непосильной работе, их избивала полиция, их расстреливали во время забастовок и в конце концов, состарившихся раньше времени, пораженных туберкулезом, их вышвыривали, и они попадали в тюрьмы либо возвращались на родину. Тот факт, что значительная часть наиболее интеллигентных иностранцев, которые по приезде в Америку были проникнуты политическими идеями социализма, вернулись на родину анархосиндикалистами, сторонниками диверсий и прямых действий, является великолепным комментарием к американской цивилизации.

Война обнажила всю жестокость американской промышленной системы. Огромное число иностранцев, получивших здесь свои первые документы, и многие из тех, кто не получил еще никаких американских документов, были взяты в армию, а если они отказывались идти на войну, их сажали на гауптвахты, бросали в тюрьмы, подвергали пыткам. За работавшими в промышленности была установлена строжайшая слежка, их сажали в тюрьмы за защиту права рабочих на организацию или за участие в стачках. Была разработана целая система, чтобы заставить их покупать правительственные облигации и вносить деньги в фонд Красного Креста; если они отказывались это делать, они теряли работу. В их церкви врывались толпы хулиганов, которые заставляли священников проповедовать патриотизм на английском языке. Правительственные чиновники подвергали цензуре издания, напечатанные на их национальных языках, а зачастую их газеты закрывались за перепечатку сообщений, обзоров и редакционных статей из прессы, выходящей на английском языке. Так, например, министерство почт США прекратило выпуск одной газеты на иностранном языке за то, что та упомянула мое имя. Полицейские и наемные «патриоты» совершали налеты на собрания рабочих иностранного происхождения, диктовали ораторам, что можно и чего

нельзя говорить, и, если те отказывались подчиниться их требованиям, избивали и арестовывали их.

Частные организации вроде «минитменов» и «Американской лиги защиты», состоящие из банкиров, предпринимателей и наиболее реакционных наемников промышленных магнатов, терроризировали рабочих иностранного происхождения.

Варварский закон о шпионаже, представлявший собой отвратительное орудие господства капиталистического класса, особенно часто применяется против иностранцев — активистов рабочих организаций. В городе Байонна (штат Нью-Джерси) двое молодых русских — Фредерик Федотов и Антон Тайчин — были арестованы во время митинга, который был созван с целью организовать школу для русских. В соответствии с законом о подрывных элементах они были приговорены к десяти годам каторжной тюрьмы. Семнадцатилетняя Молли Штеймер, Яков Абрамс, Сэмюэль Липпман, Хаймэн Лачовский и Яков Шварц (все — выходцы из России) были арестованы за распространение листовок, протестующих против американской интервенции в России, и жестоко избиты нью-йоркскими полицейскими. Шварц умер от побоев, Молли Штеймер была приговорена к пятнадцати годам тюремного заключения и штрафу в пятьсот долларов, а трое остальных юношей были приговорены к тюремному заключению на двадцать лет и к штрафу в тысячу долларов. Мексиканские революционеры Рикардо Магон и Либрадо Ривера были приговорены один к двадцатилетнему, другой — к пятнадцатилетнему заключению за антивоенные статьи, опубликованные в мексиканской газете «Регенерасион». Из нескольких сот членов организации «Индустриальные рабочие мира», арестованных и приговоренных к длительному тюремному заключению в Чикаго, Сакраменто и Уичито, не меньше половины были иностранцами.

Внушительные размеры приняла кампания пропаганды против собраний иностранцев, против иностранных

языков и иностранной печати. Конец войны не принес облегчения, ибо на Востоке пролетариат России поднимался на гигантскую и героическую борьбу, вдохновляя своим примером трудящихся всего мира; в Центральной Европе вступали в борьбу спартаковцы и коммунисты. Кампания против рабочих иностранного происхождения не только не затихла и после подписания перемирия, но еще более усилилась.

Конец войны застал американскую промышленность все еще в состоянии мобилизации. Так как плутократы были слишком заняты выкислачиванием огромных прибылей, чтобы провести демобилизацию планово, они предпочли прекратить всякую деятельность, связанную с нуждами военного времени, сразу же, как только кончилась война, и заставить тысячи и тысячи рабочих выстроиться в очередь за бесплатной похлебкой; сейчас, когда я пишу эти строки, число этих рабочих все возрастает. Все попытки этих безработных протестовать или собраться и обсуждать свое положение пресекаются угрозой пустить в ход пулеметы.

Одновременно происходило снижение зарплаты почти на всех предприятиях текстильной промышленности, а теперь эта угроза нависла над сталелитейной и другими основными отраслями промышленности. В то же время льготы, полученные рабочими во время войны, либо так и остались только на бумаге, либо были немедленно отменены.

Добавьте ко всему этому поспешную демобилизацию армии, которая привела к тому, что на перенасыщенном рынке труда появились сотни тысяч людей без цента в кармане; работы для них нет, если же она и находится, то они получают за нее меньше, чем до войны, либо их используют как штрейкбрехеров. В больших городах этих безработных, бесцельно слоняющихся демобилизованных солдат натравливают на собрания социалистов и рабочих, они совершают налеты на штаб-квартиры радикальных организаций, избивают отдельных граждан...

Именно с таким положением пришлось столкнуться рабочим иностранного происхождения, большинство которых не пользуется защитой даже немощных профсоюзных организаций, входящих в состав Американской федерации труда. Если же они являются членами организации «Индустриальные рабочие мира», которая практически объявлена вне закона (хотя правительство утверждает, что это не так), они подвергаются гонениям, их арестовывают, избивают, а иногда даже линчуют.

Последнее наступление промышленных магнатов на рабочих иностранного происхождения развернулось в то время, когда мощные всеобщие забастовки в городах Сиэтл и Бьютт показали, что рабочий класс Америки наконец-то овладевает оружием для успешной борьбы против капиталистической тирании. С декабря 1917 г. десятки рабочих иностранного происхождения, принимавших активное участие в рабочем движении в западных штатах, втихомолку арестовывали, и после инсценированных судебных процессов, на которые не были допущены даже их адвокаты, под угрозой физического насилия во время допроса их приговаривали к высылке в соответствии с законами об иммиграции.

Центр этого движения находился в штатах великого Северо-Запада, где организация «Индустриальные рабочие мира» проводила организационную работу среди рабочих лесной и лесоперерабатывающей промышленности. Именно там развернулись знаменитые события «Эвереттской бойни»¹, когда полицейские и частные детективы обстреляли пароход, на котором ехали организаторы ИРМ из Сиэтла, и убили шесть человек.

В высидках рабочих главную роль играют те же самые предприниматели и дельцы, которые были вдохновителями «Эвереттской бойни». В Сиэтле был организован преслову-

¹ «Эвереттская бойня» — от названия г. Эверетт (штат Вашингтон) на Северо-Западе США, где происходило это столкновение. — *Прим. ред.*

тый «Американский комитет», в состав которого вошли пастор первой пресвитерианской церкви distinguished М. А. Мэтьюз, судья Томас Бэрк, вице-президент Юнион нэшнл бэнк Дж. Д. Лоумен, директор-распорядитель фирмы «Пасифик кар фаундри» О. Д. Колвин, вице-президент Сиэтл нэшнл бэнк Дж. У. Спэнглер, директор-распорядитель фирмы «Пасифик стимшип компани» А. Е. Хейнз, директор-распорядитель фирмы «Даусон компани» У. С. Даусон и президент фирмы «Сан-Хуан фишинг энд пэкинг компани» Уильям Калверт-младший. Этот комитет выпустил секретное обращение к фирмам лесоперерабатывающей промышленности с призывом оказать «моральную и финансовую поддержку» организуемой им сети детективов, которые должны были быть направлены на лесоразработки и на заводы, чтобы собрать сведения, которые помогли бы осуществить «немедленную высылку всех иностранных агитаторов и журналистов» из страны. Другое печатное заявление, опубликованное тем же «комитетом», показывает, что его поддерживают тринадцать компаний...

Документы одного из агентов министерства юстиции, который принимал участие в арестах иностранцев, доказывают, что он является одновременно членом организации «минитменов» — тайной частной организации, созданной предпринимателями под покровительством министерства юстиции, членом частного детективного агентства в Чикаго, а также секретарем Торговой палаты и Коммерческого клуба города Сиэтла. Услуги другого агента оплачивались правительством и в то же время одной крупной лесоперерабатывающей компанией.

То, что происходило в Сиэтле, повторялось в той или иной мере в других частях страны. Людей арестовывали по самым незначительным поводам или вообще без повода, их держали под следствием, а затем приказывали покинуть страну. Само следствие походило на фарс. Достаточно было быть членом ИРМ, чтобы подвергнуться

высылке. Некоторые из документов иммиграционных агентств звучат как карикатура на капитализм. Вот что было написано, например, в докладе одного из официальных представителей правительства в Канзас-Сити: «У иностранца нет денег, и поэтому он всегда может стать членом банды эмигрантов...»

В феврале 1919 г. целый эшелон этих несчастных проследовал через всю страну; власти пытались втихомолку выгнать их из Соединенных Штатов. Когда по этому поводу запросили представителей иммиграционного бюро, они сообщили, что все эти люди были под следствием и что в этом деле «участвовали суды». На самом же деле этим иностранцам было отказано в юридической защите, в отношении их не был применен «Габеас корпус акт»¹, а главное их преступление заключалось в том, что они являлись членами организации «Индустриальные рабочие мира».

Благодаря вмешательству мисс Каролины Лоу и Чарла Рехта из Бюро юридической консультации, которым вначале запретили даже увидеться с заключенными, министерство труда в конце концов было вынуждено раскрыть свои досье, и в результате многие заключенные были немедленно освобождены...

Но до этого властям все же удалось выслать нескольких человек. Среди них было два итальянца — Пьетро Маруччо, которого обвинили в том, что у него нашли экземпляр газеты «Кронакка соверсива», и Анджело Вариччио. Маруччо умер (или был убит) уже по пути в Италию; Вариччио был отправлен на Эллис-Айленд. Письмо, которое он пытался послать оттуда, было задержано, и власти отрицали, что он находится на острове. Шесть членов

¹ Закон, который был принят в ряде штатов США, должен был служить гарантией личной свободы гражданина против злоупотреблений судей, против необоснованного ареста до суда. Однако на практике этот закон попирается, особенно когда речь идет о преследовании прогрессивных элементов.— *Прим. ред.*

ИРМ, скандинавы по происхождению, были арестованы в одном из западных штатов, отправлены в Нью-Йорк, где им не разрешили даже увидеться с адвокатом, а затем высланы в Швецию. Один ирландец по имени Джон Михэн, арестованный за то, что он являлся членом ИРМ, в течение девятнадцати месяцев находился в заключении и затем был отправлен в Англию в разгар зимы буквально в лохмотьях и без головного убора — его одежда изнасилась в тюрьме. Он прожил в Америке двадцать пять лет. Испанец Фрэнк Лопес, который провел в Соединенных Штатах семнадцать лет, женился здесь и купил дом в городе Дедем (штат Массачусетс), где он вступил в члены Американской федерации труда, был выслан за то, что однажды назвал себя «философским анархистом». Поляк Эдвин Флогаус, который приехал в Америку тридцать лет назад, когда ему было всего два года, в данное время находится в заключении в ожидании высылки. Сотни русских по всей стране арестованы и ждут высылки, главным образом потому, что они являются русскими рабочими, а следовательно, потенциальными большевиками...

Я назвал лишь нескольких из сотен рабочих иностранного происхождения, которые были арестованы, а число их беспрерывно растет.

Во всем этом деле очень важно то, что многие из этих иностранцев являются политическими беженцами. Как утверждают, итальянское правительство сразу же высылает итальянцев, прибывших из Соединенных Штатов, в Африку, в колонии для правонарушителей. Английское правительство, безусловно, казнит каждого индийского революционера, который будет выслан из Соединенных Штатов. Что касается русских, то, когда они прибудут в Архангельск или Владивосток, их заставят вступить в контрреволюционные армии и воевать против собратьев или тут же казнят.

Американское гражданство не защищает рабочих иностранного происхождения. Каждый судья может решить,

что рабочий получил свои документы о гражданстве под фальшивым предлогом (это уже было сделано в двух случаях), и тогда этого рабочего могут выслать. Разумеется, первые документы не принимаются во внимание. В то же время для того, чтобы получить первый документ о гражданстве, иностранец должен отказаться от гражданства в собственной стране. Поэтому когда иностранец отказывается от прежнего гражданства или имеет первые документы, он остается человеком без отечества, так как ему могут отказать в разрешении вернуться на родину под тем предлогом, что он уже не является гражданином данной страны.

Однако свободолюбивые и уважающие себя иностранцы предпочитают остаться без родины, но не жить в Америке, в стране самого худшего в мире индустриального самодержавия. По всей Америке создаются депортационные клубы; членами их являются люди, которые хотят вернуться в Европу, но которым не позволяют уехать из этой страны. Сотни тысяч рабочих иностранного происхождения, которые жили в Соединенных Штатах годы, десятилетия и которые, по словам одного из высланных, Е. М. Макдональда, сейчас навсегда уезжают из страны, которая могла бы стать их второй родиной. Они уезжают такими же бедными, какими приехали, и даже беднее, ибо они растратили в Америке лучшие годы своей жизни, потеряли здоровье и утратили веру в то, что Новый Свет может породить Новый Век.

Они уже не верят в Америку. Последняя из самодержавных стран, где массы людей представляют собой не что иное, как мясо для машин, она лежит в теневой стороне земли, и горизонт ее окрашен пламенем возрождающейся в Европе революции. Факел свободы выпал из ее руки...

*The Liberator, 1919,
June, p. 27—29*

*Печатается по: Октябрь,
1979, № 9, с. 195—200*

БЕЛЫЙ ТЕРРОР

*Статья,
опубликованная в журнале
«Коммунистический
Интернационал»,
№ 7-8 за 1919 г.*

Год назад Соединенные Штаты находились еще в состоянии войны. Лидеры Американской федерации труда с Самуэлем Гомперсом во главе обеспечили правительству ценную поддержку профессиональных союзов и сами предпринимали поездки в Европу для того, чтобы в интересах международного капитализма всеми мерами способствовать подавлению нараставшего там революционного настроения среди рабочих. Как и в Англии, профессиональные союзы в Америке отказались от большей части своих прав и гарантий и вверили свои интересы правительственному третейскому учреждению — так называемому Военно-рабочему комитету. Судя по всему, американские тред-юнионисты были настроены весьма патриотически: они покупали на сотни тысяч облигации займа свободы, они жертвовали довольно большие суммы в пользу Красного Креста и на всякие военные надобности, они с кулаками набрасывались на всякого, кто отказывался встать при исполнении американского национального гимна.

Казалось, что все протесты против войны замерли. Лидеры социалистической партии, которые под давлением все возраставшего революционного настроения масс были вынуждены издать в С.-Луи манифест, призывавший рабочих к массовым демонстрациям против войны, намеренно саботировали практическое осуществление этого плана. Они не только ничего не предпринимали для организации такого движения, но многие из них открыто поддерживали всяческие военные мероприятия правительства. Так, Мейер Лондон, единственный социалист в американском конгрессе, голосовал за официальное обращение конгресса, обнародованное ко дню годовщины вступления Италии

в войну. Социалисты, члены Нью-Йоркского городского управления, голосовали за отпуск кредитов на сооружение триумфальной арки для встречи возвращающихся с фронта войск, причем на этой арке в ряду других американских побед упоминалась и «победа при Мурманске». А между тем в это же самое время сотни рабочих томилась в тюрьме за то, что они пытались провести в жизнь намеченную в С.-Луи программу; социалистические собрания были запрещены, социалистические газеты были закрыты.

Построенная на синдикалистских началах, крупная организация неквалифицированных рабочих — «Индустриальные рабочие мира» — подвергалась жестоким преследованиям, несмотря на то что она официально ни разу не высказывалась против войны. Буржуазия инстинктом чувствовала всю опасность этой рабочей организации для нее. Хотя закон не давал никаких поводов для преследования этой организации, тем не менее с членами ее власти повсюду обращались самым возмутительным образом: их арестовывали, избивали и даже расстреливали. Пятьсот углекопов, состоявших членами этой организации и объявивших забастовку в Аризоне, были высланы в необитаемые местности под надзором стражников, состоявших на службе у капиталистов. Свыше ста вождей организации были приговорены к тюремному заключению на сроки от пятнадцати до двадцати пяти лет.

Ссылаясь на условия военного времени, буржуазия ввела белый террор. Закон о шпионаже, направленный против германских агентов, был использован для разрушения рабочих организаций, для ареста социалистов и пропагандистов из среды организованных индустриальных рабочих. За все время войны в исполнение закона о шпионаже было осуждено не более дюжины германских агентов, но зато тюрьмы были переполнены осужденными по этому закону тысячами американских социалистов, среди которых находились Дебс, Хэйвуд и многие другие. Мало-

помалу буржуазия настолько вошла во вкус репрессий, что стала преследовать даже консервативных лидеров социалистической партии, например, Виктора Бергера, Адольфа Гермера и других членов Национального исполнительного комитета, которые были приговорены к тюремному заключению. Автор настоящих строк подвергся двукратному осуждению на основании закона о шпионаже, причем один раз только за то, что он в своей речи цитировал статью из английской газеты «Манчестер гардиан».

Правительство разрешило также белогвардейским буржуазным организациям «задерживать германских шпионов». Организации эти состояли из фабрикантов, банкиров, студентов и приказчиков. Они носили различные названия, например, «Лига национальной безопасности», «Американская лига охраны», «Американское общество защиты», «Служители свободы» и пр. Все эти лиги частных лиц повели самую ожесточенную войну не только против революционеров, но и вообще против всех агитаторов-рабочих. Поставив себе задачей уничтожить все существующие рабочие организации, они терроризировали всех рабочих на фабриках и заводах, у них всюду были свои шпионы, и они добивались увольнения рабочих, проявлявших какую-либо деятельность в профессиональных союзах или партийных социалистических организациях. Рабочие должны были покупать заем свободы и делать пожертвования в пользу Красного Креста под страхом расчета; деревенские фермеры также подвергались бойкоту и разорению, если они отказывались покупать заем свободы, хотя бы причиною этого был недостаток средств.

Особенно жестокие репрессии обрушивались на рабочих-иностранцев, в особенности после русской революции. Был издан особый закон, предоставлявший правительству право высылать из пределов государства «каждого иностранца, который сам призывал или принадлежал к организации, призывающей к ниспровержению правительства или к упразднению собственности». На основании этого

закона сотни иностранцев-рабочих были высланы из Соединенных Штатов без суда и следствия, единственно лишь за то, что они были социалистами или членами организации «Индустриальные рабочие мира». Самыми опасными из всех иностранцев правительство считало русских рабочих. В Нью-Йорке были арестованы и преданы суду выходцы из России — четверо юношей и одна девушка — за издание листка, в котором правительство Соединенных Штатов, посылающее войска в Сибирь, обвинялось в ведении двуличной политики. Один из арестованных, Яков Шварц, был избит до смерти во время допроса в полицейском участке, а остальные четверо были приговорены к двадцатипятилетнему тюремному заключению. Полиция четыре раза устраивала набег на Русский народный дом в Нью-Йорке и совершенно разрушила всю его просветительную работу.

Буржуазная пресса открыла яростную провокационную кампанию против всякой рабочей и социалистической организации и пропаганды. Каждой забастовке она старалась придать характер насильственной попытки ниспровержения правительства. И общеамериканское правительство, и правительства отдельных штатов назначили особые следственные комиссии для выяснения того, что такое большевизм, причем для опроса в эти комиссии вызывались только отъявленные противники Советской власти и заведомые контрреволюционеры. Показания этих господ буржуазная пресса помещала на самом видном месте, с кричащими заглавиями, напечатанными трехаршинными буквами. В то же время управляющий почтовым ведомством задерживал совершенно произвольно пересылаемые по почте произведения социалистической и рабочей печати, причем его распоряжения никуда нельзя было обжаловать, да и сам он никому не обязан был давать отчет в своих действиях. Что же касается изданий, выходивших на иностранных языках, то они подвергались предварительной цензуре.

Созданная белым террором атмосфера репрессий дала капиталистам возможность разрушить почти все рабочие организации. Военно-рабочий комитет, представлявший собой учрежденную правительством примирительную камеру, находился под контролем либеральных деятелей и весьма сочувственно относился к интересам рабочих. Но, хотя учреждение это всецело опиралось на правительственную власть и постановления его были обязательны для всех, крупные капиталисты решительно отказывались считаться с этими постановлениями, тогда как рабочим в случае неповиновения грозил немедленный же призыв на военную службу, совершенно так же, как в царской России. Дошло до того, что требования профессиональных союзов совершенно перестали соблюдаться, и предприниматели начали заменять квалифицированных специалистов, получающих высокую заработную плату, неопытными и несведущими рабочими. Так, например, в союз металлистов входили только высокооплачиваемые опытные специалисты, в Бриджпорте, крупном центре производства предметов военного снаряжения, металлисты были объединены в очень крепкую организацию, но за время войны предприниматели набрали плохо оплачиваемых неопытных рабочих, исполнявших за то же время лишь четверть той работы, которую могли выполнить квалифицированные металлисты. Такие приемы предпринимателей сводили на нет всю деятельность когда-то столь сильных профессиональных союзов и лишали их всякого влияния. С другой стороны, несмотря на меры, принимаемые правительством, дороговизна жизни росла с каждым днем, так что даже повышенная во время войны заработная плата оказывалась недостаточной. Являлась необходимость постоянных изменений и поправок, и это порождало нескончаемые неудовольствия, зачастую выливавшиеся в форму забастовок.

Такие забастовки встречали к себе отрицательное отношение со стороны официальных представителей профессиональных союзов, занимавших высокие посты в пра-

вительственной военно-промышленной организации. Эти представители отлично понимали, что забастовки нового типа, объявляемые без разрешения официальных заправил союзов и возникающие на почве солидарности, могут повести к всеобщей забастовке и стать угрозой самому существованию профессиональных союзов, а следовательно, и существованию их заправил... В Американскую федерацию труда входит ведь до 150 профессиональных союзов, каждый из которых обладает целым штатом хорошо оплачиваемых служащих и заключает с работодателями особые договоры и соглашения.

Когда бастуют члены одного какого-нибудь союза, другие обыкновенно продолжают работать, иногда даже заменяют бастующих. Стремление к общим выступлениям, не считающимся с рамками отдельных профессий, к подчинению этих выступлений инициативе и контролю самих рядовых рабочих угрожало поэтому господству тред-юнионистской бюрократии, и вот последняя открыто перешла на сторону капиталистов и объявила войну «большевизму». Самуэль Гомперс призвал организованных рабочих к грандиозной кампании против большевизма, и целый ряд союзов, устроивших без разрешения официальных представителей забастовку с требованием повышения заработной платы, подвергся взысканиям и даже исключению из Американской федерации труда.

Белый террор не прекратился с окончанием войны. Напротив, он принял еще более ожесточенный характер. В Соединенных Штатах не существовало заранее выработанного плана восстановления и демобилизации промышленности, и в тот момент, когда было подписано соглашение о прекращении военных действий, вся военная промышленность сразу остановилась, тысячи рабочих оказались выброшенными на улицу. Одновременно с этим правительственное регулирование цен на предметы первой необходимости было отменено, и стоимость всех этих предметов одним скачком повысилась до невероятных разме-

ров. Множество предприятий, особенно в текстильной промышленности, сразу же понизили заработную плату, и рабочие оказались вынужденными прибегнуть к забастовке, которую они проводили без поддержки со стороны профессиональных союзов и зачастую даже вопреки их официальным постановлениям.

Предприниматели, воспользовавшись застоем, последовавшим за окончанием войны, провоцировали рабочих на забастовку для того, чтобы окончательно добить их. В то же самое время белогвардейские организации, утратившие уже свой официальный характер, стали делать все, что было в их силах, чтобы еще больше запугать рабочих. Вернувшиеся с войны солдаты, многие из которых не могли найти себе работы, нанимались для того, чтобы срывать социалистические митинги и совершать налеты на помещения партийных учреждений. Большие банды таких подкупленных пьяных солдат окружали социалистические собрания и избивали всякого, кого они считали социалистом. Частные сыщики и полицейские, нанятые организациями капиталистов, принялись за осуществление целого плана убийств рабочих — агитаторов и организаторов.

Как только был восстановлен мир, капиталисты поспешили легализовать белый террор. В большинстве городов и во многих штатах запрещено теперь под страхом строгого наказания вывешивать красные флаги. В шестнадцати штатах введен закон, наказывающий долгосрочным тюремным заключением всякого, «кто будет призывать к ниспровержению правительства или к упразднению частной собственности, равно как и того, у кого будут найдены какие-либо воззвания или газеты, призывающие к подобным действиям». Том Муни, невиновность которого была неопровержимо установлена, до сих пор томится в тюрьме, будучи приговорен к пожизненному заключению, а убийцы Фрэнка Литтла, одного из основателей организации «Индустриальные рабочие мира», так и остались ненаказанными. Капиталисты из медного треста, самовольно ссылав-

шие бастовавших членов организации «Индустриальные рабочие мира» в пустыни Аризоны, до сих пор находятся на свободе. Сотни социалистов и членов названной организации содержатся в тюрьмах и подвергаются пыткам и зверскому обращению. Многие умерли в тюрьме, многие покончили самоубийством, многие сошли с ума. И, сбросив наконец маску, американское правительство посылает теперь войска для борьбы с забастовщиками...

Вопрос о том, насколько пробудилась уже сознательность среди американских рабочих, будет рассмотрен нами в следующей статье.

*Коммунистический Интернационал,
1919, № 7-8, с. 1017—1022*

ПОЛОЖЕНИЕ И БОРЬБА НЕГРОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

*Речь на заседании
II конгресса Коминтерна,
состоявшемся в Москве
26 июля 1920 г.*

В Америке живут десять миллионов негров, сконцентрированных главным образом в южных штатах, но за последние годы многие тысячи из них переселились на Север. На Севере негры заняты в промышленности, в то время как большинство негров на Юге — сельскохозяйственные рабочие или мелкие фермеры-арендаторы. Положение негров, особенно в южных штатах, ужасно. Они лишены всех политических прав. Пятнадцатая поправка в конституции Соединенных Штатов предоставляет неграм полное право гражданства. Но тем не менее в большинстве южных штатов негры лишены этих прав. В других штатах, где по закону негры имеют право голоса, они не осмеливаются использовать это право.

Негры не могут ездить в одном вагоне с белыми, посещать одни и те же гостиницы и рестораны или жить в одних и тех же кварталах в городах. Существуют отдельные, и притом худшие, школы для негров, отдельные церкви. Эта система обособления негров называется «системой Джим Кроу», и духовенство в церквях юга проповедует рай по «системе Джим Кроу». В промышленности негры работают в качестве неквалифицированных рабочих. До недавнего времени они не допускались в большинство союзов, входящих в состав Американской федерации труда (American Federation of Labor). Индустриальные рабочие мира, разумеется, организовывали негров. Но старая социалистическая партия не предпринимала никаких серьезных попыток к организации их. В некоторых штатах негры вообще не принимались в партию, в других они были выделены в специальные секции, а в партийных уставах южных штатов, вообще говоря, запрещалось тратить партийные средства на пропаганду среди негров.

На Юге негр вообще бесправен и не пользуется защитой закона. Белые могут безнаказанно убивать негров. «Великое достижение» белых Юга — это линчевание негров. Это — убийство, совершаемое толпой, причем обычно негра обмазывают нефтью, подвешивают к телеграфному столбу и затем сжигают. Все население города — мужчины, женщины, дети — сбегается на это зрелище и уносит домой «на память» клочки одежды и мяса замученного негра.

У меня слишком мало времени, чтобы изложить здесь исторические корни негритянского вопроса в Соединенных Штатах. Негры — потомки рабов, освобождение которых явилось лишь военной мерой во время Гражданской войны, когда они были еще совершенно не развиты в политическом и экономическом отношениях; затем им предоставлены были полные политические права для того, чтобы вызвать на Юге ожесточенную классовую борьбу, которая

задержала бы там развитие капитализма, пока капиталисты Севера не захватят все ресурсы страны.

До недавнего времени негры не проявляли никакого активного национального самосознания. Первое пробуждение их произошло после испано-американской войны, в которой черные полки сражались с чрезвычайной храбростью и после которой они вернулись с сознанием своего равенства с белыми солдатами. До тех пор единственное движение среди негров было нечто вроде полуфилантропического просветительного движения, которое возглавлялось Букером Т. Вашингтоном и поддерживалось белыми капиталистами. Это движение выражалось в создании школ, которые должны были воспитывать негров послушными рабочими и внушать им чувство примирения с участью угнетенного народа. После испано-американской войны среди негров возникло сильное движение за реформы, выдвинувшее требование социального и политического равенства с белыми. С началом мировой войны полмиллиона негров, наемных в американскую армию, были отправлены во Францию; там, находясь в общих частях с французскими солдатами, они внезапно очутились на положении равных в социальном и во всех других отношениях. Американский генеральный штаб обратился к французскому главному командованию с требованием не допускать негров в места, посещаемые белыми, и обращаться с ними как с низшими. После войны, усвоив этот опыт, негры, из которых многие получили ордена за храбрость от французского и бельгийского правительств, вернулись в деревни Юга, где многие из них подверглись суду Линча за то, что осмелились появиться на улицах в мундирах и при ордепах.

В то же время среди оставшихся в Северо-Американских Соединенных Штатах негров возникло сильное движение. Они тысячами переселялись на Север, стали работать в военной промышленности и вошли в соприкосновение с бурлящим потоком рабочего движения. Высокие ставки

все же отставали от невероятного вздорожания предметов первой необходимости. Кроме того, негры восставали гораздо сильнее против интенсификации труда, против безжалостного подстегивания в работе, чем белые рабочие, которые давно уже привыкли к этой ужасной эксплуатации.

Негры объявили стачку вместе с белыми рабочими и очень быстро осознали единство своих интересов с интересами промышленного пролетариата в целом. Они оказались чрезвычайно отзывчивыми на революционную пропаганду. В это время был основан журнал «Messenger», редактировавшийся молодым негром-социалистом Рандольфом. Журнал соединял социалистическую пропаганду с призывами к расовому самосознанию негров и к организации самозащиты от зверских нападений белых. Но в то же время этот журнал настаивал на самом тесном союзе с белыми рабочими, несмотря на то что они иногда принимали участие в негритянских погромах. Журнал подчеркивал, что расовый антагонизм белых и черных поддерживают капиталисты в своих интересах.

Возвращение армии с фронта сразу выбросило четыре миллиона белых рабочих на рынок труда. Это вызвало безработицу, и нетерпение демобилизованных солдат приняло такие угрожающие размеры, что предприниматели, чтобы направить это недовольство по другому руслу, были вынуждены заявить солдатам, что их места заняты неграми; тем самым они провоцировали белых рабочих на резню негров. Первая из этих вспышек произошла в столице страны, в Вашингтоне, где мелкие чиновники правительственных учреждений, вернувшись с войны, нашли свои места занятыми неграми. Эти чиновники были в большинстве южане. Они организовали ночные налеты на негритянские кварталы, чтобы при помощи террора вытеснить негров с занимаемых ими должностей. К всеобщему удивлению, негры вышли на улицу хорошо вооруженными, за-

вязался бой, и негры сражались так, что на каждого убитого негра пришлось трое белых. Несколько месяцев спустя вспыхнула резня в Чикаго, которая продолжалась несколько дней, причем было много убитых с обеих сторон. Еще позже произошла третья резня в Омаа. Во всех этих схватках негры впервые показали, что они вооружены, хорошо организованы и совершенно не боятся белых. Это сопротивление, оказанное неграми, повлекло за собой, во-первых, запоздалое вмешательство правительства и, во-вторых, открытие доступа негритянским рабочим в профессиональные союзы Американской федерации труда.

У самих негров выросло в огромной степени расовое самосознание. Среди негров возникло и существует течение, выступающее за вооруженное восстание против белых. Вернувшимися с войны негритянскими солдатами были всюду организованы общества самозащиты для борьбы с белыми любителями суда Линча. Отмечу здесь, что коммунисты, решительно поддерживая негритянское движение самозащиты, одновременно должны высказаться против идеи сепаратного вооруженного восстания негров. Многие думают, что негритянское восстание подало бы сигнал к всеобщей революции в Америке. Но мы знаем, что без поддержки белого пролетариата такое восстание было бы лишь сигналом к контрреволюции.

Тираж «Messenger», тон которого становился все более смелым, увеличивался, и в настоящий момент он ежемесячно распространяется в ста пятидесяти тысячах экземпляров. В то же время социалистические идеи пускают ростки и быстро распространяются среди негров, занятых в промышленности.

Как угнетенный и порабощенный народ, негры выдвигают перед нами двойную задачу: с одной стороны, среди них развивается сильное расовое и социальное движение, с другой — сильное рабочее движение с быстро растущим

классовым сознанием. Негры не предъявляют требования национальной независимости. Всякое движение, стремящееся к самостоятельному национальному существованию, не пользуется среди них успехом, как, например, движение «пазад в Африку», которое существовало несколько лет пазад. Они считают себя прежде всего американцами, родина которых — Соединенные Штаты. Это во много раз упрощает задачу коммунистов.

Политика американских коммунистов по отношению к неграм должна заключаться в том, чтобы рассматривать их прежде всего как рабочих. Сельскохозяйственные рабочие и арендаторы Юга ставят перед нами такие же задачи, как и белый сельскохозяйственный пролетариат, несмотря на то что отсталость негров очень велика. Среди негритянских промышленных рабочих Севера можно вести коммунистическую пропаганду. Как на Севере, так и на Юге нужно стремиться к организации негров в общих союзах с белыми — это лучший и самый быстрый способ уничтожения расовых предрассудков и развития классовой солидарности.

Но коммунисты не должны стоять в стороне от движения негров за социальное и политическое равноправие, которое теперь, в момент роста расового самосознания, широко распространяется среди негритянских масс. Коммунисты должны использовать это движение, чтобы показать бессодержательность буржуазного равенства и необходимость социальной революции, не только освобождающей рабочих от рабства, но и являющейся единственным средством освобождения негров как угнетенного народа.

Протоколы конгрессов Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна, июль — август 1920 г. М., 1934, с. 107—110

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

*Из статьи,
опубликованной
в журнале «Коммунист»,
официальном органе Объединенной
коммунистической партии Америки,
№ 10 за 1921 г.*

«Отличительной особенностью II конгресса было участие в нем многочисленных истинных пролетариев, настоящих рабочих-борцов — участников забастовок, защитников баррикад и активных руководителей национально-революционного движения в отсталых и колониальных странах. Спартаковцы из Германии, синдикалисты Испании, члены ИРМ из Америки, руководители венгерских Советов и Венгерской Красной Армии, английские «шоштюарты» и представители от рабочих комитетов промышленного района на реке Клайд, голландские транспортные рабочие, индийские, корейские, китайские и персидские повстанцы, ирландские шинфейнеры и аргентинские докеры-коммунисты, австралийские «уоббли». У всех этих людей не было ясного представления о коммунизме, их понятия о диктатуре пролетариата, парламентаризме и необходимости политической партии были совершенно различны, но их приветствовали как братьев по революции, как лучших борцов рабочего класса, как товарищей, которые готовы умереть ради свержения капитализма. И почти все они покидали Москву убежденные, что коммунистическая партия необходима...

Первым решением конгресса, направленным на централизацию и усиление дисциплины, было решение о переименовании наших партий в коммунистические партии, основанные на демократическом централизме; о чистке рядов партий от оставшихся в них оппортунистов и реформистов; о том, чтобы на руководящих постах в них находились только испытанные и надежные коммунисты...

Одним из самых интересных вопросов повестки дня конгресса был национальный и колониальный вопрос. Председателем комиссии, занимавшейся этим вопросом, был сам Ленин. Комиссия дала подробный и исчерпывающий анализ развития национально-освободительного движения...

Конгресс Коминтерна принял решение о принципиальной возможности перехода к социализму отсталых и зависимых стран, о том... что эти страны могут перейти к коммунизму, минуя капитализм. Это является важным шагом в развитии теории социализма. В нем проявилась разница между II и III Интернационалами, заключающаяся в решимости последнего приступить к действию, вести революционную работу на Востоке и таким образом нанести самый сокрушительный удар мировому империализму со стороны зависимых стран — оплота его могущества...

Этот конгресс был единственным в своем роде во всей истории человечества. Рассказы о том, как делегаты добивались до России через бесчисленные линии фронта, преодолевая песляханные опасности и трудности, — один американец, член ИРМ, совершил путешествие вокруг света и под конец прошел пешком пятьсот миль через пустынные горы Маньчжурии — это самые волнующие рассказы, которые когда-либо приходилось слышать. Многие по пути погибли: одни были расстреляны, злодейски замучены, другие арестованы, брошены за решетку, высланы и так не добрались сюда.

...Советская Россия «по-королевски» приняла делегатов. Когда они проезжали через различные города, население выходило встречать их со знаменами, оркестрами, с пением «Интернационала». Никогда не забудутся почести и любовь, высказанные по отношению к иностранным делегатам, истинное уважение, благодарность и добрые чувства, проявленные рабочими и крестьянами... В рамках статьи невозможно описать громадную демонстрацию в

Петрограде, когда огромные массы народа, подобно бурному потоку, текли по широким улицам...

Или же продолжавшаяся весь день демонстрация в Москве, в которой приняли участие триста тысяч человек и во время которой перед делегатами проходили строем приветствовавшие их вооруженные пролетарии, счастливая детвора, бесконечные ряды пролетарской молодежи, призванной во всеобуч, двадцать пять тысяч физкультурников, полуобнаженных, с красивым загаром, которые позднее показали на огромном поле упражнения с флажками; аэропланы и дирижабли над древним городом, где под старой Кремлевской стеной, служившей когда-то защитой царям, у братской могилы героев революции стояли делегаты конгресса, а перед ними бесконечными рядами с песнями проходили рабочие организации и отряды Красной Армии.

...Пленарные заседания конгресса проходили в громадном тронном зале царского дворца в Кремле. Здесь собралось большинство революционеров, известных рабочим всего мира...»

*The Communist. Official organ
of the Communist Party
of America, 1921, N 10*

*Печатается по:
Правда, 1970, 19 июля*

СТИХОТВОРЕНИЯ

ФЕРМОПИЛЫ

Я стою под древним небом,
Глядя вниз с горы отвесной.
Там застыла тень густая —
Тень гробницы Леонида.
Вновь волна идет на приступ,
Чтоб обрушиться на скалы,
Вновь, как прежде, войско персов,
В бой гонимое кнутами,
Катится могучим валом,
Чтобы, налетев, разбиться
О железный строй спартанцев.
Как волна, скалы не сдвинув,
Отползает вспять со злобой,
Так и персы, павши духом,
С уязвленной гордыней
Отступают в беспорядке
И зализывают раны.
Вновь храбрейших из спартанцев
Леонид ведет на битву,
Сдерживая грозный натиск —
Натиск сотни сотен персов.
Вновь напев пеана гордый,
И мечей тяжелый грохот,
И сражающихся крики
В гимн сливаются Арею.
Вдруг враги заходят в спину,

*Веди корвет на Сидней,
Два фута под килем!
Аннета, Гретхен, Изабель,
Мы скоро к вам придем.
Нас много спит у мыса Горн
На темном дне морском,
Но сын бродяги-моряка
Будет моряком!*

The Century, 1913, March

*Печатается по:
Литературная Россия,
1968, 26 января, № 5(265), с. 18*

ПОЛДЕНЬ

Глаз пустых калейдоскоп,
Пыльных улиц мишура,
Лязг железа по камням
И — жара, жара!

В скачке полдня, в толкотне,
В духоте спешу домой.
Конь срывается, хрипит,
Будто голос мой.

А над улицей глухой
(Я не спятил ли, скажи?) —
Там, на крыше, вокруг трубы
Пляшут миражи.

Эй, девчонки, что у вас
В час обеденный стряслось?
Пляшет в солнечных лучах
Золото волос.

И хохочет, и поет
Сарабанда в вышине.

Лишь осколки миража
Падают ко мне.

Пляшут прачки в небесах,
Позабыв про мыльный чад,
Как пылинки с мостовых
В солнечных лучах.

The Collier's, 1913, July 26

Печатается по:
Литературная Россия,
1968, 26 января, № 5(265), с. 18

ТУМАН

Смерть не придет неожиданно,
Я знаю ее в лицо,
Кольцо
невесомых призраков
Неслышно скользят
из тумана.

Парусом бездыханным
Земля повисла во мгле.
И мне
не понять, где день,
где ночь,
И слепнуть, дыша туманом.

В этом призрачном дрейфе
Рука моя, как весло.
И, словно
каменные слоны,
В тумане плывут деревья.

И гаснет понемногу
Лицо твое, как свеча.
Ты чья?

Мы держимся за руки,
Но, господи, как одиноко!

Капли на спелых вишнях,
Птицы, трава и любовь
Вновь

оживают в моих глазах,
Как сны о бурях утихших.

Но — пустынна дорога!
Кому молиться, кому?
Во тьму

я лечу, где только — тьма
И где нет ни черта, ни бога.

Пылают огни и звуки.
В НИЧТО устремляю взгляд.
И гудят,

как в туманном море,
Колокола разлуки.

The Scribner's, 1919, August

*Печатается по:
Литературная Россия,
1968, 26 января, № 5(265), с. 18*

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД

Без сна лежал я прошлой ночью.
Я был зажат в тисках тоски.
Дождя тугие многоточья
Да паровозные гудки.

Мельканье — света переливы —
Встают и меркнут города...
Но всей душой нетерпеливой
Я неизменно рвусь туда,

Где темных башен силуэты,
Вершин неровные края
Озарены огнем рассвета...
Манхэттен! Кровь и жизнь моя!

Манхэттен! Мой жестокий, юный,
Моложе многих городов,
Железный баловень фортуны,
Я жизнь отдать тебе готов.

Манхэттен! Лживый и недужный,
Предатель душ, губитель тел,
В цепи сверкающей, жемчужной,—
Я лишь с тобою быть хотел.

Я знаю: городской богине
Желанны жертвы. Неспроста
Над городом парят отныне
Две сильные руки Христа.

О, если б отыскать мне слово,
Чтоб пламя разбудить в крови,
Всегда угрюмой и суровой,
Зажечь огонь земной любви.

О, если б отыскать мне слово,
Чтоб отомкнуть ее уста
И сбросить все ее покровы:
Пусть засияет нагота!

*The Education of John Reed,
Selected Writings.
N. Y., 1955, p. 107*

*Печатается по: Советская культура,
1985, 14 сентября*

МЯТЕЖ

Мы к любви постепенно остыли,
Ибо страсть есть порок, это важно.
Тонкий вкус, как всегда — вот для
 правды узда,
И само правосудье продажно.
Будет мир: мы боимся сражений.
Типш да гладь: каждый вызов опасен.
В здоровом смысле — опора, основание
 забора....
Право, этот ли век не прекрасен?

Даже молодость ищет комфорта,
В дураках опасаясь остаться.
Надо жить, если можно, с тактом
и осторожно:
Спорить с властью не стоит пытаться.
Можно выпить, но помните меру,
Знайτε женщин, но главное — касса...
Мысль течет без усилий только так,
как учили.
Право, это ль не дивная раса?

К прихожанам добра и любезна
 Наша церковь Всеобщих запретов:
 Как само совершенство, сеет свет
 и блаженство
 И обилие братских советов.
 В воскресенье на сердце спокойно,
 Все устроено чисто и строго,
 Все пристойно, беззлобно... Чрезвычайно
 удобно
 Под защитой разумного бога!

Мир, состоящий из пепельно-серых
тонов

возле тяжелой каменной кладки,
бросающей черную тень.

За спиною у меня
холм свернулся, словно лев;
желтый камень на его груди —
точно отблеск живой весны.

И застыли в причудливых позах
ряды богов из алебаstra,
руки сложив на коленях,
словно индийские идола
возле гробниц королей.

Медленная мелодия марша
бледно-розовых,
оливково-зеленых,
белых пластов плоского льда внизу —
словно увядшие лилии,
словно след дыхания на зеркале,
словно краски, едва различимые сквозь
туман —

в жидком холодном свете зимнего дня
неподвижные, бесцветные, мертвые.

И, глядя на старые борозды,
следы прошлогоднего плуга,
на одинокие домики, оперенные сизым
дымом,

на тощий скот, замерзший на ветру,
на уныло ковыляющих людей,
на бледные лица женщин за окнами
домиков,

я подумал: не это ли смерть —
эта протяжность, бесплодие
и бесконечность?

Камни, трава да изнурительный труд
высосали жизнь из этих мест.

Души, придавленные к земле,
не познавшие вдохновенья,
мозги, омертвевшие от монотонности,
неспособные больше мыслить...
Бескровные поля утратили плодородие
после частых вспашек.

*Reed J. Collected Poems,
N. Y., 1985, p. 97—98*

*Печатается по: Советская культура,
1985, 14 сентября*

АМЕРИКА, 1918

За океаном моя страна, моя Америка,
Опоясанная сталью, бряцающая оружием,
Выкликающая громким голосом
Высокие слова: «За Свободу... За Демократию...»

Глубоко во мне что-то дрогнуло, откликается
(Моя страна, моя Америка!) —
Как будто высокой и пустой ночью
Она зовет меня — моя потерянная, моя первая,
Моя разлюбленная, разлюбленная, разлюбленная...
Облачная тень былой нежности,
Призрак прекрасного безумия — много смертей
И доступное бессмертие...

1

По своему привольному детству на просторном
Западе,
Мощной милой реке, шлепанью паровых колес,
запаням и плотам,
Кораблям, приплывавшим с Заката с цветною
командой,
китайским кварталам, гудящим таинственным
гонгом,

Глубокому грохочущему океану, победоносным
закатам,
Черным обугленным лесам на омытых прибоем
утесах,
Затерянными бухтами, ночевкам в глуши,
мяуканью кугуаров...
По волнистым хребтам и плоской выжженной степи,
По ночному плачу койотов под звездами
осыпанным сводом,
По серым стадам, движущимся на восток,
вздымая столб пыли,
По свисту и щелканью бича, шлепанью шляп,
визгу и крику,
По милям желтых пшеничных полей на склонах
Чинука,
По бесконечным, вечно цветущим садам,
Зелено-золотым апельсиновым рощам, снеговым
вершинам на горизонте...
По хвастливым, задиристым городам, возникшим
из ничего,
Бранчливым и буйным в своей беспечной юности...
Я знаю тебя, Америка.

Рыбаки, выходящие в море из Астории туманным
рассветом в остроносых двойных челнах,
Поджарые пастухи, трусящие на юге к Бэрису,
их молчаливые лица, выдубленные солнцем,
Жилистые пожилые старатели, плетущиеся
за упрямыми мулами по солончакам Невады,
Охотники, продирающиеся в сумерках сквозь
заросли к обрыву каньона,
Ворча скидывающие свой пятидесятифунтовый
вьюк на месте ночевки,—
Лесные объездчики на голой вершине,
высматривающие дымок лесного пожара,

Тормозные в больших рукавицах, шагающие
на ходу поезда по крышам товарных составов,
зажав в руке гаечный ключ, а другой запихивая
в рот порцию жвачки,
Сплавщики леса, в подкованных сапогах,
с баграми в руках, проталкивающие затор
на порогах,
Индийцы на перекрестке в Покателло,
выщипывающие, глядя в карманное зеркальце,
бородку щипцами,
Или в поселках Сиу, сидящие на корточках
перед фонографом, слушая пенье Карузо,
Горластые горняки из Аляски, вдребезги
разносящие зеркала, швыряющие лакеям за
порцию виски золотой — и без сдачи,
Содержатели дансингов в поселках новых
строительств, содержатели баров, проститутки,
Бродяги, разъезжающие на буферах, уоббли¹,
распевающие свои задорные песни, не страшась
самой смерти,
Шулеры и коммивояжеры, дровяные, хлебные,
мясные короли...
Я знаю вас, американцы.

2

По своей дерзкой юности в золотых городах
Восточного побережья:
Гарвард... муки роста, упоенье расцвета,
Чары книг, чары дружбы, культ героев,
Угар танцев, бури большой музыки,
Радость расточения и впервые осознанных сил...
Буйные ночи в Бостоне, стычки с полисменами,

¹ Уоббли — прозвище членов организации Индустриальные рабочие мира.

Уличные знакомства, увлекательные похождения...
Зимние купанья со льда набережной Эл-Стрит
Просто как встряска для крепкого тела...
И огромный стадион, вздымающий сердца тысячи
зрителей
Оглушительным ревом ритмических песен
и выкриков,
Когда Гарвард забивает гол Йелю... По этому,
по этому
Знаю тебя, Америка.

По городу Нью-Йорку, по нагроможденным
людьми Маттергорнам,
По четкому синему небу и резкому западному ветру,
И клубам дыма над позолоченными шпилями,
И глубоким улицам, сливающимся в мощную реку...
...Величаво Пятое авеню, Фазанья улица,
улица Флагов.
Нескопцаемое шествие пышных куртизанок,
Фантастические краски, блеск шелка и серебра,
изнеженные собачонки,
Процессии автомобилей, похожих на футляры
для драгоценностей,
Торжественный полисмен на перекрестке, рука его
в желтой перчатке,
Особняки, гигантские отели, старики в окнах
клубов,—
Потогонные мастерские отгрыгивают свои бурые
полчища в полдень...
Парады, волны мундиров на целые мили,
Оркестры грохочут посреди черных замерших толп...
Бродвей, словно потоком лавы прорезавший город,
Как увенчанный снопом искр, раскидываемый
костер,

Сияющие театры, паглые рестораны, запах пудры,
Кино-дворцы, коммиссионные магазины,
 поддельные бриллианты,
Хористки, обивающие пороги театральных бюро
 по найму,
Музыкальные аттракционы выколачивают фокстрот
 разом на тридцати пиаполах,
И весь лихорадочный мир румян и фрачных
 пластронов...

Старый Грипвич-вилледж, цитадель дилетантов,
Арена всех несовершеннолетних Утопий,
То ли доморощенный Монпарнас, милый сердцу
 любителей трущоб и притонов,
То ли святилище отверженных и недовольных,
Свободное содружество художников, моряков
 и поэтов,
Женщин легкого поведения, звездочетов, бродяг
 и лидеров стачек,
Актрис, натурщиц, людей без имени или
 скрывающих имя,
Скульпторов, которые служат лифтерами
 за кусок хлеба,
Музыкантов, которые служат таперами в кино...
Тяжко работая, с шиком кутя, чаще всего молодые,
 чаще всего неимущие,
Играющие в искусство, играющие в любовь,
 играющие в мятеж
В зачарованных пределах этой фантастической
 республики...

.
Ист-Сайд: миры в этом мирке, хаос народов,
Прибежище неприкаянных племен, последний
 и наихудший
Из портов Западной Одиссеи человечества...

На рассвете изрыгающий поток машинного
мяса,
На закате всасывающий его с ужасным
скрежещущим звуком
В звериные логова дешевых квартир, в мишурную
роскошь златных мест...
Подростки торчат у входа в салун, затягиваясь
дешевой папироской,
Заигрывая с девицами в коротких юбочках, которые
гуляют парами, визгливо хихикая,
Пробираясь сквозь орду ребятишек, копошащихся
на заплыванной мостовой,
Играющих со смертью под копытами ломовых
лошадей.
Высохшие женщины, которые орут и на них, и друг
на друга на гортанных наречьях,
Старики, тесно усевшиеся в ряд на ступеньках,
без пиджаков, с вечерней трубкой в зубах,
Факелы лоточников, которые своим заревом
освещают кольцо чужеземных лиц...

Я свой в полумгле румынских кабачков,
Пульсирующей страстными ритмами желчных
цыган-скрипачей...
В кафе на Грэнд Стрит — пристанище еврейских
философов,
Романистов, читающих новые главы романа,
собирая по медяку с каждого слушателя,
Драматургов, инсценирующих газетные заголовки,
поэтов, немых для глухой Америки...
Фенианские салуны, зеленый флаг и облигация
Займа Ирландской Республики в рамке над
стойкой,
Итальянские ресторанчики, киапти и неожиданные
тенора,

Армянские шашлычные, увешанные восточными
коврами родом из Нью-Джерси,
Горбоносые усачи пенчутся над чашкой густого
кофе, перебирая черные четки...
Немецкие Bier Stuben, размалеванные жирными
буквами изречений,
Французские кафе с щеголеватой кассиршей,
Греческие кофейные, китайские закулочные,
их презрительные косоглазые прислужники...

.
Бауэри: лотки старьевщиков, заплеванный пол
промоглых пивнушек,
Купер Сквер: в белесом предрасветном мареве
сотни тел
Уснувших бездомных... десятицентовые углы
по трущобам,
Где опустившиеся бродяги тупо обирают вшей,
сидя вокруг докрасна раскаленной печурки...
Вспугнутые рассветы под истерическим грохотом
мостов на Ист-Ривер,
И Саут Стрит, еще хранящая пряный запах давно
отчаливших парусников с востока...

Дорог и близок и незабываем этот город,
Как лицо матери...
Сити Холл: никогда не утихающий водоворот
семи миллионов,
Заглушенный грохочущим приливом и отливом
Бруклинского моста,
Человеческий водопад с надземки и гейзеры
из станций подземки...
Высокие жужжащие здания редакций, освещенные
до самой зари,
Полчища мальчишек-газетчиков, как пыльные
воробьи,

Плещутся, несмотря на запрет, в бассейнах
фонтанов... бродяги спят в далеко отброшенной
тени легендарных небоскребов...
Бэттерп: прохлада с моря, у подножья раскаленных
каменных глыб,
И гулкие большие суда, уходящие далеко в море,
Приземистые завывающие паромы, баржи, набитые
вагонами, орлиногрудые буксиры,
Желтая пена над гребнем волны, крикливые чайки,
кружащие над водой,
И Статуя Свободы — гигантская, угрожающая,
пад месивом пароходов,
И прижавшийся к ней Эллис Айленд, чистилище
«Страны Свободных»...

Экзотический Черный город, верхнее Амстердам
Авеню,
Черный, чувственный беспечный парод, которого
сторонятся белые,
Кабачки Черного города, его всемирно известные
джаз-оркестры...
Сентрал Парк: элегантные авто, мурлыкающие
вдоль аллей,
Лощеные всадники, колясочки наследников
денежной знати,
На скамейках влюбленные пары беспокойно
целуются, поглядывая, нет ли вблизи
полисмена,
И задыхающиеся трущобы выплескиваются сюда
в летние знойные ночи, чтобы уснуть на лужайках;
Гарлем — второсортный Нью-Йорк, чуть-чуть
подешевле,
Бронкс — гетто вторых поколений, шелудивая
поросль новых трущоб,
Большие зеленые парки и зубчатая кромка окраин...

Дорог и близок и всегда нов для меня этот город,
Словно тело любимой...

Все звуки — жесткий лязг надземки, грохотанье
подземной,
Постукивание дубинки почного полисмена,
Жалобный монотонный звук шарманки, кваканье
автомобильных гудков,
Пулеметная дробь клепальщиков небоскребов,
Приглушенные взрывы глубоко под землю,
Однотонные выкрики газетчиков, пронзительно-
быстрый звон карет скорой помощи,
Низкие, нервные гудки гавани
И густое шарканье миллионноногой толпы...

Все запахи — запах дешевой обуви, подержанного
платья,
Голландских булочных, воскресных закусочных,
кошерной стряпни,
Кислый запах влажной газетной бумаги вдоль
по Парк-Роу,
Подземка, пахнущая гробницами Рамзеса Великого,
Усталый пыльно-аптечный запах толпы
И промозглая вонь из трущобных лачуг...
Люди — жесткоглазые менялы, играющие
империями,
Смуглые, дерзкие чистильщики сапог, озирающиеся
продавцы,
Темнолицые пекари в белых колпаках, пекущие
оладьи, видны в окна закусочной Чайлдса,
Изможденные швейники, перхающие на скамейках
парка под скупым мартовским солнцем,
Вяло следя за струей фонтана, глотая горсть
земляных орехов на завтрак,

Кровельщик, едва различимый на шпигле башни
Вульворса,
Страховая сестра, торгующаяся за каждый цент
с безработным,
Измученные ворчливые кондукторы,
сентиментальные футболисты,
Подметальщики на грохочущих магистралях,
изрыгающие божбу ломовые,
Испанцы-грузчики, нагромождающие горы товаров,
впалоглазые ткачихи,
Клепальщики, подхватывающие раскаленные
закленки высоко в сквозной паутине балок,
Проходчики плывунов в шипящих кессонах под
Норс-Ривер, потные землекопы в траншеях,
бурильщики, рвущие дипамитом гранит
глубоко под Бродвеем,
Боссы за кружкой пива, обсуждающие планы
своих тайных махинаций,
Охрипшие пропагандисты на Юнион-Сквер,
призывающие к упорной борьбе,
Бледные, изпуренные кассиры универмагов,
дети из мастерских бумажных цветов,
заморенные работой в душных мансардах,
Принцессы — стенографистки и маникюрши,
жующие смолку с величием королей,
Сутенеры, сводни, уличные девки, спекулянты,
provokatory, вышибалы...

Все занятия, племена, темпераменты, мировоззрения,
История, перспективы, романтика,
Америка... и весь мир...

The New Masses, 1935, October 15

Печатается по:
Слышу, поэт Америка. Поэты США.
М., 1960, с. 73—83

ПИСЬМО К ЛУИЗЕ¹

Водопады света
В дом влетевший шмель
Первое цветенье ивы
Майских яблонь пежный снег
Долгие разливы рек
Ветра влажные порывы
И дождя пастель
Слиты в песне этой

Вспоминаю часто
Ясный смелый взгляд
Чистый как озер глубины
Если бы свет весны угас
Все равно в заветный час
В час свидания с любимой
Трепетом объят
Был бы я от счастья

Дел пчелиный танец
Дней тяжелый бег
Мотыльком лечу во сне я
Как к цветку к ее груди
Знаю — радость впереди
Найву я встречу с нею
Встречусь — и вовек
Больше не расстанусь...

*The Education of John Reed.
Selected Writings. N. Y., 1955, p. 223*

*Печатается по:
Иностранная литература,
1986, № 5, с. 245*

¹ Речь идет о Луизе Брайант (настоящее имя Анна Могэн).—
Прим. сост.

ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ

Мне двадцать девять лет, и я знаю, что заканчивается целый период моей жизни — молодость. Иногда мне кажется, что одновременно уходит молодость всей нашей планеты: несомненно, мировая война заметно сказалась на всех нас. Но в то же время это и начало нового жизненного этапа; мир, в котором мы живем, меняется так быстро, так многоцветен и полон событий, что я еле сдерживаюсь, чтобы не воображать прекрасные и страшные возможности грядущего. За последние десять лет я объездил всю землю, впитывал опыт, боролся и любил, видел, слышал и ощущал события. Я путешествовал по всей Европе и к границам Востока, ездил в Мексику — и всюду со мной случались приключения; я видел убитых и сломленных людей, окрыленных победой и смеющихся, людей проникательных и с чувством юмора. Я видел жизнь, как изменялась цивилизация, развиваясь и расцветая, я видел, как она увядала и гибла в багровом зареве войны. Войну я тоже видел — из окопов, на фронте. Мне еще не совсем надоело смотреть, но я знаю — скоро надоест. Моя жизнь будет не такой, как была. И поэтому я хочу на минутку остановиться, оглянуться и сориентироваться.

В детстве я почти все время болел, был слабым и до шестнадцати лет по-настоящему хорошо себя не чувствовал. С самого детства, сколько я себя помню, вся жизнь моя была сплошной игрой воображения: расплывчатые понятия красоты, которые выливались в длинные стихотво-

рения, смена страха, нежности, боли. Затем наступил период бурных чувств, во время которого я наделял некоторых девушек добродетелями Жиневры, а над школьной футбольной площадкой мне являлись в небе Галахад и Сангрель¹. Бешеная энергия, клокотавшая во мне, швыряла меня в круговорот физических и умственных занятий без всякого разбора; правда, я был уверен, что стану великим поэтом и прозаиком. Осознав это, я стал еще более подвижным и непоседливым, еще более честолюбивым и властолюбивым, менее экзальтированным, стремясь всюду успеть; жизнь стала любимой кинокартиной, о которой думалось лишь в минуты блестящего озарения и которая представлялась сплошным чувством и ощущением. Теперь, когда мне почти тридцать, часть этой сверхизбыточной жизни исчезла, а вместе с ней и радость от того, что просто живешь. Большую часть моих убеждений изменила мировая война. Серьезная операция ослабила меня. Кое в чем, полагаю, я разобрался, но в остальном — я там, откуда начинал, — в вихре образов...

Мне надо снова обрести себя. Некоторые рано находят свое призвание, естественно и без особых изменений превращаясь в то, кем они должны стать. Я же понятия не имею, кем буду и что буду делать через месяц. Когда я пытался стать кем-то определенным, мне это не удавалось; лишь отдаваясь течению, я обретал себя и с радостью погружался в новую роль. Я обнаружил, что счастлив лишь тогда, когда упорно работаю над тем, что мне нравится. Тем, что мне не нравится, я никогда не мог долго заниматься, а теперь не смог бы этого делать, даже если бы захотел; однако я извлекаю удовольствие почти из всякого дела, если только в нем есть новизна ощущения. Я люблю людей, кроме раскормленных самодовольных мещан, и интересуюсь всем, что делают люди, будь то новое или

¹ Рыцари легендарного короля Артура, правившего англами в V веке. — *Прим. перев.*

прекрасное старое. Я люблю красоту, случай и перемены, но теперь меньше во внешнем мире, чем в себе. По-видимому, я всегда буду романтиком...

С самого детства мое легко возбудимое воображение питалось фантазией. До сих пор помню дедушкин дом, в котором родился, — серый барский особняк в стиле французского замка с огромным парком, английским садом, лужайками, конюшнями, парниками и оранжереями, ручными оленями среди деревьев. А дедушка остался в воспоминаниях лишь как человек величественного роста, с тонкими длинными пальцами, изысканными манерами. Он обогнул мыс Горн на паруснике, когда Запад еще только начинал заселяться первыми переселенцами, разбогател и жил с русской расточительностью. Городу Портленду не было еще и тридцати лет — маленький городишко, вклинившийся в оregonские леса, с улицами, утопавшими в грязи, окруженный со всех сторон дикой природой, начинавшейся сразу же за чертой города. По нему дедушка разъезжал в элегантных экипажах, запряженных чистокровными скакунами, выписанными с Востока или из Европы, и с кучерами в ливреях и лакеями на запятках! Естественная терраса перед домом с трех сторон была обсажена высокими елями, под корой которых были проложены газовые трубы; в летние вечера на траву стелили парусину, и при свете факелов, которые, казалось, вырывались из деревьев, устраивались танцы. Во всем этом было нечто фантастическое...

Затем мы обеднели и жили в маленьком домике в центре города, и вокруг моих молодых и веселых отца с матерью всегда толпилась веселая молодежь. Голова моя была полна сказок и рассказов о великанах, ведьмах и драконах. Я придумал чудовище по имени Хормуз, которое жило в лесу за городом и поедало маленьких детей, и запугивал им соседских маленьких мальчиков и девочек, а иногда и самого себя. Почти все слуги в то время были китайцы, жили они у нас долгие годы, становясь в конце

концов почти что членами семьи. Они принесли с собой в дом свои привидения, суеверия и идолов, в рассказах о которых ощущался привкус национальных кровавых междоусобиц, свою пищу и напитки, странные обычаи и церемонии; от этих любящих и в то же время презрительных, полностью независимых и таких необычных людей в моей памяти сохранились косички, гонги и развевающиеся полоски красной бумаги. Иногда у нас появлялся мой дядя — романтическая фигура, — игравший во владельца кофейной плантации в Центральной Америке, замешанный в революциях, загорелый и обросший бородой, произносивший «спиготти» как истинный метис. Однажды прошел слух, что он был одним из руководителей революции, захватившей на несколько дней власть в Гватемале, и стал министром иностранных дел; первое, что он сделал, это экспроприировал средства из национальной казны и устроил грандиозный правительственный бал, а затем объявил войну Германской империи, потому что в свое время в колледже он провалился по немецкому языку! Позже он отправился на Филиппины добровольцем на войну с Испанией — и до сих пор ветераны второго орегонского похода рассказывают, покатываясь со смеху, как его сделали королем Гуама.

Моя мать, всегда поощрявшая меня делать то, что мне хочется, научила меня читать. Я не помню, когда это было, но помню, в какую книжную оргию я окунулся. История была моей страстью: в ней важно расхаживали короли, а закованные в латы воины сплоченными рядами пробивались сквозь град копий; но так же страстно я увлекался Марком Твенем и Биллом Найем, «Лорной Дун» Блэксто-на и полным словарем Вебстера, сказками «Тысяча и одна ночь» и о рыцарях Круглого стола. То, чего я не понимал, дорисовывало воображение. В возрасте десяти лет я начал писать комическую историю Соединенных Штатов — по Биллу Найю, — и мне кажется, что именно тогда я решил стать писателем.

Примерно в это время мы переехали в пансион, и я пошел в школу. Первые годы пребывания в ней подстегивали мое честолюбивое желание хорошо учиться, но в дальнейшем учебная программа в школе и университете мало что для меня значила. Я всегда был, по меньшей мере, равнодушным учеником, за исключением тех случаев, когда некоторые предметы, такие, как элементарная химия, английская поэзия или композиция, или же личность какого-нибудь великого преподавателя, например профессора Коупленда из Гарварда, завоевывали мое воображение. И почему меня должна была интересовать глупая система образования нашего времени? Молодые, высоко парящие, любознательные к окружающей жизни умы набивают мертвыми формулами: безупречной чистотой Вашингтона, скучным рыцарством Линкольна, нашей тоскливой и добродетельной историей и честной славой Англии; изящным стилем Эдисона как эссеиста, романами Голдсмита, восхваляющими деревенское духовенство XVIII века, самым пресным из того, что написал д-р Джонсон¹, «Сайлесом Марнером» Джордж Элиот², историческими сочинениями Маколея³ и высокопарными речами Эдмунда Берка⁴, а в латыни — галльскими записками Цезаря и изречениями Цицерона о политике Рима. А учителя! Мужчины и женщины — обычно женщины, — главное достоинство которых заключается в том, что они могут неуклонно пробиваться сквозь скучный ряд дат, законов, нолунравд и правил стилистики, не сомневаясь, не высказывая своего мнения и не видя, как чудовищно отличается то, что они преподают, от окружающего мира. Я забыл большую часть

¹ Джонсон Сэмюэл (1709—1784) — английский критик, лексикограф, эссеист и поэт. — *Прим. перев.*

² Элиот Джордж (псевдоним, настоящее имя Мери Анн Эванс, 1819—1880) — английская писательница. — *Прим. перев.*

³ Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист и политический деятель. — *Прим. перев.*

⁴ Берк Эдмунд (1729—1797) — английский политический деятель, публицист. — *Прим. перев.*

того, что в меня вдавливали; свои знания я почерпнул в основном из книг, которые прочел во внеучебное время. И со многими прекрасными вещами мне пришлось заставить себя познакомиться заново, потому что школа когда-то отравила их для меня.

Но, пойдя в школу, я впервые соприкоснулся с миром своих сверстников, и опыт общественной жизни значил для меня все больше и больше, пока почти совсем не вытеснил учение. Я до сих пор вижу перед собой школьный двор, заполненный бегающими, кричащими, шумящими мальчиками, и помню, что я чувствовал тогда, когда они время от времени останавливались и с любопытством, дерзко поглядывали на меня, новичка. А я был маленьким и не очень здоровым и вначале держался в стороне... Но после занятий начинались великие дела, они были слишком интересными, чтобы не принимать в них участия... Город делился на районы, в каждом из которых заправляла своя ватага ребят. Все ватаги были между собой в состоянии непрерывной войны. Я входил в банду 14-й улицы, возглавлял которую высокий курчавый паренек-ирландец, живший напротив. Сейчас он полицейский. Мой самый близкий друг умел дуть в горн и был нашим горнистом. Стоя посреди улицы, он, бывало, начинал трубить, и через минуту к нему прямо по траве лужаек толпой сбегались мальчишки, на ходу скатывая из глины «ядра». С криками мы устремлялись вверх по склону, чтобы сразиться с ребятами с улицы Монтгомери или отбить их атаку... А за чертой города были заросшие лесом холмы, где, возможно, притаились индейцы или медведи, или беглые каторжники, и их предстояло выследить нашим следопытам и Робин Гудам...

Родители, как моего отца, так и матери, были из штата Нью-Йорк, и, когда мне исполнилось десять лет, мы с мамой и братом поехали к ним на восток. Один летний месяц мы провели в Плимуте, штат Массачусетс, затем побывали в Нью-Йорке (я до сих пор помню ужасную

жару, насекомых в пансионе, где мы остановились, и паровозы надземки) и находились в Вашингтоне, когда взорвался крейсер «Мейн» и первые добровольцы отправились на испанскую войну...

Потом я вернулся в Портленд, в новый дом, и погрузился в школьную жизнь и игры. На чердаке у нас был свой театр, где мы разыгрывали собственные пьесы, во дворе строили игрушечные железные дороги, а в лесу за городом — бревенчатые хижины. Я придумал несколько блестящих планов, как разбогатеть с помощью приключений. Например, однажды я начал копать туннель от нашего дома до школы около мили длиной; мы собирались стащить двух овец и спрятать их в туннеле, где эти две овцы должны были принести потомство и плодиться, пока не соберется большое стадо, которое мы думали продать. У нас с братом был пони, и мы ходили в лесные походы, плавали на лодке по реке Уилламетт, устраивали на ее берегу привалы, переплывали ее. Я уже начал писать стихи и жадно прочитывал все, что попадало мне под руку, — от «Света Азии» Эдвина Арнольда и Марии Корелии до Скотта, Стивенсона и сэра Томаса Мэлори¹.

И все же я не был счастлив до конца. Я часто болел. Популярен я был лишь у своих нескольких друзей. Я был недостаточно силен и упорен, чтобы показать хорошие результаты в атлетике, помимо плавания, которое я всегда очень любил, да кроме того, я был трусоват. Чтобы не попасть в «засаду», устраиваемую мне мальчишками, иногда воображаемую, я перелезал через забор позади дома. Иногда я дрался, когда избежать этого было невозможно, и порой даже брал верх; но я предпочитал, чтобы меня сначала называли трусом, а потом уже дрался. Я ненавидел боль. Мое воображение рисовало мне жуткие вещи, которые могут со мной случиться, — и я просто удирал. Однаж-

¹ Мэлори Томас (ок. 1417—1471) — английский писатель. — Прим. перев.

ды, когда я был членом редколлегии школьной газеты, один мальчик, которого я боялся, предупредил меня, чтобы я не печатал написанную мною на него сатиру, — и я не напечатал... В школу я ходил через район трущоб, который называли «Гусиная впадина», где жили грубые мальчишки-ирландцы. Многие из них впоследствии стали боксерами и знаменитыми бейсболистами. Когда я шел через «Гусиную впадину», то от страха почти терял сознание. Однажды один из обитателей «Гусиной впадины» заставил меня пообещать ему никель¹ за то, что он меня не ударит, и дошел со мной до самого моего дома, где я ему отдал монету... Самое странное заключалось в том, что, когда меня загоняли в угол и втягивали в драку, даже самые сильные побои были в сто раз легче того, что я воображал; но меня это ничему не учило: в следующий раз я удирал точно так же и испытывал самые ужасные приступы страха.

Я не умел многого из того, что делали другие мальчишки, и их кодекс чести поведения для меня ничего не значил. Они это тоже чувствовали и испытывали ко мне нечто вроде добродушного презрения. Я не был ни тем ни другим: ни полным трусом, ни храбрецом, ни мужественным, ни маменькиным сынком, ни пристыженным, ни нестыдящимся. Думаю, поэтому я вспоминаю о детстве как о несчастливой поре, поэтому у меня так мало близких друзей в Портленде, поэтому я никогда больше не хочу там жить.

По-видимому, отца моего огорчало, что я такой, хотя он об этом не говорил. Сам он был отчаянным забиякой, одним из первых в небольшой группе политических деятелей, которая впоследствии как прогрессивная партия выражала пробуждение общественного сознания средних слоев населения Америки... Его беспощадно разящий ум, уничижительное презрение к глупости, трусости и низости создали ему много врагов, которые никогда не отважи-

¹ Монета достоинством в 5 центов. — *Прим. перев.*

вались нападать на него в открытую, а боролись с ним тайно и радовались, когда он умер. Как шериф при Т. Рузвельте он вместе с Фрэнсисом Хени и Линкольном Стеффенсом сорвал аферу с продажей лесных угодий в штате Орегон, что по тем временам делать в штате Орегон было очень рискованно. Я помню, как он и Хени издевались над Уильямом Бернсом — агентом сыскной полиции, занимавшимся этим делом, за его замашки следопыта и нелепые театральные манеры. В 1910 г. один человек пытался угрозами вырвать у отца деньги в избирательный фонд республиканской партии — отец спустил его с лестницы в здании суда и был снят с должности шерифа президентом Тафтом. Затем отец баллотировался в конгресс и недобрал совсем немного голосов, главным образом из-за того, что поехал на восток страны, чтобы присутствовать на моем выпускном вечере в университете, и не совершил агитационную поездку по штату...

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я уехал на восток страны и поступил сначала в пансион в Нью-Джерси, затем в Гарвардский университет, а потом поехал в годичное путешествие по Европе. Брат окончил университет следом за мной. Лишь впоследствии мы узнали, что отец и мать во многом отказывали себе, чтобы мы могли учиться, и что отец, по сути, укорачивал свою жизнь, давая нам возможность жить жизнью богатых наследников. Они с матерью всегда давали нам больше, чем мы просили, будь то свобода, понимание или материальные средства. А в день, когда брат окончил университет, отец заболел от неимоверного переутомления и через несколько недель умер. Мне всегда кажется горькой пасмешкой судьбы то, что он не дожил до моего скромного успеха. Для меня он всегда был больше добрым мудрым старшим другом, чем отцом...

Мне кажется, что пансион сыграл в моем детстве большую роль, чем все остальное. Я был новеньким в обществе незнакомых мальчиков, но вскоре почувствовал, что они принимают меня таким, какой я есть. Чувствовал я себя

прекрасно. Размеренная жизнь коллектива была мне интересна. На меня произвели впечатление его традиции и кумиры, школьный патриотизм и ощущение давно сложившегося и упрочившегося образа жизни, столь отличного от дикого, претенциозного Запада. В школьной газете печатались мои стихи и рассказы, я играл в футбол, с довольно хорошими результатами пробегал четверть мили; дважды я дрался и выдержал. Бывали и опасные приключения, когда некоторые из нас ночью украдкой спускались по пожарной лестнице, удирали на балы за город и на рассвете проскальзывали обратно в спальни. Вместе со школьными светскими мотыльками я «приставал» к девочкам в городе, и надо мной не смеялись. Всегда занятый, счастливый, имея множество друзей, я приобрел уверенность в себе. Так, не прилагая усилий, я обрел себя; и с тех пор я уже никогда особенно не боялся людей.

В 1906 г. я поехал в Гарвард, можно сказать, один, не зная в университете почти ни души. На моем курсе было более семисот человек, и первые три месяца, когда я сидел на лекциях и собраниях, мне казалось, что у всех семисот есть друзья, кроме меня. Меня потрясла необъятность Гарварда, таившаяся в нем неограниченные возможности, его священная история, традиции — и я почувствовал себя безмерно одиноким. Я не знал, куда обратиться, как познакомиться с людьми. Мимо меня проходили мои однокашники, весело окликая друг друга; в субботние вечера я видел, как с гиканьем и криками уезжали в Бостон на задней площадке трамвая компании студентов, с веселыми песнями возвращавшиеся под моими окнами на рассвете. На курсе объявлялись свои спортсмены, музыканты, писатели, будущие государственные деятели. Образовывались клубы первокурсников. А я оставался за бортом. Тогда я «атаковал» университетские газеты, попытался войти в сборную первого курса, даже не уезжал на каникулы и ходил на лодочную станцию, где упражнялся на тренажерах, но оказался на последнем месте и не был

привял в сборную, поехавшую в Нью-Йорк. Со многими студентами я раскланивался, но близко знал лишь единицы; большинство моих приятелей стали выдающимися людьми и больше ко мне не приезжали. Один из них обещал, что поселится со мной вместе на втором курсе, но ему шепнули, что я «неподходящий человек», и он открыто отошел от меня. А сам я тоже обидел юношу, который был мне другом. Он был евреем, застенчивым, довольно печальным человеком. Мы всегда были вместе, двое посторонних. Меня это раздражало и угнетало: казалось, что мне никогда не удастся войти в круг тех, кто ведет роскошный, богатый образ жизни в университете, если он будет рядом, — и я отошел от него... Он очень обиделся, а для меня это было хорошим уроком. Впоследствии он простил меня, делал для меня много добра, и мы друзья.

На втором курсе положение улучшилось. Меня избрали редактором двух газет, и я познакомился еще со многими товарищами. Богатые, блестящие молодые люди, аристократы — члены клубов и заправила светской жизни университета уже не казались столь привлекательными, как раньше. В двух открытых конкурсах — на место редактора ежедневной университетской газеты и на место заместителя руководителя сборной университета — я победил легко, но аристократы меня забаллотировали. Однако это уже было малосущественно. На первом курсе я *молился*, чтобы меня полюбили, чтобы у меня появились друзья, чтобы я приобрел популярность среди товарищей. Теперь у меня *были* друзья, много друзей, и я убедился, что, когда я над чем-то упорно работаю, именно над тем, что люблю, друзья объявляются сами, без усилий с моей стороны, и остаются со мной; пропадает страх и жуткое чувство одиночества.

С тех пор я никогда не чувствовал себя за бортом. Аристократы не любили меня и никогда не выбирали в члены клубов, кроме одного, да и туда я понал только потому, что им необходимы были умеющие писать стихи для

ежегодных празднеств. Но я был членом редколлегии газет, меня избрали президентом клуба «Космополитен», в который входили представители сорока трех национальностей, я стал руководителем музыкального клуба, капитаном команды ватерполистов и активистом многих студенческих мероприятий. Как дирижер хора болельщиков, я испытал высшее блаженство, управляя двумя тысячами голосов все сокрушающего хора во время крупных футбольных матчей. Чем ближе я знакомился с университетскими аристократами, тем больше меня отвращала их холодная, жестокая глупость. Я стал жалеть их за отсутствие воображения, за ограниченность их внешне блестящей жизни — клубы, спорт, светские развлечения. Университет подобен остальному миру: вне его стен есть тот же класс людей, скучных, пресыщенных и слепых.

При президенте университета Элиоте Гарвард был удивительным заведением. Индивидуализм был доведен в нем до крайности: человек, поступивший в университет лишь для того, чтобы хорошо провести время, мог его окончить, так ничего и не изучив; но, с другой стороны, в нем можно было получить любые знания, накопленные в мире. Над студентами фактически не было никакого контроля: они могли жить где угодно и делать что угодно при условии посещения лекций. Руководство не делало никаких попыток сплотить студенческий коллектив или навязать студентам какое бы то ни было единообразие. Некоторые студенты получали по пятнадцать тысяч долларов в год на карманные расходы, держали автомобили, слуг, жили в роскошных, как дворцы, апартаментах; другие, учившиеся на том же курсе, медленно умирали от голода в чердачных коморках. На нашем курсе были всякого рода странные люди разных рас и складов ума — поэты, философы, чудачки с самыми невероятными заскоками. То, что курс был таким огромным, позволяло узнать лишь нескольких однокурсников, хотя мне пришлось познакомиться примерно с пятьюстами. Аристократы занимали почетные и влия-

тельные должности, и лишь демократическая революция, подобная той, которая разразилась в университете, когда я был уже на последнем курсе, могла их свалить; но они жили таким замкнутым кругом, что почти все события реальной жизни протекали мимо них, не задевая, так же как и интеллектуальная жизнь студенческого коллектива. Вне их волшебного круга было столько прекрасных людей, что, в отличие от большинства университетов, в Гарварде не считалось позором не состоять «членом клуба». То, что называется «университетским духом», было не очень сильным: люди, не посещавшие футбольных матчей и не болевшие за свои команды, не были одиозными фигурами. Говорили о событиях в мире, высказывали рискованные суждения и проявляли интеллектуальное бунтарство; ересь всегда была традицией Гарварда и Новой Англии. Сами студенты критиковали преподавателей за то, что они не обучают, нападали на священный институт межуниверситетских спортивных соревнований, смеялись над закрытыми студенческими обществами, настолько тайными, что никто не решался упомянуть их названий. Кем бы вы ни были и чем бы вы ни занимались, в Гарварде вы могли найти себе подобных. Это не был инкубатор для выведения массового типа посредственного образованного молодого человека с «деловой» психологией; каждый выпуск дал несколько творческих умов, нескольких учепых, нескольких «джентльменов» с наглыми манерами и толпу ничтожеств... Сейчас все изменилось. Тот Гарвард мно нравился больше.

К концу учебы в университете я ощутил два сильных влияния, сыгравшие большую роль в формировании моих взглядов. Одним из них был профессор Коупленд. Читая нам лекции по английской литературе, он учил многие поколения студентов черпать из книг и окружающего мира многообразие, силу и красоту. Второе я назову за неимением лучших слов духом современности. Некоторые студенты, в частности Уолтер Липпман, читали, думали и гово-

рили о политике и экономике не как о сухих теоретических предметах, а как о живой силе, действующей на мир и даже на университет. Они основали Социалистический клуб для изучения и обсуждения всех социальных и экономических теорий и начали экспериментировать в своем коллективе. Под их влиянием политические клубы университета, прежде представлявшие собой четырехлетние грибные наросты, создаваемые лишь для того, чтобы пить пиво, устраивать демонстрации и жечь костры, приобрели новое значение. Клуб составил программу социалистической партии на выборах в органы городского управления, внес в законодательные органы штата Массачусетс социальное законодательство. Члены клуба выступали в университетских газетах со статьями, подвергавшими сомнению идеалы студентов, и разоблачали университетские власти, не обеспечивавшие своему обслуживающему персоналу прожиточного минимума, и т. д. В результате деятельности клуба появились Мужская лига Гарварда за предоставление женщинам избирательных прав, Клуб единого налога и группа анархистов. В ученый совет было подано ходатайство об изучении курса социализма. В Кэмбридж были приглашены читать лекции выдающиеся радикалы. Был создан открытый форум для обсуждения университетских дел и текущих событий. Это движение раскрыло огромные потенциальные возможности студенчества. Появились радикальные течения в музыке, живописи, поэзии, театре. Более серьезные университетские газеты заняли социалистическое или по крайней мере прогрессивное направление. Конечно, все это не внесло каких-либо существенных изменений в светскую жизнь Гарварда, а аристократы — члены клубов и спортсмены, представлявшие нас во внешнем мире, даже, видимо, никогда об этом и не слышали. Но я, как и многие другие, понял, что в окружающем нас скучном мире происходит что-то куда более волнующее, чем мероприятия в университете, и обратил внимание на произведения таких писателей, как

Г. Уэллс и Грэм Уоллес, которые вырывали нас из дилетантства Оскара Уайльда — властителя дум многих поколений студенческих литераторов.

После окончания университета мы с Уолдо Пирсом отправились за границу на грузовом судне для перевозки скота в качестве погонщиков быков, намереваясь затем провести год в беспечных странствиях. Однако довольно скоро Уолдо взбунтовался: не выдержав вони, не выдержав пьяной грубости команды судна, он выпрыгнул за борт за Бостонским маяком, доплыл до берега и отправился в Ливерпул на «Луизитании». Меня же арестовали за то, что я якобы убил его. В Манчестере на меня надели наручники и отдали под военно-морской суд. Уолдо появился в последний момент.

Я прошел пешком через всю Англию один, работая на фермах, ночуя в стогах сена, и снова встретился с Пирсом, уже в Лондоне. Потом мы пошли в Дувр, откуда попытались «зайцами» переправиться во Францию, где в Кале нас, разумеется, арестовали. Расставшись, мы порознь прошли пешком через Северную Францию в Руан и Париж, а оттуда отправились в сумасшедшую автомобильную поездку через Турин к границе Испании и через границу. Путешествие по Испании я продолжал один, притом с приключениями. Зиму провел в Париже, выезжая на экскурсии по стране и знакомясь с ней все ближе и ближе. Затем я вернулся домой в Америку, чтобы осесть и начать зарабатывать на жизнь.

Линкольн Стеффенс рекомендовал меня в журнал «Американ мэгэзин», где я проработал три года, читая рукописи и сочиняя рассказы и стихи. Линкольн Стеффенс, более чем кто-либо другой, оказал на меня влияние. Я познакомился с ним еще в Гарварде, куда он приехал, полный любви к молодежи, понимания и пропитанный дыханием мира. Тогда я его побаивался — боялся его мудрости, серьезности. Мы не беседовали. Но когда я вернулся из Франции и рассказал ему, что видел и делал, он спросил меня,

что я теперь хочу делать. Я ответил: знаю лишь, что хочу писать. Стеффенс улыбнулся своей славной улыбкой и сказал: «Вы можете делать все, что захотите» — и я ему поверил. С тех пор я шел к нему со всеми своими трудностями и неприятностями. Погруженный в его теплоту и понимание, я всегда сам решал свои проблемы. Общение со Стеффенсом для меня подобно вспышке яркого света: как будто новыми глазами вижу его и себя, и весь мир. Я рассказываю ему, что вижу и думаю, и все это возвращается ко мне прекрасным, полным значения. Он не судит и не дает советов — он просто все разъясняет. Есть два человека, которые укрепляют мою веру в себя, заставляют меня жаждать работать и не делать ничего недостойного, — Коупленд и Стеффенс.

Нью-Йорк был для меня волшебным городом. Он несравненно огромней и куда разнообразней, чем Гарвард. В нем было все — и все в этом городе пришлось мне по сердцу. Я бродил по улицам — от парящих величественных башен центра, вдоль доков Ист-Ривер, пахнущих приятностями и старинными клиперами, через кишашую людьми Ист-Сайд — чужеродные города в городах, — где окутанные дымом огоньки жаровень на скрипящих на все лады ручных тележках, растянувшихся на мили, придавали некоторый блеск обшарпанным улицам; неожиданно набредал на крикливые базарчики, где при свете факелов мерцала рыба чешуя и капала кровь, а крупные еврейки во все горло расхваливали свой товар под грохочущими огромными мостами; я был заморожен приливом и отливом потоков людей, мчащихся на работу и обратно, на запад и восток, на север и юг. Я познакомился с Чайнатаун, с «Малой Италией» и с кварталом сирийцев; с театром марионеток, пивными Шаркли и Максорли, с ночлежками Бауэри и зимними пристанищами бродяг; с Хеймаркет, с Немецкой деревней и со всеми закоулками Тендерлойна¹.

¹ Район Бродвея, где собираются бездельники. — *Прим. перев.*

Одну летнюю ночь я провел у парапета Вильямсбургского моста, другую — ночевал на корзине с мелкой рыбой на Фултонмаркет, где в голубом свете шумного рынка поблескивали красные, зеленые и золотистые обитатели моря. Уличные женщины были моими друзьями, так же как и пьяные матросы, сошедшие с судов, прибывших со всех концов света, и погонщики-испанцы с Уэст-стрит. Я открыл для себя изумительные маленькие ресторанчики, где можно было отведать национальные блюда народов всего мира. Я узнал, как достать наркотик, где нанять убийцу, как проникнуть в игорные дома и тайные дансинги. Я хорошо узнал парки и улицы, застроенные дворцами, театры и гостиницы, безобразные кварталы города, растекающиеся на север, словно опухоль, ветхие дома, в которых угасает жизнь, и площади и улицы, старый прекрасный неторопливый уклад жизни которых поглощает все возрастающий рев трущоб. Я узнал Вашингтон-сквер, художников и писателей, мир богемы, радикалов. В жаркие летние ночи я ходил на балы гангстеров в Таммани-холл, ездил на экскурсии ассоциации Тима Сулливана, на Кони-Айленд... На расстоянии квартала от моего дома были все приключения мира, на расстоянии мили — любая страна света...

В Нью-Йорке я впервые полюбил и впервые написал о том, что видел, с ожесточенной радостью созидания и понял наконец, что могу писать. Там я начал осознавать жизнь своего времени. Город и его обитатели были для меня открытой книгой: у всех была своя история, драматичная, полная иронической трагедии и мрачного юмора. Там я впервые понял, что действительность превосходит по утонченности любые прекрасные поэтические вымыслы средневековья. Уезжая на длительное время из Нью-Йорка, я чувствовал себя больным и несчастным... По правде говоря, я и сейчас чувствую себя так же, но не могу больше постоянно жить в сердце Нью-Йорка. В городе мне почти ни на что не хватает времени, кроме как на ощущение

пия и переживания. А сейчас мне нужно некоторое время спокойно поразмыслить на досуге, для того чтобы извлечь из опыта своей богатой жизни нечто прекрасное и сильное. Теперь я живу за городом, в часе езды от него, так что время от времени могу туда съездить и погрузиться в море людей, шума и огней, а затем, возвратившись сюда, писать среди спокойных холмов, солнечного света и чистых ветров.

За это время я перечитал много радикальной литературы, ходил на всякого рода собрания, знакомился с социалистами, анархистами, сторонниками единого налога, лидерами рабочего движения и, кроме того, со всякими мелочно педантичными утопистами и мелкими доктринерами, которые хватаются за юбку Перемен. Меня интересовали все эти многочисленные различные представители рода человеческого, а мое воображение захватывала живучесть теорий, которые могут двигать людьми. В целом сами идеи были мне неважны. Мне надо было разобраться. Шатаюсь по городу, я поневоле увидел уродство нищеты и все то зло, которое она несет, жестокое неравенство между богачами, обладающими сверхбольшим числом автомобилей, и бедняками, не наедающимися досыта. Из книг я как-то не усвоил, что рабочие создают все богатства мира, которые присваивают те, кто их не зарабатывает.

Только что кончилась стачка текстильщиков в Лоренсе, и ИРМ сверкала на социальном и промышленном горизонте как предвестник восстания угнетенных. Эта стачка со всей ясностью показала мне, что предприниматели выжимают из рабочих все, что могут, платят столько, что меньше платить уже невозможно, и умышленно держат большую армию жалких безработных, чтобы не давать зарплате подняться; что силы государства на стороне собственников и против тех, у кого собственности нет. Наша социалистическая партия показалась мне скучнее религии и почти так же оторванной от рабочих. Разразилась стачка в Патерсоне. Я познакомился с Биллом Хейвудом, Гэрли

Флинн, Треской и другими руководителями. Они мне понравились. Мне нравилось, что они понимают рабочих, нравились их революционное мышление, смелость их мечты, то, как они пробуждают и воспаляют огромные толпы людей. Во всем этом проявлялась драма, перемена, демократия на марше — народная война. Я поехал в Патерсон, чтобы самому увидеть стачку, на улице полиция приняла меня за стачечника, избила и бросила в тюрьму, не предъявив никаких обвинений. В тюрьме я разговаривал с ликующими людьми, которые весело и смело бросили вызов незаконным зверствам городских властей и шли в тюрьму со смехом и песнями. Но в тюрьме той творились ужасные вещи: мужчин и мальчиков без суда держали взаперти месяцами, люди сходили с ума и умирали, царил зверская жестокость, болезни и грязь — и все это предназначалось беднякам. Когда я вышел на свободу, то помог организовать инсценировку стачки в Патерсоне. В Мэдисон-сквер-гарден, в Нью-Йорке, тысяча мужчин и женщин, репетировавших в Патерсоне и привезенных через штат Нью-Джерси, должна была показать двадцатитысячной аудитории, проникшейся до глубины души сочувствием, все убожество своей жизни и величие своего бунта.

С тех пор я видел много стачек и писал о них, в большинстве случаев это была отчаянная борьба за кусок хлеба. Все, что я видел, лишь подтверждает мое первое впечатление о классовой борьбе и ее неизбежности. От всего сердца я хочу, чтобы пролетариат поднялся и взял то, что ему положено по праву; не вижу, каким другим способом он может это получить. Облегчение политического положения идет так медленно, и с каждым годом все уменьшаются возможности мирного протеста и законных действий. Теперь я уже не уверен, что рабочий класс способен подняться на революцию, мирную или вооруженную: рабочие настолько разобщены и так ожесточены друг против друга, у них такое плохое руководство, а сами они весьма слепы в отношении своих классовых интересов. Война совер-

шенно подорвала веру в экономические и политические идеалы. И все же я не могу отказаться от мысли, что из демократии родится новый мир — более богатый, более отважный, более свободный, более прекрасный. Что до меня, то я не знаю, чем могу помочь, еще не знаю. Я знаю лишь, что сейчас мое счастье построено на несчастье других людей, что я ем, потому что другие голодают, что я одет, тогда как у других нет зимой теплой одежды, и это отравляет мне жизнь, нарушает ее безмятежность, заставляет меня писать разоблачительную литературу, в то время как с большим удовольствием я делал бы то, что хочется, хотя теперь и не так часто, как прежде.

Я оставил работу, чтобы осуществить инсценировку, а когда она была поставлена, у меня произошел нервный срыв, и друзья повезли меня на лето за границу. Стачку задушили голодом, рабочие проиграли ее, а сами они вернулись на фабрики, удрученные и разочарованные. Руководители тоже сломились под тяжестью долгой борьбы. Сама ИРМ казалась разгромленной, да и на самом деле она уже так и не вернула себе бывшего престижа. В Италии я заболел дифтеритом и вернулся в Нью-Йорк слабым и подавленным. Шесть месяцев я почти ничего не делал. А затем благодаря рекомендации Линкольна Стеффенса журнал «Метрополитен мэгэзин» направил меня в Мексику в качестве военного корреспондента. Я понял, что должен это сделать.

Вилья¹ только что захватил Чиуауа, когда я добрался до границы, и собирался двинуться на Торреон. Я направился прямо в Чиуауа, и там предоставился случай поехать с одним американским горняком в горы Дуранго. Однако, услышав, что какой-то старый полубандит-полугенерал движется к фронту, я освободился от американца

¹ Вилья Франсиско (настоящее имя — Доротео Аранго, 1877—1923) — один из руководителей партизанского движения мексиканских крестьян. Известен также под именем Панчо Вилья. — *Прим. ред.*

и присоединился к нему, проскакав две недели по пустыне с подразделением дикой мексиканской кавалерии, и наблюдал вблизи битву, в которой моих попутчиков разбили и поубивали, а сам я спасся бегством через пустыню. Тогда я присоединился к Вилье на марше к Торреону и присутствовал при падении этой крепости.

Всего я пробыл в Мексике в армии конституционалистов четыре месяца. Когда я только пересек границу, меня охватил смертельный ужас. Я боялся смерти, увечья, незнакомой страны и незнакомого народа, языка и мышления, которого я не знал. Но меня подгоняло страшное любопытство; я чувствовал, что *должен узнать*, как буду действовать под огнем, как буду общаться с этим простым борющимся народом. И я увидел, что пули не так уж страшны, что страх смерти не так уж велик и что мексиканцы удивительно близки мне по духу. Эти четыре месяца, за которые были преодолены верхом сотни миль по раскаленной равнине, когда спать приходилось на земле вповалку с солдатами, ночи напролет после целого дня скачки танцевать и пировать в разграбленных поместьях, близко общаться с мексиканцами на отдыхе и в бою, были, пожалуй, самым интересным периодом в моей жизни. Я ладил с этими дикими воинами и с самим собой. Я любил их и жизнь. Я снова обрел себя. И писал лучше, чем когда-либо раньше.

Затем началась война в Европе, на которую я поехал корреспондентом, полтора года проездил по всем воюющим странам, побывал на фронтах пяти воюющих государств. В Европе я не нашел ни непосредственности, ни идеализма мексикапской революции. Это была война цехов, и окопы представляли собой предприятия, вырабатывающие обломки — обломки духа и тела, а также истинную и единственную смерть. Остановилось все, кроме двигателей ненависти и разрушения. Европейская жизнь, сверкавшая такой многогранностью, потекла по одному руслу. Она течет так до сих пор. Мне кажется, что разницы между сто-

ронами почти нет, обе они мне отвратительны. Мировая война представляется мне просто остановкой жизни и брожением в развитии человечества. Я жду, жду ее конца, возобновления жизни, с тем чтобы я мог найти себе работу.

Оглядываясь на прожитые почти тридцать лет, я не вижу ничего, за что бы стоило держаться. У меня нет бога, да мне он и не нужен; вера — лишь другое название обретения себя. В моей жизни, как и в жизни большинства людей, как я понимаю, любовь играет огромную роль. У меня были романы, страстное счастье, отчаянные неудачи, я глубоко ранил и меня глубоко ранили. Но наконец я нашел своего друга и возлюбленную, волнующую и чувственную, более близкую мне, чем все, кто был раньше. И теперь мне все равно, что ждет меня впереди.

*The New Republic, 1954,
November 22, p. 34—40*

*На русском языке
публикуется впервые*

ДЖОН РИД ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ

*Из протоколов
юридического комитета сената
Соединенных Штатов Америки
21 февраля 1919 г.*

Сенатор Уолкотт (*обращаясь к Джону Риду*). Поднимите правую руку.

М-р Рид. Я предпочитаю давать показания без присяги и ограничиться обещанием говорить правду.

Сенатор Уолкотт. У вас есть какие-либо возражения против принятия присяги?

М-р Рид. Да.

Сенатор Уолкотт. Вы ведь не квакер, мистер Рид?

М-р Рид. Нет.

Сенатор Уолкотт. Почему же вы возражаете против принятия присяги?

М-р Рид. Я просто не хочу принимать присягу. Уже год, как я не присягал. Я предпочитаю отвечать на ваши вопросы без присяги.

Сенатор Уолкотт. Вы официально заявляете, что ваши убеждения не позволяют вам принять присягу?

М-р Рид. Да, сэр.

Сенатор Уолкотт. Хорошо. Но вы торжественно заявляете, что показания, которые вы будете давать, будут правдой, только правдой и ничем, кроме правды?

М-р Рид. Да, я это торжественно заявляю...

М-р Хьюмс. Итак, мистер Рид, когда вы впервые поехали в Россию? После начала войны в Европе?

М-р Рид. Я уехал в пятнадцатом году; в марте — в Италию и Грецию, затем в Сербию и Румынию. Я полагаю, что попал в Россию в апреле или в мае пятнадцатого года.

М-р Хьюмс. Вы были в США в начале войны, так ведь?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Через сколько времени после начала войны вы впервые поехали в Европу?

М-р Рид. Я поехал в Европу сразу же после начала войны. Я находился на побережье в тот день, когда война началась, и тут же отправился в Европу. Я прибыл в Париж как раз во время битвы на Марне¹.

М-р Хьюмс. Долго ли вы тогда находились во Франции?

М-р Рид. Я находился там три или четыре месяца.

М-р Хьюмс. Куда вы направились затем?

М-р Рид. В Германию.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы пробыли в Германии?

М-р Рид. Полтора или два месяца.

М-р Хьюмс. Вы побывали на передовой?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. В качестве кого вы там находились?

¹ Марнское сражение произошло 5—12 сентября 1914 г. — *Прим. сост.*

М-р Рид. В качестве корреспондента журнала «Метрополитэн».

М-р Хьюмс. Куда вы направились из Германии?

М-р Рид. Из Германии я направился в Англию. Я приобрел билет на «Унтер-ден-Линден» и отплыл в Англию, а оттуда обратно во Францию.

М-р Хьюмс. Сколько времени вы находились во Франции?

М-р Рид. Несколько дней. После этого я вернулся в Англию, а оттуда на родину.

М-р Хьюмс. Когда же вы совершили вторую поездку в Европу?

М-р Рид. Я вернулся в Соединенные Штаты примерно в феврале и через месяц или, возможно, несколько позже снова выехал в Европу.

М-р Хьюмс. Какие же страны вы посетили во время этой поездки?

М-р Рид. Италию, Грецию, Сербию, Болгарию, Румынию, Турцию и Россию.

М-р Хьюмс. Значит, в Германии вы в этот раз не были?

М-р Рид. Нет, не был.

М-р Хьюмс. И во Франции не были?

М-р Рид. Нет.

М-р Хьюмс. Когда примерно вы прибыли в Россию?

М-р Рид. Я уже говорил, что не могу вспомнить точно числа. Думаю, что это было в конце апреля или в мае.

М-р Хьюмс. Тысяча девятьсот пятнадцатого или шестнадцатого года?

М-р Рид. Пятнадцатого.

М-р Хьюмс. Тысяча девятьсот пятнадцатого?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Сколько вы пробыли в России?

М-р Рид. Около двух месяцев.

М-р Хьюмс. После этого вы вернулись в Соединенные Штаты?

М-р Рид. После этого я вернулся в США через Румынию, Сербию и Болгарию...

М-р Хьюмс. Когда вы снова поехали в Европу?

М-р Рид. Насколько мне помнится, семнадцатого августа семнадцатого года.

М-р Хьюмс. Семнадцатого августа тысяча девятьсот семнадцатого года? В этой поездке вас сопровождала жена?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Вы, полагаю, получили для этой поездки паспорта?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. При получении паспортов вы давали какие-либо заверения государственному департаменту?

М-р Рид. Да. Не помню точно, в каких выражениях, но помню, мне было предложено заявить, что я не буду представлять социалистическую партию на Стокгольмской конференции. Однако после моего приезда в Петроград меня столько раз просили выступить в разных местах с политическими речами, что я обратился к консулу Тредуэллу с просьбой посоветовать мне, как быть. Консул сказал мне, что на моем месте он отказался бы от подобных выступлений, и я последовал его совету. Я отказался принимать участие в каких-либо конференциях или съездах.

Сенатор Уолкотт. Ваши заявления госдепартаменту были сделаны под присягой?

М-р Рид. Да, сэр, думаю, что да.

Сенатор Уолкотт. Вы точно не помните?

М-р Рид. Не помню. В то время я не придавал этому большого значения. Думаю все же, что я дал это обещание под присягой.

Сенатор Уолкотт. Не можете ли вы сообщить нам, почему вы возражаете против принесения присяги?

М-р Рид. Я возражаю против принесения присяги, потому что считаю недостойным связывать себя подобным

образом. Я верю своему слову и полагаю, что и другие должны ему верить. Я не намерен лгать.

Сенатор Уолкотт. В таком случае вы не хотите присягать скорее из гордости, чем вследствие ваших убеждений?

М-р Рид. Я возражаю против присяги, потому что таковы мои убеждения. Я не понимаю, почему я должен присягать на особой книге. Все это связано с религиозной догмой, которую я отвергаю...

М-р Хьюмс. Участвовали ли вы в политической деятельности, когда были в России?

М-р Рид. Да, мою деятельность там можно назвать политической.

М-р Хьюмс. В таком случае вы нарушили присягу, которую дали при получении паспортов: вы делали то, чего под присягой обещали не делать?

М-р Рид. Нет. С этим я не могу согласиться. Я давал определенные, конкретные обещания...

М-р Хьюмс. Вы ведь выступали в России с речами?

М-р Рид. Я произнес несколько речей, но не политического характера, причем я выступал не как политический деятель и не как представитель какой-либо политической организации.

М-р Хьюмс. Вы выступили на Третьем съезде...

М-р Рид. Советов.

М-р Хьюмс (*продолжая*)... на Третьем съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, так ведь?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Вы, мистер Вильямс и мистер Рейнштейн¹, вы все выступали там?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Ваша политическая деятельность, очевидно, не ограничилась этим?

М-р Рид. Мы принимали участие в издании газет, а мне лично было поручено следить за правильностью

¹ Рейнштейн Борис — русский революционер. — *Прим. ред.*

перевода декретов и других документов Советского правительства на английский язык. Перевод, как таковой, не входил в мои обязанности. Меня интересовала лишь правильность перевода. Я также участвовал в сборе и подготовке материалов и информации, предназначенных для немецких окопов.

М-р Хьюмс. Сколько газет вы тогда издавали, в скольких изданиях вы сотрудничали?

М-р Рид. Я был маленьким винтиком в этой машине. Я лишь получал материал и передавал его различным группам... Газеты редактировало пресс-бюро. Оно издавало одну газету на немецком языке, которая вначале называлась «Die Fackel», а потом была переименована в «Volksfriede». Мы распространяли ежедневно полмиллиона экземпляров этой газеты и, кроме того, полмиллиона экземпляров газеты на венгерском языке, четверть миллиона на чешском, четверть миллиона на румынском, четверть миллиона на турецком языке. Помимо этого мы переводили все декреты...

М-р Хьюмс. Это и есть экземпляр одной из издававшихся вами газет? (Передаст газету свидетелю.)

М-р Рид. Да. Но в ее издании я не участвовал.

М-р Хьюмс. Может быть, я не так выразился. Я хотел спросить, сотрудничали ли вы в этой газете?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Не вы ли дали материал для статьи, опубликованной на первой странице?

М-р Рид. По поводу речи Вильсона?

М-р Хьюмс. Да, в связи с речью Вильсона.

М-р Рид. Нет. Это очень любопытная история. Видите ли, Робинс часто обращался к Советскому правительству с просьбой опубликовать американские пропагандистские материалы, и Советское правительство шло ему навстречу. Так была опубликована речь Вильсона... Робинс хотел, чтобы эти материалы попали также в немецкие окопы, но несколько иным путем, чем обычно, то есть не через

советские органы, которые рассылали их бесплатно, и не через солдатские комитеты. Поэтому он просил меня опубликовать четырнадцать пунктов речи Вильсона в этой газете.

М-р Хьюмс. Вы приехали в Россию примерно за два месяца до большевистской революции, не так ли?

М-р Рид. Пожалуй, несколько раньше.

М-р Хьюмс. Кого вы встретили в России из тех, кто раньше проживал в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Я встретил там довольно много таких людей, но всех фамилий не помню. Я назову вам тех, кого могу вспомнить.

М-р Хьюмс. Назовите тех, кого можете вспомнить.

М-р Рид. Шатов.

М-р Хьюмс. Когда он был в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Он вернулся в Россию в начале революции Керенского¹...

М-р Хьюмс. Сколько времени он прожил в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Думаю, что несколько лет.

М-р Хьюмс. Он русский, так ведь?

М-р Рид. Да, он русский.

М-р Хьюмс. Кто еще?

М-р Рид. Некто Петровский.

М-р Хьюмс. Он русский?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Где он жил?

М-р Рид. Не знаю, где он жил. Я встречал его в Нью-Йорке, но уверен, что он там не жил постоянно.

М-р Хьюмс. Знаете ли вы, сколько лет он прожил в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Кажется, лет пять, а может быть, больше.

М-р Хьюмс. Он русский?

М-р Рид. Русский.

¹ Февральской революции.— *Прим. ред.*

М-р Хьюмс. Как его настоящая фамилия? У него была также и другая фамилия?

М-р Рид. Вероятно, да. Все русские революционеры имели псевдонимы.

М-р Хьюмс. Какая у него другая фамилия?

М-р Рид. Нелсон.

М-р Хьюмс. Кто еще?

М-р Рид. Георгий Мельничанский.

М-р Хьюмс. Где он проживал в Соединенных Штатах?

М-р Рид. В городе Бейонне, штат Нью-Джерси.

М-р Хьюмс. Сколько времени он жил в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Не знаю.

М-р Хьюмс. Была у него другая фамилия?

М-р Рид. Мелчер. Он переименовал фамилию потому, что никто здесь не мог ее правильно произнести.

М-р Хьюмс. Он русский?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Кто еще? Загляните в ваш список.

М-р Рид. У меня нет никакого списка.

М-р Хьюмс. Вероятно, этот список у вас в голове?

М-р Рид. Был один человек, который называл себя Эдди. Это все, что я знал о нем... Почти в каждом, даже небольшом, Совете в промышленных районах России находились люди, ранее проживавшие в Америке. Я знаю еще одного, хотя я не знал его раньше,— это Восков, он был организатором Союза плотников в Америке. Восков проделал огромную работу по созданию государственного оружейного завода недалеко от Петрограда.

М-р Хьюмс. Какую еще фамилию он носил?..

М-р Рид. Это все, что я о нем знаю. Мне лишь известно, что он был прекрасным организатором...

М-р Хьюмс. Продолжайте. Расскажите нам, какова была обстановка в России с момента вашего приезда туда до начала революции, каково было положение во время революции и до того момента, когда вы покинули страну?

М-р Рид. Последний месяц режима Керенского был отмечен сокращением хлебной нормы с двух фунтов до одного фунта в день, затем до полуфунта и до четверти фунта. В последнюю неделю хлеб вовсе не выдавали. Число грабежей и преступлений настолько увеличилось, что стало небезопасно ходить по улицам. Газеты пестрели сообщениями об этом. Была парализована не только деятельность правительства, но и городских властей. Милиция была полностью дезорганизована. Уборка и очистка улиц не производилась. Кооперативные организации перестали распределять продовольствие. Прекратилась выдача молока и других продуктов.

Первые пять ночей после большевистской революции были отмечены полным отсутствием каких бы то ни было преступлений. Это было, пожалуй, самое спокойное время в Петрограде, потому что по улицам патрулировали красногвардейцы и солдаты, горевшие энтузиазмом... В течение первых трех недель после установления большевистского режима милиция обеспечила образцовый порядок. Однако после этого некоторые события вновь привели к нарушению порядка, и одним из них были «винные» бунты. Солдаты некоторых полков узнали о существовании винных подвалов. Кто-то звонил в казармы по телефону и посылал записки, в которых солдатам услужливо указывались адреса этих подвалов и даже предлагалось забрать оттуда запасы вина. Стояли очень холодные дни, а солдаты подолгу находились на улицах, неся патрульную службу. И вот некоторые из них поддались искушению и ворвались в винные подвалы... Они тут же распивали вино, шатались по городу и стреляли в воздух. Они причинили некоторый ущерб, однако весьма незначительный.

М-р Хьюмс. Вы только что сказали, что в Петрограде было очень мало беспорядков и что все было спокойно в течение первых трех недель, а теперь вы говорите, что солдаты все время участвовали в уличных боях, после чего им хотелось выпить. Я хочу в этом разобраться.

М-р Рид. Говоря о беспорядках, я имею в виду такие преступления, как грабежи и убийства. А в уличных боях участвовали две противостоящие гражданские силы. Слу-чаев ограбления домов и прохожих не было.

М-р Хьюме. Но уличные бои происходили все время?

М-р Рид. Нет... Бои происходили в день падения Зим-него дворца, это было в среду и в следующие воскресенье и понедельник, после контрреволюционного выступления юнкеров. Бои возобновились в следующий вторник ночью и в среду утром, когда было получено сообщение, что войска Керенского подходят к городу и находятся в четырех милях от него. «Винные» бунты были прекращены сами-ми Советами. Советы вызвали кронштадтских матросов, и те стали убеждать солдат прекратить разграбление винных складов; в Советах по этому поводу произносились речи, были выпущены прокламации и тому подобное. Так про-должалось около двух недель, но расхищение винных под-валов не прекращалось. Особую активность проявили наи-более сознательные элементы двух полков, и это убедило Советы в необходимости немедленно принять решительные меры. Центральный Исполнительный Комитет Советов провел заседание по вопросу о применении силы для по-давления «винных» бунтов. В конце дискуссии по этому вопросу, которая длилась четыре с половиной часа, было решено для прекращения «винных» бунтов послать грузо-вики с пулеметами. Так был положен конец этим бунтам. Если после троекратного предупреждения комиссаров сол-даты не уходили из винных погребов, комиссары спуска-лись туда, выбрасывали бутылки, разбивали их, и вино растекалось по улицам. Так были очищены подвалы Зим-него дворца, где находились запасы вина стоимостью че-тыре миллиона долларов. Их вылили в Неву. Если солда-ты не покидали винных подвалов, по ним открывали стрельбу... Это длилось около двух с половиной недель, так как Советы вначале не могли решиться применить силу для прекращения грабежей винных погребов. Они

должны были проявить политическую осторожность и действовать как путем воспитательных мер, так и путем наказания злостных нарушителей порядка.

М-р Хьюмс. Какие изменения произошли в порядке снабжения населения продовольствием, когда большевики пришли к власти?

М-р Рид. Правительство Керенского пало, не оставив в городе никаких продовольственных запасов. Советское правительство столкнулось с саботажем во всех министерствах. Саботировали служащие всех банков и крупных торговых предприятий, объявили забастовку чиновники и так далее. Даже телефонистки и те отказались работать. Больше того, кооперативные лавки отказались поставлять городу продовольствие, пока у власти будут Советы. Большевики подозревали, что спекулянты припрятали огромные запасы продовольствия, чтобы потом продавать их по взвинченным ценам. Поэтому они направили людей для проверки крупных складов, о существовании которых им стало известно, и установили, что там действительно много продовольствия. Поскольку в продуктах была крайняя необходимость, они были изъяты и розданы населению. За все время моего пребывания в Петрограде меньше всего хлеба выдавалось в последние полторы недели режима Керенского. А при Советской власти уже к концу декабря мы начали получать полтора фунта хлеба в день. Очень любопытно, как Советам удалось добиться этого. Видите ли, Советы оказались в чрезвычайно тяжелых условиях, так как правительство не имело возможности использовать государственный аппарат, к тому времени парализованный. Советы поддерживала лишь организованная воля рабочего класса, они не могли опереться на высших чиновников. Пассажирское движение по транс-сибирской магистрали было закрыто на двадцать четыре дня. Тем временем было подготовлено тринадцать поездов, на которые рабочие комитеты с различных предприятий погрузили всевозможные товары, и правительственная

комиссия направилась с этими товарами — одеждой, сельскохозяйственными орудиями и всем, в чем крестьяне нуждаются, — в деревню, чтобы обменять их на продовольствие, потому что деньги, выпущенные Керенским, ничего не стоили.

М-р Хьюмс. Где они достали одежду и другие товары, которые собирались обменять у крестьян на продовольствие? Эти товары были реквизированы?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Фабрики были в то время национализированы?

М-р Рид. Большая часть фабрик была фактически национализирована. Владельцы покинули их за шесть или восемь месяцев до того времени, о котором я рассказываю, рабочие сами продолжали выпускать продукцию. Я знал несколько фабрик, которые управлялись таким образом. Рабочие продолжали работу и после того, как фабрики были официально закрыты, а их владельцы удрали за границу...

М-р Хьюмс. Скажите, как было использовано это продовольствие, как оно раздавалось?

М-р Рид. Оно раздавалось по хлебным карточкам, выдаваемым особым продовольственным комитетом. Вначале этот особый продовольственный комитет саботировал, но вскоре его работники поняли, что им самим придется голодать, если комитет не будет функционировать, поэтому они возобновили работу.

М-р Хьюмс. Были ли установлены при распределении продовольствия какие-либо категории?

М-р Рид. В то время каждый гражданин получал обычную продовольственную карточку, вроде тех, которые выдавались в любой воюющей стране в военное время. Однако в России эта мера осталась в силе и после окончания войны.

М-р Хьюмс. А карточки выдавались всем?

М-р Рид. В то время — всем.

М-р Хьюмс. За время вашего пребывания в России, да и потом издавались ли декреты, устанавливавшие различные нормы выдачи продовольствия для разных групп населения?

М-р Рид. Нет, тогда в этом не было необходимости.

М-р Хьюмс. Впоследствии, однако, такое деление было проведено?

М-р Рид. Полагаю, что было. Я видел такой декрет.

М-р Хьюмс. Население, насколько я знаю, было разделено на четыре группы в соответствии с родом занятий и общественным положением. Это верно?

М-р Рид. Нет. В соответствии с участием каждого в общественно полезном труде и с нуждаемостью. Те, кто приносил наименьшую пользу...

М-р Хьюмс (*прерывая его*). Степень участия в полезном труде определялась правительством?

М-р Рид. Люди, которые получали меньше всего продовольствия...

М-р Хьюмс (*снова прерывая его*). Они были произвольно разбиты на четыре группы в соответствии с их предполагаемым участием в полезном труде?

М-р Рид. Прошу учесть, что все члены правительства получали самую низкую норму продовольствия.

М-р Хьюмс. У меня нет никаких тому доказательств.

М-р Рид. Это записано в декрете.

М-р Хьюмс. Довелось ли вам наблюдать случаи смерти на почве голода во время вашего пребывания в Петрограде?

М-р Рид. Еду достать было нелегко.

М-р Хьюмс. Вы наблюдали случаи голодной смерти?

М-р Рид. Я не был свидетелем случаев голодной смерти. Однако я видел очень голодных людей и сам нередко бывал очень голоден.

М-р Хьюмс. Известны ли вам случаи воровства и грабежей на улицах во время вашего пребывания в Петрограде?

М-р Рид. Таких случаев было очень мало по сравнению с последней неделей господства правительства Керенского. Можно даже сказать, что в городе установился известный порядок. Служба охраны порядка была организована очень хорошо. Конечно, было бы нелепо утверждать, что в городе вовсе не совершалось преступлений.

М-р Хьюмс. А теперь, мистер Рид, не желаете ли вы что-либо добавить к тому, что рассказали об условиях жизни в Петрограде? Если у вас есть, что добавить, можете это сделать.

М-р Рид. Я хотел бы рассказать, как там организовано управление промышленными предприятиями, так как, думаю, лишь немногие знают об этом. Но прежде всего я хочу сказать несколько слов по поводу различных норм снабжения. Как вы знаете, во многих странах, когда наступает голод — так было и в Европе во время войны, — больше всех страдают семьи рабочих. Но в Петрограде дело обстояло как раз наоборот. Рабочие, члены профсоюзов пользовались преимуществом при выдаче продовольствия. Я имею при этом в виду не только тех, кто выполнял физическую работу, а всех, кто хоть что-то делал. Продовольствие распределялось с учетом рода занятий. Те, кто был занят тяжелым физическим трудом, получали больше, а кому требовалось меньше, получали меньше. Государственные служащие, занятые канцелярской работой, получали меньше, чем рабочие.

Вся промышленность России находится под контролем так называемого Всероссийского совета рабочего контроля. Этот совет состоит из делегатов всероссийских профессиональных союзов, определяющих размер зарплаты, продолжительность рабочего дня и условия работы в каждой отрасли промышленности. Выпуск продукции на предприятиях контролируется Центральным советом фабрично-заводских комитетов. К этому я должен добавить, что в России национализировано триста четыре вида промышленных предприятий, а вся остальная промышленность нахо-

дится в частных руках, однако полностью контролируется рабочими.

Советское правительство — не искусственный орган, сконструированный на основе абстрактных теорий, как думают многие. Правительство России состоит из практически мыслящих людей. Они прекрасно понимают, что не могут сейчас обойтись без капиталистов. Они, однако, знают, что, хотя капиталисты не нападают на Советы с оружием в руках, они это могут сделать при помощи своих капиталов...

Сенатор Уолкотт. Вы сказали, что в России было национализировано триста четыре вида промышленных предприятий. Это, разумеется, не триста четыре предприятия, а значительно больше?

М-р Рид. Конечно, больше. Ни одна из отраслей промышленности не национализирована полностью. В каждой остается одно-два ненационализированных предприятия. Советское правительство предложило иностранным капиталистам условия, стимулирующие капиталовложения. Такое предложение было сделано в свое время американскому послу. Такие же предложения были сделаны всем европейским странам, особенно союзным державам... Однако эти предложения были либо отвергнуты, либо полностью игнорировались...

Что касается объема промышленного производства, то многим кажется, что в России нет никакой промышленности. На самом же деле примерно от шестидесяти трех до шестидесяти восьми процентов текстильной промышленности в собственно России находится под контролем Советского правительства, работа на предприятиях протекает почти нормально.

Сенатор Уолкотт. Откуда вы получили эти сведения?

М-р Рид. Мне это известно из официального доклада министерства торговли и промышленности, где также указано, в каких отраслях производство упало ниже нормы или полностью прекратилось.

Сенатор Уолкотт. Это информация большевистского министерства?..

М-р Рид. У меня есть экземпляр «Обзора» от 1 февраля девятнадцатого года, где опубликована статья Клары Тэйлор «Новая эра русской промышленности», написанная летом восемнадцатого года. Клара Тэйлор, занимающаяся изучением проблем промышленности в нашей стране, изучала и русскую промышленность летом восемнадцатого года, то есть в самый тяжелый для нее период, когда хозяйство было крайне дезорганизовано. Картина, которую она рисует в своей статье, показывает, что Советское правительство в ряде случаев не сумело осуществить то, что планировало. Из статьи, однако, видно, что в районе Москвы имеется развитая промышленность, особенно текстильная. Тэйлор обследовала подмосковные фабрики и знает, что они производят. Мне известно, что есть предприятия, которые управляются рабочими. Одно из них находится в Сестрорецке. Это государственное предприятие, производящее вооружение. Если я назову цифры, вы, пожалуй, возьмете их под сомнение. Но эти данные можно проверить. Я думаю, что профессор Росс может подтвердить их правильность. Это предприятие принадлежало государству и при старом режиме. В то время там полно было взяточников, и производительность его была низка. Но когда оно перешло в руки рабочих, производственные расходы уменьшились на пятьдесят процентов, рабочий день сократился с одиннадцати с половиной до восьми часов, а выпуск продукции увеличился на сорок пять процентов. Но это далеко не все. Рабочие взяли в свои руки также городское самоуправление, положили канализационную систему, которой до того времени не было, выстроили трехэтажную школу и больницу...

Сенатор Уолкотт. Вы утверждаете, что видели все это своими глазами?

М-р Рид. Да.

Сенатор Уолкотт. Если учесть все изложенные вами факты, выходит, что Советское правительство более умело и рационально организовало производство боеприпасов, чем прежнее правительство России?

М-р Рид. Да, безусловно! Я считаю, что капиталистическое правительство вообще не способно хорошо организовать производство...

М-р Хьюмс. Сколько газет издавалось в России ко времени вашего отъезда?

М-р Рид. Суточный тираж, вероятно, составлял около десяти миллионов экземпляров.

М-р Хьюмс. Издавались ли в России какие-нибудь газеты без ведома Советского правительства?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Через сколько времени после вашего отъезда правительство взяло газеты под свой контроль?

М-р Рид. Видимо, моей жене не удалось полностью разъяснить комитету положение вещей, ибо тут, судя по всему, какое-то недоразумение... Советское правительство хотело вырвать прессу из рук имущих классов, лишить их этой монополии. Оно объявило собственностью государства не газеты, а печатные станки и бумагу. Была создана внепартийная комиссия, составленная на основе пропорционального представительства от всех политических партий, для решения вопроса о распределении бумаги, типографской краски и станков. В результате выборов в городские Советы выяснилось, сколько избирателей поддерживает каждую партию, и это определило количество краски, бумаги и печатных станков, предоставляемых ей. Другими словами, если кадетская партия получила треть голосов, ей была выделена и треть имевшихся в наличии полиграфических материалов.

М-р Хьюмс. Но ведь в России кадетская газета не издается?

М-р Рид. Там выходят две кадетские газеты. Думаю, что смогу показать их комитету.

М-р Хьюмс. Где они издаются?

М-р Рид. Одна в Москве.

М-р Хьюмс. Как она называется?

М-р Рид. Не знаю. Я видел газеты некоторых других партий, тоже оппозиционных. Они издаются в Москве и по сне время.

М-р Хьюмс. Можете ли вы назвать какую-нибудь газету, которая выходит в России, но не поддерживает большевистское правительство и не находится под его контролем?

М-р Рид. «Воля народа» — газета партии социалистов-революционеров.

М-р Хьюмс. Где она выходит?

М-р Рид. В Москве.

М-р Хьюмс. Когда вы ее видели в последний раз?

М-р Рид. Вчера.

М-р Хьюмс. От какого числа была эта газета?

М-р Рид. Один из последних номеров восемнадцатого года.

М-р Хьюмс. За тысяча девятьсот восемнадцатый год?

М-р Рид. Думаю, что да. Я видел много подобных газет.

М-р Хьюмс. Эта газета находится в оппозиции к правительству?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Не считаете ли вы, что газеты, агитирующие за насильственное свержение правительства, должны быть запрещены?

М-р Рид. Вполне естественно было бы их запретить.

М-р Хьюмс. Вы думаете, что они должны быть запрещены?

М-р Рид. Это зависит от того, что вы понимаете под насильственным свержением правительства.

М-р Хьюмс. Свержение правительства — это замена его путем, не предусмотренным конституцией.

М-р Рид. Но ведь в нашей Декларации независимости

прокламируется неотъемлемое право народа изменить форму правления, если он сочтет это нужным.

М-р Хьюмс. А в конституции даже указаны средства осуществления этой замены, не так ли?

М-р Рид. Да.

М-р Хьюмс. Считаете ли вы, что любая газета или общественный деятель имеет право требовать изменения формы правления таким путем, который не предусмотрен Декларацией независимости или конституцией?

М-р Рид. Я думаю, что никакое изменение формы правления не должно быть допущено до тех пор, пока большинство народа не выскажется в пользу такого изменения, и что на пути к осуществлению воли большинства не должно быть никаких препятствий.

М-р Хьюмс. И вы полагаете, что, если большинство народа пожелает изменить форму правления, могут быть оправданы любые средства для достижения цели?

М-р Рид. Если этого можно достигнуть законным путем, не думаю, чтобы существовало оправдание или предлог для применения силы.

М-р Хьюмс. В таком случае вы должны согласиться с тем, что любая агитация в пользу изменения формы правления каким-либо иным путем, кроме предусмотренного конституцией, является правильной и допустимой. Так?.. Вы не согласны? Вы полагаете, что можно агитировать за свержение правительства иным путем, нежели тот, что предусмотрен основным законом?..

М-р Рид. Дело в том, что конституции и правительства современных государств — западных демократий — были созданы на заре промышленной эры, когда немного в организации промышленности требовало изменений. Мы уже видели, что в некоторых случаях действия чисто парламентского характера оказываются недостаточными. ...В различные периоды истории возникают различные условия, которые требуют различных методов изменения формы правления. Право рабочих на организацию не было

предусмотрено конституцией, и требование этого права вначале встречало ожесточенное сопротивление, но сейчас оно признано законным. Вот что я имею в виду. И до тех пор, пока народ, предъявляющий свои требования, встречает понимание со стороны правительства, нет никакой необходимости применять силу...

М-р Хьюмс. Теперь, мистер Рид, позвольте вас спросить, действительно ли вы в прошлом пропагандировали анархистские взгляды и были связаны, прямо или косвенно, с анархистским движением?

М-р Рид. Насколько я помню — нет. Анархия — это отрицание всего на свете... Я не понимаю, какие взгляды вы считаете анархическими?

М-р Хьюмс. Я имею в виду полное упразднение государственной власти.

М-р Рид. Нет, таких воззрений у меня не было. Я решительно против анархии...

Сенатор Уолкотт. Считаете ли вы необходимой национализацию промышленности и земли в нашей стране подобно тому, как это было сделано Советским правительством в России?

М-р Рид. Я бы высказался в пользу национализации промышленности и земли, но остается вопрос о методе. У меня никогда не возникало мысли о том, что национализация не может быть осуществлена мирным путем. Я и сейчас думаю, что, если большинство населения нашей страны будет за национализацию, народ своего добьется.

Сенатор Уолкотт. Я также думаю, что народ добьется своей цели законным конституционным путем.

М-р Рид. Любым путем, который может обеспечить достижение цели.

Сенатор Уолкотт. Если народ не добьется национализации, не сможет добиться своего конституционным путем, это лишь докажет, что народ этого не хочет.

М-р Рид. Я не знаю, окажется ли наше правительство

достаточно гибким, чтобы осуществить такие мероприятия, когда они встанут в порядок дня.

Сенатор Уолкотт. Для этого нам пришлось бы изменить конституцию.

М-р Рид. Однако нам не пришлось менять нашу конституцию для того, чтобы без объявления войны послать войска в Россию.

Сенатор Уолкотт. Нет, мы имели законное право поступить таким образом.

М-р Рид. Нам не понадобилось менять конституцию в той ее части, где говорится, что свобода слова не может быть ни ограничена, ни отменена, однако нередко она и ограничивается, и отменяется...

Сенатор Уолкотт. Приходилось ли вам в ваших поездках по Соединенным Штатам высказываться в пользу национализации промышленности и земли в Америке по образцу русских Советов?

М-р Рид. Нет, хотя я уже говорил, что считаю национализацию хорошим делом, и хочу отметить успехи, достигнутые в этом отношении в России. Я не думаю, что национализация должна быть проведена во всех странах точно так же, как в России. Каждая страна в соответствии со своими условиями найдет свои особые пути, но думаю, что к этому придут все страны. Вот почему я считаю, что Советское правительство в России совершает великое дело. Я не хочу этим сказать, что в Германии или в Соединенных Штатах национализация произойдет точно таким же образом. Каждый народ, вероятно, изберет свой путь. Я не хочу предрекать, каким он будет. У меня есть лишь одно желание — увидеть рабочий класс организованным. Мне хочется, чтобы люди хорошо разбирались в экономике, понимали свои классовые интересы и научились вместе бороться за них...

М-р Хьюмс. Не высказывались ли вы публично в пользу революции в Соединенных Штатах, подобно революции в России?

М-р Рид. Я всегда выступал за революцию в Соединенных Штатах.

М-р Хьюмс. Вы выступали за революцию в Соединенных Штатах?

М-р Рид. Революция не обязательно означает применение насилия. Под революцией я понимаю глубокие социальные изменения. Я не знаю, каким путем они могут быть осуществлены.

М-р Хьюмс. Не создается ли после ваших речей впечатление, что вы пропагандируете насильственное свержение власти?

М-р Рид. Возможно.

Сенатор Уолкотт. Вы намеренно создаете у аудитории такое впечатление?

М-р Рид. Я считаю, что воля народа должна в конечном итоге осуществиться, воля громадного большинства народа будет осуществлена.

Сенатор Уолкотт. Это здравая точка зрения.

М-р Рид. А если воля громадного большинства народа не будет выполнена в результате американской революции, она осуществится иным путем. Вот и все.

Сенатор Уолкотт. Знаете ли вы, мистер Рид, что под словом «революция» в обычном смысле подразумеваются конфликты, насилие и применение оружия?

М-р Рид. К сожалению, все глубокие социальные изменения сопровождались насилием.

Сенатор Уолкотт. Разве вы употребляли слово «революция» не в смысле насилия?

М-р Рид. Нет, я не вкладывал в него этот смысл, слово «революция» изначально ассоциируется с ним.

Сенатор Уолкотт. Вам, очевидно, следовало разъяснить аудитории, что, произнося слово «революция», вы не имеете в виду насилия.

М-р Рид. Я считаю, что воля народа будет выполнена. И если народ не добьется своей цели мирным путем, он сделает это при помощи силы. Хотя мирный путь еще

никогда не приводил к цели, я считаю, что он вполне возможен. Если я в самом деле говорил что-либо, выходящее за рамки закона, я готов нести за это ответственность. Да, я — революционный социалист.

Сенатор Уолкотт. Говоря «революционный социалист», вы, очевидно, подразумеваете свержение существующей — как вы ее называете, капиталистической — системы мирным путем?

М-р Рид. Мирным путем или любым иным путем... но лишь тогда, когда массы будут подготовлены к этому. Я хочу сказать, что всякий, кто предлагает свергнуть правительство большинства ради меньшинства, совершает преступление, потому что такой переворот привел бы лишь к бессмысленному, бесцельному пролитию крови, бесцельному убийству.

М-р Хьюмс. Не заявляли вы в восемнадцатом году, выступая в одном из залов на Восточной Пятой авеню в Нью-Йорке, а также позднее, что систематически занимаетесь организацией большевистского движения в Америке и что вас не удивит, если еще до конца года произойдут некоторые события, особенно в Нью-Йорке, Рочестере, Детройте, Филадельфии, Балтиморе, Буффало и Кливленде?

М-р Рид. Нет, сэр, я не говорил ничего подобного.

М-р Хьюмс. Большевистское правительство хотело назначить вас генеральным консулом в Нью-Йорке?

М-р Рид. Советское правительство...

М-р Хьюмс. Были ли вы после своего возвращения и являетесь ли сейчас официальным представителем большевистского правительства в нашей стране?

М-р Рид. Нет.

М-р Хьюмс. Поддерживаете ли вы связи с должностными лицами большевистского правительства?

М-р Рид. Я иногда встречаю людей, уезжающих за границу, и посылаю с ними записки.

М-р Хьюмс. Вы связываетесь с Россией при помощи добровольных курьеров?

М-р Рид. Нет. Лично я ни разу, с тех пор как вернулся в Америку, не получал от советских комиссаров никаких сообщений и ни разу не передавал им ни слова.

М-р Хьюмс. Вы с ними связываетесь через посредников?

М-р Рид. Нет. Не думайте, что я уклоняюсь от ответа на ваши вопросы, отнюдь нет. Я несколько раз писал Рейнштейну, а также Воровскому, который находится сейчас в Швеции. Ни с кем другим я больше не переписывался. Переписка велась только через государственный департамент.

М-р Хьюмс. Вы никогда не соглашались представлять Советское правительство в нашей стране?

М-р Рид. Нет, никогда.

М-р Хьюмс. Думаю, что на этом можно закончить.

Сенатор Уолкотт. Вы говорите, что никогда не представляли Советы?

М-р Рид. Никогда.

Сенатор Уолкотт. А знаете ли вы, кто представляет большевистское правительство в нашей стране?

М-р Рид. Нет, мне это неизвестно. У Альберта Риса Вильямса есть полномочия открыть здесь советское информационное бюро.

Сенатор Уолкотт. Известно ли вам, кто несет расходы по содержанию этого бюро?

М-р Рид. Оно ведь не открыто.

Сенатор Уолкотт. Не открыто?

М-р Рид. Для этого нет денег.

Сенатор Уолкотт. Известны ли вам имена представителей России, получающих деньги для ведения в Америке разъяснительной работы о политике Советского правительства?

М-р Рид. Нет, неизвестны...

Сенатор Уолкотт. Известны ли вам лица, получающие деньги из любого источника — русского, американского, какого угодно — для распространения в Соединенных Штатах информации о деятельности Советского правительства?

М-р Рид. Когда я выступаю на митинге, я обычно получаю за это вознаграждение, потому что должен жить, и это мой единственный источник дохода. Я хотел открыть информационное бюро и посетил в Нью-Йорке несколько человек, от которых думал получить какие-то средства. Я рассчитываю собрать немного денег. Вы ведь знаете, в Нью-Йорке есть богатые женщины, которые ума не приложат, что им делать со своими деньгами, и готовы тратить их на подобные цели. *(Смех.)* Мы, например, издаем брошюры. Я обращаюсь к одному или нескольким знакомым, беру у них в долг тысячу долларов. Затем мы переводим на английский язык русскую брошюру, или декрет, или что-нибудь в этом роде, печатаем их и рассылаем во все штаты по почте или наложенным платежом, вырученные деньги вкладываем в издание другой брошюры. Но мы не располагаем достаточными для этого средствами. Для того чтобы рассказывать правду о России, в нашей стране денег нет.

М-р Хьюмс. За исключением тех случаев, когда вам удастся убедить дам из буржуазных кругов Нью-Йорка дать вам для этого средства?

М-р Рид. Я лично этими деньгами не пользуюсь.

Сенатор Уолкотт. Я хочу попросить стенографа прочитать вопрос, который задал несколько раньше. *(Стенограф зачитывает вопрос, который имеет в виду сенатор, а именно: «Говоря «революционный социалист», вы, очевидно, подразумеваете свержение существующей — как вы ее называете, капиталистической — системы мирным путем?»)* Сейчас я хочу включить в этот вопрос слово «законным», так что вопрос будет звучать так: мирным и законным путем?

М-р Рид. А я хочу включить в свой ответ слова о том, что законы создаются всегда людьми, стоящими у власти. У правительства Советской России есть свои законы... Дело в том, что закон, принятый при жизни одного поколения, может быть неприемлем для другого поколения. «Синие» законы штата Коннектикут, записанные в статуте этого штата, равно как и закон, запрещающий мужу целовать свою жену по воскресеньям, сейчас фактически недействительны... Моя мысль заключается в том, что форма законов и форма государственной власти должны соответствовать времени, характеру народа, условиям его жизни, этим требованиям должны отвечать и правительства, по крайней мере демократические правительства...

Сенатор Уолкотт. Есть одна важнейшая идея, которая владела умами основателей нашего государства, а именно: человек работает и приобретает имущество, право собственности на него должно гарантироваться конституцией. А Советское правительство проводит в жизнь совершенно противоположный принцип.

М-р Рид. Действия Советского правительства как раз направлены на осуществление этого принципа.

Сенатор Уолкотт. Оно уничтожает этот принцип. Оно уничтожает частную собственность.

М-р Рид. Оно уничтожает частную собственность, но не право личного пользования собственностью. В чем заключается разница? Смысл владения личной собственностью заключается в том, что каждый должен пользоваться без помехи результатами своего труда. Как раз этого принципа и придерживается Советское правительство.

Сенатор Уолкотт. Советское правительство хочет заменить частную собственность частным использованием собственностью. И это все? Пусть гражданин пользуется всем, но не владеет ничем?

М-р Рид. В чем разница? Я не понимаю, в чем заключается преимущество частного владения?

Сенатор Уолкотт. Частный владелец всегда может пользоваться своей собственностью.

М-р Рид. Он может всегда пользоваться ею и при Советской власти...

М-р Хьюмс. Я попрошу вас представить комитету экземпляры всех декретов, на которые мы здесь ссылались, для включения их в протокол...

М-р Рид. Хорошо.

*Печатается по:
Иностранная литература,
1963, № 5, с. 215—235*

ПИСЬМА ДЖОНА РИДА РЕДАКТОРУ

С редактором журнала «Метрополитен» Карлом Хови Джон Рид впервые встретился в 1913 г. «Метрополитен» представлял собой любопытную разновидность среди толстых популярных журналов того времени. Он принадлежал мультимиллионеру Гарри Пейн Уитни, издателем его был друг Уитни — Джеймс Вигем, а в редакционную коллегию входил бывший президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт. В то же время журнал провозгласил политику «защиты социализма», пытаясь балансировать на туго натянутом канате и, конечно, нередко срываясь с него. Но все же журнал умудрялся держаться в течение нескольких лет, пока раздирающие противоречия не заставили его окончательно потерять равновесие. В те годы журнал помещал не только лучшие произведения английских и американских писателей, таких, как Джек Лондон, Теодор Драйзер, Д. Х. Лоуренс, Джозеф Конрад, Ринг Ларднер, Скотт Фицджеральд, и других, но также и карикатуры Арта Янга, статьи Реймонда Робинса и, само собой разумеется, Джона Рида.

Вступление к письмам Дж. Рида Карлу Хови написано Ли Голдом. — *Прим. ред.*

Карл Хови умер в 1956 г. Его вдова Соня Левина, которая тоже входила в редколлегия, а впоследствии стала одной из ведущих сценаристок Голливуда, скончалась через четыре года после смерти мужа. Когда моя жена — дочь Сони и Карла Хови — и я разбирали оставшиеся после смерти ее родителей бумаги, мы нашли неопубликованную рукопись воспоминаний Карла Хови о Джоне Рида и связку писем Джона Рида, относящихся к тому времени, когда он работал в «Метрополитене».

Многие из них были написаны наспех, так как сопровождали ту или иную рукопись, которую Рид посылал в нью-йоркское отделение журнала. Однако, несмотря на то что это были торопливые наброски, они характеризуют Рида как человека, иногда неуверенного в себе и в своей работе, скромного до самоуничижения, необычайно эмоционального, способного впасть в отчаяние, но чаще всего упрямого и самоуверенного и всегда непреклонно ищущего истину. Он еще не был автором «Десяти дней, которые потрясли мир», но уже был на пути к этому. Из писем видно, как он стремился порадовать своего редактора из чувства признательности за то, что ему предоставили возможность печататься и зарабатывать на жизнь. Но в то же время он хотел написать о том, как он воспринимает окружающий мир и как понимает взаимодействие сил, движущих мировые события.

Рид обладал поразительной широтой мысли по сравнению с современными американскими публицистами. Он писал в период, который можно назвать наивным периодом капитализма, когда еще не произошла первая, восторжествовавшая вскоре пролетарская революция и некоторые капиталисты, очевидно, не могли поверить в «невозможное», пока оно не стало действительностью. Пока владелец издания, занятый где-то на стороне сколачиванием миллионов, не обращал внимания на журнал, редакция могла позволить себе даже заигрывать с социализмом. Но тем не менее Джона Рида все больше

ограничивали, и он стал против этого бороться. По его письмам чувствуется, как этот преданный своему делу журналист, страстно стремившийся писать только правду, вел напряженную борьбу с редактором, не осмеливавшимся печатать то, что слишком резко противоречило взглядам хозяев. Кроме того, по мере развития мировых конфликтов кругозор Рида расширялся, а кругозор журнала сужался. В то время как у Рида раскрывались глаза на алчность и коррупцию, которые были причинами первой мировой войны, журнал все больше ослеплялся ура-патристическими идеями. К тому времени, когда Рид отошел от своего класса и примкнул к другому, журнал перестал притворяться левым, начав с еще большим упорством отстаивать свои истинные социальные позиции. Сотрудничество Рида с «Метрополитеном» было обречено на провал.

Карл Хови порвал с журналом из-за серии своих статей о влиянии Распутина на русский императорский двор. Уоллстритовцы были разъярены и, боясь за свои торговые связи с Россией, обрушили поток оскорблений на владельца журнала Гарри Пейн Уитни. Статьи перестали печатать, и Хови ушел из журнала.

Джон Рид расстался с «Метрополитеном» задолго до этого. Его деятельность в последующие годы принадлежит, конечно, истории. Письма Джона Рида отнюдь не дают полной картины его жизни, но они ценны тем, что по-новому освещают облик этого человека и помогают проследить за его развитием до того момента, когда он стал таким, каким мы его знаем.

Эти письма были написаны между 1913 и 1915 гг. из Мексики, Италии, Франции...

Рид стал иностранным корреспондентом «Метрополитена» в конце 1913 г. По предложению Линкольна Стеффенса журнал решил послать его военным корреспондентом на фронты гражданской войны в Мексику. Это решение было принято во время совещания между Стеффенсом,

Финли Петер Дьюном, Вигемом и Хови. Сам Рид даже не присутствовал на нем.

Грэнвилл Хикс в своем предисловии к «Десяти дням, которые потрясли мир» пишет: «Через неделю после того, как Рид присоединился к армии, он уже восхищался Вильей. Вилья был романтической фигурой, и Рид считал его революционером. В Патерсоне репортер мог ясно представить себе происходящие события, а в Мексике все было чрезвычайно запутано. Рид видел, что Вилья храбрый человек, что его поддерживает наиболее бедная и угнетенная часть мексиканского народа и что он борется против тирании. Этого было достаточно для Рида, и он стал личным другом Вильи, брался с его солдатами и вместе с ними рисковал жизнью в сражениях. Из всего виденного и пережитого родилась яркая, увлекательная книга «Восставшая Мексика», книга о романтических героях».

Пережитое легло также в основу писем и телеграмм, которые Рид посылал из Эль-Пасо (Техас), расположенного недалеко от мексиканской границы, куда он ездил писать статьи для журнала. Вот эти письма.

7 февраля 1914 г.

Дорогой мистер Хови!

Вот вам первая статья! Я не предполагал, что она будет такой длинной, но я уже сократил ее почти на тысячу слов. Надеюсь, что она годится. Надеюсь также, что смог передать впечатление от моего путешествия и от «Ла тропа»¹. Полагаю, это то, что вам нужно. Конечно, если вы считаете, что ее надо сократить, сокращайте сколько хотите. Возможно, вам не пригодится первая часть до описания дома генерала Урбина, но вы просили меня рассказать о стране, что я и сделал. Надеюсь, что вам не придется выбросить песни, которые мне кажутся поистине

¹ Войска (исп.).

замечательными. Несколько песен с переводом посылаю вам бандеролью. Может быть, вы напечатаете поты и дадите другой стихотворный перевод.

Пожалуйста, прочтите эту статью сразу же и протелеграфируйте, что вы думаете о ней. Следующая будет короче, но сенсационнее: речь пойдет о сражении. У меня под рукой сколько угодно забавного и интересного материала о том, что происходило и происходит в конституционном правительстве, а также о том, что американцы в Мексике — это главный бич для страны. Один бизнесмен в Чиуауа сказал мне, что, если я напишу что-либо против интервенции, он пристукнет меня.

Прошу дать Мейбл Додж¹ первые гранки этой статьи.

Пробуду тут еще дня четыре. Я купил новый аппарат и новое оборудование, так как все потерял во время сражения. Думаю, что у меня в банке есть еще 400 долларов. Ждите моей следующей статьи.

Рид.

10 февраля 1914 г.

Дорогой Хови!

Я был так измучен после первой статьи, что не мог правильно оценить ее. Теперь я начинаю понимать, что именно я бы в ней изменил. Поэтому выбросьте все мои сентиментальности и журналистские остроты — о мире, свободе и т. д. Мне кажется, что в неприкрашенном виде все будет звучать гораздо сильнее. Пожалуйста, прочтите статью внимательно и безжалостно исправляйте, если я уж слишком сентиментальничаю. Сделайте милость...

Вторая статья о сражении, которое вы увидите на фотографии в рамке, должна пойти завтра или же в крайнем случае послезавтра. Потом я последую вашему совету и, прежде чем уехать, напишу еще одну. К сожалению, я должен как можно скорее присоединиться к армии, так

¹ Мейбл Додж — близкий друг Джона Рида. — *Прим. ред.*

как скоро наступит день самого значительного сражения в этой войне — за Торреон. Но мне кажется, что сперва стоит заехать в Мермосильо и поговорить с Каррансой¹, а потом через горы в Дуранго и дальше. Я напал на след человека, знающего историю жизни Вильи, и даже из того небольшого, что он может мне сообщить, я напишу такой замечательный очерк о Вилье, какой никогда еще не появлялся в печати. Мне стала известна также история жизни Урбина. Она так же интересна, как и жизнь Вильи. То же самое можно сказать и о двадцатидвухлетнем генерале Натера. Но самым замечательным человеком в этой революции является Сапата, не забывайте об этом. В «Харперс уикли» от 20 декабря есть статья о революции, настолько правдивая, насколько вообще это возможно. Хотя вожди этой революции утверждают, что Сапата связан с Каррансой, у меня есть все основания не верить этому. Он радикал, логично мыслящий и идеально последовательный. Чтобы вы убедились в этом, я пришлю вам завтра копию Аяльской программы — это программа Сапаты. Если говорить о будущем Мексики, то, по-моему, с Сапатой нельзя не считаться, но никто не верит в это и никто ничего не знает о нем. История его жизни, те обрывочные сведения, которые я сумел собрать, так же чудесны, как «Тысяча и одна ночь». По-моему, мы не получим правильного представления о том, что тут происходит, если не будем знать все о Сапате.

Я чувствую, что после взятия Торреона война на Севере станет похожа на любую другую войну. На солдат Вильи спешно надевают военную форму, им платят деньги, обучают их и приучают к дисциплине. Теперь у него есть пушка и офицеры, радио и машинистка. Северная армия становится профессиональной, заслуживающей уважения. Она не будет отличаться от других армий, но не будет

¹ Карранса Венустиано (1859—1920) — мексиканский буржуазный политический деятель. С 1914 г. — временный президент, с 1917 г. — президент Мексики. — *Прим. ред.*

и типично мексиканской. Не то что теперешняя армия Вильи. Пленных не будут расстреливать. А артиллерийские дуэли меня мало интересуют. Полагаю, что и вас тоже. По моим сведениям, война Сапаты — первое народное восстание, которое не ослабло за три года.

Карранса не радикал. Во всяком случае, не такой, каким был Мадеро. Он скорее реформатор.

Боюсь, что невозможно проехать через центральную часть страны, не подвергая опасности жизнь. Поэтому, если вы хотите, чтобы я попал в Веракрус, телеграфируйте сейчас же по получении этого письма. Словом, сперва я поеду вместе с Вильей, а затем вернусь обратно. Имейте в виду, что еще никто никогда не видел Сапату и ничего о нем не написал.

Вырезка из «Нью-Йорк таймс» — это заметка о битве в Ла-Кадена, в которой я участвовал. О ней я опубликовал сообщение. Я — единственный белый, который видел ее. Но об этом в статье № 2...

17 февраля 1914 г.

Дорогой мистер Хови!

Это третья статья. Я понимаю, что она совершенно не похожа на остальные по стилю, трактовке событий и содержанию. Когда я перечитал ее, то подумал, что Вы ее не возьмете. Впрочем, мне все равно. Вы говорили, чтобы я писал обо всем, что узнаю, — и вот результат. Это — первоклассный материал, и никто, кроме меня, не потрудился собрать его воедино. Если статья Вам не подойдет, пожалуйста, передайте ее в «Санди уорлд» и скажите, что я сам просил об этом, или лучше направьте прямо Линкольну в «Уорлд». Четвертая статья будет написана в том же духе, что и первые две, которые Вам понравились. Мы тронемся, видимо, завтра, и если я не успею разделиться с ней до отъезда, то прикончу злодейку где-нибудь по дороге, а по возвращении у меня для Вас будет масса

нового материала. Не думаю, что мне захочется задержаться тут дольше чем на месяц, но, если через четыре-пять месяцев Вилья вступит в Мехико, мне кажется, хорошо было бы вернуться обратно и сопровождать его, если Вы не потребуете, чтобы я повидался с Сапатой. Мне обойдется гораздо дешевле сперва приехать в Нью-Йорк, а потом вернуться обратно, если тут за это время что-нибудь произойдет. Но вероятнее всего, понадобится не менее полугода, пока он подойдет настолько близко, чтобы ударить по Мехико, а до тех пор я просто буду терять время, слоняясь без дела. Но после взятия Торреона я надеюсь вернуться сюда с великолепным рассказом о том, как был захвачен и разграблен большой город.

Я очень сблизился с Вильей, и завтра Вы получите фотографию, где мы сняты в форме. Но Вы не должны называть меня офицером, разве что в шутку. Будьте с этим очень осторожны: шутите сколько угодно, но только дайте ясно понять, что это всего лишь мистификация. Мексиканцы не очень-то во всем этом разбираются, поэтому меня могут отправить обратно к границе. Кроме того, поскольку я не сражаюсь, я не хочу выступать в роли героя войны.

Глубоко признателен за Вашу поздравительную телеграмму. Она меня подбодрила. Будьте уверены, что я сделаю все возможное для «Метрополитена». Как только мы сядем в поезд и тронемся на юг, я начну писать о Вилье с его же слов. Он говорит, что ничего не утаит от меня... Это будет не только необычайно волнующий рассказ, но и замечательный человеческий документ. Он вызовет сенсацию во всем мире...

Написав вторую статью, я что-то расклеился и пролежал два дня с приступом малярии. Но теперь все в порядке. Жизнь тут, в Эль-Пасо, стоит чертовски дорого, но мне нужна хорошая комната и масса сигарет. Ужасно хочется быть в Мехико...

Рид.

Рим, 2 сентября 1914 г.

Дорогой Хови!

Тут мне делать нечего. Сегодня ночью отправляюсь в Париж, где готовятся к большой осаде. По-моему, нет никаких сомнений, что она приближается. По мнению английского посла, с которым у меня был конфиденциальный разговор, Италия, по всей вероятности, вступит в войну недели через три, конечно, на стороне Франции. В Германию сейчас никак не попадешь... Всех корреспондентов арестовывают как английских шпионов. Я не смог связаться с лондонской «Морнинг пост», куда Вы обещали телеграфировать, поэтому придется обойтись без нее. Сейчас у меня денег достаточно, но не знаю, надолго ли мне их хватит. Мой парижский адрес — посольство. Я думаю, что после Парижа поеду в Россию, а потом буду пытаться проникнуть в Германию. Тут ничего нельзя ни увидеть, ни узнать. Это ужасно...

Рид.

Париж, 11 октября 1914 г.

Дорогой Хови!

Не могу передать Вам, как я страдал с тех пор, как приехал сюда, тщетно пытаюсь объяснить, что представляет собой эта война. Я чувствовал, что мои две следующие статьи ужасны. Кажется, никто не в состоянии понять того, что здесь происходит, и я чувствую, что именно я должен это сделать, иначе грош мне цена. Раз двадцать я уже готов был бросить все и уехать домой. Но, кажется, здесь все-таки можно кое-что найти. Ради бога, телеграфируйте Ваше мнение, когда получите эту статью. Я написал Вам около 5000 слов на Марне, где я был вместе с английской армией, и теперь чувствую, что еще раз не смогу написать об этом. Знаю, что этот материал никуда не годится, но, может быть, Вы используете его для редакционной врезки к той статье, которую я сейчас посылаю. Эта врезка будет предисловием о том, с какими трудностями сталкиваются корреспонденты и как глупо писать об

этой войне из окопов. С тех пор как меня послали в Тур, я опять был арестован, на этот раз в Сезанне, и на моем паспорте сделали отметку, лишившую меня всякой возможности когда-либо снова попасть во французскую зону; кроме того, на этот раз мне серьезно угрожали двумя годами заключения во французской крепости. Я бы мог завербоваться во французскую армию, но не хочу сидеть в окопах по меньшей мере года два, и у меня нет никакого желания убивать немцев, а французы беспощадны к дезертирам.

Я остался в Париже для того, чтобы написать эту статью, и еще потому, что тут, мне кажется, может многое произойти. Хотя в официальных коммюнике говорится: «Все прекрасно», названия упоминаемых в них пунктов свидетельствуют о том, что союзники медленно, но верно отступают почти по всем направлениям. Народ тут, кажется, верит, что осада Парижа — это лишь вопрос времени и что падение Антверпена и Остенде в ближайшем будущем освободит огромные силы немцев, которые обрушатся на позиции союзников.

Кроме того, и тут, и в Лондоне все находится в постоянном страхе перед налетами цеппелинов. Сегодня два немецких самолета сбросили 20 бомб на город, и во многих местах возникли пожары — конечно, небольшие, и их легко ликвидировали, но... Самолеты медленно пролетели над крышами по своему назначению, и никто их не тронул. У немцев тысяча цеппелинов.

Побывав в Англии и сейчас заканчиваю превосходную статью о ней. Боюсь, что Вигему она может не понравиться, ибо в ней чувствуется мое глубокое отвращение к этой стране. Но тем не менее Вы получите ее со следующим кораблем.

С этой же почтой я Вам посылаю сверток с целым набором разных вещичек: французские уличные песни, две карикатуры (одну из них, «Немецкий варвар», Вы могли бы использовать как шапку для этой статьи) и две ил-

люстрации американского художника, который побывал на фронте. Как фактический материал эти иллюстрации вполне приемлемы, хотя и не представляют собой ничего особенного. Впрочем, они могут сойти. Я заплатил из Ваших денег по пяти долларов за штуку, потому что бедняга голодал. Если они Вам понравятся, тогда его устроили бы 15—20 долларов за каждую иллюстрацию, а если нет, ну что ж, тогда вычтите у меня эти 10 долларов...

В полном отчаянии я почти совсем отказался от какой-либо работы для «Уорлда». Я не могу посылать телеграммы за свой счет, а письма идут слишком долго. Кроме того, мой лучший материал, как всегда, предназначен Вам. То, что Вам не подходит, пересылайте в «Уорлд» Линкольну. В Лондоне я встретил журналиста из «Экспресса» и мог бы кое-что сделать для него. Но пока я ничего не решил. Эта война становится все более отвратительной, бессмысленной и глупой, и у меня нет времени для сочинения убогих очерков.

Кажется, теперь я знаю, что мне делать. Я хочу написать серию статей, содержащих анализ положения каждой воюющей страны и, конечно, одновременно живые впечатления, если они у меня будут. Вас это удивляет? Пишите мне по-прежнему на посольство, мне оттуда будут пересылать.

Вы, наверное, читали английские, немецкие, австрийские и сербские документы о войне. На днях выйдет французская книга. Если вы ее еще не достали, купите книжку оксфордского профессора современной истории «Почему мы воюем?»; это, так сказать, официальный отчет англичан о войне. Мне кажется, что Германия виновата не больше, чем Англия. От этой книжки охватывает ужас...

Рид.

Если Вы используете статью, пожалуйста, пошлите гранки Мейбл Додж.

Дорогой Хови!

Как я уже писал Вам, я получил Вашу телеграмму вчера и телеграфировал Вам, чтобы Вы отдали статью об Англии Линпману. Я был немного удивлен Вашей критикой. Я представлял себе, что статья может Вам не понравиться, но никак не думал, что Вы сочтете ее «устаревшей и малозначительной». Но, может быть, об этом уже писали у вас, а тут нет, даже в Германии. Все считают само собой разумеющимся, что «Белая книга» сэра Эдварда Грея — истинная правда, которая демонстрирует стремление Англии сохранить мир в Европе. Но составители немецких, австрийских, русских сборников документов и дипломатической корреспонденции с таким же основанием претендуют на то, чтобы их страны считались хранительницами мира. Вы постоянно доказывали в Ваших заявлениях и в беседах с миссис Мейбл Додж, что я явно не способен схватить главное в создавшемся положении и дать четкий анализ, как я это сделал в Мексике. Ну что ж, Вы хотели анализа, я тоже, но я не могу по-другому относиться к этой мрачной и непопулярной войне. Когда мы с Вами беседовали перед моим отъездом, Вы мне сказали, что нет необходимости ездить на линию фронта, достаточно понять, как относится к войне народ. Но сейчас мне кажется, что Вам нужны именно батальные сцены. Прекрасно, Вы их получите, если я буду уверен, что смогу хорошо о них написать. Я еще подумаю об этом. Тем не менее совершенно очевидно, что во Франции мне нечего делать. Через две недели я уеду в Германию, а потом, когда выполню порученное мне неприятное задание, поеду, уже зимой, на русский фронт, где постараюсь пробыть до взятия Будапешта, а затем — на Балканы или в Турцию.

Мне очень не понравилась передовая статья Вигема об «Уроках войны». Она кажется мне необычайно поверхностной. Я напишу Вам об этом, когда приду домой. Сейчас

я сижу в кафе, и у меня под рукой нет экземпляра «Метрополитена». На неделю я выехал за город. Здесь и дешевле, и полезнее для здоровья, чем в Париже.

Рид.

[Середина ноября 1914 г.]

Мой дорогой Хови!

Я получил Ваше запоздалое, но сердечное письмо только день или два назад. Оно вселило в меня новые силы, и, если Вы сможете подождать, я еще напишу что-нибудь хорошее для Вас. Я в этом уверен. Не согласен с Вами, что мои замечания об однообразии английских лиц выражают «презрение», а упоминание об их чаепитиях — «бестактно». В англичанах всего более поражает именно неизменность их внешнего облика и постоянство привычек. Тем не менее я допускаю, что статья заслуживала осуждения и что я, возможно, был резок. Думаю, что я должен написать о немцах такую же статью, как и об англичанах, несмотря на то, что она Вам не понравилась. Полагаю, что важно сказать об исторических корнях этой войны. Если Вам не нужен такой материал — что ж, тогда я для Вас сделаю только зарисовки, а статью пошлю еще куда-нибудь.

Я только что прочитал в «Харперс» от 14 ноября очерк Геральда Моргана, в котором он говорит обо мне и о Данне. Разрешите Вам сказать, что у меня тоже есть такой пропуск и что я трижды пытался поступать, как он, но у самых ворот Парижа мне приходилось поворачивать обратно. В этой поездке мне ужасно не везло. Мне не было страшно, и я не хочу, чтобы Вы так думали. Но, видимо, это просто для меня недостижимо. На это есть и другие причины помимо тех забот, которые так мучают меня. Но об этом я расскажу Вам как-нибудь в другой раз. Я действительно прошел через сущий ад.

Остается только выяснить, хотите ли Вы, чтобы я приехал домой, после того как выполню все задания, или же чтобы я продолжал мои попытки. Мне кажется, что Ваше

письмо поощряет меня к последнему. Кстати, пожалуйста, больше не показывайте моих писем миссис Додж. Напишите мне, что Вы хотите, чтобы я для Вас сделал? В конце следующей недели я уезжаю в Германию, но письма мне будут по-прежнему пересылать отсюда, из посольства.

Я сегодня получил от Вигема телеграмму, в которой говорится: «В каждой армии находится несколько американских корреспондентов. Вам совершенно необходимо последовать их примеру».

Этого, конечно, я не сделаю. Если я не смогу увидеть войну так, как мне этого хочется, что же, значит, я вовсе ее не увижу.

Ваш Рид.

Если Ваши коллеги думают, что я тут развлекаюсь и бездельничаю, выбросьте это из головы. Девушка, которую я люблю, находится в бессознательном состоянии, и я пытаюсь ее спасти.

[Париж, 1 декабря 1914 г.]

Дорогой Хови!

Сегодня я получил Вашу телеграмму, в которой сказано: «Письмо получил. Мы охотно пошлем Вам деньги, если Вы немедленно вернетесь в Нью-Йорк и посоветуетесь с нами, чтобы мы могли, насколько возможно, помочь Вам. Мы не можем все уладить на таком расстоянии».

Я Вам телеграфировал, что должен поехать вместе с Фредди к ее отцу в Германию, а после этого, если хотите, могу немедленно вернуться домой. Но мне сейчас крайне необходимы 600 долларов, и, если Вы не можете мне дать эту сумму, я попытаюсь достать деньги еще где-нибудь. Поверьте, я бы не написал Вам об этом, если бы не был в отчаянном положении. Я уже заплатил 200 долларов, чтобы начать бракоразводный процесс... У меня осталось 400 долларов, а я должен больше 300 юристу.

600 долларов мне нужны для поездки в Германию и домой... Конечно, если у меня будет возможность попасть на германский фронт и написать что-нибудь, я это сделаю. А вдруг я смогу повидать императора, если Вы хотите, чтобы я попытался еще раз. Если нет, то я сразу же поеду домой. Но я опять в форме, чувствую себя сильным, здоровым, снова обрел энергию и способность слышать и видеть, и наконец я снова свободен, как в Мексике. Мистер Херрик, наш посол, лично подал запрос в секретариат военного министерства Франции о том, чтобы мне разрешили поехать на фронт, и, быть может, я в конце концов получу разрешение. Я буду держать Вас в курсе дела.

Посылаю Вам маленький рассказ. Его нужно сократить. Если он Вам не пригодится, перешлите его в «Мэссиз».

Рид.

[Декабрь 1914 г.]

Дорогой Хови!

Сегодня я получил Вашу телеграмму о деньгах и все еще слишком взволнован, чтобы должным образом выразить глубокую благодарность, которую я испытываю к Вам и к журналу. Я могу сказать только одно: Вы, не ставя никаких условий, поверили мне и послали деньги. Теперь, со своей стороны, мне хочется что-нибудь сделать для Вас, если, конечно, после моего провала это еще что-нибудь для Вас значит. Прошлым летом Вы говорили со мной о том, что при желании я мог бы заключить договор с Вигемом, по которому мне пришлось бы писать только для одного журнала, то есть для «Метрополитена». Мне помнится, Вы хотели, чтобы все мои статьи печатались только в Вашем журнале, а этого я не мог Вам обещать. Теперь мне хочется Вам сказать, что в течение следующих двух лет я предоставляю Вам исключительное право на мои статьи и обязуюсь нигде ничего не публиковать

без Вашего разрешения. Можете считать это моим договором. Вопрос об оплате оставляю за Вами, зная, что Вы меня не обманете.

Обо мне не беспокойтесь. Я освободился от бремени, которое могло раздавить меня. Я собираюсь жениться на Фредди Ли, нас связывает взаимная симпатия, понимание и профессиональные интересы. Я счастлив, полон энергии и готов снова хорошо работать. Мне кажется, теперь это будет для меня нетрудно. Но если во время моего пребывания в Германии у меня не будет возможности осуществить мои и Ваши надежды, я приеду домой и поговорю с Вами. Пока что до отъезда из Парижа мне, может быть, разрешат поехать на несколько дней на французский фронт. Я жду ответа на запрос посла обо мне в военное министерство.

Не унывайте! Для меня жизнь начинается снова.

Рид.

*Печатается по:
Иностранная литература,
1961, № 10, с. 209—217*

ЭПТОНУ СИНКЛЕРУ¹

[1918 г.]

«Гарвард Клуб, Нью-Йорк Сити.

Дорогой Эптон,

Что касается моей статьи, то я не в обиде, я хочу, чтобы Вы знали, что любые причины, которые Вы приведете, будут для меня уважительными, потому что я знаю, что Вы не боитесь. Но иногда я не могу побороть раздражения по поводу Вашего отношения к событиям в России.

Вы говорите: «У меня нет тех непосредственных и простых революционных чувств, что у Вас, потому что я как буржуа заинтересован в том, чтобы выиграть войну». В

¹ Синклер Эптон Вилл (1878—1968) — американский писатель.

другом месте Вы говорите, что русская проблема «самая сложная в истории человечества».

Однако же, хотя у Вас и нет непосредственных и простых революционных чувств, Вы ухитрились свести наши военные цели и действия в Европе к очень простым задачам. Я только что ознакомился с написанной Вами передовой статьей, напечатанной на первой странице октябрьского номера Вашего журнала, в которой Вы говорите, что «на душе у Вас все время радостно». Что для Вас радостного в самом факте поражения Германии? Вы что имеете в виду, когда говорите «демократия» и «этот зверь с умом инженера, этот надменный зверь, веривший в силу и одну лишь силу»? У меня создалось впечатление, что в Вашем сознании все зло и все бедствия совершенно точно классифицируются и делятся на крупные и мелкие. Правительства и методы эксплуатации народных масс правящими классами, по-видимому, делятся на абсолютно плохие и не такие уж плохие, демократические и не очень демократические. Капитализм как экономический фактор во всех странах гораздо менее важен, чем политика. Почему причины войны Вам теперь так не важны, а мало-мальски приличное ее окончание так важно? Что же так важно в «чистом мире», в том смысле, как этот термин мог бы употребить Вильсон?

Вы знаете, я слишком уважаю Вашу честность, чтобы вложить в эти вопросы что-то для Вас обидное. Я просто хочу знать, и все.

Я начал со спора с Вами о России и, пожалуй, закончу несколькими словами о ней. Вам война кажется простой, а русская революция сложной. Должен признаться, что для меня дело обстоит как раз наоборот; конечно же и русская революция — тоже совсем не простое дело.

Я не понимаю, как может какой-либо социалист сомневаться в честности подавляющего большинства советских руководителей, в величии мечты большевиков и даже в возможности ее практического осуществления. Когда

социальная революция начинается, интеллигенция всегда относится к ней критически и даже разочаровывается в ней; а уж если она окажется преждевременной, неподготовленной или основанной на неосуществимых мечтах, то интеллигенция может выступить против нее. Но если подавляющее большинство народа совершенно сознательно идет на что-то, ни Вы, ни я в стороне не останемся и не откажемся от участия в этом движении.

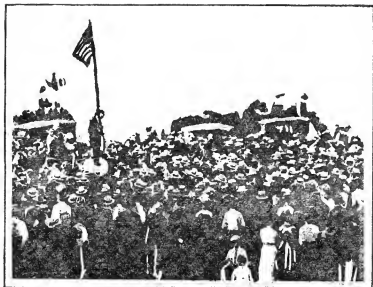
Я знаю, что Вы не верите тем фактам, о которых я Вам рассказываю; что ж, мне придется ждать, пока история подтвердит мои слова. Но я-то знаю, что я прав. Я не предавался мечтам, а изучал и исследовал действительность так, как никогда прежде. В некоторых вопросах Альберт Вильямс знает даже больше меня.

Вы пишете: «Вы безусловно видите, что нельзя признать законным отказ иностранных государств от уплаты по займам, в то время как в Штатах невозможно продать ни одной облигации военного займа». Правильно. Я никогда даже и не видел необходимости в продаже облигаций военных займов в Штатах. Военные расходы могли бы и прежде и теперь оплатить богачи, причем в том случае, если война была бы неизбежна, а в этом-то я как раз и не сомневаюсь.

Вильсон решается на многое, но он не решается, да и не желает заложить в нашей стране или во всем мире основы индустриальной демократии. Где — на земле, в небесах или преисподней — видите Вы будущее политической демократии, да еще в международных масштабах?

Рид»

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖОНЕ РИДЕ



ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РЕВОЛЮЦИИ

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС
О ДЖОНЕ РИДЕ —
РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ,
ХУДОЖНИКЕ, ЧЕЛОВЕКЕ

Первый американский город, в котором первые рабочие отказались грузить военные припасы для колчаковской армии, был город Портленд на берегу Тихого океана. В этом-то городе 22 октября 1887 г. родился Джон Рид.

Его отец был одним из крепких, прямодушных пионеров, каких Джек Лондон изображал в своих рассказах об американском Западе. Это был человек острого ума, ненавидевший лицемерие и притворство. Вместо того чтобы «держатъ руку» влиятельных и богатых людей, он выступал против них, и, когда тресты, точно гигантские спруты, захватили в свои лапы леса и другие природные богатства штата, он повел с ними ожесточенную борьбу. Его преследовали, избивали, увольняли со службы. Но он ни разу не капитулировал перед врагами.

Таким образом, от своего отца Джон Рид получил хорошее наследство — кровь бойца, первоклассный ум, смелый и мужественный дух. Его блестящие дарования проявились рано, и по окончании средней школы он был послан учиться в знаменитейший университет Америки — Гарвардский. Сюда обычно посылали своих сынков нефтяные короли, угольные бароны и магнаты стали.

Ранее было опубликовано под заголовком «Биография Джона Рида». — *Прим. ред.*

Они отлично знали, что их сынки, проведя четыре года в занятиях спортом, в роскоши и в «бесстрастном изучении бесстрастной науки», вернутся с душою, абсолютно свободной даже от малейшего налета радикализма. Таким именно способом в колледжах и университетах десятки тысяч американских юнцов превращаются в защитников существующего порядка — в белую гвардию реакции.

Джон Рид провел четыре года в стенах Гарварда, где сделался благодаря своему личному обаянию и талантам всеобщим любимцем. Он ежедневно сталкивался с юными отпрысками богатых и привилегированных классов. Слушал напыщенные лекции правоверных учителей социологии, проповеди верховных жрецов капитализма — профессоров политической экономии. И кончилось тем, что он организовал Социалистический клуб в самом центре этой твердыни плутократии. Это был удар прямо в физиономию ученым-невеждам. Его начальники утешали себя мыслью, что это просто мальчишеская блажь. «У него пройдет этот радикализм, — говорили они, — как только он выйдет из ворот колледжа на широкую арену жизни».

Джон Рид окончил курс наук, получил ученую степень, вышел в широкий мир и в невероятно короткий срок покориł его. Покориł своей любовью к жизни, своим энтузиазмом и пером. Еще в университете в роли редактора сатирического листка «Lampoon» («Насмешник») он уже показал себя мастером легкого и блестящего стиля. Теперь с его пера полились потоком стихотворения, рассказы, драмы. Издатели забрасывали его предложениями, иллюстрированные журналы платили ему чуть ли не баснословные суммы, крупные газеты заказывали ему обзоры важнейших событий иностранной жизни.

Так он стал странником больших дорог мира. Кто желал быть в курсе современной жизни, тому достаточно было следовать за Джоном Ридом, ибо всюду, где случалось что-нибудь значительное, он неизменно поспевал, как некий буреvestник.

В Патерсоне стачка текстильных рабочих превратилась в революционную бурю — Джон Рид оказался в самой ее гуще.

В Колорадо рабы Рокфеллера выползли из своих окопов и отказались туда вернуться, несмотря на дубинки и винтовки вооруженной стражи, — и Джон Рид уже тут заодно с мятежниками.

В Мексике закабаленные крестьяне (пеоны) подняли знамя бунта и под начальством Вильи двинулись на Капитолий — и Джон Рид верхом на коне был рядом с ними.

Отчет об этом последнем подвиге появился в журнале «Метрополитен», а позднее — в книге «Восставшая Мексика». Рид в лирических тонах описал алые и пурпурные горы и обширные пустыни, «кругом защищенные исполинскими кактусами и испанскими иглами». Египтяне пленили безбрежные равнины, но в еще большей степени — ее обитатели, беспощадно эксплуатируемые помещиками и католической церковью. Он описывает, как они сгоняют свои стада с горных лугов, стремясь присоединиться к освободительным армиям, как они поют свои песни у лагерных костров по вечерам и, несмотря на голод и холод, в лохмотьях, босые, великомерно дерутся за землю и волю.

Грянула империалистическая война — и Джон Рид всюду, где грохочут пушки: во Франции, Германии, Италии, в Турции, на Балканах и даже в России. За свои разоблачения предательства царских чиновников и за сбор материалов, доказывающих их участие в организации еврейских погромов, он был арестован жандармами вместе с знаменитым художником Бордменом Робинсоном. Но, как и всегда, благодаря искусной интриге, счастливой случайности или остроумной проделке, он вырвался из их когтей и, смеясь, бросился в следующую авантюру.

Опасность никогда не могла его удержать. Она была его родной стихией. Он всегда пробирался в запретные зоны, на передовые линии окопов.

Как живо воскресает в моей памяти моя поездка с Джоном Ридом и Борисом Рейнштейном на Рижский фронт в сентябре 1917 г.! Наш автомобиль направлялся к югу, в сторону Вендена, когда германская артиллерия стала засыпать снарядами деревушку на восточной стороне. И эта деревушка вдруг стала для Джона Рида самым интересным местом в мире! Он настоял на том, чтобы мы поехали туда. Мы осторожно ползли вперед, как вдруг позади нас разорвался огромный снаряд, и участок дороги, который мы только что проехали, взлетел на воздух черным фонтаном дыма и пыли.

В испуге мы судорожно ухватились друг за друга, но спустя минуту Джон Рид уже сиял восторгом. По-видимому, какая-то внутренняя потребность его натуры была удовлетворена.

Так странствовал он по всему миру, по всем странам, по всем фронтам, и необычайные приключения случались с ним одно за другим. Но он был не просто авантюрист, путешественник-журналист, зритель со стороны, спокойно наблюдающий муки людей. Напротив, их страдания были его страданиями. Весь этот хаос, грязь, муки и кровопролития оскорбляли его чувство справедливости и приличия. Он настойчиво стремился добраться до корней всех этих зол, чтобы затем вырвать их с корнем.

И вот он вернулся из своих странствий в Нью-Йорк, но не на отдых, а для новой работы и агитации.

Вернувшись из Мексики, он объявил: «Да, в Мексике мятеж и хаос, но ответственность за все это падает не на безземельных пеонов, а на тех, кто сеет смуту, посылая золото и оружие, т. е. на соперничающие друг с другом американские и английские нефтяные компании».

Из Патерсона он возвратился затем, чтобы организовать в огромнейшем зале Нью-Йорка, в Мадисон-сквер-гарден, грандиозное драматическое представление, названное «Битва патерсонского пролетариата с капиталом».

Из Колорадо он вернулся с повествованием о расправе в Лудло, отчасти затмившим своими ужасами Ленский расстрел в Сибири. Он рассказал, как шахтеров выбрасывали из их домов, как они жили в палатках, как эти палатки были облиты керосином и подожжены, как бегущих рабочих расстреливали солдаты и как погибло в пламени два десятка женщин и детей. Обращаясь к Рокфеллеру — королю миллионеров, он сказал: «Это ваши шахты, это ваши наемные бандиты и солдаты. Вы убийцы!»

И с полей сражений он вернулся не с пустой болтовней о жестокостях той или другой воюющей стороны, но с проклятиями самой войне как одному сплошному зверству, как кровавой бане, организованной враждующими между собою империализмами. В «Либереиторе» («Освободитель»), радикальном революционном журнале, в который он безвозмездно отдавал лучшие свои писания, он напечатал яростную антимилитаристскую статью под лозунгом «Добудь смиренную рубашку для своего солдата-сына». Вместе с другими редакторами он был привлечен к нью-йоркскому суду за государственную измену. Прокурор всеми силами старался добиться обвинительного приговора от патристически настроенных присяжных; он дошел даже до того, что поместил близ здания суда оркестр, игравший национальные гимны во все время судебного разбирательства! Но Рид и его товарищи твердо отстаивали свои убеждения. Когда Рид мужественно заявил, что он считает своим долгом бороться за социальную революцию под революционным знаменем, прокурор задал ему вопрос:

«Но в нынешней войне вы воевали бы под американским флагом?»

«Нет!» — категорически отвечал Рид.

«Почему же нет?»

В ответ на это Рид произнес страстную речь, в которой обрисовал ужасы, свидетелем коих он был на поле сражения. Описание получилось настолько живое и сильное, что даже некоторые из предубежденных мелкобур-

жуазных присяжных расчувствовались до слез и редакторов оправдали.

Как раз в момент вступления Америки в войну случилось так, что Рид подвергся операции, в результате которой лишился одной из почек. Врачи объявили его негодным для военной службы.

«Потеря почки может освободить меня от службы войне между двумя народами,— объявил он,— но она не освобождает меня от службы войне между классами».

Летом 1917 г. Джон Рид поспешил в Россию, где в первых революционных стычках распознал приближение великой классовой войны.

Быстро проанализировав ситуацию, он понял, что завоевание власти пролетариатом логично и неизбежно. Но его волновали промедления и отсрочки. Каждое утро, просыпаясь, он с чувством, похожим на раздражение, убеждался, что революция еще не началась. Наконец Смольный подал сигнал, и массы двинулись в революционную борьбу. Вполне естественно, что и Джон Рид устремился вперед вместе с ними. Он был вездесущ: при роспуске предпарламента, при постройке баррикад, при овахиях Ленину и Зиновьеву, когда те вышли из подполья, при падении Зимнего дворца...

Обо всем этом он рассказал в своей книге.

Он собирал материал повсюду, где был сам. Собрал полные комплекты «Правды», «Известий», всех прокламаций, брошюр, плакатов и афиш. К плакатам он питал особенную страсть. Каждый раз, когда появлялся новый плакат, он не задумывался — сорвать или не сорвать его со стены, если он не мог добыть его иным способом.

В те дни плакаты печатались в таком множестве и с такой быстротой, что трудно было найти для них место на заборах. Кадетские, социал-революционные, меньшевистские, левозэсеровские и большевистские плакаты наклеивались один на другой такими густыми слоями, что однажды Рид отодрал пласт в шестнадцать плакатов. Вор-

вавшись в мою комнату и размахивая огромной бумажной плитой, он воскликнул: «Смотри! Одним махом я сцапал всю революцию и контрреволюцию!»

Так, разными способами он собрал великолепную коллекцию материалов. Она была так хороша, что когда после 1918 г. он прибыл в гавань Нью-Йорка, то агенты американского генерального атторнея (министра юстиции) отняли ее у него. Ему удалось, однако, вновь завладеть ими и спрятать в нью-йоркской комнатухе, где среди грохота подземных и надземных поездов, пробежавших над его головой и под ногами, он на своей машинке написал «Десять дней, которые потрясли мир».

Разумеется, американским фашистам нежелательно было, чтобы эта книга дошла до публики. Шесть раз вырывались они в контору издательства, пытались украсть рукопись. На своей фотографии Джон Рид надписал: «Моему издателю Горацию Ливерайту, едва не разорившемуся при печатании этой книги».

Эта книга не была единственным плодом его литературной деятельности, связанной с его пропагандой правды о России. Разумеется, буржуазия знать не хотела этой правды. Ненавидя русскую революцию и страшаясь ее, буржуазия пыталась утопить ее в потоке лжи. Бесконечные потоки грязной клеветы полились с политических трибун, с экранов кинематографа, со столбцов газет и журналов. Журналы, некогда выпрашивавшие у Рида статьи, теперь не печатали ни одной строчки, написанной им. Но они не были в состоянии зажать ему рот. Он говорил на многолюдных массовых митингах.

Он создал свой собственный журнал, стал редактором левосоциалистического журнала «Революционный век», а затем и «Коммуниста». Он писал статью за статьей для «Либерейтора», разъезжал по Америке, участвуя в конференциях, насыщал фактами всех окружающих, заражая энтузиазмом и революционным пылом. Наконец, он организовал в центре американского капитализма Коммуни-

стическую рабочую партию — действовал так, как десять лет назад, когда организовал Социалистический клуб в сердце Гарвардского университета.

«Мудрецы», по обыкновению, промахнулись. Радикализм Джона Рида оказался чем угодно, только не «преходящей блажью». Вопреки пророчествам соприкосновение с внешним миром отнюдь не исцелило Рида. Оно только усилило и укрепило его радикализм. Как глубок и крепок был теперь этот радикализм, буржуазия могла убедиться из чтения «Голоса труда» — нового коммунистического органа, редактором которого был Рид. Американская буржуазия теперь поняла, что в ее отечестве появился подлинный революционер. Теперь одно это слово «революционер» повергает ее в трепет! Правда, в отдаленном прошлом в Америке были революционеры, и даже сейчас там существуют общества, пользующиеся высоким почетом и уважением, вроде «Дочерей американской революции» и «Сынов американской революции». Этим реакционная буржуазия платит дань памяти революции 1776 г. Но те революционеры давно отошли в иной мир. А Джон Рид был живой революционер, необычайно живой, он был вызов, он был бич для буржуазии!

Ей оставалось теперь только одно — держать Рида под замком. Его арестовывают — не раз и не дважды, а двадцать раз. В Филадельфии полиция заперла зал собрания, не дав ему говорить. Но он влез на ящик из-под мыла и с этой «кафедры» обратился к огромной толпе, запрудившей улицу. Митинг имел такой успех и так много в нем было сочувствующих, что когда Рида арестовали за «нарушение порядка», то нельзя было добиться от присяжных обвинительного приговора. Ни один американский город не чувствовал себя спокойным, пока не арестовывал Джона Рида хотя бы один раз. Но Риду всегда удавалось освободиться на поруки или добиться отсрочки суда. И тотчас же он снесил дать бой на какой-нибудь новой арене.

У западной буржуазии вошло в привычку приписывать все свои бедствия и неудачи российской революции. Одно из самых «злостных преступлений» этой революции заключалось в том, что именно она превратила этого даровитого молодого американца в пламенного фанатика революции. Так думает буржуазия. В действительности это не совсем так.

Не Россия превратила Джона Рида в революционера. Революционная американская кровь текла в его жилах со дня рождения. Да, хотя американцы постоянно изображаются тучной, самодовольной и реакционной нацией, в жилах их все же бурлят возмущение и бунт. Вспомните о великих мятежниках прошлого — о Томасе Пейне, об Уолте Уитмене, о Джоне Брауне¹ и Парсонсе². А нынешние товарищи и соратники Джона Рида — Билл Хейвуд, Роберт Майнор, Рутенберг и Фостер! Вспомните кровавые промышленные конфликты в Гомстеде, Пульмане и Лоренсе и борьбу Индустриальных рабочих мира. Все они — и эти лидеры, и эти массы — чисто американского происхождения. И хотя в настоящее время это не совсем отчетливо видно, но в крови американцев есть густая примесь бунтарства.

Следовательно, нельзя сказать, что Россия превратила Джона Рида в революционера. Но она сделала из него *научно мыслящего и последовательного* революционера. Это ее великая заслуга. Она заставила его завалить свой письменный стол книгами Маркса, Энгельса и Ленина. Она дала ему понимание исторического процесса и хода событий. Она заставила его заменить свои несколько туманные гуманитарные взгляды жесткими, грубыми фактами экономики. И она побудила его стать учителем американского рабочего движения и попытаться подвести

¹ Браун Джон (1800—1859) — борец за освобождение негров-рабов в США.— *Прим. перев.*

² Парсонс Альберт Росс (1848—1887) — рабочий-печатник, деятель рабочего движения США.— *Прим. перев.*

под него тот же научный фундамент, который он подвел под свои собственные убеждения.

«Но не в политике твоя сила, Джон!» — говаривали, бывало, Риду его друзья. «Ты художник, а не пропагандист. Ты должен отдать свои таланты творческой литературной работе!» Он часто испытывал правду этих слов, ибо в голове его постоянно зарождались новые стихи, романы и драмы, они постоянно искали себе выражения, стремились облечься в определенные формы. И когда друзья настаивали, чтобы он отложил в сторону революционную пропаганду и сел за письменный стол, он отвечал им с улыбкой: «Хорошо, я сейчас это сделаю».

Но ни на минуту он не прекращал своей революционной деятельности. Он просто не мог этого сделать! Русская революция захватила его целиком и безраздельно. Она сделала его своим адептом, заставила его подчинить свои колеблющиеся анархические настроения строгой дисциплине коммунизма; она послала его, как некоего пророка с пылающим факелом, в города Америки; она вызвала его в Москву в 1919 г. работать в Коммунистическом Интернационале над делом слияния двух коммунистических партий США.

Вооружившись новыми фактами революционной теории, он вновь пустился в подпольное путешествие в Нью-Йорк. Далее, выданный матросом и снятый с корабля, он был брошен в одиночку финской тюрьмы. Оттуда снова вернулся в Россию, писал в «Коммунистическом Интернационале», собирал материал для новой книги, был делегатом съезда народов Востока в Баку. Заболев тифом (заразившись им, вероятно, на Кавказе) и истощенный чрезмерной работой, он не устоял против болезни и в воскресенье, 17 октября 1920 г., скончался.

Подобно Джону Риду, были и другие бойцы, сражавшиеся с контрреволюционным фронтом в Америке и Европе так же доблестно, как Красная Армия боролась с контрреволюцией в СССР. Иные пали жертвой погромов,

другие навек умолкли в тюрьмах. Один из них погиб в Белом море во время шторма, возвращаясь во Францию. Другой разбился насмерть, упав в Сан-Франциско с аэроплана, с которого он разбрасывал прокламации с протестом против интервенции. Как ни яростен был натиск империализма на революцию, он мог быть еще свирепее, если бы не эти бойцы. Кое-что и они сделали для того, чтобы сдерживать напор контрреволюции. Не только русские, украинцы, татары и кавказцы помогли русской революции. Хотя и в меньшей степени, но и французы, немцы, англичане и американцы. Среди этих «нерусских фигур» Джон Рид стоит на первом плане, ибо это был человек исключительных дарований, сраженный в полном расцвете своих сил...

Когда из Гельсингфорса и Ревеля пришло известие о его смерти, мы были убеждены, что это просто очередная ложь, из тех, что ежедневно фабрикуются на контрреволюционных фабриках лжи. Но когда Луиза Брайант подтвердила эту трагическую весть, то, как ни больно нам было, пришлось расстаться с надеждой на ее опровержение.

Хотя Джон Рид умер изгнанником, а в его стране в то время ему грозил приговор о пятилетнем тюремном заключении, но даже буржуазная пресса воздала должное Риду как художнику и человеку. Буржуа почувствовали величайшее облегчение: не было больше Джона Рида, который так умел разоблачать их лживость и лицемерие, так беспощадно бичевал их своим пером!

Радикальный мир Америки понес невосполнимую утрату. Товарищам, живущим вне Америки, очень трудно измерить чувство утраты, вызванное его смертью. Русские считают вполне естественным, чем-то само собою разумеющимся, что человек должен умереть за свои убеждения. В этой области не полагается никаких сантиментов. Здесь, в Советской России, тысячи и десятки тысяч погибли за социализм. Но в Америке сравнительно мало

было принесено таких жертв. Если угодно, Джон Рид был первым мучеником коммунистической революции, предтечею грядущих тысяч. Внезапный конец его поистине метеороподобной жизни в далекой блокируемой России явился для американских коммунистов страшным ударом.

Одно только утешение осталось его старым друзьям и товарищам: Джон Рид лежит в единственном во всем мире месте, где ему хотелось лежать,— на площади у Кремлевской стены.

Здесь над его могилой был воздвигнут памятник, отвечающий его характеру, в виде необтесанной гранитной глыбы, на которой высечены слова:

«Джон Рид, делегат III Интернационала, 1920».

*Печатается по: Рид Дж.
Десять дней,
которые потрясли мир.
М., 1957, с. 345—351*

ЛИНКОЛЬН СТЕФФЕНС¹ ДЖОН РИД У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

Американский поэт Джон Рид умер коммунистом в Москве, столице государства будущего, умер от болезни, распространенной в настоящем,— тифа. Его укусила заразная вошь, паразит, обреченный на исчезновение.

В те дни, когда Джон пел и смеялся, он превратил бы это в песню, смешную песню. Он был веселым парнем, и я пытался сохранить в нем состояние радости. Об этом просил меня его отец. Отец Джека был моим другом, блестящим человеком, остряком. Он был лидером в передовом клубе города Портленда, штат Орегон, жил весело и хотел, чтобы сын его жил так же. Но также, как и его сын, был смертельно «укушен» «вымирающими насекомыми».

¹ *Стеффенс Джордж Линкольн (1836—1936) — прогрессивный американский писатель и публицист.— Прим. сост.*

Однажды в Орегон приехал Фрэнсис Дж. Хени — обвинитель в деле об аферах с лесными угодьями. Вместе с Уильямом Бернсом он стремился установить, каким же образом леса штата попадали в частные руки. Улики вели к заправилам штата, которые помимо всего прочего контролировали и правосудие. Их ставленнику, федеральному судебному чиновнику, было поручено выбрать присяжных. Хени попросил Рида, отца Джека, взять на себя эту миссию и проследить, чтобы присяжные были людьми независимыми и справедливыми. Рид рассмеялся. Он понял, что это для него означает, но за работу взялся. И выиграл процесс. Суд вынес обвинительные приговоры. Клуб возненавидел Рида, а он без страха встретил эту ненависть и победил ее своим остроумием. Язычок у него был таким же острым, как и у Джека, это у них наследственное.

Однажды, через несколько лет после скандала, связанного с лесными аферами, бывший федеральный судебный чиновник Рид пригласил меня в свой клуб. Он провел меня в главную столовую к центральному столу, где завтракала «шайка». Был полдень, и большая часть «шайки» сидела за столом.

«Вот они, — сказал мне Рид, но так, чтобы они слышали, — это та «шайка», которая разворовывала лес и пыталась меня убрать. А там, во главе стола, вон то свободное место — мое. Я там раньше сидел. Там я их сдерживал, много лет просто в шутку, а потом много месяцев на полном серьезе, но весело, всегда весело. С того дня, как я ушел с этого места, сказав, что никогда не вернусь на него и что мне интересно посмотреть, хватит ли у кого-нибудь мужества просто подумать, что он может занять и удержать мое место, я больше на нем не сидел. Я слышал, что мое место пустует, и рад убедиться, что оно еще свободно».

Таков был отец Джека Рида — высокий, красивый, очаровательный остряк; веселый, а позже оклеветанный, злой остряк. Он рассказывал мне о своем мальчике — студенте

Гарварда и просил «позаботиться о Джеке», когда тот окончит университет и вступит в жизнь.

«Он веселый парень,— сказал отец,— радостное существо. Помогите ему остаться таким. Мне кажется, он поэт, пусть поет, сохрани его. Пусть он увидит все, но не дай ему стать таким, как я».

Я не смог. Я пытался, и не только ради его отца. Когда Джон Рид, крупный, но еще растущий юноша, красивый внешне и прекрасный внутренне, приехал из Кембриджа в Нью-Йорк, мне показалось, что я никогда в жизни не встречал никого более близкого к чистой радости. Ни солнечный луч, ни капля пены, ни молодое животное, ни птица, ни рыба, ни одна звезда — ничто не излучало такого счастья, как этот мальчик. Если бы мы могли сохранить его таким, то у нас наконец появился бы поэт, который видел бы и воспевал только радость. Убежденный — вот чего я боялся. Я пытался отвлечь его от убеждений, чтобы он мог жить бездумно; чтобы он мог играть с жизнью; видеть все, любить все, жить, говорить о жизни, быть ею, но именно всей жизнью, а не чем-то одним. А почему бы и нет? Поэт более революционен, чем любой радикал. То были славные дни, или, скорее, ночи, когда мальчик поздно вваливался домой, будил меня, чтобы рассказать, где он был в тот день и что видел, — самую замечательную вещь на свете. Да. Каждую ночь он был в самом замечательном месте и видел самую замечательную вещь на свете.

Кое-что из этого он описывал. Он подобрал все это в себя. Он был по уши влюблен в каждую вещь в отдельности и во все эти чудесные вещи вместе: в свою работу, в своих друзей, в рабочее движение, в девушек, в стачки, в ИРМ, в социализм, в анархистов, в бродяг с Бауэри, в театр, в бога и человека и в существование. Я вытаскивал его из всех этих романов сначала со страхом, но так легко и часто, что вскоре почувствовал, что ему ничего не грозит. Я думал, что вполне могу положиться на то, что следую-

щая самая изумительная вещь излечит его от предыдущей самой изумительной вещи, поэтому я уехал в долгое путешествие по Мексике. И Джек тоже. Но Джек поехал как поэт к бандиту Вилье, а я — как поехал бы федеральный чиновник Рид к Каррансе.

Не знаю, что в конце концов погасило радость в этом поэте и превратило его самого в поэму. Он любил девушку, одну девушку, а Луиза — сама тоже поэтесса и бродяга, по крайней мере была такой, когда уехала прошлым летом отсюда в мужской одежде вслед за Джеком в Россию. Он еще преданно любил ИРМ и красных левых социалистов и, подобно отцу, ненавидел ненависть и все такое прочее. Лично я думаю, что они были одной породы. Но у него появились убеждения — и революционный дух овладел им. Он стал борцом за правое дело: здесь в Америке — революционером, в России — коммунистом.

Наш общий друг, который работал с Джеком в России прошлым летом, сказал, что Джек стал таким же коммунистом, как и другие: жестким, нетерпимым, безжалостным, всегда готовым к борьбе. Я понял, что Джек чем-то обидел нашего друга, а он на мгновение задумался и добавил: «Но, в общем, мне жаль, что я не коммунист».

В Советской России, где вши, голод, дисциплина и смерть, где сейчас ад, есть что-то такое — и это понимает даже не коммунист, — ради чего стоит жить и умереть. Он знает, что жизнь не всегда будет такой, как сейчас. Наступит будущее, оно уже видно, оно приближается, оно близко. И оно будет хорошим. Они, в России, это видят невооруженным глазом, его видят даже простые люди, например я. Поэтому для поэта, для такой души, как у Джека Рида, для коммуниста умереть в Москве было, должно быть, самой замечательной вещью на земле: видением возрождения к новой жизни Человека.

*Steffens Lincoln, John Reed
under the Kremlin,
Chicago, [1921]*

*На русском языке
публикуется впервые*

МАЙКЛ ГОЛД¹
РОМАНТИКА
НАСТОЯЩЕГО ДЕЛА

Внешне Джон Рид был похож на ковбоя — рост шесть футов, твердый взгляд, мальчишеское лицо. Это был смелый, веселый, великодушный молодой гигант. Тысячи таких, как он, можно встретить в пути, среди лесорубов, в горной местности, в матросских кубриках и шахтах.

Мне довелось видеть, как Джек Рид плыл на лодке в Провинстауне вместе с другим любителем приключений — социалистом Джорджем Крэм Куком, человеком большой души, которого тоже уже нет в живых. Мы вышли вместе на лодке на расстояние в милю от берега, а возвращались уже по бушующему морю. Я помню, как они гребли — плечо к плечу, грубо подтрунивая друг над другом и гикая от восторга. Потом мы пошли в дом Джека, где плотно поужинали.

Рид любил различные физические и умственные занятия. По жизни он шел весело и непринужденно и жил, словно современник королевы Елизаветы. Поэтому его друзья, такие, как Уолтер Липпман, имели обыкновение говорить любовно, но в то же время презрительно, что Джек Рид был романтиком. Они заявляли, что Рид-де никогда не изучал политику и экономику и кидался туда, куда боялись ступить умные люди. Но социалист Липпман выступил за войну, а теперь поддерживает кандидатуру Альфреда Смита в президенты. Он ошибается во всем. А Джек Рид написал яркую книгу о большевистской революции, самую яркую из тех, которые когда-либо выходили на эту тему на различных языках. По прошествии десяти лет она так же убедительна и оригинальна. Книга была написана по горячим следам, почти с места событий. Это

¹ Голд Майкл (1893—1967) — американский писатель, коммунист. — Прим. сост.

самый замечательный репортаж в истории. Бессмертная книга, которая продается миллионными тиражами.

Для десятков миллионов людей нашей эпохи революция есть воплощение романтики. И когда речь идет о Джеке Риде, многие американские интеллигенты никак не хотят этого понять. Если бы он сохранил романтическое отношение к преступному миру, к бессмысленным поискам приключений или к женщинам и стихотворчеству, они продолжали бы восхищаться им. Но Джек Рид влюбился в Революцию и отдал ей всю кровь своего щедрого сердца. Этого так и не смогли понять худосочные, не имеющие корней интеллигенты. Когда он умер, они заявили, что он растратил жизнь впустую. Но именно они ведут пустую, бесполезную жизнь в своих тихих конторах, рабочих кабинетах и заведениях, нелегально торгующих спиртным.

Джек Рид жил более полнокровной и благородной жизнью, чем кто-либо из молодых людей Америки. История уже заговорила об этом в Советском Союзе, а через столетие будет говорить и в американских учебниках.

Сначала Джек Рид писал крохотные мальчишеские очерки. Ему нравились буяны. Он любил бродить по городским улицам, посещать подозрительные отдаленные места, пристанища лиц, находящихся не в ладах с законом. Взгляд у него был наблюдательный, кровь играла буйной радостью. Слова сами собой ложились на бумагу, влияли в его рассказы, словно веселые пловцы. Джон Рид писал с грубым юмором, приукрашивал даже яркие явления природы, набрасывал краски на свой холст, словно молодой бог. Его ранние рассказы напоминают мне о Диккенсе, Толстом, Стивене Крейне — странное, но эпическое сочетание писателей.

Он ворвался в американскую литературу подобно молодому гению. Все с нетерпением следили за его творчеством, ожидая неизбежного появления шедевра. Когда разразилась война, Джон Рид стал самым высокооплачиваемым и блестящим военным корреспондентом в Америке.

К тому времени он уже написал несколько лучших своих рассказов. Когда появился его шедевр — «Десять дней, которые потрясли мир», «они» все голосовали за Альфреда Смита и пили в нарушение сухого закона с Менкеном. «Они» не обладали великодушием признавать шедевры. Жизнь Джона Рида не была растратчена впустую, но «интеллектуалы» до сих пор этого не признали.

Джон Рид всецело отождествлял себя с рабочим классом, шел на любой риск ради революции. Он предпочел забыть о своем гарвардском образовании, своем гении, популярности, своем одаренном уме и о себе самом. Теперь уже ничто не разделяло Джека Рида и рабочих.

Джон Рид принимал активное участие в создании Коммунистической партии США. Он редактировал одну из первых пропагандистских газет компартии. Во время войны его судили по обвинению в антиправительственной деятельности. На суде он встал, поправил брюки, посмотрел судьбе прямо в глаза и смело и откровенно стал давать показания, как и подобает революционеру.

Быть активным революционером — трудная профессия. Она забирает все нервы, энергию, требует стойкости характера. Почти так же трудно быть и первым революционным писателем. В своей короткой жизни Джек Рид сумел сочетать в себе обе профессии. Однако немногие обладают такими способностями и энергией, такой разносторонностью, как он. Роберт Майнор¹ отказался от своего великолепного искусства ради революции — была ли в этом необходимость? Джек Рид не думал так, и в Советском Союзе так не думают. Но большинство американцев, даже революционеров, считают, что для человека действия недостойно быть человеком мысли. Но ведь Ленин был и тем и другим.

¹ *Майнор Роберт* (1884—1952) — американский художник, мастер политической графики, журналист, деятель Компартии США. — *Прим. сост.*

Интеллигент-революционер — это мыслящий активист. Именно это отличает его от педантов с вечным насморком, которые сотрудничают в «Нью ринаблик» и «Нейшн». Как революционеру и журналисту Джеку Риду необходим был такой журнал, как «Мэссиз», и он помог основать его. Я начал читать «Мэссиз», когда работал ночным сторожем в «Адамс экспресс компании» в Нью-Йорке. Это явилось началом моего образования. Журнал воспитал целое поколение молодых людей в Америке, многие из которых не пережили духовной катастрофы военной поры. Те же, кто пережил ее, помнят Джека Рида, и его смелость влилась в их кровь. Революция будет нарастать в Америке, придет новая молодежь, и Джек Рид будет учить ее, как вновь начать жить прекрасной жизнью. Депрессия, трусость, черствость и духовная смерть не могут и не будут длиться вечно у молодежи Америки. Жизнь не всегда бывает плохой. Она развивается циклами: то тернит поражение и надежда, то вновь неизбежно возрождается. В Америке будут новые Джоны Риды, возможно, его внуки. Нынешнему подлому десятилетию наступит конец.

У Джона Рида, как и у большинства людей, были свои недостатки, но он никогда не был мелочным. Это видно даже по его произведениям. Ныне в Америке трудно писать так, как писал он. Трудно признаваться в том, что наслаждаешься жизнью с такой же полнотой, что ты прост и предан, что проявляешь заботу о тех, у кого нет друзей, что у тебя душа нараснашку. Писатели вынуждены быть такими же нечестными и черствыми, как и другие современные им американцы. Возможно, это дисциплинирует их, может быть, это путь к стойкости, которая им необходима в наш век. Но я уверен, что наилучшие качества духа Джека Рида сохранятся у всех революционных писателей, которые появятся в США. Они будут великодушны и человечны. Будут смеяться, но не глумиться. Джек Рид был яростным врагом капитализма, но ни в одной из его книг вы не найдете глумления над человечеством.

В своей статье о Джоне Риде в «Нью рипаблик» Уолтер Липпман рассказывал с дружеской улыбкой, как его однокурсник Джек Рид признался в том, что не слышал о Бергсоне¹, мода на которого распространилась из Парижа среди творческой интеллигенции. Липпман и многие другие считали, что это говорит об отсутствии ума и о том, что его революционная философия — это порыв романтика.

Но Джек Рид прошел через забастовки в Патерсоне, Лоренсе, Бейонне; он понимал их значение. И он понимал экономическую основу первой мировой войны и отказался быть орудием Дж. П. Моргана, отказался быть таким, как Уолтер Липпман и многие другие мудрецы, которые знали так много о Бергсоне и так мало о неизбежности договора в Версале.

Джек Рид прочитал и передумал достаточно много, чтобы осознать в полной мере политическое и экономическое значение большевистской революции для всего мира, когда она еще представляла собой сырой, кровоточащий, несформировавшийся зародыш и, согласно предсказаниям интеллектуалов, не могла продержаться и месяца. О книге, которую он написал об этой революции, одобрительно отзывался и дал к ней предисловие великий Ленин.

Два года назад, находясь в Советском Союзе, я был на могиле Джека Рида у Кремлевской стены. Рядом с Мавзолеем В. И. Ленина под необработанным камнем в пределах слышимости курантов, исполняющих теперь мелодию Интернационала, покоится тело нашего замечательного товарища. Он не был шалопаем. Он любил Революцию, когда она была изможденным изгоем, борющимся за жизнь с хищной сворой капиталистических стран.

Он испытал вместе с Революцией голод, был в гуще событий в годы гражданской войны, разрухи и суровой

¹ Бергсон Анри (1859—1941) — французский буржуазный философ-идеалист. — Прим. перев.

защиты страны ЧК. На одной из железнодорожных станций он видел сотни трупов замерзших краспогвардейцев. Ради Революции он доводил себя работой до изнеможения и умер от укуса тифозной вши. Все это не было порывом. Для Джека Рида это было настоящим делом.

Да, его дело было настоящим. Но ради чего умирали парни, посланные за океан интеллектуалами из «Нью рипаблик»? Война Уолтера Липпмана за прекращение войны не положила ей конец. Она явилась прелюдией к наступлению более крупных хищников.

Революция Джека Рида совершалась повсюду вокруг меня, на Красной площади, где он покойся. Проходили крестьяне, прибывшие с земель, которыми наделила их революция, чтобы изложить свои проблемы своему президенту Калинину. Шли рабочие с заводов, где они были хозяевами, а не рабами. Шли старики, миллионы которых научились грамоте за годы, прошедшие с тех пор, как Джек Рид умер в борьбе за их дело. Проходили молодые писатели и артисты — тысячи их могут проявлять свой талант так же свободно и прекрасно, как Джек Рид. С высоко поднятыми головами шли женщины, в недавнем прошлом — жертвы векового рабства, а ныне — освобожденные революцией. Проходили дети, которых более не отравляют предрассудками средневековой церкви. Создается новый общественный строй. Елизаветинский и греческий гений, которым был наделен Джек Рид, перешел в целую нацию. Он шествует с красными знаменами по странам мира. Вот это и есть романтика настоящего дела.

*The New Masses, 1927,
November, p. 7—8*

*На русском языке
публикуется впервые*

МАЙКЛ ГОЛД ОН ЛЮБИЛ НАРОД

Джон Рид уже при жизни, хотя такой короткой, стал легендарной личностью. Становление его началось в Гарварде, где он отличался от окружающих склонностью к

разного рода забавным проделкам. Будучи студентом, он помогал редактировать очерки в журналах «Monthly» («Ежемесячник») и «Lamproom» («Насмешник») и посещал собрания клуба социалистов. Когда Рид по окончании университета вступил в жизнь и приобщился к журналистике в Нью-Йорке под мудрым и заботливым опекуном Линкольна Стеффенса, легенда обрела всеамериканский масштаб.

Тонкий вкус, клокотавшая молодая энергия уроженца Запада, глубокий поэтический дар, неистощимый юмор, жажда приключений и жизнелюбие — все это складывалось в личность, которая не могла не прославиться. Джон Рид принадлежал к числу самых известных и высокооплачиваемых репортеров своего времени. Он освещал мексиканскую революцию, брал интервью у президентов и выполнял другие весьма ответственные поручения крупнейших журналов.

Безусловно, Рид утвердился в своей замечательной профессии, в которой мог бы работать до конца своих дней. Для многих друзей его молодости так и осталось загадкой, почему он отказался от этого «блеска». Их можно разделить на две группы: оппортунистов и эстетов.

Типичный представитель оппортунистов — однокурсник Рида в университете Уолтер Липпман. Рано проявившему свои способности Липпману не было и 25 лет, когда он написал прекрасную книгу о политике, а кружок близких к нему женщин-поклонниц называл его Буддой и хором предрекал, что уже к 30 годам он станет членом кабинета министров. Уолтеру Липпману всегда было присуще благоразумие прирожденного карьериста. Вполне естественно, что он считал себя выше Джона Рида. 25 лет назад Липпман продемонстрировал это в очерке, опубликованном в журнале «Нью рипаблик», в котором отозвался о Риде полулюбовно-полупокровительственно. К тому времени Джон Рид начал приобретать известность как социалист. Липпман, уже ставший ренегатом и врагом социа-

лизма, видимо, решил, что ему бросили вызов. Его статья «Легендарный Джон Рид» представляла собой полуюмористический портрет шалопа-романтика. Это был коварный удар с фланга с целью морально уничтожить социалиста. Вот репортер божьей милостью, писал Липпман, поэт, опы-яненный жизнью, смелый искатель приключений и брод-дяга, но никак не социалист. Джон Рид, возможно, счита-ет, продолжал Липпман, что социализм — это еще одно рискованное поэтичное приключение, но прочитал ли он хоть одну книгу о социализме? Создал ли он свою собст-венную философию?

Джон Рид уже открыл для себя Маркса и рабочий класс, а Уолтер Липпман пытался опекать его с высот своего бергсонизма, словно Рид был неграмотным. Это было, конечно, не чем иным, как интеллектуальным само-оправданием ренегата. Жизненные пути двух гарвардских друзей разошлись. Взор Джона Рида уже различал буду-щее рабочего класса, его судьбу, тогда как перед востор-женным взглядом Уолтера Липпмана, всматривавшегося в свое собственное будущее, вероятно, уже маячила мистиче-ская, яркая, манящая фигура миллионера и видного дея-теля республиканской партии.

С того времени как Джон Рид стал активным комму-нистом, такие люди, как Уолтер Липпман, как карьеристы, предприимчивые дельцы и ренегаты, считали его жалким неудачником. Но ведь этим же самым людям и социали-стическая революция в России кажется жалкой неудачей. Первая мировая война, а теперь и вторая служат им вол-нующими, блестящими и прекрасными примерами капи-талистического идеализма и успеха!

Лишь немногие выбрали профессию коммуниста. Они родились в определенных общественных условиях и не мог-ли не видеть совершаемые в мире преступления. Жизнен-ный опыт помог им усвоить некоторые истины. Когда они были логически осмыслены, вселив надежду на лучшее будущее, такие люди не могли не сделать закономерных

выводов. Это значит, что коммунист — человек вовсе не особой психологии, он просто очень честный человек.

Джон Рид обладал этим даром честности, который встречается так редко в социальной системе, где бесчестность обеспечивает наилучшие шансы на личное выживание. Глаза придавали прекрасное выражение лицу Джона Рида. Они были большие и ясные. Это были честные глаза.

Несомненно, оппортунисты ошибались, когда утверждали, что Джон Рид сожалел о выбранном им пути первого коммуниста в литературе Америки, пути, приведшем его к легендарной могиле у стен Московского Кремля.

Постоянно распространялись слухи о том, что Джон Рид из корыстных соображений очень сожалел о прошлом. Позднее «сверхэстетичные лилии», такие, как Макс Истмен, нашептывали, что Джон Рид раскаивался в том, что занимался политикой, и хотел якобы вернуться к чистой поэзии. В дальнейшем отъявленные ренегаты, подобные Максу Истмену, и другие троцкисты распространяли клевету, что незадолго до смерти Джон Рид якобы полностью разочаровался в Ленине и социалистической революции. Этим выдумкам поверит лишь тот, кто смотрит на историю с позиций земляного червя. Так, многие добропорядочные люди охотно верили, что Роберт Ингерсолл¹, находясь на смертном одре, позвал священника...

Тот факт, что Джон Рид всегда мог бы покинуть ряды революции, но не сделал этого, целиком и полностью разрушает весь клубок сплетен о том, что в течение большей части своей активной революционной деятельности он якобы терзался сомнениями. Возвращение на хорошо оплачиваемую работу, дающую возможность получать взятки, прошло бы легко и открыто. Надо было лишь написать что-нибудь похожее на многочисленные «Признания бывшего

¹ *Ингерсолл Роберт Грин* (1833—1899) — американский юрист, философ.— *Прим. перев.*

коммуниста», публикуемые ныне в «Нейшн» и «Нью рипаблик».

Джон пережил первую мировую войну, а в то время были такие же трудности и отступничество, как и теперь. Война оказывала тогда на американскую интеллигенцию такое же влияние, как и в наши дни. Кое-кто был застигнут в башне из слоновой кости созерцающим свой пуп. При первых выстрелах они выскочили наружу и с новообретенным, вызывающим изумление рвением принялись окрашивать войну за нефть, уголь, железо и колонии во все эфирные тона мистического «крестового похода». Бюро подстрекательской лжи во главе с Джорджем Крилом почти целиком было укомплектовано социалистами; однажды один из них сдавленным шепотом по секрету поведал мне тайный смысл этого странного противоречия: они, оказывается, подрывают Америку изнутри и ведут ее к социализму.

Гринвич-вилледж кишмя кишел шпионами, молодые литераторы предавали своих бывших друзей. «Нью рипаблик» утверждала в одной из своих передовых, что войну затеяли интеллектуалы, хотя после войны, когда это стало безопасным и даже модным, те же самые интеллектуалы доказывали, что война началась по воле Уолл-стрита. (А в кого он превратил интеллектуалов военного времени?)

Целое скопище либералов, прогрессистов, анархистов, поборников искусства ради искусства изменились в мгновение ока, ничем более не отличаясь от самых вульгарных и невежественных хулиганов, громивших бакалейные лавки американцев немецкого происхождения. Видные теоретики и лидеры социализма, такие, как Уильям Инглиш Уоллинг и Джон Спарго, превратились в самых подлых провокаторов и гонителей «красных».

Это было отвратительное время предательства самих основ человеческой души — честности и разумности. Во время прошлой войны многие представители американской

интеллигенции опозорили себя и свою профессию. Лишь незначительное меньшинство их оказалось достойным уважения — те, кто постоянно выступал против войны и подвергался тюремному заключению, гонениям, испытал на себе другие «демократические» процедуры.

Джон Рид оставался выдающимся лидером этой оппозиции войне.

Он не менял своих убеждений. Это стоило ему многого. Крупные журналы один за другим закрыли двери перед своим «величайшим» репортером. Рид лишился дохода и привычных удобств. Друзья по «богеме» и «шалопаиству» бойкотировали его, а бывшие приятели по веселым гарвардским пирушкам относились к нему подчеркнуто пренебрежительно. Джон Рид мог согнуться под тяжестью всех этих общественных и материальных затруднений, однако факт, что этого не случилось. По-моему, это достаточно убедительный ответ всем шептунам и может даже служить примером для тех, кто пал духом в наше время.

Джон Рид выступал против войны, потому что понимал ее лучше, чем все липпманы и джоны дьюи¹. Версальский договор и состояние мира после войны показали, что прав был он, а липпманы и дьюи ошибались. Но свои «небольшие» заблуждения такого рода они всегда предпочитают забывать. Они никогда ничему не учатся.

Почти ежегодно я перечитываю классическое произведение «Десять дней, которые потрясли мир» и восхищаюсь блестящим мастерством автора. Большинство американских рабочих-социалистов встретило большевистскую революцию с пониманием и бурно выражало свою солидарность с ней. Тем не менее мало кто был в состоянии разобраться в ее проблемах, понять суть незнакомых партий, правильно судить о руководителях и других деятелях революции. Когда Джон Рид прибыл в революционную

¹ Дьюи Джон (1859—1952) — американский философ и психолог. — *Прим. перев.*

Россию, он не знал русского языка и слабо ориентировался в ее политической жизни. Зато он обладал здоровым революционным чутьем.

В. И. Ленин с большим интересом прочитал книгу Рида и написал предисловие к ее американскому изданию. Это значит, что Ленин считал Джона Рида не «шалопаем»-романтиком из липпмановской легенды, а кем-то более значительным. Находясь в Москве в 1930 г., я беседовал с Н. К. Крупской, вдовой Ленина. Она сказала мне на своем прелестном английском языке, что Ленин очень любил Джона Рида, глубоко верил в его преданность революции и мастерство.

Джон Рид говорил мне, что переводчик Красного Креста Александр Гамберг распускал в Петербурге порочащие его слухи. Этот Гамберг, который был на дружеской ноге с Эдгаром Сиссоном, автором пресловутых сиссонских документов и действующим в России шпионом комиссии по общественной информации, руководимой Джорджем Кридом, прибыл позднее в Америку в качестве советского представителя. Затем он перешел на гораздо более «уважаемую» работу советника по русским делам в «Чейз Манхэттен бэнк».

Возможно, это он способствовал распространению слухов о том, что Джон Рид, подобно, как утверждают, Ингерсоллу, якобы отрекся на смертном одре от своих убеждений. Кто бы ни распускал слухи, им никогда не верили. Эти выдумки не вязались с личностью Джона Рида и, разумеется, были самой вопиющей ложью. В Москве в том же 1930 г. я познакомился со старым большевиком, который прожил несколько лет в Нью-Йорке. Он был делегатом съезда народов Востока в Баку и ехал туда вместе с Ридом. Это было последнее собрание общественности, на котором присутствовал Рид; он произнес замечательную речь, увязав проблемы негритянского народа США и угнетенных народов Латинской Америки с проблемами угнетенных народов Востока. Старый большевик рассказал, что,

когда они возвращались из Баку, поезд неожиданно остановился в пустынной долине между двумя горными хребтами. Красноармейцы из охраны приготовили пулеметы, вскочили на коней и уже готовы были пуститься вскачь, когда Джон Рид попросил их взять его с собой. Он настаивал, и командир наконец согласился. Красноармейцы обыскивали горы в течение получаса, сразили несколько бандитов и отогнали остальных. Джон Рид прискакал обратно вместе с ними, как всегда веселый и оживленный. Если бы он терзался в душе сомнениями, он, разумеется, не проявил бы охоты в столь рискованном деле. Такой поступок вряд ли совершил бы человек, испытывавший раскаяние. Это было последнее участие Джона Рида в революционных действиях. Вскоре он умер от тифа.

Я работал репортером старой социалистической газеты «Call» («Призыв»), когда Джон Рид возвратился из своей первой поездки в революционную Россию. Редактор отдела городских новостей поручил мне встретиться с ним. Несколько часов я ждал Рида на пристани вместе с Луизой Брайант, а тем временем целая шайка агентов министерства юстиции учинила ему допрос. Его раздели, просмотрели каждый дюйм его одежды и багажа.

Рид был уже болен — заболел на пароходе от пищевого отравления, допрос тоже был мучительным. И все же — я с удовольствием вспоминаю это — он оставался жизнерадостным: целовал свою девушку, когда наш старомодный открытый экипаж катил по улицам Нью-Йорка, жадно смотрел своими большими честными глазами на дома, на людей на улицах, на небо над городом. Находясь за границей, он всегда скучал по родине, и даже сыщики министерства юстиции, «приветствовавшие» его, не могли испортить ему радости от возвращения домой.

Мы направились в ресторан «Бревоорт» — место встречи интеллектуалов Гринвич-вилледжа. Когда мы вошли, несколько друзей Рида приветствовали его в непринужденной нью-йоркской манере. Помнится, среди них была кра-

сивая рыжеволосая молодая актриса с мечтательным выражением на бледном лице и томными глазами.

— Хэлло, Джек,— поздоровалась она, растягивая слова.

— Хэлло, Хелеп,— сказал он.

— Вы, кажется, уезжали, Джек?

— Да, уезжал.

— Куда?

— В Россию.

— В Россию? — повторила она мечтательно. — Почему в Россию, Джек?

— Там произошла революция,— ответил Рид.

— Революция? О! Было интересно? — протянула она.

Лицо Джона Рида вспыхнуло. Он только что прошел сквозь событие, которое разделяло семьи, выматывало у человека все силы, заставляло всех платить жестокую цену. Он видел голод, войну, болезни, душевные страдания, разруху — все то, чего требует старое и отмирающее прошлое, прежде чем уступить дорогу новому. Событие это — рабочие совершают революцию — было настолько велико, что для описания его не хватало слов. Произошло событие, которое потрясет и изменит мир. А Хелен хотела знать, было ли интересно, словно речь шла, скажем, о набивной ткани батик или новом издании книг Крафт-Эбинга¹.

— Интересно,— усмехнулся Джек. — Вам не понять.

Я думаю, что эта усмешка красивой девушке, которая была слишком эстетична, чтобы читать газеты, служит достаточно убедительным ответом максам истменам, которые, не переставая, нашептывали, что Джон Рид сожалел о своем революционном пути.

Русская революция была тем миром, где Джон Рид достиг зрелости. Великое искусство дается только огромным

¹ Крафт-Эбинг Рихард (1840—1902) — немецкий психиатр. — Прим. перев.

жизненным опытом. Джон Рид написал свои «Десять дней, которые потрясли мир» после того, как пережил революцию, совершенную трудящимися. Это не только замечательная эпопея живой истории, но и произведение великого искусства.

Несомненно, этой книге суждена долгая жизнь. И если бы Джон Рид был жив, он мог бы заняться не только репортажем, но и вновь, как раньше, различными видами искусства — возможно, театром или поэзией. Но разве можно сомневаться в том, что он отверг бы большую часть теорий искусства, имевших хождение в пору его юности в Гринвич-вилледже? Что он отверг бы различные формы ухода от действительности в литературе, от отчаяния, путаницы и идейной реакции, которые господствовали тогда в школах творческой интеллигенции. Потому что для Джона Рида, в отличие от многих в его время, а кое-кого и сегодня, революция не была преходящей интеллектуальной модой.

Позвольте мне теперь назвать то качество Джона Рида, которое, по-моему, делало его активным большевиком. У могилы своего друга и соратника Крупская назвала это же качество высшим достоинством Ленина — самого мощного политического гения нашего столетия. Вдова Ленина сказала о нем: «Владимир Ильич глубоко любил народ».

Джон Рид всегда любил народ. Это проявилось в начале его деятельности, еще до того, как он стал коммунистом, а именно, когда он освещал мексиканскую революцию 1910 г. Среди романтически восторженных фраз, навеянных мексиканским пейзажем и жестокой полупартизанской войной, у гарвардского юноши встречаются мысли, выражающие трогательную любовь к пеону — безграмотному, доброму, угнетенному, поэтичному, героическому пеону Мексики.

Пеоны настраивали юного репортера на такой же романтический лад, как и военные события или великолепные

мексиканские горы и небо. Да, он искал приключений, но он был способен на любовь к простому народу. А это направляло его на правильный политический путь.

Я знал лишь немногих ренегатов из среды интеллигенции — изменивших рабочему классу, — которые не кичились сверх всякой меры своей начитанностью, которые когда-либо ощущали в себе любовь к народу. Так, среди редакторов журнала «Нейшн» найдутся очень немногие, кто был бы достаточно близок к американскому народу, чтобы видеть жизнь его глазами. Но ведь в основе всей деятельности коммунистов должна лежать забота о массах. Иначе коммунизм навсегда останется на полках библиотек.

Когда Крупская говорила, что Ленин «глубоко любил народ», она не имела в виду любовь в мистическом смысле, которую воспевал наш Уолт Уитмен. Любовь Ленина к людям была скромной, человеческой и конкретной. Она проявлялась в том, что Ленин знал о размерах налогов, уплачиваемых населением, о масштабах безработицы, конфликтах на предприятиях, ценах на хлеб, молоко и одежду. Ленин изучал народные органы власти, вплоть до мельчайших деталей разрабатывал структуру организации, которая могла бы освободить народ от наемного рабства.

Любовь Джона Рида началась в заоблачных высях уитменизма. Это прекрасное начало для американского поэта, который желает служить своему народу. Но опасность такой абстрактной любви заключается в том, что туманную многословную риторику с легкостью используют демагоги. Некий Арчибальд Маклейш, например, пересыпал разглагольствования о демократии и американском народе уитменовскими строфами. Но это была лесть в адрес народа, лесть в целях использования его в новой империалистической войне. У мистиков невозможно вызвать хотя бы малейший интерес к таким «прозаическим» темам, как безработица, рост цен на продовольствие и сегрегация негров в США. А у Джона Рида юношеская любовь, навеянная

Уолтом Уитменом, достигла полной зрелости, став более человеческой, более реальной и действенной любовью, такой, которой учил нас Ленин.

Не будем забывать, что гарвардский поэт-«романтик» был активным участником многих забастовок, что на протяжении нескольких лет он помогал редактировать агитационно-политический журнал коммунистической партии и сотрудничал в нем. Во время антивоенной кампании он состоял членом десятков комитетов, произнес сотни речей в защиту Советской России, был организатором и рядовым солдатом дела коммунистов.

Необходимо подчеркнуть эту черту Джона Рида: активность в разгар классовой борьбы. Никто и никогда не мог убедить его в том, что такой борьбы нет. И ничто не могло поколебать его убежденность в том, что выбор его верен.

Джон Рид не был попутчиком. Он был коммунистом. Он видел коммунистическое движение в самую трудную пору войны и революции. Оно действовало. Оно было право в своей оценке первой мировой войны. Оно было право относительно русской революции, американского рабочего движения.

В этом году годовщина Джона Рида приобретает особое значение. Начался второй этап войн и революций в нашем столетии, которому суждено увидеть конец капитализма. Мы подвергаемся тем же испытаниям личного мужества и веры в общество, через которые прошел Джон Рид. Он выдержал их блестяще, и это кое-кто из нас начинает теперь понимать. Его дело продолжают не трусы, не капитулянты и не филистеры. Эти блудные сыны вольны идти в стан буржуазии.

Джон Рид жив. Он по-прежнему в первых рядах многотысячного отряда американской интеллигенции, преданного рабочему классу, организованного в профсоюзы учителей, конгрессы молодежи, союзы работников печати. Авангард движется вперед, невзирая на преследования,

высоко поднимая великое и незапятнанное знамя свободы человека — знамя Тома Пейна, Шелли, Гейне, Ленина, Либкнехта, Аври Барбюса, А. Линкольна, Джеймса Конноли, Рэндолфа Бурна, Юджина Дебса и Джона Рида.

В эти полные опасностей дни Джон Рид принадлежит нам. Он, как никогда, наш в нашем братстве, в полном смысле слова наш. Джон Рид принадлежит к тем, кто никогда не отрекается от своей веры в рабочий класс и его будущее.

*The New Masses, 1940,
October 22, p. 8—11*

*На русском языке
публикуется впервые*

РОБЕРТ ХЭЛЛОУЭЛ ХУДОЖНИК, ПОЭТ, БУНТАРЬ

...Мятежник, поэт, человек, любивший людей и ненавидевший хозяев, поклонявшийся неосвященным богам, веривший в свои интуицию и разум, — Джон Рид — жил в согласии с самим собой. Таким он и умер. Он был наиболее честным из всех, кого я знал...

Я с удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Это было в 1906 г. у Мемориал-холла, где мы, первокурсники, фотографировались несколько дней спустя после начала занятий. Рид подошел ко мне и сказал, что слышал, будто я люблю рисовать. Сообщив мне, что ему нравится писать, он без обиняков предложил нам вместе опубликовать книгу о Гарварде. Он напишет текст — в основном это будут стихи, притом юмористические, я сделаю иллюстрации. «Что вы на это скажете?» Я молчал, не зная, что ответить. Много ли мы знали о Гарварде, мы, едва успевшие узнать, где расположены Соединенные Штаты? Я признался в своих сомнениях. Он оттолкнул их в сторону широким, словно охватывающим весь мир жестом. «Черт возьми, — сказал он тихо, — мы научимся этому»...

Рид был крупный, живой и веселый человек, чьи тело и ум говорили о способности бороться, а темперамент рисовал образ рыцаря из средневекового романа. Одевался Рид небрежно, разговаривал непринужденно, смеялся, когда сам попадал в смешное положение, работал упорно, много бродил, был деятельной натурой и прирожденным неконформистом.

...Помнится, как глубоко потрясло Джека Рида общение с бастующими рабочими текстильных фабрик в Лоренсе. Он был доведен до белого каления тем, что он увидел в Ладлоу, где против шахтеров и их семей применили пулеметы. Такие события выковали из художника и поэта социального бунтаря.

Когда я слышу, как чернят коммунизм те, кто видят в его сторонниках бесчеловечных разрушителей, я вспоминаю огромную человечность Джека Рида, его дружескую помощь, оказанную от чистого сердца, бескорыстно, его щедрую сильную руку. Но, как мне кажется, не щедрость и не отзывчивость были его основными отличительными чертами. Они составляли часть какого-то целого, какого-то света, занимавшего в нем главное место. То не был обычный «внутренний свет» совести, ибо ортодоксальная совесть редко мучила Рида. Он мог жить по своим собственным законам. Что им двигало, так это революционная вера в самого себя и такая же революционная вера в достоинство и потенциальные возможности человека. Люди относятся к такой вере неодобрительно, считая, что в ней есть что-то грешное. Джеку Риду вечно перемывали косточки. После какой-либо истории говорили, что он хотел именно этого, что он сам лез в беду, пошел по опасному пути, потому что этот путь вел на страницы газет, а значит, и к известности, что внутренним светом ему служил свет рампы и что его склонность к драматическому примирялась с редактированием, когда дело касалось фактов. Рид никогда не забывал о своих критиках, и они никогда не сбивали его с пути. Он любил друзей и их аплодис-

менты, но, когда они не видели его света или не следовали за ним, он шел своим собственным путем — весело, уверенно, не заботясь о личной безопасности, репутации, удобствах, имуществе, полный решимости добиваться создания нового мира для трудового народа, где не должно быть места привилегиям, а свобода быть самим собой должна стать первым законом. То не было предубеждением сродного человека...

Когда пришла весть о свержении царя, Рид, конечно, отправился в Россию. Там его ждала удача: свершилась большевистская революция, названная им «Десятью днями, которые потрясли мир». То, что вторая революция была Риду по душе, то, что он стал известен Ленину, который восхищался им, и то, что Рид был назначен советским консулом в Нью-Йорке, служило ему плохой рекомендацией на родине. Рид поехал в Россию корреспондентом журнала «Мэссиз» — доход, получаемый в «революционном» журнале, быть может, является хорошей проверкой прочности убеждений человека, знавшего расценки бестселлеров. Когда редакторы журнала подвергались преследованию за пацифизм, дело Рида разбирал второй суд присяжных, но, как и первый, не достиг единодушия. Возможно, обвинение будет снято, когда наши расходящиеся во мнениях судьи примут в конце концов решение, является ли в Америке преступлением открытая организация партии и членство в ней. Но все, кто знал Джека, не могут себе представить, чтобы его смутило такое обвинение, даже если бы оно осталось. Он только сказал бы, что на то оно и обвинение, чтобы беспокоить.

Джон Рид умер от тифа в Москве — не от тяжелых испытаний в белофинской тюрьме (хотя предстоит еще выяснить, в какой мере они повлияли на его подорванное здоровье). Он не был «поставлен к стенке и расстрелян» у себя на родине, как требовали того в начале войны кровавые люди в отношении монархистов, а в конце войны — коммунистов. Он умер в большевистской России,

стране своей надежды, став жертвой тяжелейшей болезни. Он осуждал правительство США за отказ помочь уменьшению масштабов эпидемии этой болезни в России.

...Когда Рид вернулся в Россию в последний раз, бушующая эпидемия подвергла опасности миллионы людей, а для него риск еще более возрос из-за серьезной болезни и операции, перенесенной в 1916 г. Но он не обращал внимания на эту опасность...

Политические убеждения Джека Рида и некоторых его друзей разошлись. Сам я по-прежнему верю, и верю твердо, в возможности политической демократии. Но эту веру поколебали до самого основания такие действия нашего нынешнего госдепартамента — с молчаливого поощрения проявляющей безразличие публики, — как отказ дать согласие на доставку медикаментов в Советскую Россию из наших портов (не будем забывать, что эти медикаменты были куплены и оплачены, а не пожертвованы благотворительными организациями)...

У Рида место реформ и компромиссов заняла борьба до конца, место терпеливой покорности — будоражащая доктрина пробуждения, неудовлетворенности и бунта... Горький называет это безумством храбрых. Но я полагаю, что, каковы бы ни были убеждения человека, когда он действует в согласии с ними, он не только проявляет безумство или храбрость, но и находит счастье в том, что убеждения побуждают его к действию. Большинство людей никогда не знают желания подвергнуть сомнению старую веру. Многие опасаются того, что сомнения приведут к ее утрате. Некоторые из нас ставят ее под сомнение, не будучи уверенными, что найдут ответ. Но жизнь Джека Рида вновь показывает мне, что стремление подвергать сомнению — это начало поиска...

*The New Republic, 1920,
November 17, № 24, p. 298—299*

*На русском языке
публикуется впервые*

ДЖОЙС Л. КОРНБЛЮ
ОРГАНИЗАТОР
МАССОВОГО СПЕКТАКЛЯ
В МЭДИСОН-СКВЕР-ГАРДЕН

В старом зале Мэдисон-сквер-гарден был поставлен спектакль о событиях, происшедших в Патерсоне. Джон Рид, недавний выпускник Гарварда, узнал о стачке от Билла Хейвуда, с которым он познакомился на одной из вечеринок художников и писателей в Гринвич-вилледже. Патерсон находился недалеко от Деревни новых интеллектуалов, облюбованной анархистами «прямого действия», и там можно было послушать пылкие речи Гэрли Флини, Трески и Большого Билла.

Джон Рид отправился в Патерсон дождливым утром в апреле. Когда он стоял на крыльце дома одного из рабочих, разговаривая со стачечниками, его арестовали и бросили в тюремную камеру. В камере размером четыре на семь футов содержались восемь пикетчиков, которые на протяжении двадцати четырех часов не получали ни пищи, ни воды. «Приключения» Рида представляли собой живописный материал для печати. Одна нью-йоркская газета поместила рассказ о гарвардском юноше, которого бросили за решетку вместе с бастующими иммигрантами. «Поосторожней, не то попадут к вам в ложку», — предупредили заключенные Джона Рида о насекомых, плававших в водянистом супе. Газеты Нью-Йорка больше шумели об одном репортере, чем о сотнях рабочих, заявил начальник патерсонской полиции, который отправил их в тюрьму. Через четыре дня Рида отпустили на поруки.

«Нам было страшно, когда мы вошли в тюрьму, но когда мы выходили из нее, мы пели», — сказала Риду одна молодая забастовщица о первом дне стачки. Рид всем сердцем был на стороне забастовщиков. Он таскал своих друзей Уолтера Липпмана, Хатчинса Хэпгуда, Эдмунда

Хапта и Мэйбл Додж на воскресные собрания в Хейлдоне. Затем он задумал устроить гигантское представление в целях пропаганды стачки и с целью собрать деньги на защиту забастовщиков.

Рид привлек людей, которых часто встречал в доме Мэйбл Додж на Пятой авеню. Это была богатая разведенная женщина, проявлявшая интерес к современному искусству, радикализму и Риду. Он заручился финансовой поддержкой миссис Додж и некоторых ее знакомых из Нью-Йорка, но денег хватило только на то, чтобы снять Мэдисон-сквер-гарден на один вечер. Постановку спектакля поручили Роберту Эдмунду Джонсу, который дружил с Ридом в Гарварде. Радикалом он не был. Джонс написал плакат, изображавший рабочего в пригнувшейся позе, — этот плакат потом из года в год появлялся в публикациях ИРМ. Джон Слоун нарисовал пейзаж: громадная шелкоткацкая фабрика, а по обеим сторонам — еще две фабрики, поменьше.

За три недели Рид научил свыше тысячи текстильщиков воспроизводить сцены забастовки. С красным песенником в руках он руководил разучиванием песен. Миссис Додж, увлеченная постановкой благодаря энтузиазму Рида, вспоминала: «Самым веселым, пожалуй, был момент, когда рабочих учили петь одну из их запрещенных песен на мелодию «Гарвард, старый Гарвард».

7 июня после обеда из Патерсона в Хобокен приехали поездом, состоявшим из 14 вагонов, несколько тысяч стачечников. Прибыв в Нью-Йорк-Сити на пароме, они прошли строем от Кристофер-стрит по Пятой авеню с развевающимися красными знаменами под звуки оркестра ИРМ, исполнявшего «Марсельезу» и «Интернационал». Впереди, в сопровождении эскорта полицейских, шла член комиссии по организации спектакля Маргарет Сэнджер.

В тот вечер с каждой стороны башни на Мэдисон-сквер яркими электрическими лампочками сияли буквы ИРМ высотой в 10 футов. Их было видно за несколько

милль. На улицах вокруг здания толпились тысяч пятнадцать человек, многие из которых пришли сюда из дома пешком. Когда самые дешевые места были распроданы, комиссия спешно решила продавать билеты по цене в четыре раза меньше установленной. Места в партере, стоявшие согласно рекламным объявлениям 1,5 доллара, продавались в последнюю минуту по любой цене, а сотни рабочих, предъявивших красные членские билеты ИРМ, были допущены на спектакль бесплатно. Пока тысячи людей нашли свои места, прошло немало времени, и представление началось с опозданием на час.

«Пусть только кто-нибудь выкажет хоть малейшее неуважение к флагу, я тотчас же остановлю спектакль, и глазом моргнуть не успеете», — предостерег нью-йоркский шериф Джулиус Харбергер. Ранее шериф осудил уже «подстрекательство к бунту, предательские высказывания, антиамериканские доктрины, призывы к саботажу, буйные вспышки чувств, а также возбуждающие, истерические нездоровые доктрины». Чтобы осуществлять надзор и контролировать представление, Харбергер занял место в ложе близ сцены.

Поскольку шериф прибыл рано и, видимо, располагал временем, он стал читать программу, в которой говорилось: «Спектакль изображает битву между рабочим и капиталистическим классами, которую ведут Индустриальные рабочие мира. Это борьба между двумя социальными силами». В программе говорилось также, что представление будет состоять из шести сцен, первая — фабрика в 6 часов холодного февральского утра...

Один из корреспондентов описал постановку так: «Огромный спектакль в Мэдисон-сквер-гарден, изображающий стачку в Патерсоне, вызвал бурные аплодисменты и одобрительные возгласы 15 000 зрителей. У многих на глазах стояли слезы. Громадный зал, залитый светом в ранние часы темного зимнего утра, пронзительные свистки, грохот машин, затихающий лишь для того, чтобы

уступить место звукам «Марсельезы», которую поет толпа в 1200 рабочих, жестокая схватка с полицией, мрачно-торжественные похороны жертвы, страстная речь агитатора, сцена отправки детей на попечение рабочих семей в соседние города, огромный митинг полных отчаяния, с ввалившимися глазами забастовщиков — все это развертывалось остро реалистично, и кто видел эти сцены, тот уже никогда их не забудет».

В сцене похорон Валентино Модестино гроб несли по центральному проходу зала мимо зрителей. За гробом с пением «похоронного марша рабочих» шло более тысячи забастовщиков. Когда процессия приблизилась к сцене, миссис Модестино, сидевшая в ложе, безутешно разрыдалась. Участники спектакля возложили на катафалк огромное количество красных гвоздик и ветвей вечнозеленых деревьев, а Хейвуд, Треска и Гэрли Флини повторили речи, с которыми они выступили на могиле Модестино. Многие зрители плакали.

Миссис Додж вспоминала: «...в течение нескольких предельно насыщенных возбуждением минут между всеми этими людьми установилось внушающее трепет единство. Они слились в одно целое: рабочие, которые приехали показать своим товарищам то, что происходит у них за рекой, и рабочие, пришедшие посмотреть эти события. Никогда еще, ни до, ни после, не ощущала я в скоплении людей такого напряженно пульсирующего резонанса».

Мало кто не был глубоко тронут серьезностью и душевным волнением стачечников. В конце спектакля зрители поднялись и вместе с участниками представления зашли «Интернационал». В рецензиях, появившихся в газетах на следующий день, о спектакле говорилось как о прекрасной постановке и новой форме искусства. «Самовыражение масс в промышленности и искусстве может стать содержательной реальностью, распространяющей свет гуманизма над всей планетой... от чего все мы выиграем — в реальной жизни, в справедливости, искусстве,

любви», — восторгался Хатчинс Хэпгуд, либеральный писатель, один из завсегдатаев салона миссис Додж. Однако в передовой одной из газет указывалось, что спектакль был поставлен «под руководством подрывной организации, враждебной по духу и противодействующей всем силам, которые построили нашу республику».

В финансовом отношении спектакль провалился. Это было сокрушительным ударом для забастовщиков Патерсона, которые надеялись на огромные прибыли, видя переполненный публикой Мэдисон-сквер-гарден. Расходы на представление оказались слишком высокими, а зрители настолько бедными, что не могли заплатить за билеты. Враждебная пресса обвинила членов комиссии по организации спектакля в том, что они собрали большую сумму и «набили себе карман». К тому же последние дни потерпевшей поражение стачки были омрачены завистью, раздорами и подозрениями. Рид, миссис Додж и Бобби Джоупс уехали в Венецию. Билла Хейвуда, который из-за язвы желудка потерял во время забастовки 80 фунтов веса, один из его друзей увез в Европу.

Rebel Voices. An I.W.W. Anthology. Ed., with Introductions, by Joyce L. Kornbluh, Ann Arbor, 1964, p. 201—202

*На русском языке
публикуется впервые*

НЕГЛИ ФАРСОН ПОД НАДЗОРОМ ЦАРСКОЙ ПОЛИЦИИ

...Заглянув однажды в красно-белый зал ресторана «Астория», я увидел там Джона Рида и чуть не вскрикнул от радости. Я встречал Джона Рида в Гринвич-вилледже, когда он сотрудничал в «Метрополитен мэгэзине», и был совершенно покорен его статьями из Мексики. И вот сейчас он сидел рядом с Бордменом Робинсоном — натурализовавшимся в США англичанином.

Как всегда, Рид быстрыми движениями ерошил всклокоченные вихры каштановых волос. Бордмен поддергивал свою рыжую бороду. Оба отпускали громкие шутки в адрес сидевших вокруг русских офицеров и американских бизнесменов и громко хохотали. Тот и другой были в бриджах из голубого рубчатого плиса, словно только что вернулись с рыбалки в окрестностях Мэна.

Они и в самом деле возвратились, но только с русского фронта, в тылу которого их задержали из-за отсутствия надлежащих документов, и в тот момент, когда я подсел к ним, они находились под надзором полиции. Этим и объяснялся их громкий хохот над всеми, кто сидел вокруг.

Любой арест, пусть самый безобидный, — арест. Но когда можно есть стерлядь и икру в «Астории» и развлекаться... — это проливалось балзам на душу Рида.

«Великий князь Николай грозит расстрелять нас», — ликовал Джон. «Глупый осел», — смеялся экс-англичанин Бордмен Робинсон, рисуя на скатерти мастерскими штрихами карикатуру на команду, выделенную для их расстрела. «Это же великолепная реклама!»

Если благодаря им лето в России стало для меня нирваной, то я оказался для них золотой жилой. На протяжении почти недели мы только тем и занимались, что целыми вечерами заимствовали идеи друг у друга, сидя за столом на открытом воздухе во дворе гостиницы «Англетер», где они жили.

Я посвятил их в тайны хваленной русской «всесильной машины», о которой все глупые корреспонденты газет посылали такие непростительно оптимистические статьи. «Всесильная машина» не имела двигателя. Я рассказал Джону о каждом шаге своего пребывания в Петрограде. Ведь я был среди самых первых, прибывших по договоренности с русским правительством в Петроград в связи с войной. И, как мне кажется, я стал свидетелем всех скандальных проявлений коррупции, испытав при этом то

удовлетворение, которое доставляет корреспонденту осведомленность о такого рода незаконном предприятии.

Конкретные примеры и фамилии приводили Джона в восторг. О некоторых он знал и пояснил мне, что является новостью, а что нет и каким должен быть материал, чтобы его не отвергли. Я передал Джону свое досье, содержащее некоторые сенсационные сведения.

Как оказалось, я невольно передал это досье и русской охранке. Во время всех наших встреч и бесед за Джоном и Бордменом Робинсоном велась неусыпная слежка. Когда они уходили из своих номеров, в них проводился обыск. Каждый документ, в том числе досье, читали и перечитывали по нескольку раз. Именно этим объясняется злоедающая пометка, которую я обнаружил на одной из телеграмм, присланных мне из Лондона. Поперек строк телеграммы, гласившей «Когда Вы вернетесь на родину...», кто-то написал «jamais»¹.

Очень хорошо зная, какой материал Джон Рид и Бордмен Робинсон собрали в русском тылу и собирали в Петрограде и как они намерены были им распорядиться, верховный главнокомандующий русской армией великий князь Николай в конце концов предъявил им ультиматум: либо покинуть Россию через Сибирь в указанный срок, либо готовиться к последствиям. Последствия не имели другой альтернативы, кроме тюрьмы или расстрела. Второй вариант ни в коем случае не был преувеличением. Людей расстреливали и не за такое.

Не следует забывать, что у Рида уже были неприятности с представителями союзного командования из-за глупой шутки Рида — выстрела из винтовки в воздух из германских окопов. Это произошло, конечно, до вступления Соединенных Штатов в войну. Французский генеральный штаб шумно требовал немедленной казни Рида на том основании, что он, вероятно, убил какого-нибудь француз-

¹ Никогда (*фр.*)

кого солдата. Влияние французов в Россия было слишком большим, чтобы Джон Рид или Бордмен могли чувствовать себя спокойно, после того как Джон запятнал свою репутацию в их глазах. Однако главное, что знали Рид и Робинсон, — будет сделано все, чтобы собранный ими материал о России не попал в американскую прессу. Необходимо было поддерживать миф о русском «всесильном механизме». Никто во Франции, Англии и США не должен был знать о вызывающей тревогу слабости союзной России. Ради такого дела «несчастный случай» с двумя американскими корреспондентами явился бы сущим пустяком и даже казнь нашла бы оправдание.

Разумеется, Рид уже был объявлен американским правительством persona non grata, ибо он решительно разоблачил использование частной полиции крупной нефтяной компанией в Бейонне (штат Нью-Джерси). По мере того как истекали дни ультиматума, Джон и Бордмен все чаще погружались в раздумье.

Однако в те белые ночи, когда мы засиживались в маленьком дворе «Англетер», разговор шел не только о политике. Я, по всей вероятности, явился для них настоящей находкой. Пока Джон дотошно и безжалостно, словно пикадор на арене, терзал меня расспросами, Бордмен рисовал на скатерти обидные карикатуры на меня. (Жаль, что я их не сохранил!) Когда Джон, рассказывая о делах октябристов, заявил о своих больших надеждах на русскую интеллигенцию в свержении режима Романовых, я сказал, что свяжу его с одной из представительниц интеллигенции.

Дом на Литейном проспекте, 7, интересовал Рида одну-две ночи — он тотчас же разглядел истинное лицо собиравшихся там людей. «Это — не настоящее дело», — сказал Рид со смехом; желание «видеть дело», его мечта о Революции были страстными. Когда Революция наступит, говорил он, ее возглавят профессиональные лидеры пролетариата, а не революционеры-дилетанты.

Зайдя однажды к Джону и Бордмену, чтобы вместе отправиться на ленч, я застал их в развеселом настроении. Они забавлялись, бросая бутылки с шипучкой в русского шпика в гражданской одежде, наблюдавшего за ними с улицы. «Русского детектива всегда легко узнать,— сказал Джон,— потому что он носит цилиндр, как Чарли Чаплин, у него тросточка, как у Чарли Чаплина, и лакированные ботинки, как у Чарли Чаплина,— вот, смотрите!» Он отступил от окна и швырнул еще одну бутылку, которая, описав идеальную параболу, полетела на улицу. «Чарли» перебрался к другому фонарному столбу, из-за которого гневно взирал на нас. «Их регулярно сменяют»,— сказал Джон. «Мы подрываем моральный дух, мы провели утро великолепно,— произнес Бордмен с грудным смехом.— Они гонялись за нами весь день!»

И он рассказал, как они обычно проводили утро. Брали дрожки, называли предназначенный для слуха крадущегося «Чарли» ложный адрес и, когда дрожки ехали по Невскому, спрыгивали — один с правой, другой с левой стороны. А в других дрожках, гнавшихся за ними, «Чарли» делал судорожные усилия, стараясь повернуть лошадь и вновь «идти по следу». Джон и Бордмен на мгновение сходились, а затем бросались в разные стороны. «Чарли» приходил в отчаяние, не зная, кого из них преследовать. Они прыгали в трамвай и тут же выскакивали, а шпик, следуя по пятам, чуть было не ломал себе шею. Заходили в большой военный магазин и специально для подслушивающего «Чарли» спрашивали о ценах на пулеметы, винтовки, кинжалы и динамит. Выйдя из магазина, пытались поговорить со шпиком, который цепенел от страха от такого уж слишком странного поведения людей, за которыми ему было приказано следить. Действительно, было от кого прийти в ужас — высокий, хохочущий Джон Рид и Бордмен, сердито подергивающий себя за рыжую бороду, придававшую ему свирепый вид. И «Чарли» пускался наутек от Бордмена и Джона Рида!

Что же удивительного в том, что великий князь Николай хотел их расстрелять! Они этого заслуживали.

Трах! — последняя бутылка разлетелась на куски у ног «Чарли», которые, вновь обретя землю после прыжка, поспешно понесли его тело за пределы досягаемости брошенных бутылок. «Закажи еще содовой, Бордмен, батарея иссякла!»

— Сегодня, — сказал Джон, — мы получили убедительнейшее, волнующее душу свидетельство того, что значит быть гражданином великих Соединенных Штатов. Мы видели, что означают звезды и полосы и как славно знать, что звездно-полосатое знамя развевается над Землей Свободных и Родины Смелых. Мы были в нашем посольстве.

Оказывается, Джон и Бордмен посетили американское посольство, располагавшееся в небольшом двухэтажном здании на Фурштадтской, чтобы просить посла Мари о содействии. Посол, по словам Джона, ответил:

— Господа, я чрезвычайно сожалею, гм... так сказать, о большом затруднении, в котором вы оказались. Но, гм... я хотел бы довести до вашего сведения, что вы намеренно, без нужды и, если можно так выразиться, гм... совершенно недопустимо, гм... создали такое положение сами. Следовательно, я с сожалением сообщаю вам, что посольство Соединенных Штатов не может заниматься вашим делом. Вы поставили себя за пределы, гм... вне моей компетенции, гм... гм... сожалею.

— А это значит, — сказал Джон, — что вы не собираетесь помочь нам?

— Вы представляете ситуацию в неправильном, гм... правильном свете, если так можно сказать. Теперь это уже не зависит от моего желания, я просто ничего не могу сделать.

...Делом Риды и Робинсона занялось британское посольство.

*Farson Negley.
The Way of a Transgressor.
N. Y., 1936, p. 182—183, 186—189*

*На русском языке
публикуется впервые*

БОРДМЕН РОБИНСОН¹
ДЖОН РИД
В СЕРДЦЕ РОССИИ

Чуть больше пяти лет назад мы с Джеком Ридом стояли в одном из соборов Московского Кремля и с интересом рассматривали старинные захоронения у его древних стен. Николай II еще сидел на троне отцов, окруженный своими фаворитами. А за нами, как мы догадывались, их агентам было поручено нехитрое дело слежки.

Прах этого императора лежит теперь неизвестно где, империя Романовых ушла в прошлое, а могущественные силы перемен под торжественные звуки «Интернационала» погребли оплакиваемое многими тело прекрасного Джека Рида в сердце России, в земле столицы рабочего класса всего мира.

Факт этот грандиозен. Но если бы Джек мог вообразить себе такое, он улыбнулся бы и пожал плечами, выразив лишь восхищение художника неожиданными поворотами судьбы. И, не придавая этому факту никакого значения, он ни мыслью, ни делом не попытался бы избежать своей более чем скромной кончины или же добиться более счастливой доли, если бы это помешало ему выполнять свои обязанности так, как он их понимал. Свою работу он делал с огромной радостью и энергией, не обращая внимания на удары и шрамы, с величием души, свойственным только великим людям.

*The Liberator, 1921,
February, p. 17*

*На русском языке
публикуется впервые*

¹ Робинсон Бордмен (1876—1952) — американский художник, один из крупнейших мастеров современной графики. — *Прим. сост.*

ЛУИС АНТЕРМЕЙЕР¹
СЛОВО О ПОЭТЕ
И РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ

Даже враги Рида, а их был не только легион, но и, как любил говорить Рид, американский легион, никогда не звали его иначе как Джек. Те, кто отзывался о нем как о шалопae и смутьяне, и те, кто приветствовал его как стойкого революционера, были едины в своем уважении к человеку, который был поэтом, острословом, автором коротких рассказов, неутомимым военным корреспондентом и врагом всякого лицемерия.

Беспокойный и неодолимый в своих взглядах, он был идеалистом, в котором веселый юмор сочетался со спокойной страстью к правде. В представлении других он — самоотверженный борец против старых систем, традиционной морали, устоявшихся предрассудков. Но мне он помнится как неисправимый романтик, поэт-сатирик, которого вынудила действовать не столько бесчеловечность, сколько невежество людей. «К черту все, Луис,— сказал он однажды после необычно долгого и полного категорических наставлений совещания в редакции,— мы — кучка слишком уж серьезных самсонов».

Джек умер более 40 лет назад, но в моей памяти он остается самой яркой личностью того периода. Мне он видится таким же молодым героем, каким изображен на картине Хэллоуэла, находящейся в Гарварде, «Штормовым парнем» Арта Янга, колоритным автором поэмы «Сангар», который сумел наделить страстью аллегорию, насмешливым сочинителем «Всякжурнала-пьесы о безнравственности», занесенным в черные списки инсургентом, который взбудоражил страну своей революционной кни-

¹ Антермейер Луис — американский поэт, в прошлом редактор журналов «Либерейтор», «Северн артс», «Америкен меркьюри». — Прим. сост.

гой «Десять дней, которые потрясли мир». Но прежде всего он помнится мне жизнелюбивым борцом за такое будущее, в котором поэты получают возможность бросить миру вызов и, вероятно, изменить его так, как они его видят.

*Louis Untermeyer. Bygones.
The Recollections of Louis
Untermeyer. N. Y., 1963, p. 32—34*

*На русском языке
публикуется впервые*

ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА¹ ПОЭТ И ЛЕТОПИСЕЦ ОКТЯБРЯ

Когда Рид приехал в Нью-Йорк [в 1918 г.], его тут же арестовали агенты федеральной полиции. Потом отпустили под залог, но забрали чемодан с рукописями, записными книжками, вырезками из газет, листовками и воззваниями, которые он собирал в Петрограде для книги о русской революции. Понадобилось около полугода, чтобы добиться возвращения всех этих бумаг.

Получив их обратно, он заперся в комнате и работал день и ночь над вошедшей в историю книгой «Десять дней, которые потрясли мир».

Книга эта — вдохновенный рассказ очевидца пролетарской революции в России. Читаешь ее — и перед глазами встают незабываемые дни. Разумеется, в ней не все точно: ведь Рид многого не знал, а порой и ошибался в оценке отдельных людей и их роли в революции. Но главное — величие русской революции, ее народный характер, ее непобедимость — Рид передал с точностью поистине поразительной.

Как же он, почти не знавший русского языка, мог все это увидеть и понять? Это случилось благодаря тому, что Рид был революционером: это придало ему смелость,

Публикуется с сокращениями. — *Прим. сост.*

¹ Драбкина Елизавета Яковлевна (1901—1974) — писательница, член КПСС с 1917 г. — *Прим. ред.*

ясность мысли. А также потому, что он был поэтом — благодаря этому он создал глубокий и правдивый образ того необыкновенного времени.

День за днем рассказывал он историю Великого Октября. Ничего не выдумывал. Исполненный правды рассказ звучал как гимн, утверждающий веру в Человека, в то, что Человек способен создать новое общество и навсегда покончить с войной, социальным неравенством, эксплуатацией.

Наконец книга была написана, напечатана, вышла в свет. Рид ликовал. Для полноты счастья ему нужно было лишь одно: вручить экземпляр «Десяти дней...» Владимиру Ильичу Ленину.

Но каким образом? Рид решил, что он отнесет свою книгу первому официальному представителю Советской России в США Людвигу Мартенсу.

Взяв перо, Рид написал на титульном листе своим круглым, размашистым почерком:

«Товарищу Мартенсу — представителю страны моего сердца!»

Осенью восемнадцатого года в Нью-Йорк приехал из Москвы русский матрос-большевик Петр Иванович Травин, который с большими трудностями и риском привез письмо Владимира Ильича Ленина к американским рабочим, а также Конституцию РСФСР и текст ноты Советского правительства президенту США Вильсону с требованием прекратить интервенцию.

Все документы необходимо было довести до сведения самых широких кругов американских рабочих и американского народа. Но как это сделать?

Когда Травин обсуждал с товарищами все возможные варианты, кто-то воскликнул:

— Сделать это может только один человек — Джон Рид!

Рид взялся за порученное ему дело со всеми присущими ему пылом и страстью. И добился того, что все доку-

менты, привезенные Травиним, были не только опубликованы в газетах и изданы отдельными изданиями, но частично даже оглашены с трибуны конгресса.

В своем «Письме к американским рабочим» Ленин с огромной силой заклеymил американский империализм, превративший войну в кровавый бизнес: «На каждом долларе — ком грязи от «доходных» военных поставок, обогащавших в каждой стране богачей и разорявших бедняков. На каждом долларе следы крови — из того моря крови, которую пролили 10 миллионов убитых и 20 миллионов искалеченных...»¹ Это письмо сыграло большую роль в развитии рабочего и коммунистического движения в Соединенных Штатах, а также в других странах. Американские рабочие узнали об отношении большевиков к террору, гражданской войне, Брестскому миру, обо всем том, что международная буржуазия, клеветая на молодую Советскую республику, старалась показать в кривом зеркале.

Ленин не приукрашивал действительность. Он прямо говорил и об ошибках, которые совершались в процессе революции. «Мы не боимся наших ошибок, — писал он. — От того, что началась революция, люди не стали святыми»². И в то же время он подчеркивал, что «только *через* такие ошибки *научатся* строить новую жизнь, научатся обходиться *без* капиталистов рабочие и крестьяне, только так пробьют они себе путь — через тысячи препятствий — к победоносному социализму»³.

С глубоким чувством любви и уважения к американскому пролетариату Ленин высказывал убеждение, что «американские рабочие не пойдут за буржуазией. Они будут с нами, за гражданскую войну против буржуазии. Меня укрепляет в этом убеждении вся история всемирного и американского рабочего движения»⁴.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 50.

² Там же, с. 60.

³ Там же, с. 61.

⁴ Там же, с. 58.

При этом Ленин не считал, что поддержка американских рабочих — дело недалекого будущего. «Мы знаем,— писал он,— что помощь от вас, товарищи американские рабочие, придет еще, пожалуй, и не скоро, ибо развитие революции в разных странах идет в различных формах, различным темпом... Мы ставим ставку на неизбежность международной революции, но это отнюдь не значит, что мы, как глупцы, ставим ставку на неизбежность революции в *определенный* короткий срок»¹. И тут же Ленин выражал уверенность: «Несмотря на это, мы твердо знаем, что мы непобедимы... ибо непобедима всемирная пролетарская революция»².

Письмо Ленина взволновало широкие круги американских рабочих.

И, конечно, Джона Рида. Он воспринял ленинское обращение как призыв к борьбе.

Вскоре после этого открылись заседания так называемого овермэнзовского комитета — судилища, устроенного американским сенатом. На скамье подсудимых находилась... Великая Октябрьская социалистическая революция. Обвинителем выступало, как определил председатель суда сенатор Овермэн, «общество, основанное на собственности и правопорядке».

Рид потребовал, чтобы комитет выслушал его показания.

— Вы за то, чтоб в Соединенных Штатах произошла революция такая же, как в России? — спросили Рида.

— Да, я за революцию, — ответил Рид. — Но под революцией я подразумеваю процесс глубоких социальных изменений и не знаю, сколько времени он займет.

Следуя примеру многих революционеров, Рид использовал суд как трибуну для пропаганды идей социалистической революции. Напрасно судьи пытались сломить его

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 63—64.

² Там же, с. 64.

волю — Рид был непреклонен. Он бросал в лицо судьям гневные слова, полные ненависти к войне и капиталистической эксплуатации. Он разоблачал судебные махинации. Судьи оказались перед ним бессильны.

Изучая историю рабочего движения, общаясь с товарищами по работе и борьбе, Рид все больше приходил к убеждению о необходимости создать в Соединенных Штатах коммунистическую партию.

Снова и снова штудировал он письмо Ленина к американским рабочим, читал и перечитывал изданные в США ленинские работы «Государство и революция» и «Империализм, как высшая стадия капитализма». С каждым днем для него становилось очевиднее: без своей классовой партии американские рабочие не смогут достичь победы.

Стихийно возникавшие в разных концах страны коммунистические организации благодаря энергичным усилиям Рида и других товарищей начали спланиваться в коммунистическую партию. Однако между учредителями возникли некоторые тактические разногласия. В итоге образовалась не одна, а две компартии.

Не найдя путей к примирению, Рид решил поехать за советом в Москву, к Ленину. Но так как Рид находился под судом, он не мог получить заграничный паспорт. Поэтому он вынужден был уехать из США нелегально, под чужим именем.

Назвав себя Джимом Гормлей, воспитанник аристократического Гарварда нанялся кочегаром на шведский пароход. После почти двухмесячного путешествия, полного опасностей, добрался до России и в конце 1919 г. прибыл в Москву. Ему предложили номер в гостинице для иностранцев, в которой хоть как-то топили, хоть как-то кормили. Но Рид отказался, снял комнату в рабочей семье на окраине Москвы и тотчас же отправился к Ленину. Он был частым гостем Владимира Ильича — и в кабинете в Кремле, и в его квартире. Беседы их касались самых разнообразных вопросов, в том числе и о Компартии США,

борьбе за ее объединение. Рид подарил Ленину экземпляр «Десяти дней...». А Владимир Ильич, прочитав книгу, дал о ней восторженный отзыв.

Теперь Рид задумал новую книгу — о России двадцатого года, о нашей революции, о героизме народа и мудрости большевистской партии и ее великого руководителя.

Чтобы написать эту книгу, Рид ходил по фабрикам и заводам, школам, яслям, детским садам. Он разговаривал с десятками людей, расспрашивал об их жизни, борьбе, трудностях и надеждах. В тяжелых условиях того времени он совершал поездки по России, заполняя страницы своих записных книжек.

Особенно тщательно изучал Рид жизнь и деятельность Ленина. Сделать это было не просто: Собрание сочинений Владимира Ильича еще не начало выходить; книги его и статьи, опубликованные до революции, были библиографической редкостью. Да и русский язык Рид знал очень слабо. Но он заявлял, что, именно читая Ленина, он сумеет овладеть языком, и читал и перечитывал абзац за абзацем страницы «Что делать?» старого, дореволюционного издания.

В ту зиму я не раз встречалась с Ридом. Познакомилась я с ним раньше, еще в Петрограде, вскоре после Октября. Рид пришел в наш молодежный клуб, где самостоятельный кружок ставил пьесу о Парижской коммуне, и с того времени началась его дружба с первыми строителями будущего комсомола. В Москве наша дружба стала еще тесней.

Приходили мы к Риду обычно вечером. Разжигали железную печурку, варили мороженую картошку, пели песни, разговаривали чуть ли не до утра. О чем? О чем угодно. Чаще всего о виденном и пережитом. О наших планах и мечтах.

Мне вспоминается вечер в комнатухе Рида. Печка уже догорает. Слабо потрескивает фитиль керосиновой лампы. По одну сторону стола сидит Рид, по другую — замечательный финский товарищ Ирjö Сирола¹, оба похожие друг на друга тем соединением мужества и иронии, непреклонности и доброты, бесстрашия и нежности, которое так характерно для коммунистов, прошедших путь суровой борьбы. И в то же время такие разные: Рид — порывистый, эмоциональный, всегда готовый сорваться с места, чтобы зашагать по комнате, обрушить на собеседника каскад своих наблюдений, характеристик, рассказов о различных эпизодах; Сирола — задумчивый, молчаливый, медленно роняющий слова.

Они давно уже знают друг друга: в восемнадцатом году, когда товарищ Сирола был членом рабочего правительствa Финляндии, Рид побывал там. С тех пор они подружились, вместе участвовали в какой-то стычке с финскими белогвардейцами...

Рид был полон мыслями о книге, посвященной Ленину.

— За это время, — говорит он, — я разговаривал о Ленине с самыми разными людьми, и каждый сказал о нем что-то свое. Он слишком велик, чтобы один человек мог охватить его своим разумом, поэтому каждый видит его и любит по-своему. Когда я сам думаю о нем, мне хочется сказать, перефразируя слова Маркса: «Ленин — локомотив истории». Ни один человек не сыграл в моей жизни такой роли, как он. Ну а ты, товарищ Сирола, скажи мне ты, чем является для тебя Ленин, каким твоим сокровенным чувствам он больше всего дал, в чем ты больше всего от него получил?

— Ты задал мне трудный вопрос, и ответить на него нелегко, — начинает Сирола. — Когда ты спрашиваешь меня, в каком отношении я, лично я, получил больше всего

¹ Сирола Юрьё Элиас (настоящая фамилия — Сирен, 1876—1936) — один из основателей (в 1918 г.) Компартии Финляндии. — *Прим. ред.*

от товарища Ленина, первое, что мне хочется сказать,— это то, что больше всего он дал мне для ума, ибо никто другой не доказал мне так ясно неизбежность социалистической революции, никто не определил так правильно пролетарский революционный путь.

Но, дав тебе такой ответ, я тут же должен был бы спросить себя: «Ну а на твои чувства, какое влияние на них оказал товарищ Ленин?» И ответить: «Более сильное, чем какой бы то ни было поэт». Когда в статьях, написанных почти два десятка лет тому назад, он говорит о задачах революционера, о призвании народного трибуна, во мне поднимается до высшей точки то, что называется воодушевлением.

Сказав тебе все это, я еще не упомянул бы о главном влиянии товарища Ленина. Оно касается совести. Соответствует ли твоё дело словам?

Тот, кто стоял на исповеди своей совести перед этим вопросом, тот понимает, что для революционера это вопрос жизни и смерти. И сколь многих из нас именно товарищ Ленин заставил пройти через эти единственные ворота к коммунизму...

Рид с затаенным дыханием слушал Сиролу. А когда тот умолк, протянул к нему руки и произнес как клятву:

— Если я буду заперт в каторжную тюрьму, если у меня не будет ничего, кроме гвоздя, все равно я нацарапаю этим гвоздем свою книгу о России, о Ленине на стенах тюремной камеры.

Весной двадцатого года Рид попытался уехать в Соединенные Штаты. По дороге его схватила финская полиция и заключила в тюрьму. Ленин, крайне озабоченный его судьбой, сказал, что надо идти на любой обмен политическими заключенными, но выручить Рида. И его вернули в Советскую Россию.

Это было в начале лета. Рид послал несколько корреспонденций в журналы США. Описал Россию, какой она была в эти месяцы.

Вскоре в Петрограде открылся II конгресс Коминтерна, перебравшийся затем в Москву. Рид — делегат от Коммунистической рабочей партии Америки. Во время конгресса успешно завершилось дело, которому он уделял много энергии, — обе коммунистические партии США объединились в одну. Как представителя этой партии Рида избирали членом Исполкома Коминтерна.

На заседаниях конгресса Рид часто видел Ленина, наблюдал за ним, делал наброски, чтобы запечатлеть неповторимые ленинские черты: «Очень разный, и в то же время именно он». «Разговаривает с Кабакиевым. Глубокое уважение». «Быстрые движения, но не суетлив. Быстрота создается экономной точностью жеста». «Рассказ Луначарского: французский скульптор Аронсон, увидев Ленина, был поражен его сходством с Сократом — тот же великолепный затылок, глубоко посаженные глаза, голова как бы излучает сосредоточенную мысль». «Весь обращен ко всем! всем! всем!». «Удивительные глаза: пронизательные, запоминающиеся, добродушно-лукавые, прежде всего умные. На солнце кажутся золотыми». «Не говорит, а действует... Нет, не так! Правильнее — когда он говорит, он действует». «Шотландское пожелание: «Пусть долго дымится труба твоего дома!» Да, пусть дымится долго, как можно более долго. Миллионы людей готовы отдать жизнь за то, чтоб труба твоего дома дымилась вечно!»

Вскоре после Второго конгресса Коминтерна Рид поехал в Баку, на съезд народов Востока. Он представлял на этом съезде Коминтерн, и не случайно выбор пал именно на него: на конгрессе Рид входил в комиссию по национально-колониальному вопросу и произнес пламенную речь, в которой требовал, чтобы Соединенные Штаты покончили со своим национальным позором — неравенством и сегрегацией негров.

В Баку Рид почувствовал себя так, словно он вновь окунулся в стихию мексиканской республики. Принимал активное участие в работе съезда. Выступал от имени революционных рабочих Америки.

— Не верьте посулам капиталистов! — восклицал он в своей речи. — Посмотрите на судьбу Филиппин, Центральной Америки, Кубы и остальных островов Карибского моря. Везде в этих цветущих странах народ живет на крайнем пределе нищеты, ибо американцы захватили там лучшие земли. Национальное богатство принадлежит американским миллионерам, за исключением небольших подачек, которые они дают местным капиталистам и помещикам за то, чтобы те проводили волю Уолл-стрита. Но запомните: американская буржуазия никогда не начинает с открытого нападения на страну, которую хочет подчинить своей власти; свое проникновение она начинает с того, что носит лицемерное название «помощи» отсталым странам. С таким же успехом палач мог бы заявить осужденным, что он «помогает» осужденному к смерти взобраться на эшафот...

Переждав, пока стихнут аплодисменты, которыми зал одобрил его слова, Рид закончил свою речь призывом к солидарности всех угнетенных и трудящихся народов мира под руководством коммунистов.

— Есть только один путь к свободе, — говорил он. — Объединяйтесь с русскими рабочими и крестьянами, которые свергли своих капиталистов и Красная Армия которых победила иностранных империалистов! Следуйте за красной звездой!

Эти пламенные слова были последними словами Рида, произнесенными с трибуны большого собрания. По дороге в Москву поезд, в котором ехал Рид и другие товарищи, подвергся нападению белобандитов. Рид принял участие в коротком бою. Разгоряченный, он напился из придорож-

ного ручья. А когда приехал в Москву, заболел. Врачи думали сначала, что у него грипп, но потом выяснилось, что он болен тифом.

Его поместили в больницу. Страдания его были ужасны. Но он старался успокоить свою жену, которая дежурила у его постели. Рассказывал ей прекрасные фантастические истории.

Рид умирал. Быть может, его можно было бы спасти, но в Москве не было лекарств.

В ночь на 17 октября он скончался.

В хмурый осенний день Москва хоронила Рида. Через площадь Революции процессия проследовала на Красную площадь. Под звуки траурного марша гроб опустили в могилу у Кремлевской стены. На свежий холм сложили венки, обвитые лентами с начертанными на них скорбными словами, которыми советский народ и коммунисты всего мира прощались с Джоном Ридом.

Три года назад здесь, на Красной площади, Рид видел, как хоронят пятьсот пролетариев; павших за святое дело Октября. Сегодня, как и тогда, на Красную площадь стекались тысячи людей. Теперь они прощались с Ридом. Военный оркестр играл «Интернационал», и все, кто был здесь, пели гимн медленно и торжественно. Как и тогда, с зубцов Кремлевской стены свисали огромные красные знамена с белыми и золотыми надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции», «Да здравствует братство рабочих всего мира!» Но среди этих знамен были и траурные знамена с именем Рида.

И если бы Рид ожил, заговорил, он так же, как тогда, произнес бы слова, сказанные им над могилами жертв революции:

«Русский народ строит на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье».

*Печатается по:
Ленинская гвардия планеты,
М., 1967, с. 313—321*

ДЖОРДЖ АШКЕНАЗИ КАК ДЖОН РИД ПРИВЕЗ ДОБРУЮ ВЕСТЬ В США

Я познакомился с Джоном Ридом весной 1918 г. в редакции ежедневной газеты «Новый мир», которую издавала на русском языке русская федерация американской социалистической партии. Редакция и типография находились в Нью-Йорке на Десятой стрит. Типография — в подвальном помещении, редакция размещалась на первом этаже в двух комнатах. В первой комнате, той, что побольше, работали добровольцы, помогавшие готовить газету; во второй, отделенной стеклянной дверью, работали три-четыре наших редактора.

Однажды в редакцию вошел высокий, хорошо сложенный мужчина. Громко приветствуя нас от имени Советской России, он по русскому обычаю поздоровался с каждым из присутствовавших за руку. Его рукопожатие было таким крепким, что я невольно съезжился.

Джон Рид, казалось, заполнил всю комнату, создавалось впечатление, что в ней целая толпа. На шум пришли редакторы, недовольные тем, что им помешали работать. Но когда они увидели Рида, оживление и шум в комнате усилились — вновь приветствия, рукопожатия, объятия. Затем из подвального помещения прибежали печатники.

Встреча с Ридом, прибывшим из Советской России, стала для нас в «Новом мире» настоящим праздником. Нам было очень трудно объяснить читателям фактическое положение дел в России и опровергнуть ложь буржуазной прессы США о молодой Советской республике. Очень редко получали мы из России газеты и литературу, и поэтому появление Рида, очевидца и участника Октябрьской революции, сближало нас с событиями в России.

После шумных и трогательных приветствий, рукопожатий и объятий Рид начал с характерной для него страстью рассказывать о событиях в России. В комнате уста-

повидася полная тишина. С необычной теплотой он рассказал нам о своих встречах с Владимиром Ильичем Лениным и его женой.

После этого памятного случая Джон Рид стал частым гостем в «Новом мире». Его появление вселяло новый дух в нашу жизнь. После завершения своей книги «Десять дней, которые потрясли мир» он решил отдать нам материалы, привезенные из России: плакаты, газеты, официальные прокламации и многочисленные фотографии революционных дней. Взять материалы редакция «Нового мира» поручила мне и еще одному товарищу.

Рида можно было застать дома только ранним утром. Когда мы позвонили, он, вероятно, был еще в постели, потому что встретил нас в ночной рубашке, доходившей почти до колен. Войдя, мы оказались в бедно обставленной комнате. На столе, стульях и на полу лежали плакаты, брошюры и газеты.

Комната была очень холодной, без парового отопления. Рид разжег камин, оделся и приготовил кофе. Затем он стал собирать материалы, показывая и объясняя нам некоторые плакаты, документы и особенно фотографии.

Фотографии, запечатлевшие февральскую демонстрацию 1917 г. под лозунгами «Хлеба и мира», прибытие Ленина в Петроград и его появление на броневике на Финляндском вокзале, расстрел демонстрантов 3 июля, «Новый мир» опубликовал в отдельном альбоме. С них были сделаны диапозитивы.

В своих поездках по Соединенным Штатам я демонстрировал эти диапозитивы с помощью проектора, распространяя таким образом правду о революции, которая произошла в России. Выручка шла в фонд «Нового мира».

Джон Рид, казалось, никогда не отдыхал. Он выступал на митингах, собраниях, писал для прессы — и везде рассказывал правду о молодой Советской республике. Митинги, на которых выступал Джон Рид, всегда привлекали

много народа. Залы никогда не могли вместить всех, кто искал правду о России. Под давлением реакционеров нам часто отказывали в предоставлении помещения для проведения встреч. В таких случаях Джон Рид обращался к людям на открытых площадках. Его много раз арестовывали якобы за нарушение общественного порядка.

Джон Рид, его жена Луиза Брайант и Альберт Рис Вильямс были вызваны в сенатский комитет под председательством Овермэна. Комитет поставил цель подготовить общественное мнение для оправдания интервенции в России. Он решил заслушать прежде всего бывшего посла в России, бывшего коммерческого атташе посольства в Петрограде, Екатерину Брешко-Брешковскую¹, которую называли «бабушкой русской революции». Но общественное мнение вынудило комитет заслушать сначала Рида, Вильямса и Луизу Брайант. Перед этим комитетом Рид отстаивал Октябрьскую революцию.

В Соединенных Штатах Рид включился в работу левого крыла социалистической партии. В июне 1919 г. я встретил Рида на конференции, проведенной представителями левого крыла русской федерации и некоторыми американцами, которых отстранили от участия в съезде, созванном с целью организации коммунистической партии.

Рид настаивал на том, чтобы послать делегатов на съезд социалистической партии и попытаться одержать там победу. В момент образования коммунистической партии необходимо было собрать наибольшее число революционных товарищей. Съезд социалистической партии был созван 30 августа 1919 г., коммунистической партии — 1 сентября 1919 г. Рид и группа левых делегатов решили явиться на съезд социалистической партии рано утром 30 августа.

¹ Брешко-Брешковская Е. К. (1844—1934) — один из организаторов и лидер партии эсеров, с 1919 г. — белоэмигрантка. — *Прим. ред.*

У двери, проверяя мандаты делегатов, стоял Джулиус Гербер, секретарь нью-йоркского отделения социалистической партии. Узнав Рида, он загородил ему путь. После короткой стычки Рид схватил Гербера, поднял и отставил его в сторону, дав делегатам возможность войти в зал. Через несколько минут на сцене появился национальный секретарь социалистической партии Адольф Гермер в сопровождении двух полицейских, которым было приказано очистить зал. Рид и другие делегаты перешли в соседний зал, где при активном участии Рида произошло образование Коммунистической рабочей партии. Сразу после этого события Рид уехал в Советскую Россию. Он выступал за объединение двух коммунистических партий. Революция в России захватила Рида всего без остатка. Участие в Октябрьской революции сделало его коммунистом.

На обратном пути в Соединенные Штаты Рид подвергся аресту в Финляндии и вынужден был возвратиться в Россию. После участия делегатом в работе съезда народов Востока, состоявшегося в Баку, он заболел тифом и умер. Весть о его смерти явилась тяжелым ударом для всего прогрессивного движения в Америке.

*The Worker, 1962, December 9,
N 96, p. 5, 9*

*На русском языке
публикуется впервые*

**МАРГАРЕТ КАУЛ
ДЖОН РИД —
ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ
КОМПАРТИИ США**

...Я была председателем массового антивоенного митинга в 1918 г., на котором в качестве главного оратора выступал Джон Рид. В то время США участвовали в первой

Из воспоминаний М. Каул о Джоне Риде, написанных в 1967 г. по просьбе составителя сборника.

мировой войне. Когда сотни вооруженных полицейских окружили здание, нужно было проявить большую смелость, чтобы стоять на сцене и выступать против войны. Рид недвусмысленно, смело, мужественно заклеил участие США в войне и призвал покончить с этой империалистической бойней. Он был одним из первых американцев — очевидцев Октябрьской революции 1917 г., доставивших отчет о ней американскому народу. На этом массовом митинге в 1918 г. Джон Рид подробно рассказал и привел факты о том, что новое правительство в России действительно является правительством народа и что новое государство выступает за мир во всем мире и реальную свободу для всего человечества. Обстановка в стране в то время была такой, что отношение к каждому, кто осмеливался протестовать против войны, напоминало суд Линча. Особенно это относилось к лицам не англосаксонского происхождения. Джон Рид был из англосаксов, и поэтому его деятельность против империалистической войны и в интересах нового социалистического государства — Советской России оказывала особо благоприятное воздействие почти на всех, кто слышал его голос.

Поясню, что массовый митинг в 1918 г. был организован специальной комиссией, созданной комитетом социалистической партии графства Кингс (Бруклин, Нью-Йорк). Я была председателем специальной комиссии. Мы, молодые делегаты в комитете социалистической партии графства от отделений социалистической партии нашего района, вели упорную борьбу внутри этого комитета за принятие решения о проведении антивоенного массового митинга. В этой борьбе мы одержали победу, и в итоге на заседании комитета социалистической партии графства Кингс, на которое прибыли представители почти всех отделений партии в графстве, была избрана специальная комиссия по организации массового митинга. Как председателем комиссии я предложила выбрать основным оратором на митинге Джона Рида. Проведение массового митин-

га знаменовало собой протест огромной силы. И это в то время, когда национальное руководство социалистической партии вводило в заблуждение рядовых членов партии в вопросе о войне и саботировало антивоенную резолюцию, принятую ранее на встрече социалистической партии в Сент-Луисе.

Джон Рид участвовал как делегат в конференции левого крыла социалистической партии, которая состоялась в Нью-Йорке в июне 1919 г. Я тоже принимала участие в этой конференции. Группа, представлявшая большинство в партии, избрала делегатов на национальный съезд партии, который был проведен в сентябре 1919 г. в Чикаго. Конференция левого крыла социалистической партии направила делегатов по пути борьбы против войны, в поддержку Октябрьской революции в России. Одно из разногласий, проявившихся среди делегатов, состояло в том, что, по мнению некоторых, нам следовало оставаться внутри социалистической партии и отстаивать свою позицию, другие же считали, что необходимо без промедления выйти из партии. Было принято компромиссное решение — избрать делегатов на Чикагский съезд и затем на съезде выработать соответствующую тактику. Я голосовала за избрание делегатом Джона Рида.

Чикагский съезд отказался признать делегацию левого крыла. Джон Рид входил в число тех, кого молодчики, охранявшие вход в зал заседания съезда, силой вывели из зала и столкнули с лестницы. К изгнанным делегатам присоединились другие делегаты съезда. Был проведен новый съезд, который представлял большинство членов социалистической партии всей страны. На этом новом съезде, состоявшемся в Чикаго в сентябре 1919 г., возникла Коммунистическая партия США. Рид был одним из организаторов этой партии. Но вначале образовались две коммунистические партии, которые позднее слились в одну коммунистическую партию.

Публикуется впервые

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МИТИНГ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Джон Рид, только что вернувшийся из России, был арестован в Филадельфии за попытку произнести речь о Советском правительстве. На митингах в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Хейвене и других городах его речи сопровождались бурными аплодисментами огромных масс людей. При этом со стороны местных властей не было никаких жалоб.

В филадельфийское отделение социалистической партии, которое уже имело санкцию начальника муниципальной полиции на организацию встречи с Ридом, всего за несколько часов до назначенного времени его выступления поступило письмо. В нем говорилось, что санкция отменена, и указывались следующие причины этого решения: полиции стало известно, что на Рида составлен обвинительный акт в связи с «антиправительственными высказываниями»; двумя неделями раньше он был арестован в Нью-Йорке (оба эти обвинения являются фальшивыми), и, кроме того, он «связан с большевистским движением в Нью-Йорке». Мы никогда не слышали, чтобы это объявлялось преступлением, и в любом случае это неправда.

Рид пытался связаться с полицейскими властями, но их не оказалось на месте. Тогда он осведомился у местного представителя федерального министерства юстиции, и ему было сказано, что полиция не получала никаких распоряжений о запрете митинга. Поэтому Рид решил, что, поскольку конституция США не отменена и не приостановлена, полиция Филадельфии не может на законных основаниях ограничить его право на свободу слова, тем более что его выступление не содержит упоминаний о войне и выпадов против правительства Соединенных Штатов.

Была сделана попытка провести митинг на улице, где нет движения, с участием примерно 800 человек. Когда

полиция приказала Риду освободить место, он заявил: «Я настаиваю на своем праве выступать. Либо дайте мне выступить, либо арестуйте меня». На этом его речь закончилась: Рида арестовали, а на собравшихся, встретивших полицию криками возмущения и свистом, набросились 24 полицейских. Один из участников митинга, совершенно безобидный человек по имени Уильям Когерман, был жестоко избит. Когерман — казначей местного отделения эстонской федерации социалистической партии — пришел послушать о стране, где он родился. Позже Когермана обвинили в оскорблении словом и угрозе применения физического насилия в отношении четырех полицейских, в подстрекательстве толпы к освобождению Рида и в оказании сопротивления при аресте.

Риду было предъявлено обвинение в нарушении муниципального постановления, подстрекательстве к мятежу и «подстрекательстве к антиправительственным высказываниям». Рид и Когерман были выпущены под залог в 5000 долларов. Судебное разбирательство должно состояться осенью в суде графства.

Филадельфийские газеты, полиция и все реакционные силы города попытались увязать вопросы, касающиеся свободы слова, с вопросом о «патриотизме». Многие местные газеты уделили немало места «нарушению общественной тишины и порядка», чего вовсе не было, и бунтарским выкрикам толпы, которые никто не слышал.

О военной политике речи не было. Рид собирался рассказать о впечатлениях о революционной России, а люди, собравшиеся его послушать, в основном были русскими, которые хотели узнать правду о том, что происходит в их стране.

Редакция

The Liberator, 1918, August, p. 34

*На русском языке
публикуется впервые*

НЕУТОМИМЫЙ РИД

Моя первая встреча с Ридом произошла в 1918 г., когда он возвратился из России. В 1916 г. я вступил в социалистическую партию, а в 1918-м работал организатором клуба. Рид собирался выступить с речью в Браунсвилле (в Бруклине.— *Ред.*), и моя задача состояла в том, чтобы помочь в подготовке выступления. Он совершал поездку, во время которой выступил на 62 митингах в восточных штатах и на Среднем Западе.

Рид работал неутомимо. Он участвовал в дебатах, ведя полемику, например, с Джозефом Шоклиным, который побывал в России. Шоклин вызвал Риду на спор, и вызов, конечно, был принят. Рид завершил спор словами: «У вас были встречи со сторонниками царя!» — и это доконало Шоклина.

В полемике с Ридом стопроцентное поражение потерпела и Эмма Голдмен. Рид победил одним махом, спросив ее: «А как насчет интервенции, когда вы говорите о чести? А как насчет эмбарго, когда вы говорите о разрухе?» Эти условия создали именно Англия и Франция, к которым надо добавить Соединенные Штаты, в ходе четырех лет войны и трех лет контрреволюции.

Первыми словами, которые произнес Рид в доме своей матери в Орегоне (он только что возвратился из Европы, где работал корреспондентом), были слова о том, что, если Вы хотите знать «мое мнение о войне, она идет ради прибылей».

Political Affairs, 1982, April, 28

*На русском языке
публикуется впервые*

¹ Уэйнстон Уильям (р. 1897 г.) — один из основателей Коммунистической партии США. — *Прим. сост.*

ОН ВЕРИЛ В ТРУДЯЩИХСЯ

Рид был репортером-асом, его паперебой приглашали редакции самых читаемых газет и журналов страны. Но в первый же военный год — Рид был военным корреспондентом — он решительно высказывался против войны, и издатели ведущих периодических изданий проявляли все меньше и меньше желания публиковать его корреспонденции.

В начале 1918 г. увидел свет «Либерейтор», в первом номере которого был помещен отчет Джона Рида с места событий. Обложка была выполнена мною. Какими паивными были представления у нас о большевиках! Я стремился показать, как русский крестьянин сеет маленькие сердца в почву.

Я помню Джона Рида как физически очень сильного человека. Однажды, подойдя к зданию, где помещалась редакция «Мэссиз», я увидел у двери на тротуаре сейф. Мне сказали, что его поставил там Джон Рид. А редакции пришлось нанять двух рабочих, чтобы отнести сейф в помещение. Рид очень хорошо плавал и любил прыгать с вышки.

...Как-то весной 1918 г. я навестил одного знакомого писателя. Возвращаясь к вечеру домой, я у входа в дом лицом к лицу встретился с Джеком Ридом. В тот день утром он сошел с парохода и был страшно расстроен, потому что все его записи, которые позднее стали книгой «Десять дней, которые потрясли мир», были конфискованы агентами правительства, и Рид был сильно озабочен тем, как получить их обратно.

Несомненно, великая революция рабочих и крестьян под руководством Ленина являлась замечательной школой, а Джек Рид был ее выдающимся учеником. Я проникся

¹ Геллерт Хуго (1892—1984) — прогрессивный американский художник, мастер политической графики. — Прим. сост.

воодушевлением и стал читать классиков марксизма... Хочу сказать, что среди других представителей интеллигенции Джек Рид выделялся своей верой в трудящихся. Он верил, что они обладают силой воображения, чтобы мечтать о лучшем мире, и способностью воплотить эту мечту в реальность.

*Political Affairs, 1982,
April, p. 29—30*

*На русском языке
публикуется впервые*

ДЖЕССИКА СМИТ¹ ЕГО БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ

Я видела Рида лишь мельком, в кругу людей, но его жизнь и его произведения относятся к числу факторов, оказавших на меня наибольшее влияние. В основном именно благодаря Джеку Риду началась история моей любви на всю жизнь к русской революции и Советскому Союзу.

...Когда я состояла в межуниверситетском социалистическом обществе, я познакомилась с Альбертом Рис Вильямсом, Бесси Битти и Люситой Вильямс, которые находились с Джоном Ридом в тот вечер, когда был взят Зимний дворец. От Вильямса я услышала очень много историй о Джоне Риде. Именно от Вильямса я услышала ту чудесную цитату, которая приведена в «Десяти днях, которые потрясли мир», — из речи Ленина на заседании съезда: «Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!»²

*Political Affairs, 1982,
April, p. 31*

*На русском языке
публикуется впервые*

¹ Смит Джессика (1895—1983) — прогрессивная американская журналистка, видная общественная деятельница. — *Прим. сост.*

² Как известно, В. И. Ленин произнес аналогичную фразу в конце своего доклада о задачах власти Советов на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, открывшемся 25 октября (7 ноября) 1917 г. в 2 часа 35 минут дня, за 8 часов

Месяцев шестнадцать назад, когда мы пытались связать воедино отдельные газетные корреспонденции, состоявшие из отрывочной информации и дезинформации, слухов и опровержений, в толковое объяснение взятия власти в России большевиками, я пытался успокоить себя тем, что скоро все разъяснится. Я говорил себе: «Через шесть месяцев у меня в руках будет напечатанная черным по белому книга, которая точно ответит на мои недоуменные вопросы,— будет полный, точный, подробный, непредвзятый и яркий отчет о событиях, происходящих там, по ту сторону земного шара, в Петрограде. Я смогу проследить, как развивались день за днем те события, которые сейчас представляются мне сплошной путаницей». Это не было слабой беспредметной надеждой. Я знал, что там Джон Рид, и знал, какую книгу он напишет.

Но такую книгу по памяти, пусть даже великолепной, не напишешь, да и не слепишь из отрывочных журнальных статей. Она должна быть основана на собственных заметках, опубликованных документах и официальных газетных данных. Однако, когда Джон Рид сошел с парохода в нашей стране, именно все эти материалы были изъяты у него американским правительством и, как в детской игре, перебрасывались из одного отдела военной разведки

до начала работы II Всероссийского съезда Советов (см.: *В. И. Ленин. Полн. собр. соч.*, т. 35, с. 2—3). Газетный отчет о заседании Петроградского Совета был опубликован на следующий день «Известиями ЦИК» и с тех пор включался в Собрания сочинений В. И. Ленина. Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, возможно, поразному перевели эту фразу из газетного отчета, а может быть, В. И. Ленин произнес подобные слова и на заседании II Всероссийского съезда Советов, на котором присутствовали корреспонденты.— *Прим. ред.*

¹ Рецензия на книгу Дж. Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

в другой на протяжении долгих месяцев. Наконец правительство устало вынюхивать что-то из этих документов, боясь, возможно, узнать что-нибудь эдакое о России, — и документы были ему возвращены... Я помню день, когда их доставили Ряду домой, и он распаковал их: огромные тюки «Правды», «Известий» и «Новой жизни», связки приказов, декретов и прокламаций, большие куски афиш, сорванных со стен, с толстым слоем клея, груды фотографий — сам вид их убеждал меня в абсолютной подлинности тех событий, основные контуры которых к тому времени я уже представлял, и одновременно заставлял с еще большим нетерпением ждать появления книги. Но предстояло еще проделать огромную работу: перечитать все, перевести, последовательно расположить и скомпоновать весь материал.

И вот наконец она появилась. Шестнадцать месяцев ожидания отнюдь не притупили моего нетерпения. В книге я нахожу именно то, что мне нужно, что нужно нам всем: подробный рассказ о том, что и как произошло в те первые десять незабываемых дней, которые увидели захват политической власти трудящимися великой страны. Это первая История большевистской революции. Или, скорее, пока что лишь ее начала, потому что, составленная в истинно исторических масштабах, она потребует нового тома — «От Корнилова до Брест-Литовска», чтобы полностью осветить историю основания Советской республики. В нем будет рассказано о международных отношениях и внешней политике большевистской России. Нынешний том посвящен внутреннему положению России, которое привело в конце концов к свержению власти буржуазии и установлению диктатуры пролетариата. Это — полностью документальный труд с ценнейшим приложением, содержащим помимо всего прочего достаточно данных, которые дают возможность любому человеку проследить действительные административные достижения, имевшие место при большевиках. Вся книга озарена яркими вспышка-

ми — авторскими объяснениями и описаниями, которые делают историю — если они хороши — самым захватывающим видом художественной литературы и которые в данном случае отнюдь не слабое место в художественной литературе, а сочувственное и острое изложение пережитого.

Всю книгу пронизывает огромной значимости и все более доминирующий от страницы к странице образ Николая Ленина — личности, возвышающейся в нашем сознании над всеми крупными историческими фигурами благодаря силе своих убеждений и почти нечеловеческому пониманию экономических условий, на фоне которых идет борьба. Не красноречие, а знания сделали его главной движущей силой революции. Его враги произносят речи и простирают к небу сжатые кулаки, — и собрания разражаются овациями. Ленин выходит на трибуну, пережидает, пока затихнут вопли ярости, и спокойно и откровенно объясняет, почему данная программа должна быть выполнена. И в конце концов все делается так, как он скажет, — потому что он прав. Его самым крупным триумфом (или так мне кажется) является триумф, которым заканчивается книга: союз пролетариата и крестьянства в выполнении общей программы. Без него революция потерпела бы неудачу. Союз сделал реальным события семнадцати последующих месяцев, в том числе ниспровержение германского империализма, революцию в Венгрии, дал надежду на союз будущих большевистских государств и на социализм во всем мире еще в наше время. Это была самая трудная из всех проблем революции — и дерзающий гений Ленина научно обоснованно, математически точно вывел в критический момент раздираемую борьбой фракций страну на правильный путь...

И даже если бы эта книга была только рассказом о Ленине — чем она частично и является, — то и тогда она представляла бы собой незаменимое пособие для каждого человека, который хочет понять недавнее прошлое

и ближайшее будущее, потому что историки будущего смогут справедливо назвать это время в честь величайшего политического деятеля — Временем Ленина.

The Liberator, 1919, May

*На русском языке
публикуется впервые*

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДЖОНА РИДА

Зимней ночью слышится хорошо знакомый шум автомобиля «фиат». На пограничную заставу прибыл ночной гость.

— Здравствуйте, ребята!

— Здорово!

С ним смуглый мужчина. Он не говорит на финском языке и плохо знает русский. Молча сидит и наблюдает за пограничниками. Светит луна. Мороз тяжело бьет по деревьям и углам бревенчатых домов. Ночная стрельба еще не началась. Разведчики на лыжах следят за передвижениями врага, идет перестрелка. Странный фронт на границе — ни войны, ни мира, но постоянная опасность из засады.

— Вот товарищ, присланный самим Владимиром Ильичем, иностранный товарищ. Он пытался перейти границу в нескольких местах, чтобы уехать домой. Теперь мы должны помочь ему.

— Теперь трудно перейти. Ищейки белой Финляндии не спят. Но, может, нам удастся проскользнуть мимо них.

— «Может» — не то слово сейчас. Судьбу американского товарища нельзя подвергать ни малейшему риску.

— Мы сделаем, что в наших силах.

Рассказ красногвардейца, финского коммуниста, о попытке Джона Риды перейти линию фронта в сторону латвийского победителя. — *Прим. сост.*

Таким образом, ответственность за иностранного товарища возложена на плечи революционных пограничников.

Приходят на заставу и уходят курьеры. Они приносят и уносят газеты и письма. Дешифруются закодированные донесения. Нашу социалистическую родину со всех сторон сжимает кольцо войны. Здесь паходится единственное «окно» во внешний мир, и его надо держать приоткрытым. Через это «окно» идут вести со всего мира.

— Вы говорите по-английски?

— Очень плохо, но давайте попробуем по-русски.

Начинается беседа с использованием слов нескольких языков.

— Товарищ, вы умеете ходить на лыжах?

— Не знаю. Может быть, и умею, я никогда не пробовал.

— Понятно. Завтра утром вы начнете трудную тренировку.

— А нет ли другого способа проскочить?

— Нет. Вам нужно будет пройти десять миль за проводниками, притом очень быстро, потому что за вами будут гнаться ищейки.

Рид сидит задумавшись. Потом говорит:

— Я многому учился в этом мире, но теперь, как видно, революция требует чего-то нового.

— Похоже, что так. Эти северные топи такие, что по ним можно пройти только на лыжах. У революционеров, живущих в другом климате, наверно, есть свои способы.

На следующее утро американского товарища поставили на лыжи и дали в руки палки. Он спрашивает:

— А нельзя ли сначала покурить?

Это разрешают. Он закурил трубку и тронулся с места, но через мгновение растянулся на снегу. Что-то сказал на своем языке. Финны советуют:

— Не спешите так. Потихоньку. Сначала этой ногой, наклоните туловище немного вперед, сохраняйте равновесие и помогайте себе палками. Нет ничего проще.

Пришелец не понимает и половины их советов. Он старается вовсю. Со лба у него течет пот.

— Теория революции никогда не давалась мне так трудно, как лыжи,— говорит он.— Когда у вас обед?

— Что ж, сейчас можно пообедать, но потом опять придется начать.

Селедка и хлеб поглощаются с огромным аппетитом. Затем чай и — беседа.

— Пойдемте кто-нибудь,— сказал Рид по-английски.

— Пойдем,— ответили ему по-русски.

Успехи невелики. Каждый раз, как только Рид делал несколько шагов, он снова падал в снег. В отчаянии сидят на снегу и смотрит на всех.

— Если победа революции зависит от моего умения ходить на лыжах, нас ждет опасность,— говорит он, но солдаты подбадривают его.

— Этому можно научиться. И искусству революции можно научиться. Это один из способов интернационального учения. Старик Ильич делает в Кремле свое дело, а мы — свое.

Когда Риду перевели шутки, он смеется вместе со всеми и делает новую попытку.

С наступлением темноты тренировка прекращается. Затем финская баня — пар от горячих камней и хлестание веником. Горячей и горячей. Раскрасневшись, пограничники ныряют в снег и возвращаются.

Рид наблюдает. Он пробует попариться, но не выдерживает.

— Это тоже необходимо для революционного учения? — спрашивает он. Ему отвечают, что это не так нужно, как ходьба на лыжах,— здесь есть возможность выторговать уступку.

— Слава богу,— говорит он и намыливает руки в мо-
золях.

После бани — ужин, а затем солдаты уступают гостю самое лучшее место на печке. А сами уже готовятся к чему-то еще.

— Куда они собираются? — спрашивает Рид. — Так сильно вооружены.

— На границу, в разведку. Если вы спите не очень крепко, то узнаете кое-что из жизни границы.

Лежа на печке, иностранец курит трубку и размышляет. Он удивляется еще больше, когда видит вернувшихся людей, запорошенных снегом, с тяжелыми сумками. Они достают из них газеты — финские, другие скандинавские, итальянские — на всех языках. Тут коммунистические, социалистические, правые и левые, радикальные, либеральные, черные, красные, белые, розовые, многоцветные (конечно, с политической точки зрения).

— Вот, товарищ Рид, новости со всего света! — громко говорят солдаты, вынимая газеты из сумок и кладя другие на их место. — Они отправляются в Петроград и через границу.

— Такова блокада Советской России, — смеются солдаты. — Почтовый бойкот.

Товарищ Рид качает головой:

— Я еще не видел такого почтового отделения, — признается он, удобно укладывается и начинает читать газеты лежа.

Три часа. Революционным контрабандистам пора идти через границу. Газеты революционной страны, листовки на нескольких языках и письма будут отправлены во все уголки мира. Слышатся имена людей, упоминается Коминтерн. Заряжаются винтовки, маузеры, наганы, парабеллумы. В карманы — гранаты. Закуривают, и затем эти чистосердечные люди отправляются в путь — морозной ночью в приграничные леса.

— Куда все они пошли? — спрашивает товарищ Рид.

- Через границу.
- Они идут все вместе?
- Некоторые в одиночку, другие вместе, смотря какая тактика требуется.
- И я должен буду идти так же?
- Точно так же.
- Разве нет белых часовых на границе?
- Конечно, есть. Иначе зачем нашим потребовалось бы все это оружие!
- И бывают бои?
- Очень часто.
- Разве невозможно проскользнуть незамеченным?
- Порой удается. Мы всегда стараемся.
- А когда вам не удается? Они стреляют?
- Да, и мы по ним стреляем.
- И тогда вы пробиваетесь с боем, так?
- Иной раз приходится.
- Это трудная работа!
- Да, такова жизнь на границе. Страна в блокаде, и «окно» нужно держать приоткрытым.
- И ваша задача состоит именно в этом?
- Да, а ваша задача — научиться бегать на лыжах.
- А если я не научусь?
- Обязательно падо. Так же, как нам эти газеты, письма и книги надо переправить через границу.
- Понятно, надо учиться. Необходимо тренироваться.

Разговор прерывают звуки частой стрельбы. Часовой заставы поспешно снимает винтовку со стены, хватает несколько гранат и выбегает в темноту. Мир на границе снова нарушен, товарищам нужна помощь. Перестрелка продолжается битых полчаса. Открывает огонь пулемет. Раздаются взрывы полдюжата бомб. Затем все стихает, и ничто не нарушает покой леса.

Джон Рид встал с печи; он один в комнате — шагает и с беспокойством прислушивается к перестрелке. Места

эти ему незнакомы, и он не знает, что происходит. Быстро бегут мысли: почему товарищи ничего мне не сообщают? Почему они не взяли меня в бой с общим врагом? Я тоже умею и хочу стрелять. Я мог бы принести там пользу.

Снаружи доносится шум. Возвратились все, кроме одного. Солдаты молча кладут оружие и снимают шинели. Не говорят ни слова. Они выполнили свое ночное задание и готовятся к отдыху.

Рид долго смотрит на них. Понимая, что они не собираются рассказывать ему о происшедшем, он начинает разговор сам:

— Почему была перестрелка?

— Белые открыли огонь, когда наши курьеры переходили границу.

— Попали в вас?

— Один из наших товарищей остался лежать на льду. Нам не удалось забрать его тело.

— А курьеры возвратились?

— Да.

— Но я их не вижу.

— А зачем им сюда приходиться? Им надо было перебраться через границу.

— Но как это им удалось сделать, когда белые стреляли?

— Очень просто. Они пошли по другой дороге. Белые не могут уследить везде.

— Как же они отважились, после того как были отбиты?

— А как отваживается Красная Армия вновь наступать после того, как ее атака бывает отбита? Задержек в нашем деле быть не должно. А бой шел между пограничниками, курьеры в нем не участвовали. Мы вели перестрелку с белыми и отвлекали внимание их часовых на лыжах, а тем временем ребята перебрались через границу. Они сделали крюк в несколько миль и теперь находятся в безопасности.

— А погибший товарищ? Что с ним?

— Белые забрали его, когда он упал близко к их линии.

— Очень плохо.

— Да, но такое бывает. Мы захватим кого-нибудь из их убитых и похороним в болотах, как они сделали с нашим товарищем, и будем квиты.

— Гм!

— Что вы сказали, товарищ Рид?

— Я только сказал «гм»!

— По-моему, пора ложиться спать. Ведь завтра у вас трудная учеба.

Ребята скоро захрапели во сне, но иностранец не спал, обдумывал положение. Странная она, эта жизнь на границе.

Утром был жестокий мороз, но лыжная тренировка продолжалась. Ученик усваивал азбуку ходьбы на лыжах. Ободренный успехом, он был готов кататься хоть весь день. Вечером Рид с волчьим аппетитом проглотил ужин и рано отправился на печь.

И все же Риду не хватило навыков для перехода границы. Чтобы проскочить мимо врага, надо бежать быстро. Ребята знали это и до поры до времени не отпускали Рида. Неожиданная тревога на границе помешала отправиться и следующей ночью. Затем последовали несколько дней тренировок, и вот настала ночь, когда ему надо было идти. Все готовы, проводники на месте, разведчики обследовали местность в течение восьми часов, но никого не обнаружили.

Стали на лыжи — и в путь. Лыжная вела к крутому берегу реки. Впереди небольшая ложбина. Лыжники набрали скорость, но товарищ Рид потерял равновесие и упал в снег. Молча выбрался наверх и вновь попытался идти, но с тем же результатом. Проводники начали нервничать, пограничники молчат.

— Вот так, — произнес кто-то.

— Это не годится, нас заметят, прежде чем мы перейдем границу.

Они объяснили все это американцу.

— Разрешите мне перебраться,— сказал он волнуясь.

— Нет. Вам нельзя идти. Мы отвечаем за людей, переходящих границу, и не можем допустить, чтобы они гибли напрасно.

— Я никогда лучше не научусь. Три месяца я пытался пересечь границу на западе и юге. Дайте мне перейти сейчас.

— Нельзя, разговор окончен, товарищ. Через два дня вы переберетесь.

— Но лучше ходить я не научусь.

— Но вы все же перейдете. Мы уже приняли меры, чтобы переправить вас другим способом.

Рид успокаивается и возвращается на заставу.

Однажды вечером приехал человек на сани, с тулупом и рукавицами. Через несколько минут Джон Рид был уже в сани — вылитый крестьянин из соседней местности. Нужно, чтобы все принимали их за богатого фермера и батрака. Мела метель, когда конь тронул сани с места. Миля за милей убегала за санями. Тихая зимняя ночь, ничто не нарушает покой в лесу. Один раз они остановились, чтобы сменить коня. Ночь прошла, и дорога в двадцать пять миль тоже подошла к концу.

— Высокая скорость,— сказал Рид, но финский парень не ответил ни слова.

Теперь они на ферме в жилом доме на финской стороне. Завтрак, отдых, а после обеда — баня. Получив билет на поезд в вагон второго класса, Рид написал проводнику записку на английском языке о том, что он цел и невредим — для передачи товарищам на другой стороне.

Поезд тронулся. Так прошли десять дней из жизни Джона Рида.

10 апреля 1920 г. нью-йоркские газеты обошли сообщение о том, что в Финляндии казнен Джон Рид, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир», друг Ленина. Сенсационная новость вызвала самые разнообразные отклики: печаль в прогрессивной части американского общества, ликование в реакционных кругах.

А в это время в финском порту Або в камере городской тюрьмы метался из угла в угол заключенный № 42. У него были темные волосы и серые глаза, как писал он впоследствии в вопросном листе. В тот момент глаза у «номера сорок два» вряд ли сохраняли обычное ласковое выражение. Они горели гневом от сознания беспомощности. Ах, если бы он мог сейчас попасть туда, в Америку, на родину! С каким наслаждением повторил бы он друзьям знаменитую марктовскую фразу: «Слухи о моей смерти были сильно преувеличены»!

...Это было после второго приезда Джона Рида в революционную Россию. Если в дни Октября его знали как способного и дружественно настроенного журналиста, то в ноябре 1919 г. он был уже знаменит как выдающийся публицист, пламенный пропагандист пролетарской революции...

«Рид часто бывал у Ленина... и Ленин был рад его видеть не только потому, что он интересовался положением в Соединенных Штатах, но и потому, что ему нравилась жизнерадостность молодого американца... Они беседовали на разные темы часто до рассвета, и Риду все больше раскрывался гуманизм и величие этого человека», — писал об этих днях Грэнвилл Хикс в своей книге «Джон Рид», изданной в Нью-Йорке в 1936 г.

В начале 1920 г. Рид собрался в обратный путь — на родину. Выбраться из России, окруженной кольцом блокады, оказалось нелегко. Попытка пробраться через гра-

ницу Латвии потерпела неудачу. Тогда Рид спрятался в трюме финского корабля, шедшего в Швецию.

В порту Або его обнаружили финские власти и арестовали, обвинив в контрабанде.

Американский консул и государственный департамент США никак не реагировали на попытки Рида дать знать о себе.

Дни проходили за днями, узник № 42 сидел в одиночной камере. Тут и пришла ему в голову мысль, осуществить которую взялась финская общественная деятельница Айно Мальмберг. Это она умышленно сообщила американским репортерам о свершившейся якобы казни Рида.

И тогда 15 апреля госдепартамент был вынужден объявить, что Рид жив и что правительство Соединенных Штатов не желает влиять на дальнейшую судьбу Рида, поскольку он арестован согласно финскому закону о контрабанде.

Но дело уже было сделано: американские друзья Рида начали хлопотать о его возвращении на родину. К тому же времени, как пишет об этом один из биографов Рида, относятся предпринятые в России по указанию Ленина неофициальные попытки обменять Рида на двух финских профессоров, арестованных за контрреволюционную деятельность.

Заключенному № 42 в тюрьме Або разрешили переписку. 19 мая Джон Рид писал жене Луизе Брайант:

«Финны просят американского посла Магрудера дать мне паспорт. Если он сделает это, что практически невозможно, то я немедленно отправлюсь в Стокгольм и, изучив ситуацию, буду действовать соответственно положению. Если он не даст паспорта, то финское правительство предложит мне покинуть страну в 24 или 48 часов... Я попросил, если мне велют оставить страну, поехать в Эстонию: прошу пропуска у эстонского правительства...»

Эти строки навели на мысль, что в архивах буржуазного правительства Эстонии должны храниться интерес-

ные документы. Эти документы найдены. Вот как рисуют они события тех дней.

Айно Мальмберг связала Рида с эстонским послом в Хельсинки Калласом, видимо, уже после того, как Риду стало известно, что разрешение на проезд через Эстонию в Россию надо получить у советского представителя в Таллине Гуковского. 20 мая Рид пишет ему записку:

«Дорогой товарищ Гуковский, меня скоро освободят здесь из тюрьмы, и я желаю возвратиться в Советскую Россию через Эстонию. Я уже обратился за разрешением к эстонскому правительству. Пожалуйста, сделайте, что сможете, чтобы помочь мне.

С братским приветом

Джон Рид».

Вместе с этой запиской Рид отправляет Калласу заполненный им вопросный лист, на котором эстонский посол ставит следующую резолюцию:

«Мин. Иностр. Дел.

Гуковский сообщает министерству иностранных дел, получит ли Рид разрешение ехать в Россию (его попросили об этом).

Решение сообщить в эстонское консульство в Хельсинки».

Все эти документы были отосланы Калласом уже 21 мая. Документы узника № 42 были отправлены в Таллин, и снова потянулись дни ожидания.

25 мая Рид узнает, что финское правительство допустило американских представителей к его бумагам, среди которых были письма друзей Рида и, что самое главное, личное письмо В. И. Ленина — его предисловие к книге «Десять дней, которые потрясли мир». Рид тотчас же запросил американского посла Магрудера о выдаче паспорта, а также уполномочил Айно Мальмберг быть своим посредником.

30 мая Рид пишет жене: «...по какой-то странной причине никакого ответа не приходит, хотя теперь прошло десять дней с тех пор, как я обратился за разрешением». В письме от 31 мая: «Все еще ни слова из Эстонии».

А из Эстонии и не могло быть ни слова, так как письмо Рида Гуковскому передано не было и 31 мая возвратилось к Калласу с сообщением, что граница закрыта. 1 июня Каллас посылает еще одно письмо Гуковскому.

2 июня Рид пишет жене: «Все еще ни полслова. Это ужасно — ожидать так, день за днем, да еще спустя три месяца. Мне нечего читать, нечего делать. Спать я могу только около пяти часов, а девятнадцать часов бодрствую, пригвожденный в маленькой клетке. Это моя тринадцатая неделя...

8 часов вечера. Только что, сию минуту пришла весточка. Я поеду в Ревель¹ с субботним пароходом из Гельсингфорса...»

И вот тут-то начинается самое непонятное.

Известно, что Рид получил разрешение на проезд через Эстонию 4 июня. А 5-го на пароходе «Виола» он прибыл в Таллин из Хельсинки. Как ни старались впоследствии эстонские власти найти следы пребывания Рида в Таллине, открыть способ, каким он попал в Россию, попытки их не увенчались успехом. А между тем Рид не только прибыл в Таллин, но и встретился на пароходе с итальянской рабочей делегацией, которая направлялась в Москву. 7 июня Рид послал из Таллина в Нью-Йорк телеграмму жене.

И все же ни в одном официальном документе не был зарегистрирован проезд Рида через Эстонию. Почему же?

Риду удалось ускользнуть от бдительного ока эстонских пограничников и полицейских благодаря тому, что у него не было... американского паспорта. Единственным документом, который он имел, выезжая из Финляндии,

¹ С 1917 г. — Таллин. — *Прим. ред.*

было удостоверение личности № 1845 от 4 июня 1920 г., выданное эстонским консульством в Хельсинки. По странной случайности в графе «Подданство» было написано: «эстонское». Потому-то пограничные власти и не зарегистрировали Рида как иностранца и вообще не обратили на него никакого внимания.

Помогла Риду и бюрократическая машина эстонского министерства иностранных дел. Как говорилось выше, письмо Рида Гуковскому чиновники министерства отправили обратно, однако запрос Калласа и вопросный лист Рида пустили по инстанциям. 11 июня на нем появляется резолюция начальника полицейского управления Лауритса: «Можно было бы разрешить без остановки в Эстонии, но это не очень желательно». А 26 июня, то есть через месяц после прибытия бумаг в Таллин, они попадают на стол министру иностранных дел А. Бирку. И понятно раздражение, с коим министр начертал свою резолюцию: «Почему эти бумаги подложены мне? Гуковский сообщает, что Рид давно проехал через Эстонию...»

В этом году исполняется сорок лет со дня смерти Джона Рида, похороненного на Красной площади в Москве. Новые документы, найденные в архиве, раскрывают еще одну страничку в его замечательной биографии.

*Печатается по:
Огонек, 1960, № 7, с. 25*

ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА СЫН РЕВОЛЮЦИИ

Как-то — это было в Москве летом 1920 г. — Рид подобрал на улице белого мохнатого щенка, принес к себе, выкупал, накормил, нарек его Паддл (Лука) и обратился к нему с торжественной речью, в которой пожелал щенку

Публикуется с сокращениями.— *Прим. сост.*

всех тех добродетелей, которыми сам он, Рид, не обладал. Перечень оказался, увы, довольно длинным. В нем в числе прочего было «умение содержать в порядке свой письменный стол», а также «способность сохранять черновики и старые бумаги».

Достаточно было взглянуть на комнату Рида, чтобы убедиться в обоснованности этих пожеланий: повсюду — и на столе, и на полу, и на подоконнике — лежали горы бумаг, книг, газетных вырезок, журналов, блокнотов, записных книжек. Время от времени Рид устраивал над всем этим «страшный суд» — и в первую очередь летели в огонь его собственные записи и черновики.

Все это происходило не вследствие неаккуратности, но просто потому, что Рид всегда жил на ходу — приезжал, уезжал, готовился к отъезду. Его комната была для него лишь коротким биваком во время похода. Те, кто его знал и писал о нем, а его знали и писали о нем многие, рассказывают, как он взбудораженно врывается в комнату, как — непременно стоя — ораторствовал перед собеседниками, выступал на митингах, размахисто шагал по улицам, скакал на коне, прыгал со скалы в бушующее море, пел, спорил, ругался, дирижировал многотысячным хором патерсонских стачечников. Но никто не запомнил его, профессионального литератора, за письменным столом. Ибо он писал и работал так же, как жил, — на ходу.

Он был веселый и храбрый, остроумный и юношески вдохновенный, весь порыв, весь движение. Близкий друг его Борис Рейнштейн — русский большевик, много лет работавший в американском рабочем движении, хорошо определил основные черты его характера: любовь к истинной свободе и безграничная смелость мысли и действия. Еще когда он был мальчуганом, бабушка прозвала его львенком. Львенком же назвал его в своих воспоминаниях Карл Хови. Было в Риде что-то очень молодое, даже мальчишеское. Арту Янгу он напоминал Гавроша, Энтону Сиклеру — Тили Уленшпигеля. Одна из американских

газет в годы первой мировой войны назвала его «мятежным Ридом». А рабочий-стачечник, сидевший с Ридом в тюрьме, сказал о нем: «Он делал нас счастливыми».

Иногда он совершал наивные, почти детские поступки: приводил к друзьям какую-нибудь безголосую певичку, убежденный, что она изумительно поет, или объявлял бездарного виршенплета величайшим поэтом современности. Но в то же время он обнаруживал поразительный ум и прозорливость во всем, что касалось социальных вопросов, и наперекор течению, наперекор друзьям, традициям, среде шел к своей единственной жизненной цели — социализму.

Биограф Рида Джон Стюарт справедливо указывает, что хотя Рид оставил в своих произведениях летопись своей жизни, но до сих пор мы далеко не полно знаем его жизнь, его образ.

У Рида есть рассказ «Дочь революции». Самого Рида с полным правом можно назвать сыном революции. Недаром русский солдат, которого Луиза Брайант повстречала у могилы Рида, сказал: «...это был один из наших...» Да, он был наш — этот удивительный американец, отдавший свою жизнь революции...

*Печатается по:
Иностранная литература,
1961, № 10, с. 220*

УОЛЛИС УОЛТЕР ЛЕФО МУЖЕСТВЕННЫЙ ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

...Не уверенный в том, что мне разрешат остаться в Москве на столько дней, на сколько я захочу, я сразу же по приезде занялся поисками Джона Рида и Луизы Брайант (миссис Рид). Прочитав их книги о Советской России, я хотел обязательно увидеться с ними и от них самих услы-

шать их впечатления — на тот случай, если советские власти примут решение о нежелательности моего пребывания в стране. Однако это было совершенно излишним беспокойством с моей стороны, потому что со дня прибытия и до дня отъезда меня ни о чем не спрашивали и даже не просили показать паспорт. Я отправился на поиски, держа в руках лист бумаги с написанным по-русски названием гостиницы, где, как мне сказали, я найду того, кто мне нужен...

Наконец я разыскал гостиницу. Представился коменданту, и, так как было время ужина, меня пригласили присоединиться к группе людей, направлявшихся в столовую.

Когда товарищ, который нас обслуживал, принес мне тарелку щей, я увидел, что в столовую вошла и села за соседний стол стройная темноволосая девушка с короткой прической. Ее одежда и манера держаться безошибочно выдавали в пей американку. Отвечая на мой вопрос, сосед по столу сказал, что это Луиза Брайант. Наш ужин, состоявший из щей, хлеба, пшенной каши и чая, очень быстро кончился, и я присоединился к группе говорящих по-английски постояльцев гостиницы, центром которого, по всей видимости, была Луиза Брайант. Представившись, я сказал, что в Ванкувере (провинция Британская Колумбия) сожалеют о том, что ей не удалось там выступить во время ее лекционной поездки по Америке.

В тот вечер Джон Рид чувствовал себя плохо, поэтому мы взяли с собой в номер еду — тарелку щей и хлеба. Многие делегаты, включая Джона Рида, которые присутствовали на съезде народов Востока в Баку, возвратились с различными симптомами недомогания. Физическая слабость, вызванная последствиями операции в Америке, была большой помехой в его деятельности, к тому же не было подходящей пищи. Но через несколько дней Рида уговорили воспользоваться услугами врача и перейти на диету больного.

В Советской России ощущается страшная нехватка врачей, квалифицированных медсестер, лекарств и специального питания для больных. Джон Рид, хорошо знакомый с таким положением дел, не поддавался на уговоры и отказывался пользоваться тем, что есть, пока его жена и все мы не сломили его упорства. После моего первого посещения он был на ногах в течение трех дней, и мы вдвоем дважды побывали в опере. На одном из спектаклей мы встретили женщину-скульптора из Англии и представителя американских финансовых кругов, который вел переговоры о концессиях с Советским правительством.

Но скоро Джон слег в постель, с которой ему уже никогда не суждено было подняться — разве только для того, чтобы поехать в больницу. Сначала у него определили грипп, и мы рыскали по городу в поисках свежего молока, яиц и чего-либо еще подходящего, но не очень успешно. Об апельсинах и тому подобном мы даже и не мечтали. Вот уже три года, как их никто ни разу не видел и даже о них не слышал.

Много раз и подолгу вспоминали мы с Джоном Ридом различные истории из его жизни. Мы говорили также о капитализме, наступлении польской армии и жестокой политике правительств европейских держав. Иногда, сидя за чаем и сигаретой, мы подолгу молчали. Я часто спрашивал себя, уж не сон ли это и не окажусь ли я, проснувшись, вновь где-нибудь в Лондоне. Однажды Джон заметил: «Знаете, товарищ, когда я умру, я хотел бы быть похороненным рядом с этими парнями». Накануне мы говорили о Красной площади и могилах коммунистов у Кремлевской стены. Нам и в голову не приходило, что через несколько недель его желание будет исполнено.

*Soviet Russia, 1921,
April 30, p. 422—425*

*На русском языке
публикуется впервые*

ЛУИЗА БРАЙАНТ — МАТЕРИ ДЖОНА РИДА

Москва, 20 октября 1920 г.

Дорогая мамочка!

Это письмо Вы получите нескоро, так как оно будет отправлено с нарочным. Но я понимаю, что Вы хотите знать все, что я могу рассказать о Джеке. Я приехала сюда, преодолев немало трудностей, и узнала, что Джек на юге (в Баку), а так как там идет гражданская война, я не могла проехать дальше Москвы. Мы послали несколько телеграмм, надеясь, что одна из них дойдет до него, и действительно одну он получил. Через три недели он приехал в Москву. Чувствовал себя усталым (потому что Баку — очень нездоровый город), но в течение одной короткой счастливой недели мы гуляли по городу, разговаривали и наслаждались как бы вторым медовым месяцем. Мы собирались вернуться домой, что бы ни случилось.

В конце недели Джек начал жаловаться на головокружение и головную боль и слег в постель. Я почти сразу же позвала доктора, но Джеку не стало лучше. Температура была высокой, он начал бредить. Мне сказали, что у него грипп, но дни шли, а ему становилось все хуже. Симптомы говорили не о гриппе, и я попросила провести консилиум. Пришли еще доктора. Через пять дней после того, как он слег в постель, они решили, что у него тиф. Джека отвезли в госпиталь. Я получила разрешение остаться с ним, хотя вовсе не принято позволять оставаться с больным кому бы то ни было, кроме докторов и медсестер. С того времени я не покидала его. Последние пять дней я, находясь у его постели, даже не снимала туфель. Через двадцать дней после начала болезни он умер. Тиф —

Это письмо любезно предоставил составителю сборника Корлисс Ламонт (р. 1902 г.) — видный американский общественный деятель, профессор.

страшная болезнь, сейчас на юге бушует эпидемия. Он так упорно боролся за свою жизнь, ни на миг не сдаваясь, вновь и вновь пытаюсь улыбаться и дышать. За пять дней до смерти его правую сторону парализовало. Мне сказали, что это, вероятно, конец, но и тогда я молилась, чтобы он жил. После удара он не мог говорить, а только в самые тяжелые часы крепко держал меня за руку. В два часа ночи 17 октября он умер. Через час меня оттащили от него. Он совсем остыл, но я не могла покинуть его.

Милая мамуля, как мне жаль Вас! И себя — моя жизнь теперь ничто. Не думайте, что я буду теперь искать новую жизнь. Знаете, когда все эти дни я сидела у его постели, я совсем поседела, а ведь месяц назад у меня был цветущий вид. Сейчас у меня нет глушенького румянца на щеках. Мой вид всех ужасает.

Я хочу сделать одно — приехать домой и привести бумаги Джека в порядок. Утеряно почти все, написанное им. Он отослал домой двенадцать статей (целую книгу), но ни одна не пришла в Америку, а здесь только разрозненные записи. У него в кабинете в Кротоне все его рукописи в полном порядке, и я хочу, чтобы ничто из написанного им не было потеряно. Там до моего приезда будет за всем следить очень ответственная женщина. Мое единственное намерение в жизни состоит теперь в том, чтобы как можно лучше оказать Джеку эту последнюю услугу.

Сейчас, когда я пишу это письмо, гроб с телом Джека установлен для последнего прощания под почетным караулом четырнадцати солдат в Доме Союзов в Москве. Он умер в воскресенье, но похороны состоятся только в следующее воскресенье, 24-го. Этот день был выбран для того, чтобы могли прийти все рабочие. Его похоронят в самом почитаемом месте в России, рядом с великими героями, у стен Кремля. Я не знала, каким будет Ваше желание, но я угадала его. Я попросила министра иностранных дел обратиться с просьбой к американскому правительству о том, чтобы оно разрешило мне позднее перевезти

Джека на родину. Ответа мы пока не получили. Мы знаем о трудностях — блокада и то, что у него был тиф. Его положили в специальный металлический гроб, чтобы не было возражений по причине инфекции. В России нельзя кремировать, потому что это запрещено, крематории здесь никогда не строились¹. Но, дорогая мама, если бы Вы знали, как его здесь почитают, как все иностранцы заверяют, что будут всегда приходить к нему на могилу.

Но если я не смогу перевезти его на родину, я никогда не покину Россию, разве только на короткий срок, когда поеду домой, чтобы опубликовать его работы. Хочу также привезти сюда копии всех его сочинений. Его книга о России используется здесь в школах. Когда я это сделаю, милая мамочка, я возвращусь сюда. Я бы никогда не вынесла разлуки с ним. Буду работать очень, очень упорно и надеяться, что судьба будет ко мне милостива и не даст мне долгой жизни. Никто еще и никогда не чувствовал себя таким одиноким, как я. Теперь я потеряла все. Когда Вы потеряли отца Джека, у Вас были Гарри и Джек, и у Вас все еще есть Гарри, и ребенок, и Полли. У меня никогда не было детей, потому что в нашей жизни было столько тревог. Сначала Джек болел в Балтиморе, потом мы приехали в Россию, и он опять заболел, а потом произошли все эти ужасные испытания, и над ним маячил призрак тюрьмы. Я не хотела удерживать его, и поэтому шла на все, чтобы он был в безопасности. Я не могла и думать о детях или о чем-либо еще. Но когда я в этот раз встретила с ним здесь, он сказал мне, что, по его мнению, нам надо иметь хотя бы одного ребенка, невзирая на обстоятельства, и я согласилась. Мы были очень счастливы, думая обо всем этом. Но теперь я уже никогда, никогда не буду матерью и никогда больше не буду счастлива.

¹ В Советской России кремация была санкционирована декретом СНК РСФСР от 7 декабря 1918 г. Первый крематорий в СССР был открыт в Москве в октябре 1927 г.— *Прим. ред.*

У меня такое чувство, будто я нахожусь очень далеко, но русские ко мне очень внимательны. Они не жалеют усилий, чтобы облегчить мое положение. Они очень любили Джека и оказывают ему все почести, какие только в их силах.

Порой, когда я чувствую себя особенно несчастной, меня немного утешает мысль о том, какое это чудо, что мне удалось добраться сюда вовремя. Было так трудно, но если бы я не сделала этого, я никогда бы не увидела его вновь и он умер бы в полном одиночестве.

Мы часто говорили о доме, о Вас и представляли, как увидим Вас, когда вернемся. Мы говорили о длительном отпуске, о том времени, когда Джек сможет закончить писать свою историю. У него был хорошо продуман один роман и много рассказов. Он чувствовал себя нездоровым после ужасного случая в Финляндии, где его 12 недель держали в одиночном заключении и кормили только сырой рыбой. А его преступление состояло лишь в том, что он пытался добраться домой. Американский консул не захотел ничем помочь ему. Быть может, со мной случится то же самое, но теперь это уже не будет иметь значения.

Знаете, мамочка, я сама умерла бы тысячу раз, но не допустила, чтобы с Джеком случилось что-нибудь. Но он не смог перенести такую болезнь — ведь у него была только одна почка и, кроме того, ему нездоровилось.

Если мне удастся приехать домой, я смогу повидаться и с Вами. Шлю Вам свои наилучшие и самые нежные мысли и свой привет. Кланяйтесь, пожалуйста, от меня Гарри, Вашей маме и Полли. Крепитесь, милая мамочка, Джек был прекрасным и чудесным человеком. Память о нем требует того же по крайней мере от нас.

Ваша Луиза.

*На русском языке
публикуется впервые*

**ЛУИЗА БРАЙАНТ —
МАКСУ ИСТМЕНУ**

Москва, 14 ноября 1920 г.

Дорогой Макс!

Я знала, что Вы хотели бы получить подробные сведения и рассказ для «Либерейтора», но у меня не хватило ни сил, ни мужества для этого. Я в состоянии лишь написать Вам бессвязное письмо, а Вы можете использовать его, как хотите. Смерть Джека, мое нелегальное, полное опасности путешествие в Россию и ужасные недели в тифозном госпитале совершенно сломили меня. На похоронах со мной случился очень тяжелый сердечный припадок, который я перенесла только чудом. Пять врачей сошлись на том, что я переутомила сердце, просиживая долгие дни и ночи у постели Джека; теперь у меня расширение сердца, и это уже непоправимо. Однако врачи разошлись в вопросе о том, когда может повториться приступ. Я Вам пишу обо всей этой ерунде, потому что от нее никак не денешься и потому что об этом положено писать в письмах. Американские и немецкие доктора дают мне год и даже два, русские — только несколько месяцев. Мне прописаны возбуждающие средства, и я совершенно не испытываю боли. Надеюсь, что у меня больше сил для выздоровления, нежели думают врачи, но в конце концов это не так уж важно. Я как-то обещала Джеку, что в случае его смерти приведу в порядок все его работы. Если я окрепну, то приеду домой и выполню это обещание.

Жизнь никогда не бывает такой прекрасной, как нам хотелось бы. Было бы слишком хорошо, если б моя жизнь кончилась так же и меня похоронили бы на Красной площади. Но я, вероятно, умру в полном одиночестве, и меня похоронят без развевающихся знамен.

Все, что я сейчас пишу, кажется сном. Я не испытываю никакой боли и не в состоянии поверить, что Джек умер, что он сию минуту не войдет в эту комнату.

Джек болел двадцать дней. Только два раза за это время, по ночам, когда он немного успокаивался, я могла прилечь. Сыпной тиф невозможно описать: больной тает на ваших глазах и умирает в судорогах или в безумном бреду. Проведя дни и ночи в таком аду, нельзя остаться прежним человеком.

Впрочем, я должна сперва рассказать Вам, как я, после моего нелегального путешествия вокруг света, нашла Джека. Обогнув Финляндию, я плыла двенадцать дней по Северному Ледовитому океану и четыре дня скрывалась от полиции в рыбацкой хижине вместе с финским офицером и немцем, приговоренными к смерти у себя на родине. Когда я наконец добралась до советской территории, то очутилась не возле Джека, а на другом конце России. Когда же я попала в Москву, то оказалось, что он в Баку, на съезде народов Востока. Гражданская война бушевала на Украине. Он получил телеграмму, посланную по военной линии связи, и приехал в Москву на бронепоезде. Утром 15 сентября он шумно ворвался ко мне в комнату. А через месяц его не стало.

Только одну неделю мы провели вместе, пока он не слег. Мы были невероятно счастливы, что наконец нашли друг друга. Мне показалось, что он стал старше, печальнее, добрее и восприимчивее к прекрасному. Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое сильное впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он ничего не хотел для себя. Я была потрясена и чувствовала, что едва ли смогу подняться до той вершины страстного самоотречения, которой он достиг. У него еще были свежие воспоминания об ужасных испытаниях, перенесенных в финской тюрьме. Он мне рассказывал о своей камере, темной, сырой и холодной. Почти три месяца провел он в одиночке, кормили его только сырой рыбой. Иногда

он впадал почти в бредовое состояние и видел меня мертвой. Иногда ему казалось, что сам умирает, и тогда он писал на полях книг и где попало маленькое стихотворение:

Думал и мечтая,
Днем и ночью, и днем,
Не могу не думать я все об одном:
Мы потеряли друг друга,
Ты и я...

Но когда мы гуляли в парке под белыми березами или разговаривали в те короткие и счастливые ночи, смерть и разлука казались нам очень далекими.

Мы вместе побывали у Ленина, а также у Троцкого, Каменева, Энвера Паши, Бела Куна. Мы ходили на балет и на «Князя Игоря», побывали в старых и новых картинных галереях.

Он горел желанием поскорее вернуться домой. Я видела, что он устал и болен, что у него наступает полный упадок сил, и пыталась уговорить его отдохнуть. Русские мне рассказывали, что иногда он работает по 20 часов в сутки. В самом начале болезни я попросила его обещать мне, что перед отъездом он отдохнет, так как возвращение домой означало снова тюрьму, а я чувствовала, что этого он уже не перенесет. Я помню, он как-то странно посмотрел на меня и сказал: «Моя дорогая, маленькая, любимая, я сделаю все, что только смогу, для тебя, но не проси меня стать трусом». Я совсем не то имела в виду, и мне стало очень обидно, я разрыдалась и сказала, что он может ехать куда угодно, хотя бы следующим поездом, и я поеду с ним и на смерть, и на любое мучение. Тогда он со счастливой улыбкой ответил: «Вот теперь мы действительно нашли друг друга». Все последующие дни он крепко держал меня за руку. Я не могла отойти от него, он сразу же начинал звать меня. Теперь у меня такое чувство, что я не имею права жить.

О его болезни я едва ли смогу что-нибудь написать. Это было сплошное страдание. Я только хочу, чтобы вы

все знали, как он боролся со смертью. Если бы не эта борьба, он умер бы на много дней раньше. Старухи санитарки из крестьянок молились за него в церкви и ставили свечу за спасение его жизни. Даже они были тронуты, а ведь им ежечасно приходится видеть агонию умирающих людей.

Когда он бредил, это не было похоже на обычный страшный бред тифозных больных. Он всегда узнавал меня, в его сознании жили стихи, рассказы и прекрасные, причудливые мысли. Например, он говорил: «Знаешь, какое бывает состояние, когда попадаешь в Венецию? Ты спрашиваешь прохожего: «Это Венеция?» — только ради удовольствия услышать подтверждение!» А иногда он говорил, что вода, которую он пьет, полна песенок. И, как ребенок, он выдумывал замечательные приключения, в которых мы оба проявляли большую храбрость.

За пять дней до смерти у него отнялась правая сторона. Он уже не мог говорить, и поэтому мы бодрствовали дни и ночи, все еще надеясь, хотя уже не было никакой надежды. Даже когда он умер, я не поверила в это. Видимо, я несколько часов просидела рядом с ним, разговаривала и держала его за руку. И вот пришел день, когда он, уже обряженный, лежал в гробу в Доме Союзов, и ему оказывали военные почести. У гроба неподвижно стояли четырнадцать солдат, их штыки сверкали, а на их военных фуражках были красные звезды коммунизма.

Джек лежал в большом серебряном гробу, весь в цветах, а вокруг развевались знамена. Солдаты открыли крышку гроба, чтобы я смогла в последний раз поцеловать его в высокий бледный лоб.

В день похорон мы все собрались в большом зале, где он лежал. Я мало что помню об этом дне. Когда мы тронулись в путь, было холодно, небо хмурилось, шел снег. Помню, как плакали люди, развевались знамена и военный оркестр все снова и снова играл скорбный похоронный марш.

Русские ни в чем не мешали мне, видя мое горе, как не мешали мне, когда я, отбросив всякую предосторожность, ходила в тифозный госпиталь. В день похорон я чувствовала себя очень гордой и даже сильной. Мне захотелось, по русскому обычаю, идти совсем одной вслед за катафалком. На Красной площади, слушая ораторов, я старалась выглядеть мужественной. Но я оказалась совсем не мужественной, я упала на землю и не могла ни говорить, ни плакать.

Я не помню, что говорили ораторы. Я помню только их прерывистые голоса. Потом я почувствовала, что они умолкли, а знамена начали низко склоняться. Я услышала, как первый ком земли покатился в могилу, и тогда во мне что-то оборвалось. Прошла целая вечность, и я припала в себя в моей кровати... Около меня стояли Эмма Голдмен, Беркман, два врача и высокий молодой офицер Красной Армии. Они о чем-то шептались, и я снова уснула.

Но после того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего дорогого Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади. Я бывала там в будни, днем, когда вся Россия спешит, когда спешат лошади, запряженные в сани с колокольчиками, крестьяне со свертками и солдаты, с песнями идущие на фронт. Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших...» Через минуту они вскинули винтовки на плечи и пошли своей дорогой.

Я бывала там звездными ночами, и мне очень хотелось лечь рядом с замерзшими цветами и металлическими островами венков и больше не просыпаться. Как это было бы легко!

Шлю привет всем старым друзьям. Я бы хотела, чтобы это письмо прочли Майк и Арт. У. и Боб Майнор. А может, и миссис Гилон, мать Бена, захочет его прочесть.

Я хочу, чтобы наши вещи, мои и Джека, не трогали до моего приезда. Это я поручаю Эстер.

Желаю вам всего хорошего. Пришлите нам «Либерејтор» и статьи о Джеке.

Луиза

*Печатается по:
Иностранная литература,
1961, № 10, с. 217—219*

БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАННЫЙ КОММУНИСТ

За несколько дней до третьей годовщины Советской республики стало известно, что в Москве умер от тифа Джон Рид. Смерть унесла одного из самых ярких деятелей американского коммунистического движения. Журналист, поэт, революционер, Рид имел замечательную возможность наблюдать родовые муки Советской России и принимать в них участие в те незабываемые дни, которые он так талантливо описал в «Десяти днях, которые потрясли мир». То, что он там увидел, было новым стимулом для его неутомимого, неустанныго духа. Оно дало иное направление его выдающемуся таланту, который с тех пор был посвящен делу освобождения трудящихся всего мира.

Теперь, когда Рида нет, нам нет нужды произносить в его адрес пышные панегирики. Оставим это буржуазным либералам и мелкобуржуазным «социалистам», которые соперничают в лицемерном прославлении его как мученика и патриота. Мелкие душонки всегда порочат и чернят человека при жизни, а когда он умирает, расточают ему чрезмерные неискренние похвалы. Коммунисты, оценивающие человека по его преданности или враждебности делу всемирной пролетарской революции, так не поступают.

Джон Рид был молод. Он пришел в коммунистическое движение окольным путем и только начинал в нем осваи-

ваться. Его прежние отношения с радикальным и рабочим движением носили несколько дилетантский характер. Он поклонялся алтарю искусства и приключений, и радикальное движение привлекло его именно тем, что в нем он нашел новые ценности искусства, новые его концепции и дух, родственный духу приключений,— в первую очередь потому, что само движение и его сопричастность к нему отвечали потребностям его души и его духовным стремлениям. Ему недоставало глубоких марксистских знаний, трудолюбия и упорства социалиста и марксиста. Но у него в избытке были качества, которые как бы перекрывали отсутствие всего перечисленного,— дар предвидения, отвага, дерзание. Он воспринял революционные традиции, которые дремали в нем, пока он не соприкоснулся с нарождающимся новым миром, после чего они расцвели настолько пышно и ярко, что превратили бывшего «бунтаря в искусстве» в чистейшего, беззаветно преданного коммуниста.

Джон Рид был рожден для великого будущего. Но по воле судьбы он сошел в могилу почти в самом начале своего пути. Его писательское мастерство, знание человеческой натуры, его странствования и приключения, его владение революционными методами искусства — все это было для Джона Рида лишь периодом ученичества. Будь он жив, все это было бы им с героическим самопожертвованием брошено в бурлящий котел революционной борьбы. Своей роли он еще не сыграл. Никто из тех, кто знал его и видел, как преобразила его большевистская революция в России, не сомневается, что место Рида было бы в первых рядах с избранными и благородными душами, отдавшими свою жизнь и талант коммунистическому преобразованию общества в масштабах мира.

Мы оплакиваем смерть Джона Рида. Мы оплакиваем потерю преданного товарища и искреннего коммуниста. Мы оплакиваем потерю, которую понесли Коммунистический Интернационал и американское коммунистическое

движение, где он уверенно становился незаменимым и неутомимым в нашем общем деле. Джон Рид умер, но память о нем будет жить и, как яркое пламя, будет воодушевлять тех, кто участвует в борьбе, за которую он отдал свою жизнь.

*The Communist. Official organ of
the Communist Party of America,
1920, November 1, N 13, p. 2*

*На русском языке
публикуется впервые*

ПАМЯТИ ДЖОНА РИДА — АМЕРИКАНСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Он умер на своем посту — солдат революции, отказавшийся от легкой, вполне благоустроенной жизни и комфорта ради одной цели — мировой революции.

Джон Рид был одним из лучших американцев, одним из лучших революционеров. Живя в век, требующий действий, увлеченный философией, не знающей абстракции, философией, возникшей из жизни и влияющей на жизнь, Рид был представителем того высшего класса людей, которые делают революцию.

Мы привыкли считать коммунизм просто более революционной разновидностью социализма, а социализм — более радикальной формой либерализма. Если не осуществлять его принципов, то социализм сливается с либерализмом и вскоре растворяется под напором повседневных событий.

Коммунизм — это не просто более радикальная философия, это образ действия, философия коллективных действий масс. Он не только агитирует, он действует, развивается, исподволь влияет на жизнь, приводит ее в движение, зреет. Он представляет собой жизненную силу все возрастающей сконцентрированной мощи.

Сегодня — это идеал завтрашнего дня. Это видение сегодняшнего дня с элементами будущего. Сегодня — это искра, которая завтра зажжет ярко пылающий факел. Это

воплощение непрекращающейся борьбы, борьбы за власть, за гегемонию.

Вот это стремление рабочих всего мира стать хозяевами своих стран и породило Джона Рида — революционера, полного жара, свойственного лучшим людям Америки. Шаг за шагом пройдя путь, по которому идут все американцы, он из сентиментального мечтателя превратился в мужественного революционера. Симпатии к отверженным, хулиганам, париям общества привели его к пониманию причин человеческого горя в мире. Полный духа романтики и приключений, он бросался туда, где борьба была самой ожесточенной, становясь на сторону страдающих. Ему необходимо было находиться там, где народ бунтовал.

Россия привлекала его давно. Он отдался борьбе с врагами молодой республики рабочих. Винтовкой и пером, испытывая голод и терпя боль, помогал он изгнать ненавистных солдат Антанты, которые угрожали суверенитету рабочего государства.

Когда наконец искра волнений перелетела за океан и американские рабочие тоже начали выступать, он примчался на родину, рассказывая об испытаниях России, о ее опыте и триумфе. Американские рабочие внимали этому деятельному юноше, который воплощал революционное, коммунистическое действие. В нем они видели олицетворение революции. Жадно ловили каждое его слово о России — ведь он приехал из страны, где революция боролась и победила, — из коммунистической России. То, что проповедовалось там, он начал проповедовать в Америке, здесь зазвучала революция, и Джон Рид был в ее гуще.

Движение зародилось, оно росло. Рабочие увидели, что в мире появились новые идеи, благодаря которым жизнь обрела цель, и ради них стоило бороться. Это были идеи революции, и рабочие начали бунтовать, подталкиваемые нуждой и голодом, изголодавшиеся по жизни.

Американское правительство стало испытывать страх. Все правительства боятся, когда знают, что не могут

решиться смотреть правде в глаза. Ужесточились преследования, необходимо было подавить движение, а всех его участников уничтожить.

Но Джона Рида остановить было нельзя. Его жажда деятельности снова привела его за океан, в страну, где рабочие все еще боролись со своими злыми врагами, полными решимости потопить республику рабочих и их новые идеи в крови. И снова он вступил в ряды агитирующих и пишущих, борющихся и действующих — революционер из революционеров!

Но один враг оказался сильнее Джона Рида. Враг, перед которым бессильны все революционеры. Он появился, когда Джон Рид работал успешнее всего, когда казалось, что революция высветила в нем все лучшее. Враг появился — и сразил его...

Джон Рид лежит под стенами Кремля, там, где Россия хоронит своих революционных героев.

Но традиции, породившие американского революционера Джона Рида, порождают новых сынов — отважных, решительных, прозорливых — коммунистов Америки, чья миссия — революция, чей метод — организованная сила, чья цель — освобождение рабочих от рабства наемного труда.

Коммунистический Интернационал сохранит память о Джоне Риде живой и трепетной, как призыв к революции в Америке!

*The Revolutionary Age,
1921, № 10, p. 8*

*На русском языке
публикуется впервые*

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ

Лучшие люди формируются только после окончания колледжа. Около пяти лет уходит на то, чтобы забыть всю бесполезную чепуху и ложь. Джону Риду потребовался именно такой срок, чтобы стряхнуть с себя опиум Гарвар-

да. Он был самым веселым и популярным студентом своего курса — общительный человек, поэт легкого юмора, обыкновенный, склонный к проделкам студент-аристократ. Он писал в журналы блестящие высокооплачиваемые рассказы в традиционном стиле и принадлежал к богеме Гринвич-вилледжа.

Ежегодно Гарвард выпускает сотни молодых людей, подобных Джеку Риду (подобных, конечно, на первый взгляд). Вскоре они становятся предприимчивыми торговцами ценными бумагами, имеющими связи в Саутемптоне, помощниками театральных критиков, преуспевающими газетчиками или завсегдатаями гарвардского клуба, а во время войны — одетыми с иголки офицерами.

Проторенная другими дорога к успеху развернулась перед Джеком Ридом, словно ковер... Он не ступил на него. Он избрал тяжкий путь. И вот он покоится у Кремлевской стены, а его старые друзья, остающиеся по духу студентами, оплакивают его как неудачника.

Конечно, он мог бы процветать, как его друг Джулиан Стрит, который недавно оплакивал его в «Сэтердей ивнинг пост» именно в таком духе. Он мог бы остаться «добрым парнем», истинным гарвардцем, зарабатывать 50 000 долларов в год на высокоморальных и сентиментальных рассказах и расходовать всю эту сумму на спиртные напитки, загородные виллы и на овчарок, на роскошные автомобили и дворцовых — постоянно слегка пьяный, постоянно за письменным столом, постоянно в долгу.

Таков успех писателей Америки. Джон Рид же ездил по Мексике верхом на коне и писал о революции. Он предпочел бороться рядом с рабочими в Патерсоне, написать великолепную книгу о русской революции, отдать свое сердце и мужество великому пролетарскому делу. А это в Америке называют неудачей.

Со дня смерти Джона Рида прошло десять лет. С каждым годом становится все яснее, что он бессмертен. В СССР он стал легендой, там его чтят, как американцы —

Лафайета¹. Миллионы экземпляров его книги «Десять дней, которые потрясли мир» с предисловием Ленина проданы в СССР, Германии, Китае и в других странах. Джон Рид — рыцаря революции, который отдал свой гений и жизнь ради освобождения трудящихся, знают трудящиеся всего мира.

Уильям Джеймс сказал, что бунтари Гарварда искупили грехи своего университета. Перефразируя эти слова, можно сказать, что эти бунтари почти искупили грехи Америки. Взгляду масс всего мира Америка представлялась бы громадным ужасным чудовищем-монстром, жаждущим лишь одного — золота. Но та же Америка дала миру Джона Рида, Юджина Дебса, Билла Хейвуда, коммунистическую партию, Джо Хилла — много пролетарских героев и массовых протестов.

Существует другая Америка, и Джон Рид был одним из ее вдохновенных поэтов и воинов. Он не забыт, его никогда не забудут. Будущее принадлежит рабочему классу, и в этом будущем имя Джона Рида будет сиять яркой звездой.

*The New Masses, 1930,
October, p. 5*

*На русском языке
публикуется впервые*

ДЖОЗЕФ ПЭСС ДЖОН РИД — СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ

Когда 11 лет назад в Москве умер молодой американский революционер и писатель Джон Рид, это явилось для многих деятелей культуры резким переломным моментом в их жизни.

Он покоится у Кремлевской стены. Герой революции! Для миллионов рабочих Джон Рид — борец за дело боль-

¹ *Лафайет Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер Мотье* (маркиз) де (1757—1834) — французский политический деятель. Участвовал в Северной Америке в войне американских колоний Великобритании за независимость. — *Прим. сост.*

шеви́ков, который, совершая героические поступки, отдал первой социалистической республике свое большое, мужественное сердце. Он прибыл в Россию из-за океана в период режима Керенского и бросился в битву за Советы. С тех пор, когда 8 ноября 1917 г. В. И. Ленин во главе президиума съезда впервые выступил как государственный деятель, задав тон Всероссийскому съезду Советов вступительным словом: «Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!», Джон Рид никогда не испытывал колебаний относительно революционной дисциплины. В России он сражался вместе с Красной Армией — его памятные революционные листовки и статьи влияли на настроения в рядах союзников. Он всюду и всегда был с Красной Армией. В каком бы качестве революция его ни использовала, он охотно брался за дело. Его неукротимый, горячий дух, который достиг ныне легендарных масштабов, оставлял неизгладимый след у всех, кто встречался с Ридом.

В Америке Рида помнят не только в связи с его активным участием в русской революции или в связи с его первыми статьями в «Либерейторе» (позднее они составили книгу «Десять дней, которые потрясли мир»), которые объясняли суть большевизма, но и потому, что он был одним из первых организаторов коммунистического движения в Америке. Как и в России, он ездил по всей стране, посещая ее самые глухие уголки, выступая с речами, организуя и издавая первые в Америке коммунистические газеты. За последние три года жизни Рида ему было предъявлено в США больше обвинений, чем какому-либо другому революционеру.

Но Джон Рид не сразу стал революционером. После окончания Гарвардского университета он вошел в круг американской богемы. Истории о юношеском периоде жизни Рида все еще имеют широкое хождение, и это та часть его жизни, которую «Сэтердей ивнинг пост» и вся капиталистическая Америка всячески используют. «Повеса

Джон Рид». Но это был тот Рид, который соответствовал американскому обществу 1910 г.

Несмотря на то что «тот Рид» имел важное значение для американского общества, веселая, беззаботная жизнь больше не устраивала его. Он был выдающимся журналистом своего времени. Писал пьесы, публиковал книги поэзии и о войне, был одним из редакторов старого журнала «Мэссиз». Но весьма скоро Рид осознал, что, если он хочет, чтобы его «полезность» революционному движению не исчерпывалась проделками повесы, а была полезностью в полном смысле слова, ему надо прекратить вести двойную жизнь «художника» и революционера-любителя. Для Джона Рида это решение, вероятно, было не столько результатом «обдумывания проблемы», сколько эмоциональным протестом против подхода к революционному движению с позиций человека, сидящего в башне из слоновой кости. Рид набирался опыта в контакте с живой действительностью — в рабочем движении, во время забастовки в Пассейике, в битвах горняков в Колорадо, сражаясь в Мексике на стороне революционной армии, в окопах Европы — и отбрасывал прочь взгляды, свойственные деятелям «чистого искусства». Джон Рид говорил себе: «Я — революционный писатель. Я — революционер. Жизнь рабочих — это моя жизнь. Теперь я — часть борьбы. В заслоне пикетчиков. В тюрьме. На баррикадах с рабочими. Журналы поэзии? Нет, я лучше буду работать в рабочей печати».

Джон Рид был пионером во многих делах, но сегодня мы помним его и потому, что он был смелым представителем интеллигенции, который указал путь деятелям культуры в революционном движении. Он покоится у Кремлевской стены — герой революции для миллионов рабочих, которые считают его своим товарищем и борцом за общее дело.

*The Daily Worker, 1931,
October 24, p. 4*

*На русском языке
публикуется впервые*

СТАНОВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

15 лет назад у Кремлевской стены в священном для героев революции месте московские рабочие предали земле тело американца. Им был Джон Рид — «гарвардский повеса», который написал лучший репортаж о русской революции и был одним из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки.

История Рида настолько необычна и вместе с тем поистине настолько типична, что заслуживает того, чтобы ее рассказывали и пересказывали. Она необычна не только из-за социального происхождения Рида — зажиточная, респектабельная орегонская семья, учеба в Гарвардском университете для привилегированных, — но и потому, что по окончании Гарварда в 1910 г. он, по словам его друзей, был тогда повесой, жаждавшим приключений, любившим шальные поступки, был беспшашным, недисциплинированным, беззаботным.

История Рида типична, ибо он хотел от жизни того же, чего хотят многие нынешние писатели, которые вслед за ним приобщились к революционному движению. История Рида типична и потому, что он, как позднее и эти писатели, осознал: его чаяния могут осуществиться лишь при новом общественном строе.

Джон Рид был человеком беспредельной энергии, огромного честолюбия, наделенным впечатлительностью поэта. По натуре своей он мог учиться только на практике. Больше всего Рид стремился к литературному успеху. Ему понадобились год-два, чтобы осознать, как бессмысленно писать для «Кольерс», «Америкен» и «Сэтердей ивнинг пост». Его отличал огромный интерес к жизни, и он посещал все уголки Нью-Йорка, видя эксплуатацию и нищету и то, что он принадлежит к очень немногочисленному привилегированному меньшинству. Он стал сотрудничать в журнале левого направления «Мэссиз».

В те годы Рид был еще далек от радикализма. Но вот в апреле 1913 г. он поехал в Патерсон, чтобы наблюдать за ходом стачки рабочих шелкоткацких фабрик. Рид понял причину бунта рабочих, он сердцем и душой был с ними. Его арестовали и бросили в тюрьму. Рид организовал в Мэдисон-сквер-гарден спектакль о стачке, чтобы мир узнал о классовой борьбе в Америке. Он вступил в ИРМ.

...Следующее лето Рид провел в Италии. Ведь он был поэт, ему нужен был всесторонний жизненный опыт, а битвы труда представляли собой лишь небольшую часть жизни.

Однако зимой Рид отправился в Мексику и провел три месяца с армией Вильи. Симпатии Рида всецело были на стороне пеопов и Вильи — он отличался смелостью, и пеоны любили его.

...Мировая война. Рид провел четыре месяца во Франции, Англии и Германии, семь месяцев на Восточном фронте. С самого начала у него не было иллюзий относительно войны, которую он называл «войной торговцев». Ужасы войны, ее пагубное воздействие на умы людей, убитые, калеки, а главное — осознание бессмысленности войны — все это заставило Рида по возвращении в Америку заявить: «Это не наша война».

В 1916 г. Джон Рид принадлежал к тем, кто выступал против участия Америки в войне. Он стал понимать, против каких сил он боролся — против банкиров и тех, в чьих руках находится производство оружия. Картина теперь полностью прояснилась: система, создавшая трупцы Ист-Сайда в Нью-Йорке и предававшая смерти забастовщиков в Патерсоне, Ладлоу и Бейонне, была той самой системой, которая сделала войну неизбежной. Все в нем кричало о необходимости ее ликвидации, но кто мог ее разрушить? Смогут ли рабочие проснуться от летаргического сна, страхнуть покорность и взять власть? Крах II Интернационала и воинственный патриотизм лидеров АФТ заставили его задуматься.

К счастью, Риду довелось увидеть перемены своими глазами. Он прибыл в Россию сразу же после поражения Корнилова¹ в сентябре 1917 г. и находился там чуть ли не до подписания Брестского мира. Он побывал всюду, все видел и понимал. Ист-Сайд, Патерсон, Мексика, Западный и Восточный фронты, Соединенные Штаты в годы войны — все это подготовило его сознание. А у Джона Рида в течение всей его жизни понимать означало действовать.

Поэт Рид... Верно, что после ареста в Патерсоне он написал относительно мало поэтических произведений, но у него был ум поэта. Он писал немного, во-первых, потому, что занимался другими делами, и, во-вторых, потому, что постепенно переходил от мелкотемья и подражания к широте и самобытности. Становление Рида как поэта шло рука об руку с осознанием того, что мир необходимо изменить и что сам он должен принять участие в его перестройке. Когда по пути из России Рида задержали на два месяца в Кристиани, он написал поэму «Америка, 1918». Это знаменовало новое начало, но, если не считать нескольких фрагментов других поэтических произведений, поэма эта оказалась последней.

Достигнув как поэт зрелости, Рид обнаружил, что для поэзии нет времени. Америка почти ничего не знала о русской революции, и его долг состоял в том, чтобы рассказать об увиденном. Поэтому он выступил на многих десятках митингов и написал десятки статей, а когда наконец правительство возвратило конфискованные у него записи и документы, он написал «Десять дней, которые потрясли мир».

Но недостаточно было рассказать о том, что произошло в России. В Америке тоже были революционеры, и Рид

¹ Корнилов Л. Г. (1870—1918) — один из руководителей российской контрреволюции. В конце августа 1917 г. поднял мятеж с целью установления контрреволюционной военной диктатуры, вскоре подавленный.— *Прим. сост.*

был им нужен, потому что он видел и понял русскую революцию. Он стал одним из руководителей левого крыла социалистической партии, редактором и автором «Революшири эйдж», редактором «Коммьюнист» (Нью-Йорк), «Войс оф лейбор». А когда левое крыло партии откололось от нее, его избрали в руководство Коммунистической рабочей партии — одной из двух партий, которые впоследствии слились в КП США.

Рид отправился в Россию в 1919 г. опасным тайным маршрутом именно по решению своей партии. Он увидел в России голод и гражданскую войну и как никто из иностранцев восхищался рабочими, крестьянами и руководителями революции. На обратном пути в Соединенные Штаты (для выполнения другого поручения) Рид был схвачен и брошен в финскую тюрьму, где провел 13 недель в одиночном заключении.

Вернувшись в Россию, он присутствовал на Втором конгрессе Коммунистического Интернационала, состоял в различных комиссиях Коминтерна и был избран в его Исполнительный комитет. Рид участвовал в заседаниях съезда народов Востока в Баку, но вскоре заболел тифом и умер.

Незадолго до болезни Рид сказал одному из своих друзей, что хочет «разделаться с этим делом и писать поэзию»; революцию он рассматривал как суровую необходимость. Но так думают все коммунисты. «Джон Рид, — писал кто-то, — отдавал первенство жизни». Это — мнение всех коммунистов. Революция ради жизни. Власть капитализма — это власть смерти...

Джон Рид мог бы создавать замечательную революционную поэзию, но надо было исполнить революционный долг, который был по плечу только ему одному. Выполняя его, Рид встретил смерть. Не каждый писатель-коммунист призван стать организатором, но были и вновь будут ситуации, в которых лишь такая активная деятельность может идти на пользу литературе. В такой именно ситуа-

ции Джон Рид отложил поэзию на будущее — как оказалось, навсегда. Но имя его будут помнить и тогда, когда поэты его поколения будут упоминаться только в списках к истории загнивания капитализма.

*The New Masses, 1935,
October 15, p. 7—8*

*На русском языке
публикуется впервые*

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ¹ ДЕЛО СТОИЛО ТОГО, ДЖЕК!

Однажды холодным зимним днем, вскоре после Сталинградской битвы, я стоял у Кремлевской стены и смотрел на темную надгробную плиту, под которой вместе с другими героями Октябрьской революции похоронен Джон Рид. Помню, я сказал себе (или, скорее, обращаясь к этой небольшой плите): «Что ж, дело стоило того, Джек!» Разве битва под Сталинградом не явилась величайшим апофеозом жизни всех тех, кто погребен у Кремлевской стены?

Собственно, я не вправе называть его Джек. Я не мог знать Джона Рида лично, ибо родился примерно в то время, когда он умер. И все же Рид был одной из тех исторических личностей, которые, подобно Джеку Лондону или Пушкину, близки каждому, чье присутствие ощущается, как соприкосновение с живым родным человеком. И при мысли о том, что их больше нет, всегда испытываешь чувство горечи.

Джон Рид умер в объятиях революции, чью зарю он видел и описал в своих репортажах. И революция сделала этого человека — сначала бесстрастного наблюдателя

Публикуется с сокращениями.

¹ Олдридж Джеймс (р. 1918 г.) — английский писатель. — Прим. сост.

и репортера — преданным участником и активным защитником своего дела. Рид умер революционером.

И все же разве только это мы знаем о нем? Разве «Десять дней, которые потрясли мир» — единственная эпитафия ему, вся история его жизни?

Когда Рид приехал в Россию в начале революции, современники уже знали его как прославленного репортера. Он начал свою журналистскую карьеру с публикации беспощадно правдивого отчета о стачке в Патерсоне в штате Нью-Джерси. Он укрепил свою репутацию смелого репортера, умеющего живо и оригинально освещать события, репортажами из Мексики, из армии Панчо Вильи. Только он один в качестве репортера радикального журнала «Метрополитен» рассказывал своим соотечественникам правду о мексиканской революции. Вернувшись из Мексики, Рид почти сразу же отправился в Европу на один из фронтов мировой войны. Его правдивые репортажи о тяжком труде окопной войны вызвали сенсацию в Америке, принесли ему известность и открыли перед ним блестящее будущее прославленного журналиста. Будь Рид человеком меньшего масштаба, он мог бы считать свою карьеру вполне обеспеченной. Но Рид никогда не был узколобым обывателем. Он владел почти невероятной способностью правильно оценивать факты и разбираться в людях. Позже он понял, что мировая война — чудовищный обман народов, шовинистическая ловушка.

Рид был тогда совсем молодым человеком. Через несколько лет он поднялся в свой полный рост в коридорах Смольного. Перед нами раскрылись новые обаятельные черты характера Рида, каким он был в ту пору. Точно яркая вспышка на мгновение освещает нам молодого Рида.

Совсем недавно стали известны письма Джона Рида, адресованные редактору «Метрополитен» Карлу Хови. Тамара Хови, дочь редактора, просматривая бумаги родителей, натолкнулась на письма и документы, связанные с именем Рида. Это была волнующая находка. Ли Голд, муж

Тамары Хови, сделал очень много для того, чтобы систематизировать письма и факты, разместить их в правильном порядке и снабдить необходимыми историческими комментариями. Перед нами ожил молодой Рид — высокий, художавый, юношески порывистый, вспыльчивый и в то же время сдержанный, порой эксцентричный, иногда растерянный, но всегда полный надежд и решимости говорить людям только правду.

Среди этих писем есть последнее письмо жены Рида Луизы Брайант. Это, несомненно, один из самых искренних и полных чувств человеческих документов: Луиза совершила долгое и трудное путешествие в революционную Россию для того, чтобы соединиться с мужем. Она писала, что, когда наконец увидела Рида, ей показалось, что «...он стал старше, печальнее, добрее и восприимчивее к прекрасному. Его одежда превратилась в лохмотья. На него произвели такое впечатление страдания, которые он видел вокруг, что он не хотел ничего для себя. Я была потрясена и чувствовала, что едва ли смогу подняться до той вершины страстного самоотречения, которой он достиг».

Описывая трагическую гибель Рида и его погребение у Кремлевской стены, она вспоминала: «...после того дня, когда все эти люди хоронили со всеми почестями нашего дорогого Джека Рида, я много раз бывала на Красной площади... Однажды несколько солдат подошли к могиле. Они сняли шапки, и один из них с уважением сказал: «Хороший был парень! Он пересек весь земной шар из-за нас. Это был один из наших...»

«Это был один из наших...» Вот она, настоящая эпитафия Джону Риду. Джек был американцем, и все же русский солдат может сказать: «Это был один из наших...» Люди из многих стран похоронены у Кремлевской стены, они отдали жизнь не только за победу русской революции, но и за лучшее будущее всех народов, за всемирную борьбу против агрессии, эксплуатации, угнетения, войны и варварства.

Это — единственное братство, не знающее ни границ, ни расовых и национальных барьеров. И мне хочется повторить: «Дело стояло того, Джек!»

*Печатается по:
Издательская литература,
1961, № 10, с. 208—209*

АРТ ШИЛДС¹

ВЕЛИКИЙ АМЕРИКАНЕЦ

Я вспоминаю первые статьи Джона Рида. В то время он был молодым буржуазным корреспондентом, но человеком, которому были свойственны чувства симпатии к народу.

В пригороде Нью-Йорка произошла крупная забастовка рабочих шелкоткацких фабрик, в которой участвовало около 25 тысяч человек. Ее возглавляла Элизабет Гэрли Флинн. Полиция арестовала сотни рабочих, избила их дубинками. Джон Рид жил в районе стачек и тоже был арестован полицией, хотя не участвовал в забастовке, а всего лишь наблюдал за событиями. Именно в тюрьме, где он находился одну или две ночи, он вступил в движение рабочего класса. Об увиденном он написал в статье, опубликованной в журнале «Мэссиз» — левосоциалистическом литературном издании того времени. Я до сих пор помню энтузиазм, с которым Рид отзывался о чувстве товарищества между рабочими. Было это за четыре года до Великой Октябрьской социалистической революции, в очень жестокое для США время. Молодая американская империя разрушала, уничтожала и подавляла стачки у себя в стране, заливала кровью районы Карибского моря. Она готовилась к вступлению в первую мировую войну, начавшуюся

¹ Шилдс Арт (р. 1888 г.) — американский публицист.

Из выступления А. Шилдса на научной конференции Института истории Академии наук СССР, посвященной 75-летию со дня рождения Дж. Рида, состоявшейся 15 октября 1962 г.

ся в 1914 г. То было время президента Вудро Вильсона, который через несколько лет организовал интервенцию против Советской России. Вильсон был искусным демагогом, который умел приукрасить империализм красивыми фразами о так называемых «новых свободах». Но Джон Рид слишком хорошо понимал действительность, чтобы быть обманутым демагогией Вильсона. Своими глазами Рид видел те зверства, которые совершались по приказу Рокфеллера во время забастовок: множество убитых рабочих, трупы сожженных детей.

Несколько месяцев Джон Рид провел в Мексике. Это было время, когда агенты американского империализма старались расправиться с мексиканской революцией. В холмистых районах Мексики Рид был вместе с Панчо Вильей — одним из лидеров партизанской войны. В то время как Вильсон представлял в прессе Панчо Вилью как бандита, который занимается кражей скота, Рид рассказал тысячам читателей о том, что Панчо Вилья — яркий представитель мексиканской революции.

Статьи Джона Рида оказали огромное воздействие на меня и на многих молодых людей того времени.

Как марксист Рид сформировался под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. Когда в России свершилась революция, я работал на Северной Аляске, в школе, но основную часть своего времени проводил с шахтерами, членами профсоюза рабочих золотопромышленности. Они были горячими сторонниками Октябрьской революции, от всей души поддерживали ее. Я вспоминаю, с какой радостью мы встречали там, на далекой Аляске, статьи Джона Рида. Он помог мне встать тогда на тот путь, по которому я сейчас иду. С тех пор я с благоговением вспоминаю его имя. Мы в США рассматриваем Джона Рида не только как великого человека мирового масштаба, но и как великого американца.

*На русском языке
публикуется впервые*

АРТ ШИЛДС ПЕВЕЦ ОКТЯБРЯ

Имя Джона Рида неразрывно связано с той великой социалистической революцией, которая произошла 50 лет тому назад. Он принял в ней участие, встал на ее сторону, с необыкновенной ясностью и драматическим мастерством рассказал о ней и отдал жизнь за рожденное революцией социалистическое общество. А его шедевр — книга «Десять дней, которые потрясли мир» заслужила самую высокую похвалу В. И. Ленина:

«Прочитав с громадным интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата. Эти вопросы подвергаются в настоящее время широкому обсуждению, но, прежде чем приять или отвергнуть эти идеи, необходимо понять все значение принимаемого решения. Книга Джона Рида, без сомнения, поможет выяснить этот вопрос, который является основной проблемой мирового рабочего движения»¹.

Пожелания Ленина были исполнены. Книга «Десять дней, которые потрясли мир» была издана в миллионах экземпляров и переведена на многие языки. Миллионы людей смотрели советский фильм, представляющий собой экранизацию этой книги. Когда я был в Москве в 1966 г., там при переполненном зрительном зале шла поставленная по книге пьеса. Скоро американская молодежь получит новое американское издание этой воодушевляющей книги, подготавливаемое издательством «Интернэшнл пাবলিশерс».

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 48.

В новое американское издание «Десяти дней» включены вступительная статья Надежды Крупской, а также знаменитое ленинское предисловие. В своей вступительной статье жена Ленина отвечает на вопрос, которым задавались многие: как оказалось возможным, чтобы пришелец из далекой Америки, впервые видевший русских, так живо «передал настроение масс» и «понял смысл событий, смысл великой борьбы»? Джон Рид, отвечает она, смог это сделать потому, что он был «революционером и коммунистом». Без этого революционного сознания, поясняет она, он не смог бы понять подъема масс, не смог бы написать эту книгу. Книга «Десять дней, которые потрясли мир», указывала она, «будет иметь особо большое значение для молодежи, для будущих поколений...». Эта книга — «своего рода зпос».

Джон Рид не был выходцем из того класса, за который он отдал свою жизнь. Он вырос в благополучной, среднего достатка семье в Портленде, штат Орегон, поступил в Гарвардский университет, писал поэмы и сатирические вещи для студенческих журналов, стал управляющим университетским музыкальным клубом и капитаном университетской команды по водному поло, а первый опыт участия в классовой борьбе приобрел в двадцать шесть лет. Любовь к народу и ненависть к несправедливости повели его в битву на стороне рабочих. И в этой борьбе его талант раскрылся и окреп, достигнув вершины в книге «Десять дней, которые потрясли мир».

В то время, когда Джон Рид делал первые шаги по направлению к своему будущему социалистическому мировоззрению, это был молодой, подающий надежды представитель интеллигенции. Он пользовался популярностью, будучи членом редколлегии журнала «Америкен мэгэзин» — одного из ведущих буржуазных изданий в Нью-Йорке. Его очерки и поэмы хвалили известные писатели, он имел неплохой доход. Но его не удовлетворяла эта жизнь. Он еще не был марксистом, однако испытывал отвращение к эго-

изму и жестокости капиталистического общества. Он хотел большей свободы, чем это позволяли его редакторы. Джон Рид стал сотрудничать в журнале «Мэссиз» — блестящем издании революционного направления, освещавшем вопросы культурной жизни, начал читать марксистскую литературу. Он встретил Уильяма Д. Хейвуда, опытного и обаятельного революционного рабочего лидера, руководившего тогда забастовкой 25 тысяч пролетариев, которые получали грошовую зарплату, работая на шелкоткацких предприятиях в Патерсоне, штат Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Хейвуд сказал ему, что участвовавший в забастовке рабочий Валентино Модестино был убит детективом компании, а сотни рабочих арестованы. Он попросил молодого писателя помочь им. Джон Рид отправился в Патерсон расследовать положение, и сам был брошен в тюрьму.

Этот арест стал поворотным пунктом в жизни Джона Рида. Тюрьма стала его классной комнатой, а заключенные в тюрьму участники забастовки — учителями. Забастовщики были выходцами из многих стран Европы. Они принадлежали к ИРМ — организации Индустриальные рабочие мира, в уставе которой провозглашалось, что рабочий класс и класс предпринимателей не имеют между собой ничего общего. Хейвуд находился в заключении вместе с ними. Он сказал им, что Джон Рид на их стороне, и они приветствовали молодого писателя как своего.

В тюрьме многие заключенные были зверски избиты. Но Джона Рида привели в восхищение их мужество, солидарность и высокий дух, когда они все вместе пели рабочие песни. И урок тех дней, проведенных в тюрьме, был им усвоен на всю жизнь.

После своего освобождения из тюрьмы Джон Рид написал об участниках забастовки в «Мэссиз». Это был первый отчет Джона Рида о классовой борьбе — волнующий рассказ о единстве рабочих, потрясающее разоблачение

жестокости их врагов. Но это было лишь начало. Несколько месяцев спустя он уже ездил верхом вместе с генералом Вильей, вождем крестьянской партизанской войны, армия которого отобрала у богатого рода Террассас 17 миллионов акров земли и отдала ее пеонам Северной Мексики. Это была народная революция. Партизаны сказали своему новому другу: «Эти земли принадлежали богачам, а теперь принадлежат нашим компаньерос».

Вместе с «компаньерос» Джон Рид устремлялся в бой и видел, как вокруг него падали люди. Вместе с партизанами он ночевал в пустынях, ел мансовые лепешки. Он любил «компаньерос». Партизаны ненавидели «гринго», как они называли граждан северной державы, присвоившей половину территории Мексики и угнетавшей народ Мексики. Но Джона Рида «компаньерос» принимали как своего. Один молодой боец горячо говорил ему: «Будем спать под одним одеялом и всегда будем вместе... Я поведу тебя к своим, и мой отец назовет тебя моим братом».

Лучшее, что к тому времени вышло из-под пера Джона Рида, появилось в виде серии статей для «Метрополи-тен мэгэзин» и в его книге «Восставшая Мексика». Эта журнальная серия, говорил Редъярд Киплинг, «помогла мне увидеть Мексику». Джон Рид передает дикую, обнаженную красоту пустыни с гигантскими горными хребтами, заслоняющими половину неба. Он показывает перепачканного грязью генерала Вилью в разгаре боя, когда тот без тени усталости объезжает из конца в конец ряды бойцов. Но больше всего Джон Рид любил описывать рядовых крестьян и ковбоев, беззаветно боровшихся за свободу и землю. Благодаря Джону Риду мексиканская революция снискала поддержку честных людей в США. Благодаря ему усилилась оппозиция американским горнорудным компаниям и рокфеллеровским нефтяным пиратам, которые призывали к интервенции. К стыду США, Рокфеллеры добились своего. Но антиимпериалисты на всем

континенте долго помнили «Восставшую Мексику». Эта книга была достойной предшественницей грядущей, еще более значительной книги.

Джон Рид только что вернулся в Нью-Йорк, когда его вызвали в Колорадо расследовать неслыханное злодеяние Рокфеллеров. Углекопы, работавшие на семейство нефтяных магнатов, бастовали в течение семи месяцев, протестуя против кабальных условий труда. Горняки жили на нищенскую зарплату в построенных компанией поселках, под надзором нанятых ею вооруженных людей. Их выселяли из предоставленных компанией жилищ, если они присоединялись к профсоюзу и бастовали.

Выселенные семьи находили прибежище в маленьких палаточных городках. Их солидарность осталась непоколебленной, несмотря ни на голод, ни на холод, ни даже на убийства. И вот 20 апреля 1914 г. около 400 вооруженных надзирателей и солдат из войск штата напало близ города Ладлоу на один палаточный городок — оплот профсоюза горняков. Солдаты сказали Джону Риду, что им было приказано уничтожить там всех людей без разбора. Нападение началось с длительного пулеметного обстрела. Затем палатки были облиты нефтью Рокфеллеров и сожжены. После того как злодеяние было совершено, под одной из палаток были найдены обгоревшие тела одиннадцати детей и двух матерей. Джон Рид записал рассказ одного из солдат, который сказал ему, что, когда солдаты рыскали в поисках добычи, «все еще слышались ужасные вопли женщин и детей».

Я читал многие отчеты о злодеянии в Ладлоу, но рассказ Джона Рида дает читателю наиболее полную картину. 14 тысяч слов этого мастерского репортажа впервые появилось в «Метрополитен мэгэзин» под заголовком «Война в Колорадо». Позднее он был перепечатан в книге Джона Стюарта «Становление Джона Рида». Для книги выбрано точное название. Джон Рид созрел как художник и как революционер. И, перечитывая колорадский репортаж

Джона Рида, я подумал: если бы его бесстрашное перо могло рассказывать о Вьетнаме, где продолжают сжигать женщин и детей.

Джон Рид не мог воспеть победу: героическая борьба окончилась временным поражением. Забастовка была проиграна после того, как президент Вильсон послал в Колорадо федеральные войска. Но Джон Рид знал, что шахтеры поднимутся вновь. Теперь его жизнь была неразрывно связана с борьбой рабочего класса.

Джон Рид видел ужасы войны. Он побывал на французском, германском, английском фронтах в качестве военного корреспондента после начала военных действий в августе 1914 г. Он брался с несчастными призывниками, умиравшими за своих хозяев по обе стороны. Его воодушевило интервью с Карлом Либкнехтом, героическим социалистом, голосовавшим в рейхстаге против военных кредитов. Но его шокировал другой социал-демократический депутат, который с гордостью сказал ему, что германская партия «собирает взносы в траншеях и что, когда правительство об этом попросит, оно вычитает сумму взносов у людей из зарплаты и передает ее партийной организации». Джон Рид, к своему огорчению, обнаружил, что значительное большинство социалистических лидеров во Франции, Англии и Германии с началом капиталистической бойни забыло об интернационализме. И в одной из его статей прозвучало предостережение: «Не дайте себя обмануть разговорами о демократии и свободе. Это не крестовый поход против империализма, а драка за добычу. Это не наша война».

«Метрополитен», либеральный журнал с социалистическими претензиями, статью эту не пропустил. Но яркие зарисовки Джона Рида из жизни в окопах были очень популярны. Редакторы нуждались в пользовавшемся известностью молодом авторе. В 1915 г. они отправили его на Восточный фронт. Там он увидел большой разгул смерти, чем когда-либо прежде.

Джон Рид знал, что его соотечественникам нужна правда. За время семимесячной поездки, совершенной с целью сказать правду, он побывал в Сербии, Греции, Румынии, России, Турции и Болгарии. Домой он вернулся, будучи уже страстным борцом за мир.

Но свобода говорить правду была теперь значительно ограничена. «Метрополитен» испытывал нажим со стороны рекламных агентств и банкиров. Бывший президент Теодор Рузвельт, исполненный самодовольства джингоист¹, стал подвизаться в журнале, почти в каждом номере призывая Америку к вмешательству в войну. Джону Риду позволили написать несколько честных статей, но наконец разрыв произошел. И он сказал одному из своих друзей, что никогда больше не будет писать ничего, что не выражало бы его ненависти к капитализму и не помогало бы революции.

Опыт наблюдения классовой войны помог выработке у Джона Рида иммунитета против пропаганды, ратовавшей за вступление Америки в мировую империалистическую войну. Эта джингоистская пропаганда сбила с толку многих американских социалистов. Ее влияние быстро сказалося на Уолтере Линимане — товарище Рида по Гарварду. Энтон Синклер и другие поддались ее воздействию в 1916 и 1917 гг. Но Джон Рид уже узнал эгоизм и жестокость капиталистов, финансировавших военные клики. Он помнил Колорадо, Патерсон, нефтеочистительные заводы «Стандарт ойл» в Бейонне, штат Нью-Джерси, и другие места классовых битв в промышленности, которые он посетил. Он написал много воззваний о мире, выступал на многих митингах. А когда конгресс вот-вот собирался объявить войну, он вновь заявил о своей оппозиции капиталистическим убийцам.

«Чья это война? — спрашивал Джон Рид читателей журнала «Мэссиз» и отвечал: — Не моя. Я знаю, что сотни ты-

¹ Джингоист — сторонник крайне шовинистических и империалистических воззрений. — *Прим. ред.*

сяч американских рабочих, занятых на предприятиях наших великих «патриотов» от финансового мира, не получают зарплаты, обеспечивающей нормальную жизнь. Я видел бедняков, которых без суда отправляли в тюрьмы на длительные сроки... Мирных забастовщиков и их жен и детей расстреливали и сжигали заживо частные шпики и «добровольцы». Богатые постоянно богатеют, стоимость жизни растет, а рабочие беднеют. Трудящимся не нужна война... Но спекулянтам, предпринимателям, плутократам — им всем война нужна, как нужна она подобным же категориям людей в Англии и Германии...»

Затем конгресс объявил войну, начались массовые аресты, и Джон Рид встретился с испытанием, с которым ныне встречаются многие молодые люди. Он объявил, что не будет воевать за Уолл-стрит. Он принял активное участие в антивоенном движении, когда в революционной России стали создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов. У него сразу же появилось желание поехать в Россию. Но его не захотел послать ни один буржуазный редактор. Путешествие было отложено на время, пока его друзья собирали средства. В Петроград он прибыл лишь в сентябре.

Приближались исторические Десять дней. Был разгромлен мятеж генерала Корнилова. Большевицкий лозунг «Вся власть Советам» стал массовым лозунгом. Солдаты бунтовали; крестьяне захватывали поместья; массы поворачивались к партии Ленина в борьбе за мир и землю. И Джон Рид присоединился к революционному течению, захлестнувшему Россию.

Теперь, как никогда раньше, Джон Рид чувствовал мощь масс. Он ходил на массовые митинги, проводил дни и ночи с солдатами и рабочими, брался с красногвардейцами в Смольном и часто видел руководителей большевиков. Изучал он и врагов народа. Он интервьюировал Александра Керенского, боязливого и увертливого главы Временного правительства, разговаривал с крупными

предпринимателями, руководителями правых социалистов и другими врагами рабочей власти.

Затем начались Десять дней. Джон Рид вошел в Зимний дворец 7 ноября вместе с победителями. Он слышал, как Ленин говорил, обращаясь к съезду Советов: «Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!» Он видел, как начиналось это строительство в условиях невероятных трудностей. Он радовался поражению первых валов контрреволюции. Он написал много воззваний к германским войскам, призывая к установлению мира, призывая присоединиться к революции.

Джон Рид помог ослабить германский фронт. Однако президент Вильсон не испытывал к нему за это никакой признательности, и молодой автор был арестован по возвращении в Нью-Йорк за все то, что он писал в журнале «Мэссиз» в 1917 г. Его дневники, записные книжки и сотни русских газет были конфискованы. И он не мог приступить к написанию своей хорошо документированной книги, пока этот материал не был ему возвращен полгода спустя.

А пока Джон Рид приступил к написанию целой серии речей — более сотни — в защиту революции. Он смело осудил интервенцию Вильсона в Советской России, когда его отдали под суд вместе с другими редакторами журнала «Мэссиз». Если бы он был осужден, его могли бы приговорить к двадцати годам тюремного заключения, но присяжные не согласились. Жюри присяжных вынесло ему оправдательный приговор также во втором судебном деле по обвинению в «подстрекательстве к мятежу», третье обвинительное заключение против него относительно «подстрекательства к мятежу» было в конце концов снято.

Джон Рид продолжал осуждать необъявленную войну против Советской России, на которой умирали американские военнослужащие. А в конце 1918 г. он помог ознакомить свой народ с ленинским «Письмом к американским рабочим». Эта история ускользнула от американских би-

ографов Рида, а я слышал ее в Москве из уст Петра Травина, старого большевика, который провез знаменитое письмо через «санитарный кордон». Находчивость Травина была поразительной. Трудности были громадны. В Нью-Йорке редактор одной небольшой газеты на русском языке настаивал на том, что письмо должно сначала появиться в его газете. Но Джон Рид проявил большую мудрость. Он настаивал на как можно более широком распространении письма также в капиталистической прессе, говоря, что это можно сделать. Он взял письмо в Вашингтон и показал его сенатору от штата Калифорния Хайрему Джонсону. Джонсон был республиканцем и капиталистом, который считал, что интервенция вредит его классу. Письмо Ленина убедило Джонсона в том, что Советское правительство хочет мира. Он сказал об этом американскому народу, выступая в сенате. И Ленин горячо одобрил тактику Джона Рида, когда Травин представил свой отчет.

«Десять дней, которые потрясли мир» вышли из-под пера Джона Рида вскоре после того, как осенью 1918 г. ему вернули его бумаги. Книга была закончена в январе следующего года и вышла в свет в марте, подобно солнцу, пробившемуся сквозь тучи. Она сразу же осветила наш революционный горизонт. Ее приветствовали биограф и близкий друг Уолта Уитмена Хорэс Тробел и другие передовые представители интеллигенции. Многие радикально настроенные рабочие некоторое время не могли думать ни о чем другом. Мой собственный экземпляр переходил из рук в руки и был до того зачитан, что рассыпался. А массовая кампания, в результате которой американские призывники вернулись домой из Архангельска, была ускорена благодаря тем сведениям и тому вдохновению, которые содержались в книге Джона Рида.

Затем вышло русское издание с предисловием Ленина. Клэр Шеридан, английский скульптор, сделала в своем дневнике во время поездки в Москву в сентябре 1920 г. следующую запись: «Русские говорят мне, что книга

«Десять дней, которые потрясли мир»... стала национальной классикой и изучается в школах».

Книга «Десять дней, которые потрясли мир» вскоре вышла на многих языках в Европе и Латинской Америке, а позднее и в Азии. Вышли новые издания в США. У моей жены имеется специальное «издание в пользу голодающих России», которое она купила в марте 1922 г. Вся прибыль и весь авторский гонорар — а он составлял 50 центов с каждого доллара — пошли на помощь голодающим Поволжья.

«Покуда человек живет в сердцах своих соотечественников, он не может умереть», — написала вдова Рида Луиза Брайант в предисловии к изданию в пользу голодающих. — И он не может умереть, пока продолжает жить его дело».

Дело Джона Рида живет уже многие годы. Я знаю многих американцев, обогативших свое понимание коммунизма при помощи книги «Десять дней, которые потрясли мир». Среди них — негр Генри Уинстон, председатель коммунистической партии, который хотя и потерял в тюрьме зрение, но не потерял политическую зоркость. «Это первая марксистская книга, которую я прочел юношей», — сказал он мне.

Этот классический рассказ о революции «есть журналистика, поднятая до уровня высочайшего искусства», — заявляет Джон Говард Лоусон, известный драматург и критик, в предисловии к изданию, выпускаемому «Интернэшнл пাবлিশерс».

Блестящий репортаж Джона Рида следует читать как единое целое. Каждая его часть обогащает смысл остальных частей. Впрочем, следующее описание Ленина на съезде Советов может стоять и отдельно:

«Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. ...Потертый костюм... Ничего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и уважаемый так,

как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту... но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании пронизательной гибкости и дерзновенной смелости ума».

После завершения «Десяти дней, которые потрясли мир» у Джона Рида стало больше времени для той политической деятельности, которая завершилась образованием коммунистической партии.

Социалистическая партия переживала кризис. Многие последовательные социалисты находились в тюрьме. Исполнительный орган партии контролировался правыми представителями среднего класса, но спланировалось революционное левое крыло, опиравшееся на рабочий класс и положившее в основу своей политики твердую поддержку оцетинившейся штыками России. Джон Рид помогал в составлении манифеста левого крыла, стал одним из ведущих членов исполнительного органа левого крыла, писал для его печатных органов «Революшири эйдж» и «Коммюнист» (Нью-Йорк) и выступал на многих митингах. Я помню аплодисменты, которыми его всегда приветствовали.

Популярность Джона Рида среди прогрессивных рабочих выявилась еще раз на национальном референдуме социалистической партии, где он был избран международным представителем партии большинством в 17 235 голосов против 4871 голоса, поданного за представителя правого крыла. При голосовании на том же референдуме в Национальный исполнительный комитет партии, состоявший из 15 членов, было избрано 12 представителей левого крыла. Но решение членов партии было игнорировано бюрократами правого крыла, укрепившимися у власти путем исключения из партии более чем 50 тысяч активных социалистов, по большей части членов иноязычных федераций партии.

Эти исключения ознаменовали начало заката социалистической партии. В настоящее время она совершенно захирела.

О подробностях создания партии Джона Рида — коммунистической партии часто говорилось. Партия была основана в Чикаго в то время, когда социалисты проводили там свою национальную конференцию. Большая группа левых, среди руководителей которой был Джон Рид, попыталась занять места на съезде социалистов, на который они были избраны. Они хотели, прежде чем предпринять дальнейшие действия, разъяснить честным делегатам свою позицию. Правыми бюрократами была вызвана полиция, и левые были выдворены. Другие левые решили полностью бойкотировать съезд социалистов. Это различие в тактике имело результатом создание временно двух коммунистических партий, которые позднее объединились. И Джон Рид принял активное участие в объединении.

Уильям Уэйнстон, один из учредителей коммунистической партии, живо вспоминает Джона Рида, каким он был в то время. «Я помню Джона страстным борцом, — сказал он мне. — Я помню, как он гордился боевым духом американского рабочего класса, верил в его будущее, был предан принципам международной солидарности».

Джон Рид вернулся в Россию в качестве корреспондента журнала «Либерейтор», который стал преемником журнала «Мэссиз» после основания партии. Советская территория все еще находилась в блокаде, так что он пересек Атлантический океан, работая кочегаром на скандинавском судне. Из Норвегии он зайцем приплыл на одном судне в Финляндию, откуда спокойно добрался до России.

В Москве тепло приветствовали Джона Рида. Гиды показывали мне стул в небольшом кабинете в Кремле, где он подолгу беседовал с Лениным, который его очень любил.

Суровая была осень, суровая зима. Хозяйство Советской страны было почти полностью разорено белогвардей-

цами и интервентами. Враг все еще свирепствовал. Народ голодал, и Джон Рид жил вместе с рабочими на мизерные пайки, состоявшие из хлеба и рыбы. Но его статьи в «Либереиторе» были полны энтузиазма в отношении нестигбасых советских людей.

Мы с женой отправились по его стопам — 44 года спустя — в промышленный город Серпухов. Я выступал в зале бывшего Дворянского собрания, в котором Джон Рид выступал перед голодными рабочими в 1920 г. Мы встретились со старыми рабочими, которые тогда прошли много километров через снега, чтобы послушать его. И мы почувствовали огромную гордость за своего великого соотечественника, когда увидели улицу, названную именем Джона Рида, и побывали на митинге в его честь.

Джон Рид работал над книгой «От Корнилова до Брест-Литовска», когда пришло известие о том, что во многих американских городах происходят массовые аресты коммунистов. Звал к себе фронт борьбы в своей собственной стране. Рид попытался проскользнуть сквозь «санитарный кордон» через Финляндию. Но полиция барона Маннергейма бросила его в ледяную одиночную камеру, где его плохо кормили. Он добился освобождения через три месяца, пригрозив голодовкой. Ему не разрешили ехать домой, вернули в Москву с подорванным здоровьем, но дух его не был сломлен.

Социализм вновь одерживал победы в 1920 г. Основные контрреволюционные армии были разбиты. Революционные идеи распространялись в Азии. Джон Рид был направлен в Баку в качестве делегата на съезд народов Востока. Там присутствовали тысячи представителей стран Азии. Джон Рид был очень воодушевлен. Но на обратном пути он стал жертвой тифа — смертельного наследия контрреволюции.

Джон Рид умер в Москве 17 октября, за несколько дней до своего 33-летия. Советские вожди и тысячи рабочих провожали его к месту захоронения у Кремлевской стены.

Его друг Хейвуд, который вовлек его в классовую борьбу, поконит рядом с ним. 22 октября этого года Джону Риду было бы 80 лет, если бы он остался в живых. Но для тех, кто знал его, он вечно молод.

Печатается по:
Проблемы мира и социализма,
1967, № 11, с. 90—94

АРТУР ЗИПСЕР¹ ОН ПРОЖИЛ НЕЗАУРЯДНУЮ ЖИЗНЬ

Рид родился под счастливой звездой. Его дед и бабушка по материнской линии, а следовательно, и мать принадлежали к сливкам портлендского общества. Отец был трудолюбивым бизнесменом. Джон учился в лучших школах и в Гарвардском университете, где стал «большим человеком университетского городка».

Под руководством знаменитого профессора Чарлза Т. Коупленда (Коупи) у Рида проявился талант писателя. Он считал себя поэтом, публиковал стихотворения еще школьником. К 1912 г., когда умер отец, он опубликовал уже десятки поэтических произведений. Но поэтам надо питаться, и после смерти отца, когда семья уже не могла жить с привычным размахом, платная работа стала необходимостью.

Джон Рид обрел поле деятельности в журналистике, при этом он не был связан с какой-либо определенной редакцией. Участвуя в пьянящем интеллектуальном брожении довоенного периода, Рид стал популярной фигурой на сцене «Вилледж».

Блестящее описание Ридом кампании Панчо Вильи в

¹ *Зипсер Артур* — администратор Американского института марксистских исследований, активно сотрудничает в прогрессивных изданиях, автор книги о У. Фостере. — *Прим. сост.*

Из статьи, написанной в связи с появлением американского фильма о жизни Дж. Рида «Красные».

Северной Мексике в 1913 г. утвердило его репутацию репортера и сделало в некотором роде знаменитостью. В 1915 г., когда Джон гостил у матери в Портленде, он встретил Луизу Брайант.

Ранее Рид влюблялся и расходился несколько раз, но вскоре после знакомства с Луизой он восторженно писал другу: «Я опять влюбился и, как мне думается, наконец-то нашел Ее... Она на два года младше меня, необузданная, и смелая, и прямодушная, и грациозная, и миловидная. Любительница всяких приключений ума и духа... художница, неистовая, веселая индивидуалистка, поэтесса и революционерка». Примерно тогда же Луиза писала подруге, что Джек — «чудесный человек, я знаю, что больше нигде нет такой свободной, и такой тонкой, и такой сильной души».

Короче говоря, они, очевидно, были очень схожи — внешне привлекательные, интеллектуально активные, падающие энергией молодости и любовью к жизни. Их пыл отметал прочь все препятствия. Луиза уже шесть лет как была замужем за зубным врачом д-ром Траллинджером, тем не менее она вскоре переехала к Джеку в Нью-Йорк. Началась их счастливая жизнь в его квартире на Вашингтон-сквер. Молодая женщина (на самом деле она была на два года старше Джека) вошла в мир богемы так непринужденно, словно выросла в нем.

Самой прочной связью между Луизой и Джеком была та связь, которая образовалась во время их совместного пребывания в измученной войной революционной России. Джек увидел Европу в состоянии войны в 1915 г. Он вернулся в Соединенные Штаты с убеждением, что «это — не наша война». Еще раньше, в 1913 г., Рид принимал некоторое участие в рабочем движении, когда под влиянием Билла Хейвуда и Элизабет Гэрли Флинн он проявил интерес к поддержке руководимой ИРМ стачке рабочих шелкоткацких фабрик в Патерсоне. Он честно зарабатывал на жизнь яркими репортажами для коммерческой прессы, но

его все более радикальные идеи находили выражение в таких левых журналах, как «Мэссиз». В ноябре 1916 г. Рид активно выступал за переизбрание Вильсона, поверив его обещанию «удержать нас в стороне от войны». В апреле 1917 г. Вильсон объявил о вступлении США в войну. Джон Рид страстно протестовал против войны, в результате чего ему почти перестали давать журналистские поручения. Наконец «Мэссиз» изыскал средства на то, чтобы направить Ридов в Россию, где в феврале 1917 г. произошла революция и правительство Александра Керенского лавировало, пытаясь удержаться у власти. Луиза и Джек выехали в середине августа и прибыли в Петроград в середине сентября. Неделий позже Джек писал: «Эта революция теперь превратилась, как предсказывали марксисты, в чистейшую классовую борьбу... и большевистское влияние в Советах быстро возрастает».

В последующие недели Рид пристально следил за ходом событий, а тем временем за ним по указанию американского посла следили агенты секретной службы США. В конце октября он писал одному из друзей-американцев: «Пока что я постиг один урок, и он состоит в том, что у рабочего класса и класса работодателей нет ничего общего». Бывший повеса из Вилледжа постиг главный социальный урок нашего времени.

7 ноября Рид и Брайант, теперь уже сторонники, а не просто репортеры, побывали в Зимнем дворце, затем в Смольном, потом вернулись в Зимний как раз тогда, когда его штурмовали — без артиллерийской поддержки, в которой не было необходимости, — революционные солдаты, матросы и красногвардейцы. Это был момент всемирно-исторического значения...

Брайант выехала из Петрограда в Нью-Йорк 20 января 1918 г. Через две недели отправился в путь и Рид, но в Швеции, где ему пришлось ждать парохода, он был задержан. Там он начал работу над книгой «Десять дней, которые потрясли мир». 28 апреля Рид прибыл в Нью-

Йорк и вскоре начал писать и читать лекции об Октябрьской революции. Брайант тоже выступала с лекциями, а за несколько месяцев до выхода из печати классической работы ее мужа опубликовала свою книгу «Шесть красных месяцев в России».

К ноябрю 1918 г., когда большевистской революции исполнился год и когда закончилась перемирием первая мировая война, Джон Рид вступил в полосу напряженной деятельности в организованном революционном левом крыле социалистической партии. Тогда же он завершил работу над «Десятью днями». Книга вышла из печати в марте 1919 г.

Когда Рид на митинге в Бруклине получил предписание не критиковать правительство США, он сказал: «Мои предки со стороны отца и со стороны матери поселились в этой стране в 1607 году, мой прадед Патрик Генри подписывал Декларацию независимости, другой мой предок был генералом в армии Джорджа Вашингтона, третий — полковником в армии северян во время гражданской войны. Мой брат, майор авиации, находится сейчас во Франции. Я — гражданин Соединенных Штатов и избиратель, и я настаиваю на своем праве критиковать правительство своей страны, сколько мне будет угодно». Когда в феврале 1919 г. Джек и Луиза предстали перед инквизиторской комиссией сената, они оба воспользовались своим правом «критиковать правительство».

Джон Рид возвратился в Россию в качестве делегата от Коммунистической рабочей партии, преодолев в пути огромные физические трудности и опасности. Он выехал из Соединенных Штатов в октябре, надеясь быть дома к рождеству, но этому не суждено было случиться. Возвращение задержали важные политические дела. Он отправился в путь на родину в начале 1920 г. Нужно было пробраться через районы России, все еще раздираемые гражданской войной, и через некоторые страны Северной Европы, враждебно настроенные по отношению к комму-

низму. Когда Рид во второй раз пытался ускользнуть от белогвардейских сил, он в Або угодил в лапы финской полиции. Его схватили на борту корабля и бросили в местную полицейскую тюрьму. Риду выпустили из тюрьмы после того, как Советская Россия согласилась обменять на него двух заключенных в тюрьму финских профессоров. (По словам одного биографа, Ленин заявил, что он с радостью обменял бы на Риду преподавательский состав целого колледжа.)

Страдая от цинги, вызванной почти трехмесячной отратительной тюремной пищей, Джек на время оставил надежду на поездку в Соединенные Штаты и вернулся в Москву. Луиза же пустилась в трудное и рискованное путешествие, чтобы быть рядом с ним.

В Москве в начале 1920 г. с Джеком встретилась анархистка Эмма Голдмен, которую власти США депортировали в Россию после налета на радикалов. Они были старыми друзьями по Вилледжу, но если Рид достиг политической зрелости, то Голдмен по-прежнему изрекала лозунги об абстрактной бесклассовой «свободе». (По словам одного из биографов, Рид однажды сказал ей: «Вас несколько смутила революция в действии, потому что вы имели с ней дело только в теории». В последующие годы Голдмен стала злым врагом Советского Союза.)

Рид присутствовал на II конгрессе Коммунистического Интернационала, где выразил несогласие с предложенной политикой в отношении работы коммунистов в Американской федерации труда. После конгресса он вошел в состав делегации на съезде народов Востока, который проходил в Баку...

По возвращении в Москву Рид попал в объятия своей жены, и они счастливо провели неделю вместе. На протяжении этого кратковременного периода они весело гуляли по улицам Москвы, посещали оперу и балет, ходили в музей и картинную галерею, брали интервью у Ленина и других выдающихся людей того времени.

Однако к концу этой счастливой передышки сыпной тиф обрел Джека Рида на пребывание в госпитале и на смерть. Ленин проявлял огромную симпатию к этому доблестному молодому союзнику-американцу и восхищался им. Рид был похоронен у Кремлевской стены с высшими почестями, которые только могла предоставить Советская Россия. Он прожил незаурядную жизнь.

*New World Review, 1982,
January — February, vol. 50,
p. 22—26*

*На русском языке
публикуется впервые*

**КОРЛИСС ЛАМОНТ
ДЖОН РИД:
СОЦИАЛИЗМ — ПУТЬ
К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Впервые я стал проявлять интерес к Джону Риду в 1920 г., когда поступил в Гарвардский университет. Очень скоро я услышал там о его знаменитом выпускнике 1910 г. — Джоне Риде. Однокурсниками Рида были известный журналист Уолтер Липпман, тонкий художник Роберт Хэллоуэл, выдающийся поэт Т. С. Элиот и другие. С волнением прочитал я книгу Рида «Десять дней, которые потрясли мир», этот, как признают и консерваторы, и радикалы, лучший отчет очевидца о Великой Октябрьской социалистической революции. К сожалению, мне не довелось встретиться с Ридом, так как в 1920 г. он умер.

Что меня особенно удивило — при взятии власти большевиками, как показано в великолепной книге Рида, было очень мало явного насилия. Насилие в широких масштабах стало применяться позднее, причем инициаторами его были не большевики — оно было навязано стране в форме кровопролитной гражданской войны, с тем чтобы свергнуть Советскую власть. На помощь контрреволюции

Текст любезно предоставлен К. Ламонтом составителю сборника.

послали свои войска капиталистические государства, в числе которых были и Соединенные Штаты. В настоящее время при современном состоянии советско-американских отношений эта вопиющая акция правительства США почти полностью забыта в нашей стране. Эта типично империалистическая агрессия повторилась в виде американских войны против Вьетнама, и вновь агрессивная политика проявляется в воинственной позиции президента Рейгана по отношению к миролюбивой Никарагуа.

Мой интерес к Риду продолжал расти, и в тридцатых годах я организовал комиссию по чествованию Джона Рида, состоявшую из выпускников Гарварда. Грэнвилл Хикс талантливо написал по ее настоятельной просьбе биографию Рида. Однокурсник и близкий друг Рида Роберт Хэллоуэл по заказу комиссии написал его портрет. Выполненный маслом на стекле, этот портрет вышел очень хорошим и теперь постоянно висит в Доме Адамса в Гарварде.

Интерес к Риду жил во мне. Будучи преподавателем философии в Колумбийском университете, я тесно сотрудничал с библиотекой редких книг и рукописей, где помог создать специальные коллекции о поэте Джоне Мейсфилде, художнике Рокуэлле Кенте и философе Джоне Сантаяна.

Эта библиотека располагала собственным отделом в общей библиотеке Колумбийского университета. Просматривая однажды старые рукописи и другие материалы, я наткнулся на несколько потрепанную тетрадь в черной обложке. Открыв ее, я с изумлением прочитал: «Сборник стихотворений Джона Рида, представленный Лео Столлером в качестве частичного выполнения требований, предъявляемых к степени магистра искусств на факультете философии Колумбийского университета. Июнь 1947 года». Профессор Столлер не пытался опубликовать эти стихотворения, и они много лет лежали в неизвестности в библиотеке Колумбийского университета.

Несколько лет назад по всей стране прошла популярная кинокартина о жизни Джона Рида — «Красные». Мне

вдруг стало ясно, что стихотворения Рида, которые я случайно обнаружил, следовало бы опубликовать. И весной 1985 г. «Лоренс Хиллэнд компани» из Уэстпорта, штат Коннектикут, выпустила «Сборник стихотворений Джона Рида» в мягкой обложке.

Книга эта явилась сюрпризом для литературного мира, потому что слава Рида покоилась прежде всего на его рассказе о русской революции. Мало кто знал, что он не только выдающийся журналист и мастер прозы, но и талантливый поэт.

Однако бросим взгляд на полную опасностей жизнь Джона Рида. Он был деятельным активистом с самого начала. Уже в Гарварде Рид принимал активное участие в жизни университета и писал стихотворения в студенческий журнал «Насмешник».

Путешествие в Европу на грузовом судне было первым важным шагом Рида после окончания Гарварда. Он уговорил своего однокашника Уолдо Пирса поехать вместе. Когда судно, предназначенное для перевозки скота, вышло из гавани, 700 быков, находившихся на борту, стали издавать такое зловоние, что Пирс не выдержал. Поразмыслив несколько минут, он оставил свой кошелек и часы на постели Рида и выпрыгнул за борт. Погода была довольно теплая, и, когда Пирс проплыл около полумили, рыбаки подобрали его и доставили на берег.

Капитан судна вскоре обнаружил отсутствие Пирса и тут же обвинил Рида в убийстве. Объяснение Рида не убедило капитана, и, когда пароход прибыл в Ливерпуль, капитан надел на подозреваемого наручники и передал комиссии следователей. Рид стал давать показания, и тут в комнату вошел Уолдо Пирс. Смехотворное следствие на этом закончилось. А случилось вот что: когда Пирса высадили на берег, он сел на пароход «Луизитания», который прибыл в Англию двумя днями раньше.

Хотя Рид родился и вырос в зажиточной семье в Портленде (штат Орегон), он рано усвоил либеральные и

радикальные политические взгляды. Наиболее ярко его позиция проявилась в 1913 г., когда Рид было 26 лет. Он выступил в защиту бастующих рабочих шелкоткацких фабрик в Патерсоне (штат Нью-Джерси). За участие в пикетировании Рид был арестован и четыре дня провел в тюрьме. Через месяц-два он организовал в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке замечательный спектакль, изображавший стачку текстильщиков.

Я не буду пытаться перечислять другие выдающиеся факты из биографии Рида, но хочу особо упомянуть об освещении им мексиканской революции в нью-йоркской газете «Уорлд». Рид делал упор на описании военных подвигов генерала Панчо Вильи. Его репортажи были столь превосходны, что скоро он был признан ведущим военным корреспондентом. Свои депеши Рид впоследствии опубликовал в первоклассной книге «Восставшая Мексика».

Жизненный путь Рида после начала первой мировой войны привел его в Юго-Восточную Европу, на Балканы. Оттуда Рид отправился в Россию. Находился он там и тогда, когда произошла Октябрьская революция. Рид лично познакомился с Лениным и другими советскими лидерами. Возвратился в Америку и сразу попал в немилость у правительства Соединенных Штатов, которое конфисковало его бумаги и записи, задержав тем самым работу над «Десятью днями, которые потрясли мир».

После опубликования книги Рид возвратился в Советскую Россию. Как пламенный коммунист, он поехал на дальний юг, в город нефти Баку, чтобы присутствовать на съезде народов Востока. Там в изнуряющей жаре и сутолоке он заразился тифом. Хотя Рид добрался до Москвы быстро, он не смог справиться с этой ужасной болезнью и умер за пять дней до своего 33-летия, которое приходилось на 22 октября 1920 года. Гроб с его телом был установлен для последнего прощания. Во время похорон за гробом по Красной площади, где Рид был предан земле у Кремлевской стены, шла процессия в несколько тысяч человек.

Я всегда глубоко сожалел о его преждевременной смерти.

Я вкратце рассказал об общественной деятельности Джона Рида, но он жил и полнокровной личной жизнью, в которой было немало веселья богемы, десятки верных друзей, страстные любовные романы и, наконец, великая любовь к его постоянной спутнице Луизе Брайант, на которой он потом женился. Американский критик Луис Антермейер дал меткое определение Риду: «Он был идеалистом, в котором веселый юмор сочетался со спокойной страстью к правде... Рид помнится мне жизнелюбивым борцом за такое будущее, в котором поэты получают возможность бросить миру вызов и, вероятно, изменить его так, как они его видят». Джон Рид был «самой яркой личностью того периода».

Взяв за отправную точку упоминание г-на Антермейера о поэзии, вспомним, что, когда Рида арестовали впервые за пикетирование и полицейский задал ему вопрос о профессии, он ответил: «Поэт». Этот эпизод возвращает нас к «Сборнику стихотворений», который, хотя и не является выдающимся литературным произведением, выявляет специфические аспекты характера и талантов Рида, показывая малоизвестную сторону его литературной деятельности и его стремлений. Книга подчеркивает трагедию этого динамичного человека, умершего в расцвете жизни. Смерть оборвала возможность осуществления других выдающихся замыслов Рида.

Это был отважный, умный, жизнелюбивый, разносторонний человек, который, несмотря на короткую жизнь, стал героем советского народа и всех тех американцев, которые стремятся к социализму, считая, что это — путь к лучшей жизни человечества.

Рид был тем человеком, который оказал на меня огромное влияние.

Нью-Йорк, май 1986 г.

Публикуется впервые

КАРЛ ХОВИ

ЛЬВЕНОК

ДЖОН РИД, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

Когда Джона Рида выпустили из тюрьмы в Патерсоне, куда он угодил за такую пустяковую провинность, как непочтение к полицейскому, ему было чем поделиться с читателем. С того и началось наше знакомство; раньше этот широкоплечий юноша с густой копной волос как-то не попадался мне на глаза. И вот, сидя у себя за столом и пытаясь оценить с редакторской точки зрения его рассказ, я дивился веселому оживлению рассказчика — ведь сама тема, казалось бы, не настраивала на веселый лад. А он вспоминал об этой грязной дыре так, словно речь шла о восхождении на горную вершину, когда всей грудью вдыхаешь свежий воздух. В его рассказе была такая магическая образность, что люди, о которых он говорил, обретали реальность, передо мной возникали, как живые, коротко остриженные негры, играющие в кости на полу, по которому бегают тараканы, и белые арестанты — среди них и такие, кому уже не на что было надеяться. Было ясно, что в них он видит великолепное доказательство несокрушимости человеческого духа, который не одолеть, в какие бы жуткие условия ни поставили человека...

Однако рассказу своему он дал шуточный заголовок «Гостиница шерифа Радклиффа». Как это было на него похоже! Безошибочный инстинкт подсказал ему, что, сдобривая гнев насмешкой, легче задеть читателя за живое. Но, пересыпая шуточками описание патерсонского заведения и его злополучного хозяина, он и не думал скрывать собственного мнения: эта жуткая мусорная яма, куда швыряют людей, как отбросы, — позор для общества, допускающего подобные явления.

Нельзя было не удивляться ясности его духа и мастерству, казалось, не знающему трудностей ни в чем. Такой

темперамент и притом такая логичность изложения, такое умение взять быка за рога были у нас внове. С радостью, которая служит нам лучшим вознаграждением за все тяготы редакторской лямки, я вцепился в рукопись, прочел ее одним духом и заговорил с автором о работе для нас на будущее. Я был уверен, что все написанное этим мальчиком будет столь же далеко от тусклого подражания его маститому предшественнику Стивену Крейну, как и от модного в те годы «живописного» репортажа. Он писал так, что казалось, порыв свежего ветра, распахнув окна, ворвался в затхлую обитель, в которой прозябала наша литература. Появился новый писатель, засиял свет нового таланта.

Высокий, с непокрытой головой, стоял он в моем кабинете-клетушке: стоя ему всегда лучше говорилось, лучше слушалось. Он был немногословен. Лицо — бледное, решительное, солнечно освещенное изнутри — иначе и не скажешь!

— Вам, вероятно, нужно обдумать мою статью? — спросил Рид.

— Нет.

— Вы хотите сказать?..

— По-моему, она великолепна. Я просто в восторге.

— В ней много дурачества... — начал было он, смутившись. — Но я сказал то, что хотел.

Лукавой улыбки, кривящей его маленький, крепко сжатый рот, как не бывало, взгляд утратил приветливость, стал жестким, ненавидящим. Резким движением он стряхнул пепел с догорающей сигареты, усмехнулся, прикурил от нее новую.

Рид был крупный мужчина, широкоплечий и широкогрудый, с длинными, стройными ногами, не то чтобы мускулистый, но плотный, крепко сбитый, с той особой, без напряжения, собранностью, которая отличает пловцов — плавал он и правда великолепно. Голова у него была массивная, черты лица неправильные и не гармонирующие

между собой; высокий, чистый лоб, выступающий из-под шапки непокорных волос, глаза какого-то неопределенного цвета — пожалуй, все-таки серовато-зеленые, — курносый, слишком маленький нос и слишком тяжелый подбородок, чуть насмешливо искривленные губы. В целом, несмотря на все недостатки, лицо это было красивым и значительным — молодое, обаятельное лицо человека, бурно радующегося жизни; и все же при взгляде на него было ясно, что эти спокойные глаза в любую минуту могут вспыхнуть гневом. Гордая посадка головы говорила о решительности и мужестве, а уверенность, с какой он держался, так естественно сочеталась со скромностью, что не могла производить неприятное впечатление.

Глядя, как Рид переступает с ноги на ногу и курит одну сигарету за другой, я поймал себя на мысли, что, хотя он как будто и не похож ни на Гарри Кемпа, ни на Эптона Синклера, ни на Вейчела Линдсея, ни на Карла Сэндберга, он чем-то все-таки напоминает их всех сразу. Должно быть, потому, что принадлежит к одной с ними породе «новых демократов», во весь голос говорящих правду о своих современниках.

Помнится, у нас зашел разговор о литературной технике.

— Должно быть, — сказал я Риду, — вы пишете уже давно, и мне просто не повезло, что я до сих пор не читал вас. Ведь такая уверенная и свободная манера изложения сама не дается — нужен большой опыт. Вы рассказываете обо всем, что видели, но безошибочно определяете момент, когда нужно остановиться, чтобы не надоесть читателю излишними подробностями.

Рид затаился сигаретой, потом отнял ее от губ и, следя за уходящим колечком дыма, произнес:

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Очень рад, если, по-вашему, мне это удастся. Иной раз недосказанное говорит читателю больше, чем то, что выражено словами. Пожалуй, такая мысль может показаться смешной.

— Нет, это интересно.

Впоследствии я имел возможность проверить, насколько правильным было первое впечатление, которое произвел на меня Рид. Я не мог не почувствовать его страстной любви к настоящей, живой литературе, служению которой он решил посвятить свою жизнь, но не менее сильной была и его ненависть к царящей в мире несправедливости. Никто не мог предсказать тогда, что это чувство победит в нем. Поэтому я и позволил себе представить читателю Рида таким, каким я его тогда увидел, хотя с годами он и сформировался в человека совсем иного склада.

Как сейчас, вижу его. Вот он стоит в дверях все того же кабинета-клетушки. Он только что приехал из революционной Мексики, о которой привез мне блестящие очерки, или явился прямо из пекла колорадской бойни, или с театра военных действий в Европе — немыслимый оборванец в грязной шинели. Он ждет приговора. Возвращаясь, он прежде всего хотел знать, справился ли он. Но весь его вид выражал мучившее его горестное недоумение, которое, как ему казалось, ни он и никто другой не мог разрешить: зачем люди причиняют друг другу так много зла?

Веселые девяностые

Джон Рид родился 22 октября 1887 г.

Мир в ту пору не знал бурь. Век еще был верен своим обычаям, идеалы его — благонамеренность, культура, зажиточность — были незыблемы; машина социального устройства работала ровно и без перебоев.

В родном городе Рида, Портленде, в штате Орегон, ничто не напоминало о Диком Западе скотоводов. Напротив, здесь старались, чтобы все было чинно и «утонченно», следуя в этом примеру восточных штатов. Семья Рида и ближайшее ее окружение великолепно гармонизируют с этим фоном и обрамлением. И сам Рид возвращен

и воспитан по всем правилам эпохи, которую называют викторианской.

В наши дни викторианство одних смешит, вызывает тоску по нему и восхищение у других, третьи готовы смешать его с грязью. Но, каковы бы ни были наши мысли о нем, чувства наши надуманны, лишены живой актуальности — совсем не то, что было у тех, кто родился и рос в ту эпоху, а следовательно, и сам не мог не нести на себе ее отпечатка. Чтобы восстать так решительно и бесповоротно, как Джон Рид, нужна коренная ломка в мировоззрении и в сердце человеческом. Только мужество, стойкость и внезапное — словно с него разом сняли какие-то чары, — бурное пробуждение этого необыкновенного человека могли превратить его жизнь в то, чем она стала.

Сегодняшняя наша жизнь слишком перегружена и тревожна. И, оглядываясь на пятьдесят лет назад, нельзя не удивиться — какие цветущие люди, какой странный образ жизни и поведение, какими легкими и беззаботными они нам кажутся. Неужели и правда так жили, и всего каких-нибудь полвека назад? Истина, конечно, требует всестороннего рассмотрения вопроса, но в общем смысл самого существования представлялся этим нашим совсем недавним еще предшественникам проще, материализуясь в культе комфорта, иного и большего блага не мыслили и не хотели, и те, кому оно было дано, могли почитать это верхом блаженства и гордиться. Перед богатством искренне благоговели. Богатство возносило человека в общем мнении на недостижимую высоту над скопищем простых смертных, вызывая почтение и священный трепет. «Она вышла замуж за человека с деньгами», — в устах заботливых родителей это было высшим одобрением брака. И в этом общем идолопоклонничестве не видели никакого пресмыкательства, ничего порочащего человека — в нем видели только свидетельство того, что общество едино и неделимо, составляет одно целое.

За редким исключением, почти у всех еще хватало наивности искреннейшим образом считать, независимо от того, добились ли они лично чего-нибудь или нет, само по себе устройство жизни изумительным и совершенным, пусть даже число ее избранников и резко ограничено. Не в том разе и состоит демократия и истинное равенство, что миллионер и какая-нибудь швея Сюзии представляют себе главное в жизни совершенно одинаково? Он привозил из Италии и ставил в концертном зале у себя в особняке мраморную нимфу. Она брала простой коровий рог, позолотив и набив его ватой, вешала на газопроводную трубу в своей темной комнатенке с окнами на железнодорожные пути — вот ей и булавошница. Оба чувствовали себя наверху блаженства.

Промежуточное между ними положение занимали люди умеренного благосостояния. Эти почтенные люди могли себе позволить жить, не стесняясь в расходах. Наглядным доказательством последнего — каждый, у кого есть глаза, да видит — служили панели из золотистого дуба в столовой, новизна паркета, брюссельские ковры в гостиной, где стояли столики из темного ореха, на мраморных столешницах которых красовались скульптурная группа работы Роджерса, изображающая игроков за пашечной доской, или — совсем как живые! — чучела экзотических птиц под стеклянными колпаками. Люди состоятельные чувствовали себя счастливыми, которым ничего от жизни больше не надо, и хотели, чтобы о том было известно и ведомо всем и каждому.

Токвиль¹ в своей известной книге высказал мысль, что равенство, вместо того чтобы объединять, на деле только разобщает людей; равенство, по его словам, может лишь сосредоточить все внимание каждого на себе самом, что,

¹ Токвиль Алексис де (1805—1859) — французский политический деятель, историк, публицист. В 1835—1840 гг. вышел его знаменитый труд «О демократии в Америке», и поныне оказывающий большое влияние на идеологов буржуазной демократии. — *Прим. перев.* (Здесь и далее примечания переводчика.)

в свою очередь, должно «развивать в душе каждого стремление к удовлетворению лишь материальных запросов». И если принять это изощренное замечание Токвиля на счет всей нашей цивилизации, то охарактеризованное нами положение неизбежно, и порицать его столь же бессмысленно, как и оправдывать.

А признаки, говорящие о том, что так будет не вечно, были налицо. Философские воззрения Эмерсона¹ и Торо² тем временем изживали себя, и пора уже им было. Эти блестящие мыслители уводили людей от прозрения, соблазняя их бегством от действительности. Что, например, вам проку, если вы узнаете о законе Эмерсона, говорящем, что зло само себя наказывает? Приятно, конечно, слышать. Но жестокость, эгоизм, неравенство от этого не теряют доброго согласия с заведенным в жизни распорядком, с которым они идут в ногу. Жизнь всегда была особенно хороша для тех, кто хорошо в ней устроен.

К фабричным рыжим корпусам
Поля для гольфа примыкают,
И дети, целый день трудясь,
Глядят, как взрослые играют.

Во всяком уважающем себя обществе автора подобных строк приняли бы в те времена не как почетного гостя, хотя за стол бы с собой и посадили. Выражать интерес, да еще такой серьезный и сочувственный к низшему классу, почиталось и недостойным и недопустимым. Исключе-

¹ Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский философ, поэт, публицист. Критиковал капиталистическое общество с романтических позиций.

² Торо Генри Дэвид (1817—1862) — американский писатель-романтик, публицист, философ. Выступал как обличитель буржуазного общества. В книгах «Неделя на Конкорде и Мерримак» и «Уолден, или Жизнь в лесу» развивал мысль о том, что свобода требует отказа от материальных благ, от комфорта, стремление к которым закабалляет людей и неизбежно ведет к эксплуатации человека человеком.

ние из правила допускалось лишь в том случае, если это поставляло писателю живописный — или казавшийся таковым его читателям — материал: кривые лесенки переполненных жилищ, пожарные лестницы, покрытые сухим, полумертвым плющом, дети трущоб, со всклокоченными волосами, с неестественно блестящими глазами — вероятно, Т. Б. Ц., — отцы, возвращающиеся в день полудня, пропив все до нитки, так что нечем будет заплатить за квартиру... Иностранец Джейкоб Ринс поместил в весьма добропорядочном журнале «Сенчури мэгэзин» статью «Так живут остальные». Что ж, «остальные» всегда были и будут.

Но даже и в то благословенное время находились еретики, сеющие крамолу.

Первые перебои

Ребенку Ридов было дано при крещении имя Джон Сайлес. И пока он еще ничем не отличается от других детей — лежит себе в своей детской кроватке. А тем временем привычное течение жизни, помеченное годом 1887-м, жизни, полной викторианского оптимизма и приятности, грубо нарушено одним зловеще знаменательным событием.

В Чикаго семь человек брошены в тюрьму, их судят и приговаривают к смертной казни через повешение. Они известны как хеймаркетские анархисты, суд признал их виновными в убийстве шести полицейских бомбой, брошенной на многолюдном народном сборище. Поступок этот, не знающий ничего себе подобного за всю историю Америки, представляется гнусной и страшной изменой нашей свободной, демократической системе правления, и все — не вдаваясь в анализ причин, будем совершенно объективны, — все добропорядочные американцы в ужасе от этой семерки.

Никто не видел человека, бросившего бомбу. Признание их виновными зиждется на том шатком основании, что они действительно грозили ответить насилем, если

полиция не прекратит своих бесчинств, — этого достаточно для того, чтобы умерщвление их было признано не противоречащим закону и праву. Хорошо уже хотя бы то, рассуждали тогда, что им заткнут рот.

Чикаго — не только великий мясник, поставляющий свинину всему свету; Чикаго — живой очаг, где собран самый жар негасимого огня американского предпринимательства, музыка которого — в урчании машин, живопись — в дыме фабрик, патриотизм — в фанатической вере в нашу способность выпускать больше всех лучших в мире товаров, быстрее и дешевле, чем любая другая страна, и, разумеется, с солидной прибылью. Товары Чикаго производил изумительно, и те, кто сотворил это чудо, чьи ловкие цепкие руки держали бразды правления, собирались и впредь держать их той же мертвой хваткой.

Неизбежный ход событий привел к возникновению боевой рабочей организации, избравшей для себя романтическое название «Рыцари труда»¹; эти рыцари не носили перьев и плюмажей, но с полным правом могли гордиться не меньше самых могучих владык рыцарских времен: они выковали оружие, столь же грозное, как секира и меч, — забастовку.

Над озером сияло солнце. Легкая пыль низко стелилась над деревянными чикагскими мостовыми. Дети бежали в бакалейные лавки — мать послала за покупками. А пока жизнь шла своим обычным порядком, в начале

¹ «Рыцари труда» — Благородный орден «рыцарей труда» был основан в 1869 г. в Филадельфии закройщиком У. Стивенсом. До 1878 г. действовал как тайная организация, ставящая своей целью борьбу за права рабочих. В 80-х годах Благородный орден переходит к активным действиям и проводит ряд забастовок по всей стране; растет число его сторонников, усиливается его влияние в массах. Отсутствие единой программы, острые внутренние разногласия и предательство лидеров, сгруппировавшихся вокруг ставшего в 1886 г. во главе организации ренегата Паудерли, резко подорвали престиж Благородного ордена, и к концу 90-х годов он распался.

Блюайленд-авеню разыгрывалась драма: на огромном заводе сельскохозяйственных машин Маккормика проводился локаут, отличавшийся от прежних лишь красноречивой прямоотой, с какой он был объявлен. «Я не уступлю своего права нанимать кого угодно, независимо от того, белые они или черные, состоят в профсоюзе или не состоят, протестанты они или католики», — заявил глава предприятия. Сказано напрямик? А почему бы и нет? Но насколько честно и сколько здесь явного своекорыстия — пусть устанавливают психологи.

Но если от одних на арену вступили такие львы рыкающие, то и противная сторона не собиралась оставаться в долгу. У рабочих были свои могучие трибуны, люди, посвятившие всю свою жизнь рабочему делу; с задних площадок трамваев, остановленных на уличных углах, они произносили при свете керосиновых фонарей, когда стемнело, страшные речи, которые газеты называли «поджигательскими»... каковыми им, по существу, ведь и надлежало быть.

Общественное мнение не принимало во внимание, что рабочие добивались лишь справедливости: нет, их действия опасны, это угроза самому строю. Да вызовите же войска, пусть этих смутьянов проучат как следует. Но мэр Чикаго Картер Гаррисон не согласился. Ну, тогда пусть в дело полицию, наша полиция не даст нас в обиду...

Настал святой день, в церквах, посещаемых солидной публикой, громко служили пасхальные молебны, позднее залитые солнцем улицы заполнили нарядные толпы гуляющих; а тем временем рабочий люд с грязных окраин вышел на береговую полосу к озеру на демонстрацию, чтобы потребовать восьмичасового рабочего дня и услышать своих лучших ораторов, четверым из которых вскоре суждено было навсегда умолкнуть в петле, под черным капюшоном, который палач надевает на смертника.

Третьего мая полиция устроила побоище рабочим, собравшимся у ворот завода Маккормика, причем не обо-

плось и без стрельбы. Один забастовщик был убит, пятеро ранены. Атмосфера сгустилась. Кровавое пролитие не могло быть оставлено безнаказанным. Напряжение борющихся сторон стало пугающим.

Мэр заверил город, что полиция справится со своей задачей, какие бы ни развернулись события.

Редактор газеты «Арбайтер цайтунг» Огюст Спис, принимавший участие в митинге 3 мая, подготовил листовку, призывавшую всех завтра вечером на Хеймаркет-сквер на массовый митинг протеста. Листовка вышла под шапкой «Рабочие, к оружию!» — к чему наборщик уже от себя добавил: «Отмщение!» Мелодраматические эффекты? Обыватели смотрели на дело иначе и в страхе наглухо закрыли ставни на окнах.

Но громадная толпа, затопившая вечером 4 мая Хеймаркет-сквер, собралась здесь, чтобы только послушать, что ей скажут... по крайней мере, казалось именно так. Люди слушали пламенные речи и... оставались пассивны. Вскоре начал накрапывать дождь, и число собравшихся стало заметно убывать. Мэр Гаррисон отправился домой, завернув предварительно в ближайший полицейский участок сказать, что никаких беспорядков не предвидится.

Но терпение не входило в число добродетелей начальника полиции этого района, и тем более не склонен был он терпеть этих непрошенных ораторов, собирающих упрямую толпу, с которой нелегко иметь дело: он послал наряд в полтораста полицейских, приказав очистить площадь. Роковое решение!.. Бомба — никто и не заметил, откуда ее бросили, — разорвалась в самой гуще полицейского кордона, сея смерть. Драма становилась трагедией.

Возмущенное общество, не находя, на кого обрушить свои громы и молнии, начало метать их без разбора на всех и всякого, чьи общественные симпатии казались подозрительными; но вскоре была найдена цель, более точно обозначенная: мишенью стали люди, грозившие дать бой в случае нападения на митинги рабочих. Семь человек были

арестованы и упрятаны — в ожидании процесса — за решетку.

Имена Списа, Шуоба, Филдена, Парсонса, Фишера, Лингга, Хибба, говорящие нам ныне не больше, чем любое имя, взятое наудачу из городской адресной книги, звучали тогда всюду, бесконечно повторяясь в прессе, как имена злобных, коварных заговорщиков, ниспровергателей порядка. Они были анархистами (уже само это слово звучало тогда ввиду своей новизны устрашающе), то есть необычайно опасной разновидностью породы человеческой, хотя портреты их в бульварной прессе, на страницах которой они соседствовали с рекламными красотками в трико, совсем не были страшными. Спис, редактор газеты, выглядел человеком вполне солидным и прямодушным; автор передовых, бородатый Шуоб, по виду был похож скорее на учителя; лицо Филдена, кроме бороды, было ничем не примечательно; далее шел бывший методистский священник Парсонс, в прошлом блестящий редактор провинциальной газеты, и Лингг, наконец-то хоть один, внешность которого словно обличала прирожденного преступника: бледный, высокомерно отчужденный; в двадцать два года он видел, как конная полиция врзалась в толпу демонстрантов, слышал, как кричали люди под копытами лошадей, — и это зрелище завершило формирование его характера, с тех пор он твердо знал свою судьбу; но как раз Лингг не был в числе приговоренных к повешению.

В день казни анархистов весь город был подавлен ожиданием мести: никто не сомневался, что она последует тотчас же. Люди ждали, что не успеет петля на шее осужденных затянуться, как в городе тут же начнется вакханалия повальных убийств и самых зверских насилий. Убежденные — непонятно почему, — что между требованиями восьмичасового рабочего дня и массовыми убийствами существует прямая причинная связь, обыватели поспешно оставляли насиженные гнезда и увозили семьи из города; корреспондент «Дейли ньюс», которому был поручен

репортаж о казни, сунул в карман револьвер и ушел из редакции бледный, перепуганный насмерть.

А потом все прошло. Пелена ужаса рассеялась. Жизнь сразу же стала снова прекрасна, и Чикаго, самый грешный и самый американский из всех наших великих городов, избыл свое наваждение.

Забывтый орел

Но тем дело не кончилось. Чикаго стали преследовать галлюцинации: призрак Хеймаркета блуждал по улицам города по ночам, совесть не могли не мучить сомнения, заглушить которые можно было, лишь вновь разжигая прежние недобрые настроения.

Три анархиста, избежавшие казни, отбывали в тюрьме пожизненное заключение. Будь они казнены, само время позаботилось бы о том, чтобы дело было предано забвению. Но они были живы. И вот семь лет спустя Джон П. Олджелд, тогдашний губернатор штата Иллинойс, решил, что была допущена несправедливость: эти люди ни в чем не повинны — и он их помиловал.

Такого дерзкого и оскорбительного для общественного мнения поступка в Америке до сих пор не позволял себе еще никто из государственных деятелей. Олджелд был расславлен как анархист, гнусный демагог, карикатуристы изображали его не иначе как жутким страшилищем с факелом или бомбой в руке, приканчивающим цивилизацию.

Но бесстрашный губернатор продолжал гнуть свою линию. Когда разразилась стачка на Пульмановском заводе, он терпеливо уговаривал президента Кливленда не посылать солдат в качестве штрейкбрехеров. Выдвинутая повторно, кандидатура его была провалена на очередных губернаторских выборах. Но, «опаснейший из всех врагов государства и его учреждений», этот сын нищих иммигрантов по своему врожденному чувству справедливости, по своей честности и стойкости под обрушившимися на него ударами сам по себе стоял целого государственного учреж-

дения. Умер он разбитый, но по-прежнему негибимый, почти в полном одиночестве, верность ему сохранили лишь несколько сторонников, хотя каждый из них стоял многих: Джеймс Адамс¹, Клэрэнс Дэрроу², Бренд Уитлок... И нам остается лишь повторить слова Вейчела Линдсея: «Да будет сладок под камнем могильным сон твой, забытый орел».

Ближайшие годы показали, как точно хеймаркетская трагедия выразила неотвратимость конфликта, назревающего между поборниками реформ и их противниками. Все упорней и упорней становятся борцы рабочего движения, их требования звучат все тверже и тверже, становятся угрожающими. На общественной арене появляется такой человек, как Хейвуд, вождь ИРМ. Хейвуд толковал уже не о повышении расценок, не о сокращении рабочего дня — он говорил напрямик о захвате рабочими в свои руки самих предприятий. «Лицо нежелательное в стране», — сказал о нем Теодор Рузвельт, вложив в эти слова, в дополнение к их прямому смыслу, всю свою страсть политического реформатора, для которого иной путь немыслим.

Смена уходящего века новым ознаменована также и тем, что погруженный в спячку государственный организм, которому лишь бы не мешали спокойно справлять его собственные нужды, начинают грубо расталкивать и с другого бока — на этот раз беспокойство исходит из кулуаров конгресса. Новые веяния становятся большой силой. Их вдохновители берут под свое покровительство простого человека и с фанатической одержимостью требуют уважения к его правам. Политические вожди этого нового крестового

¹ *Адамс Джеймс Траслоу* (1878—1949) — американский общественный деятель, историк, публицист. Автор капитального исследования «Основание Новой Англии» (1921).

² *Дэрроу Клэрэнс Сьюард* (1857—1938) — американский адвокат. Выступал защитником на нашумевшем «обезьяньем процессе» в Дейтоне (1925), связанном с запрещением преподавать в школах учение Дарвина о развитии видов. Автор нескольких памфлетов и романов.

похода — неистовый Теодор Рузвельт, с беспримерной прямо-
мотой и резкостью требующий к ответу «злодеев-толстосу-
мов»; Вильям Дженнингс Брайан¹ из Небраски, разду-
вший целый пожар своим требованием введения в свободное
обращение серебряной монеты, многие, если не большин-
ство его последователей весьма неопределенно представ-
ляли себе, к чему он клонит — «биметаллизм»² (а что это,
собственно, такое?); но зато им было ясно, что он рубит
под корень нечто вполне определенное, когда кричит: «Вам
не надеть тернового венца на чело труженика, вам не рас-
пять род человеческий на кресте из золота!»; неисправимый
упрямец Роберт Лафоллет³, Боевой Боб, — одинокий волк
в сенате Соединенных Штатов. Все эти люди совсем не по-
хожи друг на друга, и общее, можно сказать, у них лишь
то, что их так предавали анафеме, как мало кого еще за
всю историю их страны.

Не могло порадовать их и отношение тех самых людей,
за дело которых — если говорить, разумеется, лишь в са-
мом широком смысле — они боролись: те не признавали
их своими героями. Рабочие вожди относились к ним недо-
верчиво, а то и нескрывая враждебно. Для них все это
было только политиканство, а людям, твердо знающим, в
чем состоит недопустимость их сегодняшнего положения,
не желающим мириться с ним и убежденным, что буду-

¹ Брайан Вильям Дженнингс (1860—1925) — крупный амери-
канский политический деятель. С 1913 по 1915 г. был государствен-
ным секретарем США, затем — вице-президентом. Умер во время
«обезьяньего процесса», на котором выступал как государственный
обвинитель.

² Биметаллизм — денежная система, при которой законным
платежным средством являются два металла — золото и серебро;
был принят в XVI—XIX вв. в ряде стран Европы и в США. Рез-
кое увеличение к концу XIX в. добычи серебра в США делало не-
возможным сохранение твердого баланса между курсом по золоту
и по серебру, что и поставило вопрос о ликвидации биметаллизма.

³ Лафоллет Роберт Марион (1855—1925) — лидер прогрессивно-
го крыла Республиканской партии США, борец за демократические
реформы в области законодательства.

щее принадлежит им, что им за дело до взаимных происков и интриг одной клики политиканов против другой?

Рид окажется в самой гуще больших событий. Он, с его юмором и обаянием, с неистребимой молодостью и с душой поэта, как не похож он ни на одного из легендарных пророков! А ведь и для него тоже самые близкие станут далекими, чужими и отрекутся от него, от бесстрашного, искреннего — душа нараспашку — неисправимого Рида. Другому такую бы одаренность — оставался бы себе в тепле и уюте, с правящим классом, а свое бунтарство сбыв бы в поэзию. Рид обратил его в жизнь. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сказочный замок

Быть внуком такого человека, как Генри Грин, уже само по себе значило немало. Никогда не отличавшаяся умеренностью пресса бесстрашного Запада сравнивала его с Алкивиадом, с этим богатейшим и обаятельнейшим, самым беспутным и популярным из сынов древних Афин, — вот как почитали деда Джона Рида, первого среди граждан Портленда в Орегоне, когда его уже не было на свете.

Грин был живым опровержением старой бабьей сказки насчет того, что из пьющего толку не выйдет: он-то как раз и пил так, что только слепой не заметит, хотя все у него и было при этом чинно, благородно... а как преуспел! Обогнув в пятидесятых годах прошлого века мыс Горн, он высадился с первыми поселенцами на северном побережье и затем прочно обосновался в новом городе на берегах Уилламетты. Введение в Портленде в эксплуатацию трех таких жизненно важных отраслей городского хозяйства, как газификация, водопровод, железодельный завод, — от начала до конца его рук дело. Когда Портленд уже обжили как следует и грязи на улицах не стало, Генри Грин отстроил всем на удивление особняк на Сидер-хилл.

Стилизованное под средневековый французский замок, здание это стало гордостью всего штата, — его высокие

башни с острыми коническими крышами были видны со всех концов города. К дому прилегали живописнейшие полянки и заросли кустарников; вела к нему широкая аллея, по обеим сторонам которой выстроились в ряд темные ели, за домом начинался девственный лес, настоящие дебри, в чаще которых вечерами, бывало, нет-нет и блеснут оленьи глаза. А дальше открывался вид на горы, на снежную вершину Маунт-Худ.

Шумно и весело праздновали на Сидер-хилл появление на свет Джона Рида. Крестили младенца в церкви Троицы, самой красивой и богатой в Портленде, где собирались сливки местного общества. Мать Джона, урожденная Маргарет Грин, была не из тех, кто допустит, чтобы у ее детей хоть что-нибудь было непервоклассным.

А пока празднование этого торжественного события шло в хозяйских покоях своим чередом, в подвальной части дома Ли Синг, повар-китаец, уплетал со своими друзьями и соплеменниками диковинные китайские блюда. Ли Синг выставил им и доброе американское виски. А когда они разошлись, продолжал доказывать свою преданность дому, уединившись в кладовой, где позднее обнаружили двенадцать чашек, составленных в шеренгу: наполнив всю дюжину королевским ворчестером, добряк Ли Синг осушил их одну за другой по очереди, присоединив таким образом ко всем добрым пожеланиям новорожденному еще и это, сделанное на заморский лад и словно предвещающее малышу жизнь, полную разнообразных событий.

В автобиографии, озаглавленной «Почти тридцать», Рид вспоминает обстановку, в которой проходило его детство,— жизнь, тон которой задавался в горделивом особняке на Сидер-хилл. Вдова Генри Грина умела пожить в свое удовольствие и делала это на свой лад, нимало не считаясь с мнением высшего общества Портленда, которому гораздо больше импонировал бы образ жизни не столь расчуженный и своевольный. «Естественная терраса перед

домом с трех сторон была обсажена высокими елями, под корой которых были проложены газовые трубы; в летние вечера на траву стелили парусину, и при свете факелов, которые, казалось, вырывались из деревьев, устраивались танцы. Во всем этом было нечто фантастическое...

Затем мы обеднели и жили в маленьком домике в центре города, и вокруг моих молодых отца с матерью всегда толпилась веселая молодежь. Голова моя была полна сказок и рассказов о великанах, ведьмах и драконах. Я придумал чудовище по имени Хормуз, которое жило в лесу за городом и поедало маленьких детей, и запугивал им соседских маленьких мальчиков и девочек, а иногда и самого себя».

С годами пристрастие изумлять слушателей настолько, что люди рты разевали, вошло у Риды в привычку, не раз подводившую его как оратора. Бывало, такое закрутит, что слушатели просто не верят. А он и в ус себе не дует. Но когда сидит писать — дело другое. И тут у него одна забота — дать вам увидеть въяве то, что прошло перед его глазами, будь то хоть шабаш ведьм на улицах Саламанки.

Китайская прислуга стала у Ридов как бы частью семьи, «с ними в дом перекочевали призраки и суеверия, остатки древних междоусобиц, их идолы, блюда и напитки, непонятные, совершенно своеобразные обычаи и церемонии, полные сердечности и чувства собственного достоинства... Мне навсегда запомнились их косицы, гонги, красная папиросная бумага». (Позднее, когда уже много воды утекло, Риду лишь по чистой случайности не удалось съездить в Китай корреспондентом, о чем, конечно, можно только пожалеть.)

«Иногда у нас появлялся мой дядя — романтическая фигура, — игравший во владельца кофейной плантации в Центральной Америке, замешанный в революциях, загорелый и обросший бородой... Однажды прошел слух, что он был одним из руководителей революции, захватившей на несколько дней власть в Гватемале, и стал министром

иностранных дел; первое, что он сделал, это экспроприировал средства из национальной казны и устроил грандиозный правительственный бал, а затем объявил войну Германской империи, потому что в свое время в колледже он провалился по немецкому языку!»

Но как бы велики ни были странности и причуды Грин-ов, на матери Рида это никак не сказалось: характер ее был ровен и мягок. Она была в высшей степени щепетильна во всем, что касалось изящества и хорошего тона; она уволила няню за то, что та «допустила, чтобы какая-то девчурка из бедного квартала поцеловала Джекки», а также и потому, что эта истая дочь непокорного Запада знать не желала ни о каких положенных прислуге наколке и переднике. Но сына она поощряла во всем, что бы он ни затевал. Она научила его читать...

Мальчику не было отказа ни в чем: что бы он ни задумал, во всем полное одобрение и поддержка матери, которой и в голову не могло прийти, что настанет время — и сильные руки ее Джекки протянутся к людям из «бедных кварталов» и заключат их в объятия, вопреки всем правилам, которые для нее священны, и она будет содрогаться от ужаса и в то же время гордиться своим первенцем. Насколько проще все было со вторым ее сыном! Генри — тот всегда был примерным. Замечательно высказалась на этот счет бабушка Грин: «Гарри — агнец, а Джон — лев. Мне больше по сердцу лвы».

Не было в Портленде человека, который не знал бы отца Рида. Чарлз Джером Рид, Чи-Джи — иначе его, таков уж неискоренимый обычай, и не называли в городе, — был подлинным сыном той счастливой поры и своего благодатного края, всегда с неиссякаемым запасом захватывающих историй, не лезущий за словом в карман, полный дружелюбия. Предприимчивый делец, он тем не менее никак не мог взять в толк, как это ловкачи, с которыми он водит компанию, добиваются успехов, слава о которых гремела на весь Запад, развивавшийся в ту пору сказоч-

ными темпами. Чи-Джи взирал на все это иронически. Как президент Арлингтон-клуба, где к ленчу сходились именитейшие граждане города, он очаровывал и пленял правительственных чиновников, распределявших поставки, и его остроумие славилось далеко за пределами Портленда.

И все-таки в глубине души беспечный и обходительный Чи-Джи был не таким, каким казался со стороны. Жизнь не удовлетворяла его, это не давало ему покоя, но он и сам не мог бы назвать причип своей душевной смуты точно и определенно. Кроме одной.

Он всей душой хотел обеспечить сыновьям все те привилегии, которые дает в жизни образование лучшее, нежели получил он сам. Особенно это относилось к Джеку, с его живым умом, ярким воображением. Пусть у него будут и частные школы, и Гарвард, и поездка в Европу. А страховое дело совсем не столь уж прибыльно, и наскреести средства на осуществление всех этих замыслов была задача непростая.

Но и помимо этого было от чего потерять душевное равновесие. Человек столь проникательный и такой неподкупной честности, как Ч.-Дж. Рид, не мог оставаться равнодушным, видя всевозможные хищения и злоупотребления, которые творились вокруг. Но что было делать? И вдруг все образовалось само собой.

Теодор Рузвельт, этот воинствующий президент Соединенных Штатов, обрушившийся со всей своей прославленной энергией на орегонских лесопромышленников за спекуляции лесными участками, метнул молнию в самую гущу друзей и близких знакомых Чи-Джи. Переполох поднялся невообразимый. И вот, в самый разгар этого столпотворения Ч.-Дж. Рид неожиданно-негаданно получает назначение на должность федерального судебного исполнителя США — труд нелегкий: розыски людей, против которых возбуждается судебное преследование, и личная ответственность за их явку к главному прокурору США. Этот пост занимал тогда Фрепсис Дж. Хини, неутомимый и непро-

нищаемый, словно индеец, — от такого пощады не жди и такого не остановишь ни угрозами, ни пулями.

Новая жизнь началась для веселого отца Джона Рида: не до шуток и эпиграмм теперь было, не до острот — дело предстояло серьезнейшее.

Родители были людьми не робкого десятка, прочно устроенными в жизни, старающимися взять от нее все, что можно, благожелательными и со всеми приветливыми. И как ни велико было их внимание к детям, как ни заботливо они их опекали, воли своей они им не навязывали — склонности каждого из двух сыновей могли развиваться свободно и естественно.

Характер Джека в детстве никакими особенно замечательными поступками еще не заявлял о себе, но ребенком он был норовистым, если не сказать трудным. Бросалось в глаза, как подчеркнуто поглощен он самим собой. Догадывался ли кто-нибудь, что это у него только бравада, скрывающая, что он несчастен, что его мучит страх?

Во всяком случае, мисс Джуэл, его учительница в частной школе, это было невдомек, ей оставалось только позаботиться о том, как бы не пострадала ее репутация прекрасного педагога. Мальчик отлынивал от занятий, не слушал на уроках, был недоверчив, как ястребенок, которого хотят приручить. Приходит раз Генри в школу один, без брата, и от него с трудом добиваются — Джек сказал: «Не лезь. Я пишу мелодраму». Особенно же он отличился однажды на уроке по основам гражданства. Когда его вызвали, чтобы он привел пример качества, достойного похвалы, он заявил: «Ловкость, с которой моя бабушка достает контрабандой японские шелка». Бедняжку учительницу, совсем было готовую признать случай безнадежным, расписавшись тем самым и в своем полном поражении, выручило одно совершенно непредвиденное событие — появление некоего мужа науки, нагрянувшего в школу с тестами, определяющими умственные способности. Глаза Джека так и загорелись. Он буквально набросился на предложенные

вопросы и принялся писать со скоростью, которой позавидовал бы любой рысак. Его наставница следила за ним, приготовившись к самому худшему. Она ошиблась. Ответы не оставляли желать лучшего.

В «Почти тридцать» Рид ограничивается лишь самой общей характеристикой своего отрочества. Рассказ его интересен главным образом тем резким контрастом, который создается между юнцом, у которого душа постоянно уходит в пятки, и тем мужчиной огромной личной смелости, полюбившим опасность, в какого он позднее превратился.

В один прекрасный день шестнадцатилетний юноша очутился за три тысячи миль от родного дома, у гостеприимного парадного морристаунской школы, в Морристауне, штат Нью-Джерси. Событие это озадачило и его и ее. Расположенная в красивой загородной местности и прилагающая все усилия, чтобы выглядеть именно так, как, по ее представлениям, положено настоящей английской школе, эта школа специализировалась на выпуске маленьких джентльменов. Наш парнишка взирал на нее с опаской и в то же время затаив дух. Здесь, возможно, и начнется его жизнь.

Был он высок, сразу же располагал к себе, вызывал интерес: прекрасный широкий лоб под шапкой непокорных волос, серые глаза, неопределенного, чуть зеленоватого, оттенка, короткий нос, массивный подбородок. Глаза главным образом и придавали ему то особое выражение, которому никак не подберешь точного определения.

Морристаун — Кембридж

Жизнь слишком коротка, чтобы пристально вникать в то, как проходят школьные дни, даже если эта пора пережита в таком первоклассном колледже, как Гарвард. Ребята эти, у которых через несколько лет не будет ничего общего, в так называемый период формирования все удручающе на одно лицо. Причина, конечно, в их приви-

легированности. Искусственные поплавки держат их на искусственной глади водяной поверхности, и им не грозит — хотя со временем им того не избежать — опасность окунуться в пучину действительности. Все испытания здесь сведены к письменным экзаменам да необходимости как-то уживаться с однокашниками, так что они в избытке познают все радости юности и безмятежно счастливы, но ничего собой не представляют. Мнить же о себе им здесь полная воля, что кому вздумается. Лишь бы счета своевременно оплачивались любящей семьей, пребывающей, как было у Джона Рида, где-то на заднем плане.

Но прежде, чем считать вопрос о жизни в школе и колледже в принципе исчерпанным, отметим мельком некоторые частности, достойные внимания и требующие разъяснения.

Если мысли и разговоры ребят в колледже вертятся главным образом вокруг тем самых банальных — кружки и общества, любовные приключения, кто больше выпьет, кто будет подбирать команду игроков или напечатается в студенческом журнале, кого выберут на ту или иную почетную должность, — то это потому, что они все еще мальчишки, из кожи лезущие вон — кто кого переплюнет. Но это уже все-таки и нечто реальное, что-то обещающее в будущем. Здесь уже можно разобрать какие-то черты характера, это как бы дактилоскопия намечающейся личности.

Рид, когда был уже на последнем курсе колледжа, высказал во всеуслышание следующее определение: он разделил всех собравшихся здесь на три группы — на спортсменов, грамотеев и людей действия. Спортсменов он объявил бездушными и ненужными машинами (что не мешало, однако, ему самому в поте лица трудиться на этой ниве). Грамотеев, коих каждый уважающий себя гарвардец, если у него в жилах кровь, а не водица, презрительно величал «зубрилами», Рид относил к семейству узколобых.

И только люди действия достойны были называться настоящими людьми, подлинными выразителями «истинно гарвардского духа». Люди действия успевали всюду.

К людям действия, полным, как им и подобает, энергии и решимости, принадлежал и Рид. Он ринулся в схватку, и с ним, плечом к плечу,— его единовверцы и единомышленники, юноши, которым впоследствии выпала судьба клеветать на него самым безбожным образом.

Какой избыток сил кипел в нем!

По всей видимости, после того как он навсегда простился с Портлендом и был — чужак, романтический незнакомец — с распростертыми объятиями принят в Морристауне, в нем произошел какой-то перелом.словно с души вдруг разом сняли давившую его тяжесть, и он почувствовал себя легким, как перо, которое вот-вот подхватит ветер.

В жизни многое — дело случая. Выбор школы для мальчика — всегда как бы своего рода лотерея, и родители Рида вытащили выигрышный билет: в Морристауне были все условия, чтобы его ум и способности были раскрыты и оценены по достоинству, в чем он в ту пору особенно нуждался. Народу в школе было немного, и жили дружно. Еще важнее было то, что школа, не жалея трудов, натаскивала своих питомцев к суровому вступительному экзамену в Гарвард. И благодаря руководству Батлера, Вудсона и Брауна — все трое старые гарвардцы одного выпуска — в ней не теряли времени даром.

Зеленый юнец из Орегона оказался хорошим футболистом и бегуном и затмил всех писавших в школьном журнале, был славным товарищем, и его любили, — короче говоря, он стал верховодить и потому слегка задавался. А уж повалить дурака и на всякие проделки мастак был первостатейный.

Не обременив себя излишней ученостью в школе, переходит он в Гарвард и, полный надежд, поселяется в Кембридже.

Если вам и не случилось лично побывать в степях этого — да благословит его бог! — учебного заведения, то вам и так нетрудно будет догадаться, что новичка здесь ожидало совсем не то, что в тихой школе в Нью-Джерси, где с ним так нянчились. Многие романисты — и лучшие всех это удалось Джону П. Марквенду в его последнем романе — дали подробнейшие описания того приема, к которому каждому попадающему сюда чужаку следовало заранее приготовиться, — ледяной холод, которым здесь встречали, подводные рифы, не нарваться на которые можно, только зная о них, а иначе накличешь на свою голову таких бед, что и рад не будешь; на всем чувствовалась тяжелая беспощадная лапа старого английского Бостона. Не боясь обвинений в предубежденности, можно сказать, что все это было истинно по-английски, потому что, как известно, англичанам, чтобы сойтись с вами, прежде нужно во что бы то ни стало решить, стоит ли с вами иметь дело, хотя обратный порядок, казалось бы, логически напрашивается сам собой. Традиции американского Бостона восходили именно к этому источнику, и здесь им гордились. Человек, интересующийся только наукой, то есть грамотей, личность, по гарвардским понятиям, второсортная, мог свободно пренебречь ими, о чем не могло быть и речи для Рида при его теперешнем честолюбии, которое до сих пор встречало только поощрение.

К счастью, все это окупается той общей культурной и интеллектуальной атмосферой, которая создана и читится в Гарварде — великом Гарварде! — превыше всего. Рид поступает в колледж осенью 1906 г. и кончает его в 1910-м. Это было особенной удачей — время высочайшего расцвета Гарварда, наступившего после почти сорокалетнего восхождения к вершинам гуманитарного образования в истинно либеральных традициях, проделанного под водительством великого президента Гарварда Чарлза У. Элиота. Страшно изувеченное шрамом лицо этого высокого, изящного, чопорного бостонца, на которого его питомцы

взирали как на небожителя, казалось саркастическим и высокомерно неприступным, но никто бы не смог сделать для них больше, чем он. Вся жизнь его была посвящена борьбе за то, чтобы ориентировать обучение молодежи на приобщение к тайнам современной науки и новейшей мысли, никакого доступа к которым в высших учебных заведениях прежде не было — в угоду классической рутине и из страха, как бы юные джентльмены не набрались знаний, от которых добра не жди. Элиот восстановил факультативную систему. При Элиоте после вводного курса студенту предоставлялось решать самостоятельно, какими предметами он намерен заняться. А какие исключительные силы привлечены были к преподаванию! Поистине неоценимым для всей студенческой братии был уже самый факт живого общения с Джеймсом, Ройсом, Сантаяной и Палмером на философском факультете, с Киттреджем, Уэлделлом и Коуплендом, читавшим английскую филологию, с такими историками, как Чаннинг и Харт, с экономистом Тоссигом, с блестящими специалистами по точным и естественным наукам. Самая отпетая бездарность и та не могла не быть хотя бы слегка задетой за живое и не забыть на время о том грубом меркантилизме и яростной конкуренции, которые царили в мире, не получившем доступа в Гарвард. А для людей истинно талантливых все это было просто даром небес.

Риду повезло и на товарищей: среди однокашников он встретил людей духовно близких себе — были среди них и не уступавшие ему по талантности, были и еще более блестящие, чем он. Чтобы под одной университетской крышей собралось сразу столько молодых людей с такой большой судьбой и с такой громкой известностью в будущем, случается и впрямь нечасто. Оду в честь выпуска поручено было писать не кому иному, как Т. С. Элиоту¹. Кроме

¹ *Элиот Томас Стернс* (1888—1965) — американский поэт, драматург, литературный критик. Поэзия его пронизана религиозными мотивами, отличается большой изощренностью стиля и новатор-

него с Ридом учились и такие поэты, как Джон Холл Уиллок, Конрад Эйкен, Ален Сигер. В числе его однокашников был и художник Уолдо Пирс, такие крупные театральные деятели, как Ли Симонсон и Роберт Эдмунд Джоунс, литераторы Герман Хейдждорн и Ван Вик Брукс; в студенческом Социалистическом клубе председательствовал Уолтер Липпман. Этот молодой человек уже тогда прекрасно знал себе цену, был уверен в себе и не скрывал этого от коллег; перед силой и зрелостью его суждений, перед остротой его ума они просто пасовали, ибо сами были сильны главным образом по части эмоций, брали на крик. И Рид был не лучше. Он еще только набирался ума. Жизнь, грубая действительность, станет для него впоследствии лучшим из учителей. И хотя он был просто без ума от Гарварда, самое главное в нем еще только ждало своего пробуждения.

Он знал, чего хочет, хотя честолюбие не поднимает его пока над уровнем посредственности: он жаждет признания, ему хочется первенствовать среди товарищей, занимать почетное положение в студенческой среде, а больше всего он жаждет быть принятым в студенческие клубы, блаженно резвиться на этих вожаемых пастбищах с самыми избранными. И сами тоскующие глаза его говорят об этом томлении слишком уж откровенно и красноречиво. Гарвардское избранное общество приняло его в штыки. Кто он, что он, собственно, за птица, этот шумливый и неотесанный парень с Запада? И оттого, что все надежды его растаяли как мираж, он впадает в глубочайшее уныние, которое пройдет не сразу. Он вновь пережил те же муки, что и мальчишкой, в Портленде, где ему довелось столько выстрадать от пренебрежения ровесников. Но на этот раз он не спешит замкнуться в себе. Напротив — раз-

ством в области формы. Стихи Элиота, его поэма «Бесплодная земля», пьесы «Воссоединение семьи» и «Убийство в соборе», а также теоретические работы оказали большое влияние на формирование современного модернизма.

вивает бешеную деятельность: пусть знают, с кем имеют дело. Как ни в чем не бывало, словно это не его отшили, напрашивается на любые поручения и нередко отличается при их исполнении. Пишет тексты для музыкальных постановок, косяками строчит вирши на злободневные темы, неистощимо поставляет шутки в «Лэмпун», и журнал буквально затоплен легким юмором этого студентика. Здесь ему удастся стать незаменимым. Его вынуждены принять. Двери общества открываются перед ним — не настежь, но все-таки и не щелочкой. И постепенно он добивается всего, к чему стремился.

Остается упомянуть лишь о том спогшибательном успехе, которым он пользовался как дирижер болельщиков за университетскую команду на футбольных матчах. Как правило, на этой должности преуспевают молодцы, не отличающиеся ничем, кроме тупости и беззастенчивости, — знай себе молоти руками по воздуху да скачи без усталости. Рид довел исполнение этой дикой роли до гениальности. Позднее его друг Липпман описал это зрелище в своем очерке для «Нью рипаблик», многозначительно озаглавленном «Легендарный Джон Рид»: «Никогда еще у этого сборища на футбольных матчах не появлялось такого запевалы и дирижера. Больше всего поражала его просто беспримерная наглость: встанет, бывало, перед толпой в несколько тысяч студентов и давай показывать — и ведь не постыдится ни капельки, — как именно нужно орать, чтобы ободрять своих на поле. А если его указания выполнялись не так, то честил толпу, поносил ее последними словами и глумился над ней. Но всегда увлекал». Задатки лицедея были в нем очень сильны от природы, и без того не обидевшей его своими дарами.

Но где ж ему было и побеситься, как не в колледже? Тем более что доводилось это ему не каждый день — массу времени отнимало увлечение сатирическими опытами в таком, например, роде:

Ври, что бабка твоя была Кабот,
Что ты свойственник Уэлдов, тверди,
Научись самым грубым манерам
И полезных друзей заводь.

Или такой мрачной и высокопарной поэзией для «Гарвард мансли», как стихи «Пустыня»:

Она безмолвлю навек обрекла,
Но на песках, застывших в смертной муке,
Погибших душ невидимые руки
Неведомые чертят письмена.

(Студентов подобные описания изумляют просто как чудо — есть же люди, которые способны написать такое!) Человека живого и непоседливого, успевающего быть мастером на все руки по части литературной и участвовать в постановках Драматического клуба, спорить до хрипоты на дискуссиях в «Космополитене» — Клубе двадцати наций — и осаживать снобов, любящего ошарашить с самым невинным видом окружающих дерзкой выходкой из любви слыть ответным и оттого, что в чопорной компании его так и подмывает накуролесить, — такая жизнь захлестывает, как река в половодье, и большего ему и не надо. И если мы ждем от него в это время мятежных выступлений против существующей социальной системы, при которой всеми благами жизни пользуется по праву наследования ничтожная горстка привилегированных, то нас постигнет разочарование. Напротив! Все это беспокоит его в то время так мало, что, когда возможность к тому представилась — среди студентов начиналась и крепла борьба за демократизацию университетской жизни, — Рид примкнул к другому лагерю — к самым консервативным поборникам прав аристократии. Он оставался самим собой: вольной птицей, которой только бы веселиться, гулякой-студентом, заслужившим кличку Повеса, которая пристанет к нему очень надолго, потому что в Патерсоне, а потом в Мексике, когда он встанет на пороге нового мира, произойдет второе рождение Рида.

Но прежде чем распроститься с колледжем, остановимся на одном факте, имевшем для Рида большое значение. Речь идет о его доверительной дружбе с чудаковатым, очень маленьким человечком, резко выделявшимся среди преподавателей колледжа на фоне общей академической рутины и казенщины. Как правило, юнцы, поступающие в колледж, не вызывают у преподавательского состава особой к себе симпатии и оставляют его равнодушным к непочатому богатству человеческого материала, который буквально сам в руки просится. Если кто и знает, чем она дышит, эта молодежь, то уж конечно не преподаватель, и задумываться ему над этим себе дороже станет. Застраховать себя от этой недостойной слабости можно, избрав одну из трех линий поведения: взяв в обращении с учениками тон заботливого опекуна, или подкупая их выдержкой и терпением, или подавляя их злой насмешливостью и пренебрежением. И только истинным педагогам, педагогам милостью божией, дано претворить в жизнь лучшие из открывающихся на этом поприще возможностей. Об одном из них мы и говорим здесь.

Чарлз Таунсенд Коупленд — в прошлом театральный критик, подвизавшийся в одной из бостонских газет, заведывавшей кафе и баром, где запросто можно отвести душу в непринужденной беседе, но человек страшно требовательный во всем, что касалось английской литературы, и особенно английской литературы XVIII века, ясность, рационализм и отточенный, строгий стиль которой так вошли в самую его плоть и кровь, что не оставили и воспоминания о детстве в поселке лесорубов в низовьях реки Сент Круза, откуда он был родом и где вырос, — Копи, под этим любовным дружески фамильярным прозвищем его знало несколько поколений гарвардских студентов, был именно таким счастливым исключением из общего правила. Людям этой породы несвойственно напускать на себя профессорскую важность, чего за ним и не водилось, он словно

сошел со страниц романов Лоуренса¹ или Хаксли²: непомерно крупная голова, отчего небольшое туловище казалось еще меньше, особая, захватывающая своим артистизмом манера говорить; поразительная легкость, с которой все мгновенно схватывается на лету и выставляется, стоит ему только захотеть, в неожиданно смешном виде. Интерес его к каждому был явным, но, если вы теряли для него интерес, он и не подумал бы скрывать это от вас. Каждую осень сотни новых лиц, появляясь здесь, неприкаянно слонялись под высокими кембриджскими вязами, рассеянные и в то же время встревоженные. По большей части говорящие об одиночестве. Был ли здесь хоть один, кто не знал его в свое время? Что молодость их всепокоряющая, не отрицал никто. И именно это свойство юности, вызывающее у многих раздражение, вдохновляло Коупленда, возбуждало в нем горячее сочувствие. И потому страсть к литературе, преданность ей одной, почти безраздельная, сочетались у него с товарищеским отношением к студентам, с которыми он водил дружбу и на лекциях, и в свободное от занятий время.

Держался он с ними запросто, чем располагал к себе. И в результате даже самые завзятые тупицы, которым прямо на роду написано не интересоваться ничем, кроме спорта и нарядов, привлеченные на лекции Коупленда только популярностью профессора, оказывались захваченными юмором и простотой его манеры чтения и общения с аудиторией.

¹ *Лоуренс Дэвид Герберт* (1885—1930) — известный английский писатель. Один из первых и наиболее решительных в западной литературе последователей психоаналитической теории Зигмунда Фрейда, на основе которой он создает собственную утопию, сводящуюся в конечном итоге к мысли, что освобождение мира от социального зла придет посредством «раскрепощения пола».

² *Хаксли Олдос* (1894—1963) — известный английский романист и сатирик. Ранние романы Хаксли «Шутовской хоровод» и «Контрапункт» переведены на русский язык.

Мы не можем позволить себе поговорить об этом замечательном человеке обстоятельней, чтобы не отклониться от главного. Придет время, о нем напишут как должно, подведут окончательный итог, и этот вольнодумец, не искавший легких дорог, то нежный, то колючий и язвительный, получит заслуженное признание, в котором ему отказывали ревнители традиций.

Скорее всего, жилось ему нелегко. Восторженный прием, который ему постоянно оказывала аудитория, утолял его лишь частично. В жизни Коупленд был одинок. Многих тайных душевных мук стоила ему склонность слишком легко поддаваться дурным предчувствиям. «Я судьбу заклинаю не слать мне ударов»,— мог бы сказать он о себе. Чтобы не впасть в уныние и не поддаться черным мыслям, мало одного только умения раз за разом справляться с очередным приступом. К счастью, была и другая возможность.

Она определялась способностью Коупленда вкладывать всего себя без остатка и все, что у него есть за душой, в дружбу. В глубине души за этим, возможно, таилась жажда Коупленда открыть героя, приложить руку к его сотворению и честолюбивая мечта, которую выдавала лишь надменная улыбка: самому ввести этого героя в ничего не подозревающий мир.

Такая дружба всегда завязывалась у Коупленда с людьми недюжинными. Каких только даров не сыпалось на такого счастливчика, которого Коупленд принимался потчевать самым экстрактом мысли, культуры, книжной премудрости и любви к жизни. Довелось оказаться таким другом Коупленда и Джеку в самую беспорядочную и безалаберную пору его развития, и эта дружба не могла не оказать и на него большого влияния.

По словам самого Рида, в жизни его наибольшую роль сыграли три человека: Липпман, Стеффенс и Коупленд. Тот интеллектуализм, который буквально излучал Уолтер Липпман, помог Риду встать на ноги. Но настала пора,

когда одной только точной и всепроницающей аналитичности Липпмана ему стало недостаточно. Как ни ясно отдавал себе Рид отчет в несовершенствах человеческих способностей, но и о думающей машине он тоже был нелестного мнения. Действовать — вот что нужно.

Гораздо дольше продлилось влияние Стеффенса. Со Стеффенсом просто невозможно было посориться: он бы только посмеялся и тут же объяснил вам, чем вы его смешите. Он не мог вызвать раздражения потому, что никогда ничего не навязывал, он хотел только одного — заставить вас смотреть и видеть. Рида он поощрял отведавать на собственном опыте, какова она, жизнь, не беря на себя обязательств ни перед кем и ни перед чем. Разрыв между ними наступил, когда Джек, только что вернувшийся из России и к тому времени полный сознания личной ответственности, с ужасом убедился, что его старый друг и учитель остается в стороне. Стеффенс верил в русскую революцию так же непоколебимо, как и ее молодой неофит, стоявший рядом с ним, но поддержать ее делом не собирался. Старший из них долгое время присматривал за этим порывистым юношей, направлял его, сдерживал, подстегивал. Теперь роли переменялись. Прежнего оракула учили в чем-то весьма смахивающем на предательство. Эта случайная уличная встреча в Нью-Йорке, почью, под фонарем, оставила слишком горький осадок у обоих, и с тех пор все между ними было кончено.

Права Коупленда на Рида были совершенно иного порядка. Их сближала литература и убеждение, что она — важнейшая из деятельностей, которую может избрать себе человек, и долг каждого — служить ей всем, что в его силах и возможностях. С самого начала их знакомства гарвардский профессор угадал в Риде искру истинного таланта, а он лучше всех знал, как ее раздуть в пламя. И как бы далеко ни отходил Коупленд в прошлое, по мере того как ученик уходил в своем забеге все дальше, образ его сохранял свое обаяние, свою власть.

И вот отец и мать Джека прибыли в Кембридж на торжество по случаю окончания университета. Этого события они не согласились бы пропустить ни за что на свете. В действительности же момент для отъезда Рида-старшего из родных мест был самым неподходящим. Положение его было трудным, крайне неблагоприятным для человека уже далеко не первой молодости, вынужденного начинать карьеру сначала.

Расследование спекуляций земельными участками было успешно доведено Хини и Ридом до конца, утвердив за Чи-Джи репутацию блестящего юриста и лишив его в Орегоне всех влиятельных друзей. В Арлингтон-клубе бывшего президента ожидал ледяной прием. Но еще хуже было то, что у Тафта, ставшего преемником Рузвельта, не было причин относиться к нему благосклонно, и о том, чтобы оставить его на прежней должности, не могло, конечно, быть и речи: Ч.-Дж. Рид оказался слишком прогрессивен, правоверные члены республиканской партии, являвшейся опорой администрации нового президента, терпеть его не могли. Он решил выдвинуть свою кандидатуру на выборах в конгресс и начал кампанию. А затем гордость и любовь к сыну заглушили голос благоразумия, и — в точности как сын — с губительнейшим безразличием к последствиям, которые это за собой повлечет, он уехал как раз в тот момент, когда надо было действовать особенно энергично.

Какая горькая для родителей ирония заключена в самой роли, отведенной им на выпускных торжествах.

Имеющий уши да слышит! Старшие пребывают в блаженном тумане, а юные герои дня мужественно терпят это их последнее вторжение в свою личную жизнь, в твердой уверенности, что с завтрашнего же дня, когда они уже не будут ни от кого зависеть, с подобными глупостями будет покончено.

Рид позаботился, чтобы его успех, который в общем и целом был блестящим, несмотря на то что не ему было

поручено сказать слово от имени выпускников и не он читал торжественные стихи, родители узрели во всем великолепии. Счастливая, незабываемая пора!

А недели через две он отплыл из Бостона в Европу на пароходе, транспортирующем скот.

Цыган с аккредитивом на руках

Me porté como quien soy.

Como un gitano legítimo.

Lorca¹

«Пусть порезвится» — такова была воля отца, тут же почтительно принятая к буквальному исполнению. В письме Линкольну Стеффенсу Чи-Джи просил: «Устройте его на работу, пусть ко всему присмотрится, но пусть какое-то время не делает выбора, удержите его от опрометчивого признания какой-либо веры своею или определения своего призвания на деловом поприще или на службе, подобно мне. Пусть порезвится».

На транспорт для скота «Бостонец» было погружено семьсот молодых бычков, которым Рид и остальные скотники, тоже частью из своих, университетских, или кто откуда, должны были задавать корм. Такой способ проезда в Англию был принят в то время у выпускников, у которых было больше энергии и решительности, чем денег. Но все это предприятие неожиданно осложнилось для Рида из-за легкомыслия его закадычного друга Уолдо Пирса. Транспорт еще не вышел из гавани, когда, подавленный жарой, вонью и перспективой обслуживания этих неугомонных животных, с которыми, как он предвидел, хлопот не оберешься, Пирс решил, что с него довольно. Огни Бостона, еще не скрывшиеся из вида, говорили, что потом будет поздно: сейчас или никогда — и он бесшумно соскользнул за борт и поплыл к берегу.

¹ Я вел себя так, как должно, —
цыган до смертного часа.

Лорка

С точки зрения Пирса, которому это освежающее купание, предчувствие удобств быстроходной «Луизитании», того, как он встретит в Ливерпуле оставших товарищей и выразит им свои соболезнования, могли доставить только удовольствие, не случилось ничего особенного. Но на «Бостонце» его исчезновение вызвало переполох, больше того — форменный скандал. Капитан не склонен был шутки шутить. Напрасно Рид твердил, что пропавший объявится в Ливерпуле целый и невредимый. Скотники-профессионалы всем своим видом давали понять, что считают Рида убийцей.

Какая тяжесть свалилась бы с него, оказался Пирс на встретившем их на ливерпульском рейде буксире! Но его не оказалось на буксире, и на Рида тут же надели кандалы. История начинает все больше напоминать заключение любимчика капитана Мариэтта, гардемарина Иззи, особенно когда в завершение всего еще и над истинной насмеялись.

Развязка наступила в Британской торговой палате, где целый век суровых обычаев и строжайшего соблюдения законов заморозил, казалось, самые стены и где предстали: сам Пирс собственной персоной, Рид — под стражей — и пыхтящий от ярости капитан «Бостонца». «Вы подписали обязательства? — спросил капитан. — Значит, будете отвечать по всей строгости за нарушение контракта». — «А вы, — сурово отозвался Пирс, — ответите по всей строгости за преступную небрежность при исполнении обязанностей. У меня началась морская болезнь, я пошел на корму и перегнулся через поручни. И поскользнулся. Сорвался за борт. Я звал на помощь, кричал. Вы же стояли на мостике и не обращали внимания». Портовый адвокат натаскал его на совесть.

И вот эти благонравные молодые люди могут без помех продолжать свое путешествие по Европе. Они часто попадают в переделки вроде только что рассказанной. Они сами сознательно напрашиваются на всякие неожиданно-

сти, отчаянность заменяет им здравый смысл, поражать и смущать своим поведением всякого встречного и поперечного стало их особой специальностью, и жизнерадостность их неиссякаема. Нельзя не признать при всем нашем почтении к безмятежной поре юности: жертвам подобного рода проделок не так уж весело. Но не все, разумеется, одни только дурачества — в Европе они проникаются также романтикой старины.

Расставшись с товарищем, Рид идет, уже один, на юг Франции, в Оранж, Тараскон, в Авиньон, который он считает прекраснейшим из городов, виденных им на своем веку. «Вчера ночью я побывал в средневековом театре, — пишет он, — спал я на постели в точности такой же, как на картинах у прерафаэлитов, а в данный момент ем ленч в истинно ренессансном духе». Он читает Мистраля и других поэтов-провансальцев, пробует переводить их на английский.

Но наибольшее впечатление произвел Марсель: шумная жизнь этого международного порта-великана с его кривыми, еле освещенными улочками, потонувшими в пьянстве и разврате, справляющими здесь свою пескончаемую оргию; огромные корабли, пришвартованные у мола; моряки, слоняющиеся вразвалочку по пристани: белые, коричневые, черные, сенегальцы, арабы, ласкары, одичавшие в море, — легкая добыча проституток и зазывал, поджидающих у входа в грязные притоны, — все это поразило его до глубины души, захватило. «Марсель! — писал он отцу. — Когда-то воображение рисовало мне нечто подобное — место, где сходятся и смешиваются в общей толчее люди всех наций». Он не может удержаться от противопоставления Марселя Парижу — Марсель романтичней: «Видишь заход солнца за Лувром и знаешь, что дальше оно пройдет над Ла-Маншем и Гебридскими островами. В Марселе смотришь на закат солнца, уходящего спрятаться за геркулесовы столпы, и люди далеких народов, выходящие на рыбный лов, кладут свои фелюги под

красными парусами на другой галс, уходя за солнцем. В Париже Сена катит свои воды в Ла-Манш, по которому снуют почтовые пароходы — из Гавра в Саутгемптон; в Марселе взгляд, едва скользнув по бирюзовой воде, уже сам так и тянется, миновав лес мачт, к синему горизонту, за которым — Италия, Греция, Азия, Египет, Алжир, Испания! В Париже дует ветер из Германии, а в Марселе мистраль приносит благовест колоколов Авиньона, звон гитар из Арля, запахи Прованса. В Париже — собор Парижской богородицы и Лувр; в Марселе — надписи на древнегреческом на стенах Шато-Сен-Жан, у входа в Старые ворота, размытые за века волнами Фидийского моря. Париж прекрасен, как женщина, Марсель по-мужски груб и лжив».

Так в Риде заговорил поэт, взволнованно ищущий самовыражения. А горячая кровь заставляет его рыскать по темному кварталу, известному под названием Канавы. «Я беседовал с проститутками, годившимися по возрасту мне в матери, — писал он, — и с молодыми, очень простыми и милыми». Говорят, что от кого же и узнаешь всякое о жизни, как не от проститутки, — с ее видавших виды глаз шоры всякой респектабельности раз и навсегда сняты. Неизвестно, так ли это, но Риду, еще не до конца утратившему юношеское неведение, здесь, безусловно, было чем просветиться. Глухим закоулкам Старого Света есть что показать парню только что с университетской скамьи, из Кембриджа в штате Массачусетс. Например, что розы на щеках, скромно опущенные ресницы, невинные девичьи губки и легкое колыхание бедер могут быть только выставкой, за которой кроются многоопытность и жестокость.

Когда он сидел однажды в кафе за столиком, задумчиво попивая в свое удовольствие *vin ordinaire*¹, чувствуя себя легко и непринужденно в этой атмосфере — свобода, музыка, женщины — и в то же время зорким глазом при-

¹ Обыкновенное вино (франц.).

мечая все, что творится вокруг, подошла девушка. Она была смугла, как арабка, с классически правильным лицом, удивительно грациозная. Она оказалась жительницей Прованса и напевала про себя какую-то провансальскую песенку. Джек узнал слова песни и бросил на девушку одобрительный взгляд, на который тут же было отвечено. Как странно выигрывали ее непорочность и красота на фоне этого грязного кабака, где они как чистое дыхание мистралья! Сколько в ней детского, и как это идет ей! Не успели и оглянуться, как оба, разомлевшие от вина, влюбились друг в друга по уши. Она тараторила по-французски так быстро, что Джек не успевал за ней, но слова были не нужны. Не хочет ли она потанцевать? Нет, она чуточку устала. Она предложила отправиться к ней. Жилище ее оказалось мансардой, прямо под звездами. Ему оно показалось, как и все, что с ней связано, полным неизъяснимой прелести. Почему-то он сразу же заснул. Проснулся — кругом ни души, и все деньги исчезли, до последнего цента.

Он отправился в то же самое кафе, где встретил ее, на розыски. Он не злился, но было обидно, и он не знал, что делать. Англичанин, которого он видел здесь еще в самом начале вечера, пригласил выпить с ним. Джек объяснил, что его обчистили до нитки. «Ничего,— сказал англичанин,— бывает. Эта Луиза — опасная девка, ей и убить нипочем. Хорошо, что вы с ней не сцепились. Она ходит с кинжалом, и чуть что — готова пустить его в дело. Если встретитесь опять, мой вам совет — не заговаривайте с ней, это самое разумное».

Им оставалось только посмеяться. Этот Марсель, с его свободой и непринужденностью, жадностью к жизни и терпкостью, обернулся совсем не таким, каким казался, — скверный городишко.

Человеку, о котором мы ведем рассказ, еще предстояло поблуждать в поисках своего идеала — людей простых и дружелюбных, сердечных и естественных.

Настало время прощаться с Европой. Последняя вылазка — поездка с Пирсом и еще несколькими спутниками по Средиземноморскому побережью. Тон всей компании задавали две девушки-француженки. И в Америку Рид отбыл уже помолвленным с одной из них, решив жениться. Ее звали Мадлен.

Красивое имя, но нам не придется долго помнить его.

День в Богемии

*Покой мы отыщем в бунтарстве,
В кощунстве мы радость найдем.
Как сладко сойти с благого пути!
Мы гимн беззаконью поем.*

Вполне возможно, что, когда Рид писал эти строки, он и не имел в виду буквально того, что в них высказано: просто подобная мысль показалась ему сама по себе небезынтересной — чтобы возникли стихи, большего и не требовалось...

Когда Рид приехал в Нью-Йорк в поисках работы, по существу, он был еще мальчишкой. Таким он и оставался, пока не пробил его час. Век, породивший, по словам Хаксли, Питера Пэна¹, принял его с распростертыми объятиями. И он окунулся с головой в жизнь старого Гринвич-вилледжа. Для юнца, не желающего подчиняться рутине, это был суший рай. Правда, нравы тогда были там, пожалуй, слишком вольными и кругом околачивалось немало бездельников, мнящих себя солью земли, но зато вам никто не мешал отдаваться творчеству и мечтать о достижении великих целей; к тому же здесь всегда можно было прожить в кредит, если домохозяин и бакалейщик к вам благоволили.

Говорят, что теперь от прежнего вилледжа не осталось и следа, что спекуляция домами и участками свела

¹ *Питер Пен* — герой одноименной пьесы Джеймса Мэтью Барри, мальчик, который так и не стал взрослым.

его на нет, однако это не совсем так. Некоторые из его улиц слишком извилисты, чтобы их можно было когда-нибудь выпрямить по общему образцу. Но, конечно, во времена Рида своеобразная жизнь этого района была в полном расцвете. Самый облик его — убегающие на запад от Шестой авеню узкие, кривые улочки, застроенные скромными домиками и своим независимым видом напоминавшие Лондон XVIII века, — с первого взгляда внушал мысль о том, что здесь не прекращается духовная жизнь, словно в укор и посрамление показному великолению кварталов, расположенных ближе к вершине холма. Правда, на южной стороне Вашингтон-сквер, где поселился Джон Рид, дома были большие и архитектура их отличалась помпезностью, но это вполне возмещалось сажей на фасадах, облупленной штукатуркой, мутными оконными стеклами. Здесь, в доме № 42 на Вашингтон-сквер, на верхнем этаже, куда вела ветхая, расшатанная лестница, в просторных комнатах с высокими потолками, кое-как обставленных рухлядью, не раскупленной на аукционах, Рид и самые задушевные его друзья прожили два года. Это были годы честолюбивых помыслов и веселых разговоров, круто приправленных крепким словом, — прекрасная пора счастливой беспечности, которая дается нам раз в жизни. Со скрежетом катились мимо этих грязных пенатов вагоны трамвая, и их неопикуемый грохот, казалось, задавал тон всей жизни.

И Рид, у которого голова от впечатлений идет кругом, в один присест пишет «Оду Манхэттену», начинавшуюся так:

Пусть новый Тимотей поднимет лиру выше
И воспоет Нью-Йорк. Все шпильи и все крыши
Огнем бессмертного пожара пышат.

В этих стихах пока еще больше, чем сам Джон Рид, видна гарвардская выучка и влияние писавших в том же духе поэтов, которых ему ставили в Гарварде в пример.

Но чувства и самый повод к написанию стихов позаимствованы из собственной жизни. «Нью-Йорк показался мне сказочно прекрасным,— писал он в «Почти тридцать».— Все в этом городе пришлось мне по сердцу». И рассказывал о своих скитаниях в порту и по гетто, что к востоку от Шестой авеню. А когда он дальше говорил об уличных девчонках, с которыми «водил дружбу», нельзя не вспомнить о Мадлен — разве они не помолвлены? Нет, уже все кончено.

«Неверно, что бывает только одна суженая, которую человеку назначено встретить самой судьбой, ничего подобного,— пишет он Пирсу.— Их тысяча, каждую из которых можно полюбить, жениться и быть с ней счастливым». Но признавался, что сам он «в этом вопросе был сентиментален и не мог сегодня с одной, завтра — с другой».

Рид не собирался тратить время попусту. Стеффенс устроил его на работу в «Америкен мэгэзин» (так же точно, как в свое время устроил Уолтера Липпмана в «Эврибодис»), и он взялся за дело с тем увлечением и практической сметкой, которые всегда его отличали.

Работа, само собой разумеется, сводилась к обычной редакционной рутине: корректура, чтение рукописей, от случая к случаю поручение написать очерк о какой-нибудь знаменитости — раздел «Интересные люди» был «гвоздем» журнала. Рид смотрел на все это лишь как на временное занятие. «Америкен» был не особенно интересным журналом, но легенды о том, как можно преуспеть в жизни, не сходявшие с его страниц, приносили ему богатый доход. Отчасти журнал жил за счет догорающих огоньков некогда бурного пламени — школы «разгребателей грязи», к которой принадлежали Стеффенс, Ида Тарбелл, Рей Стеннард Бейкер, Вильям Ален Уайт, но их времена уже прошли, интерес читателя к обличению пороков общества заметно остыл, а богатые поставщики рекламы давали почувствовать свое неудовольствие, и общий

тон журнала в конце концов стал благодушно либеральным.

К чести «Америкен» в ту пору его существования, можно сказать, что журнал открыл дарование Финли Питера Данна¹, напечатав его «Дом толмача». Более острую сатиру на тупость и косность богачей невозможно себе представить, и, хотя самому Риду такой тонкий юмор не был свойствен, он восхищался талантом Данна. Беда этого блестящего ирландца, истинного сына страны Шеридана и Шоу, заключалась в том, что ему суждено было ограничить свою сатиру злободневностью, а даже лучшие из произведений этого жанра со временем утрачивают свое значение. И все-таки Дани заслуживает того, чтобы его имя не было забыто. Он не разменивался на зубоскальство, а точно и метко бил в цель. Впоследствии Дани работал в помещении «Метрополитен» — журнала, о котором мы еще будем говорить, так как он имеет прямое отношение к Риду и к автору этих строк; Дани не писал для «Метрополитен», ему просто хотелось быть в более близкой себе по духу среде. Рядом с комнатой, которую ему отвели в редакции, помещался огромный кабинет Теодора Рузвельта; полковник, как его все называли, тяжелой поступью проходил по узкому коридору, храня на лице то глубокомысленное выражение, с каким он обычно вникал в перипетию подготовки журнала, и как бы признавая, что и журнальное дело, в конце концов, небесполезно. Редакцию постоянно наводняли друзья и приверженцы полковника, невероятно пестрая орава — здесь были и лощенные франты, и парни в клетчатых рубашках. Дани предложил журналу выступить в защиту социализма. Джим Вигем, издатель журнала и друг Данна, взялся за это чисто

¹ Дани Финли Питер (1867—1936) — популярный американский юморист. Более известен под псевдонимом мистер Дули («Мистер Дули в дни мира и в дни войны», «Философия мистера Дули» и др.).

по-английски, сочетая широту взглядов с благоразумной умеренностью.

Возвращаясь снова к Джону Риду, мне хотелось бы подчеркнуть различия литературного стиля этих двух писателей. Юмор Рида определенно тяготел к грубоватой пародии, и, кроме того, Рид не всегда мог устоять перед соблазном выплеснуть все свои чувства и мысли в одной тираде, чего сдержанный, болезненно чуткий ко всякому нарушению меры Дани никак не мог одобрить.

Но все это относится к Риду более поздней поры. А пока мы только знакомимся с ним, как с героем фильма в начальных кадрах, когда характер его еще не прояснился и мы еще не знаем, что его ждет. Рид вел тот образ жизни, который был принят тогда в Гринвич-вилледже; он и его компания развлекались, где только могли. Друзья, поселившиеся с ним на Вашингтон-сквер, 42, тоже были выпускниками Кембриджа. Один из них, Роберт Эндрюс, ранее сотрудничавший в «Памфлете», избрал своим поприщем рекламу, на службе он, по-видимому, сдерживал себя, но в своей компании отводил душу, зло вышучивая друзей. Другой — Ален Озгуд, веселый и добродушный юноша, — тоже работал в «Памфлете». С ним Рид был особенно близок. Четвертым членом этого тесного кружка был Роберт Роджерс — сотрудник журнала «Гарвард мансли». Он отличался честолюбием и строил большие планы на будущее не только для себя, но и для Рида. «Nulla dies sine linea»¹, — донимал он Рида, чье дарование безошибочно угадал с первого взгляда. И Джон, понимая, что Роджерс прав, иногда и впрямь принимался за дело: с увлечением набрасывал планы будущих романов, но на этом все и кончалось. Он предпочитал развлекаться. Когда друзья отправлялись куда-нибудь провести вечерок или опрометью неслись по узким улочкам, а Рид и Озгуд забегали вперед и прятались в подъездах, подстерегая друг

¹ Ни дня без строчки (лат.).

друга, даже в Гринвич-вилледже на них взирали с некоторым недоумением, а официантов в «Бривурте» и «Ла-файете» при появлении четверки пробирала дрожь. Иногда в этой компании можно было увидеть и Ганса фон Кальтенборна, Сэмюэла Маккоя и Дона Маркиза. Правда, Маркиз уже становился грузноват для подобных гонок, а потому, приотстав немного, они с Эндрюсом принимались перемывать косточки своим сумасбродным друзьям.

Но время шло, и назревали перемены. Поэт Аллен Сигер уехал в Париж, и Рид уже не находил у себя под дверью нацарапанных знакомыми каракулями виршей. Липпман пока все еще подвизался в Скэнниктеди на должности секретаря тамошнего мэра-социалиста, но уже недалек был час, когда он вернется в Нью-Йорк и станет основателем «Нью рипаблик». Роджерс отбыл в Кембридж, и вскоре на первых полосах газет запестрели его наставления бедствующим студентам Массачусетского технологического института, которым он рекомендовал снобизм и женитьбу на хозяйской дочке. Умер Аллен Озгуд. Рид писал матери Алена: «Он был гениален, не чета всем нам, он и сам не знал, как велики его возможности. Уже само его присутствие приносило радость. Он всегда был весел и добр».

Стеффенс, который по характеру своему всегда был наблюдателем, этот необыкновенный человек, одержимый жаждой все увидеть, все понять и осмыслить и лишь иногда проявлявший желание и самому приложить к чему-нибудь руку, не назойливо, но твердо дал Риду понять, что тот слишком много времени тратит зря. Ему бы следовало записывать то, что он видит, и все, что он думает. Стеффенс обратил внимание Рида и еще на одно обстоятельство, которое до сих пор ни разу не заставило этого мальчишку призадуматься: ведь он живет припеваючи только потому, что о нем печется отец. Угрызения совести, пережитые Джоном, когда он осознал привилегированность своего положения по сравнению с условиями,

в которых живет подавляющее большинство людей, несомненно, заставили его сделать вполне определенные выводы. «Я не мог больше не замечать ужасов нищеты,— писал он,— бесконечную вереницу несправедливостей, жестокое неравенство между теми, кто не знает, что делать со своими автомобилями, и теми, кто никогда не наедается досыта. Я узнал это не из книг... Я все должен видеть собственными глазами». Это правда — Рид должен был все видеть, все понять и все испытать. Стеффенс и новые знакомые, с которыми он свел Рида,— лидеры профсоюзного движения, социалисты, общественные деятели всех мастей и оттенков — сделали свое дело: общественные симпатии Рида приобретают все большую отчетливость. Не то чтобы он сразу же коренным образом изменился. Скорее, у него только начинает выявляться та способность острого восприятия окружающего, которая будет разом мобилизована, когда несколько лет спустя драма жизни захватит его целиком.

Достаточно было лишь задеть Рида за живое, и могучий темперамент этого романтика тотчас же давал себя знать взрывом негодования или градом насмешек. Но что бы ни говорили о Риде, несомненно одно: этого парня нельзя было не заметить. Хотя бы потому, что он был такой огромный, так прочно стоял на ногах и так просто держался. Хотя бы потому, что, казалось, вся душа его раскрывается нараспашку, стоит ему только спокойно и пристально взглянуть на вас своими приветливыми глазами, цвет которых был так странно изменчив. Или по тому, как он встряхивал шапкой волос, точно неудержимый форвард, устремляющийся с мячом на прорыв. И если хотите, просто потому, что он обладал неотразимым обаянием.

Привычное течение жизни Рида нарушила неожиданная телеграмма от матери, призывавшая его в Портленд: отец был при смерти. Рид любил отца, преклонялся перед ним. И пока длился тяжелый обряд прощания, печальное

таинство ухода из жизни этого достойнейшего человека, который сумел добиться благодаря ясности духа и твердости характера всего, чего хотел, его потрясенному сыну то и дело приходили на ум мысли, от которых начинало щемить сердце. Отплатил ли он отцу хотя бы наполовину своей любовью за его великодушие? Знал ли отец, что его сын высоко ценил и никогда не забудет то мужество, с каким он противостоял человеческой вражде и подлости? Может быть. В какой-то мере. На такие вопросы исчерпывающего ответа не найдешь. Рид-поэт попытался было справиться с этими мыслями. Но после нескольких неудачных попыток отказался от непосильной задачи.

А жизнь предъявляла свои права. Был у Джона и ряд обязанностей перед домом, от которых не отмахнешься. А тоска по Нью-Йорку становилась все нестерпимее. За те несколько недель, пока отец умирал, и потом, когда пришлось улаживать семейные дела, Рид совсем пал духом. И вдруг — полная перемена. Он сам открыл способ своего исцеления. Этим чудесным лекарством оказалась написанная им поэма, изящная и остроумная, в ней он вспоминал недавние веселые дни на Вашингтон-сквер, 42. Рид посвятил поэму Стеффенсу и назвал ее «День в Богемии». Начиналась она так:

Стеффенс, хочу этот стих посвятить тебе,
Только немного боюсь досадить тебе,
Но так или нет,
Разве секрет,
Что с веселой свободой привычно дружить тебе?

Мы, живущие на Вашингтон-сквер,
Тоже свободны, другим не в пример.
Ночь напролет кипят, бушуют споры,
Нас мира дряхлого не трогают укоры,
Раз каждый своротит намерен горы.

Мы говорили, что о жизни Рида на Вашингтон-сквер, 42, никем не было написано сколько-нибудь обстоятельно, но «День в Богемии» в какой-то степени восполняет этот

пробел. В поэме рассказывалось, как друзья отправляются обедать:

Как мячик, Роджерс катится вперед,
Ленивый Сэмюэл едва-едва бредет,
Оззи и Герр с усмешкою тупой
Слепый разговор ведут между собой.
За ними Рид идет, высок и строен...

Лентий Сэмюэл в поэме — это журналист Сэм Маккой, Герр — писатель Герман Хейджгорн. Далее шли строки о Липпмане:

...Липпман — он непроницаем,
Пишет, как мыслит: ясно, здраво.
И острый ум его сквозь джи туман
Находит истину, разит обман.

И еще песня:

Весьма великий человек
Наш Джордж Силь-вес-тер Ви-е-рек!
По-европейски стих соорудил —
Гимн в честь Брюха, и Фаллоса, и Могил.

Перед ним наивен, пресен, сер
Оскар Уайльд иль Шарль Бод-лер.
Их мистер Ви-е-рек совсем затмил
Гимном в честь Брюха, и Фаллоса, и Могил.
Тому, кто хочет жизнь пропить,
Они опорой могут быть.
Меня ж ни разу, право, не манил
Соблазн ни Брюха, ни Фаллоса, ни Могил.

А вот он возвращается домой после пирушки в «Ла-файете», опьяненный вином и шампанским:

Немые тени безработных в сквере,
Постель бездомных — жесткая трава.
В холодном мраке бьют куранты два.
Гремят шаги в пустынной тишине.
Огромный город спит, храпя во сне.

Вернувшись наконец в Нью-Йорк, он уже не застал там больше старых друзей. Однако место в «Америкен»

оставалось за ним. В это время им всецело завладевает стремление создавать подлинно поэтические вещи. Характерным образцом поэзии Рида той поры может служить «Тамерлан» — «Органная прелюдия», как сказано в подзаголовке, что очень точно соответствует тугим, мощным ритмическим наплывам ее стиха:

И, сразу бурю звуков сотвори,
Запела мощно каждая труба,
И в каждой ноте город погибал,
И в каждом такте смерть была царя.

Кончалась «Прелюдия» тем, что великий завоеватель обретает покой в безымянной гробнице:

Песками занесенный мавзоль
Под Самаркандом — неизвестно чей.

В это же время он пишет и стихотворение в духе старинных народных баллад, фантазию «Сангар», герою которого грезится, что люди отрешились от гнева и злобы. Стихотворение посвящалось Стеффенсу — тому как раз тогда крепко доставалось за то, что он ввязался в дело лос-анджелесского террориста-динамитчика Макнамары, пытаясь склонить суд и общество отнестись к этому делу по-христиански: понять и проявить милосердие.

Стихотворения Рида выходили тонкими, изящно пабранными книжечками. Его хвалили и напутствовали лучшими пожеланиями самые авторитетные судьи, среди которых были такие знатоки, как Эдвин Арлингтон Робинсон, редактор журнала «Поэтри» Гарриет Монро, Перси Маккей. Это радовало его, но ни Рид-поэт, ни Рид — хранитель отцовского завета «быть человеком, нужным людям» не испытывал полного удовлетворения. Его неутолимая энергия, жажда добиться признания, его разносторонние и не использованные еще способности требовали иного применения. Выход оказался под рукой.

Была в то время в Нью-Йорке группа талантливой и образованной молодежи — литераторы и художники-иллю-

страторы, которые недурно зарабатывали в журналах и издательствах, плативших по высшей ставке, и жили припеваючи. Был у них и свой клуб «Каждый на свои». Раз в неделю они устраивали торжественный завтрак, раз в году — представление. Рида привлекла веселая дружеская атмосфера, царившая в клубе, не мог он не оценить и всеобщее уважение, которое успела завоевать эта влиятельная группа, и вскоре сам вошел в нее. Для человека, жившего помыслами о высокой поэзии и дружившего с людьми такой чистой пробы, как Робинсон, Монро, Маккей, сблизиться с этой корпорацией преуспевающих значило опуститься ступенькой ниже, но Рида это ничуть не смущало. Ему нравилось водить компанию с Ирвином Коббом¹, Джеймсом Флеггом, Рупертом Хьюзом², Джулианом Стрит³, Даной Гибсон и Чарли Тауном — их блестящее остроумие и веселая беспечность были под стать какой-то частице его самого, которой только дай волю — и начнутся нескончаемые розыгрыши и дурачества. Ему поручили написать текст для ежегодного представления. Какая соблазнительная возможность! И с каким упоением он взялся за дело! Ему было о чем сказать! В итоге он написал «Эвримэгэзин», или «Безнравственное зрелище», в котором нещадно высмеивал журналистский быт и нравы, так хорошо знакомые членам клуба. Рид издевался над песнопойной манерностью влиятельнейших в стране журналов «Харперс», «Сенчури», «Скрибнер»:

Я символ утонченности слова,
Значусь я в первой из высших граф,
Я — воплощение культуры, как новый
Трансатлантический телеграф.

¹ Кобб Ирвин Шрусбери (1876—1944) — американский журналист, автор юмористических произведений.

² Хьюз Руперт (1872—1945) — американский романист и драматург, автор широко известной биографии Джорджа Вашингтона.

³ Стрит Джулиан (1879—1947) — американский романист и литературный критик.

Если конгресс знать не знает меня,
Если никто не читает меня,
Верю — народ почитает меня
От Нью-Йорка до Сан-Франциско.

Зло пародировалось им и то литературное дамское рукоделие, которым пичкали читателя из номера в номер со страниц «Космополитен» Чэмберс и Гибсон. А в том, как написан один из хоров, уже можно узнать руку совершенно нового Рида, который начнет определяться в «Мэссиз»:

Твердят с недавних пор,
Что деньги манят нас.
Какой чепуховый вздор!
Мы им возмущены:
И взяточник и вор
Исправились тотчас,
Печатью спасены!
Печатью спасены.

Кое-кто решил, что, пожалуй, Рид хватил через край. Возникло подозрение, что не такой уж он свой, как казалось вначале. Да так оно, конечно, и было. Рид не мог долго якшаться с этой преуспевающей братией, которую жизнь, такая, как она есть, вполне устраивала. И вскоре последовал еще один поворот. Рид попал наконец в ту колею, в которой останется до конца своих дней. Он поступил редактором в «Мэссиз».

В полной мере охарактеризовать все значение этого шага можно, лишь позаимствовав одно выражение из письма отца Джона к Стеффенсу: «Смотрите, чтобы он сгоряча не приобщился к какой-нибудь вере». Поступление в «Мэссиз» явилось именно приобщением к вере, этот вопрос был решен раз и навсегда.

Один из постоянных сотрудников «Метрополитен» называл наших редакторов не иначе как «толстопузыми». Ненавидел он их всей душой. Само собой разумелось, конечно, что все они тупицы и лукавые рабы коммерции. В силу занимаемой должности к их лику причислялся и

автор этих строк, что нередко приводило к длительным спорам, начинавшимся в редакции и продолжавшимся уже внизу, в баре. В конце концов всякий раз возникал вопрос о свободе печати, о возможности публиковать все, что хорошо написано. Ладно, говорил я наконец, когда эта тема надоедала мне, потому что мне лично нечасто доводилось видеть, чтобы действительно хорошие рукописи отклонялись глупыми и продажными редакторами. Хотел бы я посмотреть, что бы вы стали делать с вашей пресловутой свободой! И вот ответ такого рода скептикам — да еще какой! — дал новый журнал под названием «Мэссиз». Никогда, ни до, ни после этого, в США не появлялось ничего равного «Мэссиз» периода его расцвета, то есть начиная с момента, когда Макс Истмен возглавил его, и вплоть до первой мировой войны, когда всякое издание, претендующее на свободу, стало недозволенным. В журнале в полную силу проявилось дарование нескольких больших мастеров и подлинных знатоков своего дела. Убеждение, что жизненные блага распределяются между людьми с вопиющей несправедливостью, они выражали в политических карикатурах, публицистических статьях, художественных очерках, и все это преподносилось читателю живо, насмешливо, остроумно, увлекательно. И уж конечно безо всякой оглядки! Каждый новый номер «Мэссиз» в пачке однотипных журналов со слащавыми, кокетливо улыбающимися девицами и пудовыми подшивками реклам действовал на вас освежающе, как глоток вина. На обложке — великолепный рисунок Джона Слоуна (школа «помойного ведра» — называли его стиль члены клуба «Каждый на свои»), а внутри — карикатура Арта Янга; наброски Гленна Колмена, Джорджа Беллоуза¹, Бордмена Робинсона; было и что почитать, хотя почему-то казалось, что художникам дышится в «Мэссиз» вольней и они как-то ближе к жизни, чем писатели.

¹ Беллоуз Джордж Уэсли (1882—1925) — американский художник.

До прихода в «Мэссиз» Истмен преподавал эстетику в Колумбийском университете. И если высокий, красивый, необычайно цельный по характеру Истмен безраздельно царил в журнале как его духовный вождь и организатор, то Арт Янг, этот живой Фальстаф с хитрецей уроженца Среднего Запада, казалось, олицетворял собою вольную душу журнала, и Рид разом увлекся обоими этими столь несхожими между собой людьми.

Рассказывая о себе, Янг поведал нам и о том, что поначалу его карикатуры и шаржи не носили никакого социального отпечатка. «Существуют ли какие-нибудь социальные проблемы в Париже или нет, — говорил он, вспоминая время своего ученичества, — голодают ли обитатели бедных кварталов — мы об этом понятия не имели. Даже когда в Лондоне, в Уайтчепле, мы видели сборища оборванных, изможденных людей, то социальный смысл этого явления тогда еще не доходил до меня. Да, это бедность, но разве тут чем-нибудь поможешь? Я тогда просто еще не понимал по-настоящему, за что борются люди». Позднее он писал: «Художник должен уметь мысленно ставить себя на место другого. Не может быть искусства без души, и, чем талантливее художник, тем глубже его чувства. Он наделен такой чуткостью и такой силой воображения, что, на взгляд обывателя, кажется чуточку «тронутому». Отчаяние других передается ему самому». И еще некоторое время спустя Янг уже высказывает свое кредо художника: «Чувство юмора всегда спасало меня от фанатизма. Но я исполнен возмущения против социального зла, которое бросается в глаза каждому, куда ни глянешь. И отныне перо, которым я рисую, будет служить, насколько позволят обстоятельства, делу борьбы против системы, породившей столько бедствий».

Бесстрашный Янг, очень трезво оценивавший факты, действительно уберегся от «фанатизма». Его безжалостное перо клеймило общество в злых гротесках: крохотная, но героическая фигурка с надписью «Рабочий», подняв меч,

вызывала на бой безобразную, омерзительно расплывшуюся тушу, на которой красовалось слово «Капитализм». Но после жестокой, яростной сатиры Янг легко переходил в область веселой шутки, где отдыхал душой. Мировую известность получил сделанный им для «Мэссиз» рисунок, на котором изображено возвращение рабочего домой после тяжелой смены. Он без сил опускается на стул со словами: «Ну и измучился я, сил нет!» А жена не остается в долгу: «Смотрите пожалуйста! Это ты-то замучился! Я весь день не отхожу от раскаленной плиты, а ты копаешься себе в своей канализационной канаве, уж там-то прохладно!»

Увидев эту карикатуру, Рид от души смеялся. И все-таки не того ему хотелось — он жаждал более энергичных действий. У него не было ни долготерпения Янга, ни его выдержки. Теперь, когда открылись такие большие возможности, он рвался в бой. Вдвоем с Истменом они составили политическую декларацию нового журнала, которая гласила:

«Журнал издается редакторами, которые владеют им на кооперативных началах. Журнал никому не выплачивает дивидендов и не рассматривается как доходное предприятие. Это не реформистский, а революционный журнал, у которого есть чувство юмора и ни малейшего почтения к благонаравью, — журнал честный, независимый, дерзкий, вскрывающий самую суть явлений и борющийся с косностью и догматизмом, в чем бы они ни проявлялись. Журнал будет помещать на своих страницах все, что отвергается коммерческими изданиями за смелость и правдивость, он будет проводить ту политику, которую сочтет нужным, и не станет угождать никому, даже читателю».

В стиле этой декларации, если не считать последней фразы, чувствуется скорее рука Истмена, чем Рида. Но по смыслу каждое ее слово точно отвечает подлинному характеру Рида.

«Мэссиз» и сгруппировавшиеся вокруг журнала литераторы и художники образовали своего рода школу, и Рид жадно внимал всему, чему в ней учили.

Но недолго суждено ему было оставаться одному и метаться в поисках самого себя, рассчитывая лишь на благоприятное стечение обстоятельств. В его жизнь вошла женщина. Женщина, которая способна была позаботиться о нем, женщина такой высокой культуры и душевной чуткости, так прочно чувствующая себя в жизни и настолько независимая, что казалось, сама судьба послала ему ее.

«Опасные люди»

Она заметила Рида, когда он был еще совсем юным, и ее сияющие глаза действовали на него как магнит.

Это была необыкновенная женщина, казалось, вся освещенная изнутри сжигающим ее огнем. Мейбл Додж стала центром всей жизни Рида, и дела его пошли живей, уверенней. Она полюбила его, взяла под свое крылышко, прибрала к рукам. Захваченный большим чувством, Рид охотно подчинился ей. И это казалось вполне естественным. У них было много общего. В то время еще нельзя было предвидеть, чем обернутся для него ее крайне обостренная интуиция и властность, хотя то, как она разделилась с единственной соперницей, скромной девушкой, с которой у Рида, впрочем, не было ничего серьезного, заключало в себе некое предзнаменование. Казалось, Мейбл и Джон просто созданы друг для друга — женщина с бесстрашной душой и доверчивый юноша, жаждавший любви и поддержки, которые она так щедро дарила ему. В то время Мейбл Додж была замужем за архитектором, у нее был маленький сын. Она располагала собственным капиталом и только что кончила обставлять антикварной мебелью, за которой охотилась по всей Европе, квартиру на Пятой авеню. Здесь, решила она, будут собраны подлинные редкости, принимать она будет только умных и

необыкновенных людей. Личность поистине незаурядная, она с поразительней безупречностью, интуитивно постигала то, на что ей не хватало ума, и решительно пренебрегая светскими условностями, делала все, что ей вздумается, и шла своим непроторенным путем. В результате Мейбл Додж дебилась многого, и в выигрыше от этого оказалась не только она сама, но и многие другие. Она ратовала за непосредственность и глубину чувств, помогая людям обрести ту остроту восприятия, которую они утрачивают в будничной суете. В ней жила неиссякаемая жажда перемен, и она стала преданным и щедрым другом как подлинных, так и мнимых «потрясателей основ» этого пришедшего в упадок мира.

Джона Рида, да и всех прочих участников невообразимо пестрых сборищ на ее вечерах, привлекала красота хозийки и то сочетание спокойной уверенности и скромности, которое отличало ее неповторимую манеру держаться; но, конечно, главной приманкой на этих вечерах была царившая здесь поистине неслыханная свобода слова: здесь всем разрешалось отводить душу и упиваться собственным красноречием, здесь можно было высказываться без обиняков и разделявать под орех все и вся, подкрепляя иссякающие силы шотландским виски и изрядными ломтями индейки и ветчины. Любому пришедшему, если его стоило слушать, были здесь честь и место, но разговор, как правило, сам собой переходил в споры о новом искусстве, о новых политических течениях, новейших воззрениях на жизнь и общество.

В этой наэлектризованной атмосфере и жили двое влюбленных — Джон и Мейбл.

О вечерах у Мейбл Додж сохранилось множество рассказов. Один из лучших принадлежит самой Мейбл.

«Представьте себе,— пишет она,— поток входящих и выходящих людей, собирающихся ненадолго в отдельные группы; здесь встречаются социалисты, профсоюзные деятели, анархисты, суфражистки, поэты, какие-то родствен-

ники, адвокаты, убийцы, старые друзья, специалисты по психоанализу, деятели ИРМ, сторонники введения единого налога, поборники ограничения рождаемости, журналисты, просто художники и художники-модернисты, члены женских клубов и проповедницы святости домашнего очага, священники и люди, ничем не примечательные.

Как-то раз Билл Хейвуд, Эмма Голдмен и Инглиш Уоллинг, подбадриваемые своими сторонниками, затеяли обмен мнениями. Эмма, Билл и Александр Беркман (этот серьезный лысый человек, похожий на какого-нибудь скромного лаборанта, очень худой и бледный, много лет просидел в тюрьме за покушение на стального магната Фрикка) пытались убедить социалистов, что крайние меры целесообразнее пропаганды и борьбы за реформы в рамках законности. Они верили в то, что политические убийства имеют смысл... А члены ИРМ во главе с Биллом Хейвудом, Карло Треска, Элизабет Гэрли Флинн и Джованнети¹ проповедовали диверсии на производстве, даже если они влекут за собой человеческие жертвы... Эти «опасные люди» были бы арестованы немедленно, стоило им, забывшись, высказать свои мысли где-нибудь в публичном месте. Но в тот вечер они решили высказаться начистоту. Я попросила Витторио запереть дверь и никого больше не впускать... Теперь присутствующие были в полной безопасности — все, кроме самой хозяйки.

Однако на сей раз мои страхи оказались напрасными, потому что эти «опасные люди» никак не могли ясно сформулировать различия между анархизмом, идеологией ИРМ и социализмом... Пламенный оратор на улице перед тысячами мокнувших под дождем забастовщиков, здесь Хейвуд не мог подыскать нужных слов. Уолтер Липпман, подавая реплики, пытался вызвать его на разговор. Тщетно. Верхнее веко слепого глаза Билла как-то уныло

¹ *Джованнети Артуро* — рабочий-поэт и видный профсоюзный деятель анархистского толка. В 30-х и начале 40-х годов был активным антифашистом. Впоследствии стал ренегатом.

пожухло, щеки обвисли. Эмма Голдмен вдруг стала походить на строгую учительницу, отчитывающую школяров. Один только Инглиш Уоллинг продолжал улыбаться и был, как всегда, изысканно вежлив.

В другой раз Большой Билл заявил собравшимся у меня художникам, что рано или поздно появится пролетарское искусство. Государство позаботится о том, чтобы все в равной мере служили искусству.

Разумеется, присутствовавших при этом художников-модернистов Эндрю Десберга, Джона Марина, Пикабию, Марседена Хартли его слова не могли привести в такую ярость, в какую пришла Джейнет Скаддер¹. Она тяжело поднялась с места и встала во весь свой исполинский рост, углы ее губ опустились, глаза, колючие, как иголки, метали молнии в этого великана, который добродушно ухмылялся, глядя на нее. Презрительно подчеркивая каждое слово, она протянула: «А ведомо ли вам, что для того, чтобы стать художником, надо потратить двадцать лет?»

По лицу Джейнет я отчетливо увидела, какие воспоминания проносятся в эту минуту в ее голове. Отчаянные усилия, затраченные на то, чтобы скопить денег и вырваться в большой мир, годы работы, чтобы добиться стипендии, бесконечно долгий путь, пройденный ею до Парижа, и годы каторжного труда в Париже... Откуда было Биллу Хейвуду знать про все это? Неоткуда. Впрочем, и она не могла себе представить, какие картины вызывает в его памяти ее яростная отповедь.

«Все будут служить искусству», — подобное высказывание характерно для Хейвуда. Это был очень простой человек. Ему, без сомнения, никогда не доводилось слышать,

¹ Скаддер Джейнет (1871—1940) — американский скульптор. Работы ее отличаются жизнерадостностью и техническим совершенством. Особенно виртуозны монументальные скульптурные композиции, входящие в архитектурные ансамбли Метрополитен-музея, Института Пябоди в Балтиморе и Института искусств в Чикаго. Оставила интересную книгу воспоминаний «Жизнь, сотворенная своими руками».

что существует такая штука, как психология масс, но он обладал способностью расшевелить людей, повести их за собой, внушить им веру.

Автор этих строк видел Большого Билла во время забастовки в Лоренсе, в штате Массачусетс, примерно в то время, о котором идет речь. Билл стоял на какой-то шаткой платформе, возвышаясь над огромной толпой людей, терявшейся в туманных сумерках. Мужчины, женщины, дети слушали его с благоговением, а когда он умолк, грянула песня. Позднее, когда мы сидели с ним в грязном ресторанчике за чашкой кофе и он, потупясь, разглядывал клеенку на столе, явно не настроенный разговаривать, я спросил его: «Чем же вы займетесь, когда наконец справитесь с фабрикантами?» — «Захватим фабрики и будем управлять ими сами», — сказал он как нечто само собой разумеющееся. Не забывайте, что этот разговор происходил в 1912 или 1913 г. Как смело и дерзко это тогда звучало!

Но сказанное им насчет искусства представлялось в то время более реальным. Казалось, самый воздух был насыщен невиданными до сих пор возможностями, знамением чего многим представлялась напумевшая «Армори Шоу» — выставка произведений постимпрессионистов и кубистов; небывалая вещь — где-нибудь в вестибюле гостиницы или в вагоне подземки самые обычные люди рассуждали на такие, казалось бы, малодоступные темы, как «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» (непосвященные, к своему величайшему разочарованию, убеждались, что на картине нет ни обнаженной, ни даже лестницы, по праву художника изображать не то, что видят окружающие, уже не оспаривалось), толковали о «Девушке в красном» Матисса, «Танце у источника» Пикабиа, о «Язычнице» Бранкузи; выставка художников новейших школ в «Галерее 291» у Альфреда Штиглица была постоянным празднеством. И на сборищах у Мейбл яростно спорили о духовных потребностях человечества, удовлетворить ко-

торые в состоянии голько искусство: искусство-де может принести человечеству больше пользы, чем решение экономических проблем, больше даже, чем социализм, нужно только, чтобы оно стало всеобщим достоянием.

Вот еще одно свидетельство о вечерах у Мейбл, оставленное Карлом ван Вехтенем: «Мейбл тогда была еще молода — года тридцать четыре, не больше — и очень недурна собой. Мне никогда не приходилось видеть лицо более изменчивое — оно с равной легкостью могло выражать и все что угодно, и ничего. Великолепнейшая маска. Одет Мейбл была всегда очень элегантно. Обычно она носила шелковые платья бирюзового, ярко-красного или желтого цвета, плотно облегающие фигуру, а отправляясь в гости или в театр, облачалась в какие-нибудь красиво драпирующиеся туалеты из легких тканей контрастирующих тонов. Ее шляпка, украшенная перьями и каскадом вуали, напоминала убор «Давида» Донателло. Мейбл была душой общества. Она умела подхватить на лету любой проблеск свежей мысли и развить эту мысль или опровергнуть, не оставив от нее камня на камне. Но случалось, что она сидела, не говоря ни слова, благонаправно сложив руки, похожая на мадонну. Иногда по ее лицу было видно, что мысли ее далеко. Десберг увековечил ее в таком настроении, назвав свою картину «Мейбл Додж, витающая в облаках». Но даже на этом портрете она словно освещена яркими языками пламени. Ее энергия в любую минуту готова была прорваться наружу, и художник сумел подчеркнуть это».

Появлялся на вечерах у Мейбл и Хатчинс Хепгуд — вот он входит, изможденный, издерганный и все-таки необыкновенно привлекательный, и, сначала застенчиво, но тут же увлекаясь, вступает в разговор с какой-то молодой женщиной — у нее короткая стрижка, забившись в угол гостиной, она поглаживает примитивную африканскую статуэтку — обнаженную женскую фигуру из дерева. Здесь же и экзотическая Йорска, длинноносая, с трагиче-

скими глазами, на белом, как у Пьеро, лице резко-резко выделяется карминно-красный, словно ножевая рана, рот; Жо Дэвидсон¹, с его черной бородой — не то Вакх, не то сатир, вырядившийся в смокинг; Эдна Кентон в блекло-зеленом платье в греческом стиле, спитом по ее собственному эскизу; поэт и социалист Макс Истмен с женой; Ида Раух; долговязая, аристократическая Элен Уэстли, тощая, только кожа да кости.

«Тише! Йорска будет читать! Мгновенно все умолкают. Все стулья тут же расхватаны, многие рассаживаются на полу, остальные теснятся у стен, стоят в дверях — женщины в бриллиантах и бархате и коротко стриженные женщины в блузках мужского покроя, мужчины во фраках и смокингах и мужчины в дешевых костюмах, какие носят рабочий люд. Трагическое лицо Йорски, словно всплывающее из черного тюля и атласа ее платья. Прикрепив к корсажу красную розу, она читает по-французски «Балкон» Бодлера. И когда в страстном изнеможении произносит последние строки: «O serments! O parfums! O baisers infinis!»² — зал разражается аплодисментами, восторженными возгласами. А тут и мажордом, циничный, как Герберт Спенсер, тосканец, распахивает двери столовой, и взору собравшихся является домящийся от изобилия стол, уставленный сандвичами, салатами, холодной дичью и телятиной, бокалами и бутылками, среди которых выделяется кюммель в стеклянных медведях. Первыми устремляются к яствам юные радикалы... С ученым видом разглагольствует какой-то молодой человек в свободно повязанном черном галстуке, ухвативший бутылку так самозабвенно, что у меня не было сомнений — отпустит он ее не раньше, чем самолично прикончит».

¹ Дэвидсон Жо (1883—1952) — крупнейший американский скульптор. Создатель получивших мировую известность скульптурных портретов Вудро Вильсона, А. Франса, Р. Лафоллета, Ф.-Д. Рузвельта.

² О клятвы! О ароматы! О бесконечные поцелуи! (франц.)

Прибавим к этой картине еще одну подробность, связанную с портретом Мейбл. Какая-то решительная дама вконец извела Десберга, требуя пояснений. Наконец он не выдержал: «Да ведь картина перед вами! Чего вам еще?» — «Болван!» — ответила она.

А вот, пожалуй, еще штрих: пришел раз с супругой какой-то престарелый джентльмен, по виду — банкир, но, только услышал, что среди собравшихся Александр Беркман, бежал без оглядки.

А Беркман действительно был в тот раз среди гостей. Его тут и вообще приветчали. Он был здесь принят запросто. Покушение на убийство, совершенное им по убеждению, из чувства долга, было в глазах друзей Мейбл Додж, людей без предрассудков, доказательством, что он — свой. И не потому, что человек он кроткий, муху не обидит, а потому, что он по-настоящему искренен — это ценилось здесь выше всего. Примером тому служит одно приключение, случившееся с Хатчинсом Хепгудом, часто донимавшим всех своими бесконечными философствованиями насчет того, что все в жизни надо принимать таким, как оно есть, но в данном случае подтвердившим свои слова делом.

Как-то в баре он обронил замечание, что, дескать, больше всего рабочее движение страдает от продажности вождей. При этом явно имелся в виду один из таких лидеров — пресловутый Сэм Паркс. Трое рабочих-литейщиков, слышавшие это, подкараулили Хепгуда у выхода и избили до потери сознания, оставив валяться в канаве. Хепгуд на следующий день, отвечая на расспросы репортеров, заявил, что сам был во всем виноват. Когда он вчера просто сказал, что Паркс продажен, то этим ничего еще не было доказано. А те ребята, очевидно, полагали, что если их вожак предан интересам рабочих и служит им верой и правдой, то, если он и не отличается особой щепетильностью насчет средств, на которые существует, это никого не касается.

Ипполит Хейвл, цыган, выходец из настоящей Богемии, слушал своего друга Хепгуда с одобрительным видом, но сам слишком много навидался в жизни, чтобы вдаваться в вопросах морали в такие тонкости. Он с готовностью признавал, что жизнь устроена паршиво. Но все у вас как рукой снимет — заверните только в ресторан, который они содержат вдвоем с Полли Холлидей: поедите с чувством и толком, познаете истину в вине, и жизнь вам представится радужной. Ипполит был человек с выдумкой, что и доказал однажды, созвав к себе в ресторан всех друзей и знакомых и устроив празднество столь небывалое, что все они — от тощих, неизвестно в чем душа держится, суфражисток до могучего Теодора Драйзера — словно с ума посходили от веселья, музыки, вина и танцев.

Что же делает Рид среди этого шума и гама, в пестром хороводе всевозможных лиц? Его слово пока еще не прозвучало ни в одном из яростных споров. Да, тон в них каждый раз задают ветераны, уже освоившиеся в водовороте социальных течений. Многие из них успели дорогой ценой заплатить за свои убеждения, за некоторыми, как, например, за Эммой Голдмен, охотится полиция, другие перебиваются кое-как, вынашивая какую-нибудь заветную мысль. Но взволнованно слушающий Рид недолго останется наблюдателем. Он молод, полон сил, рвется в драку.

В жизни и на сцене

В то сумрачное, дождливое утро, около шести часов, на улице заводского района Патерсона (штат Нью-Джерси) появилась одинокая фигура в наглухо застегнутом пальто. По одну сторону улицы притулились деревянные домишки рабочих, по другую — неприступными твердынями вздымались убийственно однообразные стены шелкопрядильной фабрики; громадные здания были пусты — забастовка наглухо захлопнула их двери. В холодных,

грифельно-серых сумерках улица казалась вымершей, но, когда начало светать, из домов стали выходить люди. Они шли к фабрике, оцепленной прохаживающимися по тротуарам пикетчиками.

Человек, который одиноко маячил здесь с шести часов, был, разумеется, Джон Рид, приехавший, чтобы увидеть все своими глазами. Его юношески скромная, располагающая манера держаться, ничем не напоминающая повадки завязанного репортера, рыщущего, точно гончая в поисках дичи, и вместе с тем резкий контраст всего его облика с говорливыми, бедно одетыми рабочими-итальянцами наводила на мысль, что все происходящее нимало его не касается; у него, однако, было на этот счет другое мнение. Он видел, как на середину мостовой вышел наряд полицейских. Помахивая дубинками, полицейские двинулись вдоль улицы. Время от времени они резко сворачивали то к одной, то к другой кучке людей, собравшихся на углах, и, тесня их, приказывали разойтись и отправиться по домам. Люди отступали... и сейчас же возвращались на прежние места. С ними ничего нельзя было поделать. Полицейские выходили из себя. Затянувшееся на многие недели бессменное и бессонное дежурство на бастующих фабриках довело их до белого каления, они видеть не могли этих упрямых иностранцев, которые неизвестно почему не давали им жить по-человечески. Вот от цепи пикетчиков отделилась высокая молодая женщина в шали, с зонтиком в руках, и верзила полицейский глыбой надвинулся на нее. Но она не отступила, по лицу ее скользнула чуть заметная насмешливая улыбка.

— А тебе какого черта здесь надо? — взорвался фараон. — Пошла домой! Чтоб ты провалилась!

Дубинка полицейского припечатала рот женщины.

Джон взбежал на ступеньки ближайшего дома, чтобы лучше видеть, как развернутся события. Другой полицейский приказал ему немедленно убираться отсюда.

— Но вот этот джентльмен разрешил мне, — сказал Джон, улыбнувшись стоявшему рядом итальянцу, который не понял ни слова. Однако фараон не стал пускаться в объяснения.

— Эти паршивые итальяшки не могут вам ничего разрешить, — сказал он. — Пойдемте со мной.

В патерсоновской тюрьме Рид сразу почувствовал себя как дома. Он не пал духом. Очутившись в самой гуще людей, прямо с улицы угодивших за решетку, он тотчас же постарался прийти им на помощь. Он подбадривал их, обращая гнев и отчаяние в веселую непокорность, потешался над зловонным узилищем, в котором они оказались, доверительно сообщал каждому, что скоро их всех выпустят на свободу и что победа не за горами. Он стал запевалой, и от песен арестованных задрожали стены. Тюремное начальство было счастливо избавиться от Рида. А он, стояло ему выйти на волю, тут же написал брызжущий веселой яростью очерк, каждая строчка которого была напоена ядом, и озаглавил его «Гостиница шерифа Рэдклиффа». Закон, сам того не подозревая, на славу подыграл насмешнику.

Хейвуд, развалившись на кушетке и уставившись своим единственным черным как антрацит глазом в потолок, рассказывал о недавних событиях.

— Господи! — говорил он. — Если бы вы видели похороны застреленного фараоном Модестино. Все, кто работает на шелкопрядильной, провожали гроб до самой могилы и забросали его красными цветами. Они срезали герань у себя на окнах или сделали цветы из папиросной бумаги. Во время шествия не умолкал «Интернационал». Если бы только здешний народ знал все это, мы собрали бы кучу денег для забастовщиков.

Без сомнения, так оно и было бы. И вот у Мейбл мелькнула мысль, которую тотчас поддержал Рид. Они решили воспроизвести случившееся, показать похороны убитого забастовщика на сцене Мэдисон-сквер-гардена — самого

большого зала Манхэттена, длина которого равна целому кварталу. Более того, решено было изобразить всю стачку на шелкопрядильных фабриках в ряде отдельных эпизодов, драматических, потрясающих, как сами события в Патерсоне. Инсценировка превратится в грандиозное зрелище. Чудесная мысль! Это откроет наконец глаза заживевшему, бездушному Нью-Йорку, которому дела нет до того, что творится в неприглядном городке шелкопрядильщиков, расположенном совсем рядом, за рекой, но так не похожем на столицу.

Сейчас же засели за разработку плана. Джон Рид напишет сценарий, Роберт Эдмонд Джонс¹ подготовит декорации, в работу включатся все до единого. При наличии таких сил и кипучей энергии замысел не мог не осуществиться.

Джонсу, казалось, самой судьбой суждено было начать свою блестящую карьеру театрального художника именно в этом здании, просторном, как стадион. Из глубины сцены прямо на ее середину выходила улица, на зрителя смотрели мрачные стены фабрики — здесь и должна была медленно, торжественно растекаться во всю ширь авансцены похоронная процессия. Рид в свою очередь наметил ряд резко контрастных сцен: фабрика живет — рабочие подобны мертвецам; фабрика мертва — рабочие приобщаются к жизни. Мейбл потихоньку готовила свой сюрприз, успех которого заранее предвкушала: огромные сверкающие буквы ИРМ запылают в вышине как вызов взорам господствующего класса.

Когда на просмотре эти разящие буквы засветились под самым потолком, оповещая всех граждан, что «Индустриальные рабочие мира» — эта, как писали потом,

¹ Джонс Роберт Эдмонд (1887—1954) — один из самых интересных и своеобразных театральных художников США. Стиль Джонса отличается особой яркостью, красочностью, богатством и разнообразием световых эффектов. Наибольшую известность принесло ему оформление постановок пьес Юджина О'Нилла.

«подрывная организация, подстрекающая к насилию, порождающая распри» проникла в самую гущу общества, блюстители закона всполошились. Больше всех неистовствовал шериф; когда тысяча забастовщиков во главе с Ридом вышла на сцену, он завопил, что это подстрекательство к смуте, и запретил пение «Марсельезы», но судья отменил запрещение — в этом не было ничего противозаконного. Тогда, не зная, к чему бы еще придаться, неугомонный шериф заявил: «Пусть только кто-нибудь посмеет проявить непочтение к государственному флагу, я сейчас же прекращу представление, они и опомниться не успеют».

Уж лучше бы он помолчал. Имей этот зарвавшийся шериф и многие другие, ему подобные, хоть малейшее понятие о царивших тогда настроениях, они бы поняли, что означает такая постановка в Мэдисон-сквер-гардене для людей, затопивших в день представления все подступы к зданию театра и близлежащие улицы. Весть о постановке облетела всю округу, и люди знали, зачем они пришли, что они увидят и услышат: им покажут историю их собственной беспросветной жизни, полной забот и тревог, и трагедию их стачки, которая принесла с собой зажигательные речи, песни, смерть.

Инициаторы всей этой затеи, увлекшись работой над постановкой, совсем упустили из виду, что их огромная аудитория будет состоять главным образом из рабочих, которым нечем платить за вход. Тысячи людей были пропущены в зал бесплатно. Иначе и быть не могло, но на финансовой стороне предприятия это отразилось самым плачевным образом. Вместо «кучи денег» для забастовочного комитета в Патерсоне — ужасающий список долгов. Зрелище влетело в копеечку устроителям, но разве в конечном счете, если принять во внимание не только материальную, но и духовную сторону дела, оно не стоило этого? Во всяком случае, двум главным организаторам этого предприятия, Мейблу и Джону, и в голову не приходило ни разби-

ратся в том, кто здесь прав и кто виноват, ни вообще расстраиваться по этому поводу, да их уже и не было в Нью-Йорке — они плыли в Италию.

Если предстоят великие дела

Кажется, уже давно исчерпано все, что только можно сказать в осуждение женщины, которую Рид так любил, помянем же ее и добрым словом. Во всяком случае, она знала, что жизнь на то и дана, чтобы ею пользоваться, что после того, как один цикл жизненной деятельности закончен, надо тут же, не мешкая, начинать новый. Сейчас им надо отдохнуть, опомниться от суматохи, напряжения, неприятностей, связанных с постановкой в Мэдисон-сквер-гардене, с осложнениями после нее. С тем они и приехали в Италию, во Флоренцию, где их ждет счастье на прекрасной старинной вилле Мейбл, расположенной в горах в окрестностях города. Счастье, на страже которого стали кипарисы, — забыть на время все заботы и тревоги и только вдыхать аромат гардений, слушать шум водопада или просто молча сидеть, отрешившись от мирской суеты, внимая лишь гармонии мироздания...

Не слишком ли в радужных тонах ей все это рисовалось? Все оказалось совсем не так просто. Как ни любили они друг друга, по-настоящему им еще только предстояло найти общий язык. Условия всегда ставила Мейбл, а нарушал их всегда Джек, не ставивший их ни во что. Но тем обидней, увы, именно за Мейбл: зрелость, знание жизни были за ней — с него, внутренне, несомненно, еще не сложившегося, и взятки гладки; но она же, не он, и страдала от сложности их отношений.

В ней говорила требовательность первозданной страсти, необыкновенность которой внушала ей гордость. Она хотела, чтобы он принадлежал ей безраздельно, ей хотелось остановить время и, забыв о прошлом, не заглядывая в будущее, пребывать в блаженно сумеречном,

прекрасном настоящем, которое она сотворила. Какими необыкновенными людьми окружала она его. Какое это ни с чем не сравнимое наслаждение, когда великий талант дарит свои сокровища в тесном кругу, по-домашнему! Когда у вас за рояль запросто садится такой маг и чародей, как сам Антон Рубинштейн, пленяет остроумием бесподобная Гертруда Стайн¹, делится мыслями первый мятежник новейшего театра Гордон Крэг², когда у вас появляется в доме — поистине священные эти мгновения! — сама Элеонора Дузе, — каких еще даров можно требовать от жизни?

Нельзя сказать, что все это оставляло Рида равнодушным. Но и не захватывало, не покоряло: его, как всегда, снедает жажда деятельности. И ему совсем не улыбалось превратиться здесь в лежащий камень и мирно покрываться мхом.

Поэтому он покинул блестящее общество на вилле Курония — его влекут к себе великие творения прошлого, они так много говорят его воображению. Мейбл пришлось скрепя сердце следовать за ним. Она рассказывает, что от красоты всего увиденного здесь Рид буквально лишился дара речи. Да и как было не онеметь от изумления, не растеряться от здешних чудес орегонскому парню из Портленда. «Какая же все-таки старина, Мейбл, какая старина...» —

¹ *Стайн Гертруда* (1874—1946) — американская писательница. Среди ее книг наиболее известны «Три жизни», «Становление американцев», «Десять портретов», «Ида». Наряду с беллетристическими произведениями ею написан ряд ярких работ по новейшей живописи и одна из лучших книг о Пикассо. Стиль Стайн и ее взгляды на современную литературу оказали большое влияние на формирование молодых американских писателей, выступивших после первой мировой войны, в том числе на Э. Хемингуэя. Ей принадлежит и выражение «потерянное поколение».

² *Крэг Генри Эдуард Гордон* (1872—1956) — известный английский актер и режиссер. Один из реформаторов театра начала 900-х годов. Создатель так называемого «режиссерского театра», где актер утрачивает всякую самостоятельность и низводится до положения марионетки в руках режиссера.

повторял он без устали. А ей хотелось оторвать его ото всего этого, чтобы «избавиться от ужаса, который охватывал меня при виде, как его глаза широко раскрываются от восторга, вызванного не мной, а чем-то другим».

Стоило им попасть в Венецию, и он, казалось, был потерян для нее, Мейбл, навеки. «Какие чудеса создали эти люди!» — восклицал он на каждом шагу; и чего бы он только не отдал, чтобы оказаться их современником или чтобы и сейчас можно было творить так же, как при них.

«А что мне было до того, когда все это создано, — пишет она, — если я сходила с ума от ревности уже от одного только тона, каким это говорилось». Оставив его, она бежит во Флоренцию и шлет гневное письмо, в котором трагически сетует на то, что он дал столь полно покорить себя «произведениям». Она пишет ему, что недостойно взрослого человека доходить до такого преклонения перед творениями рук человеческих, что все мастерство этих великих искусников, вместе взятое, — ничто по сравнению с ароматом жасмина, который цветет у нее под окном: «Такого людям не сотворить!»

Но при всем том она верно распознала грозящую ей опасность: этот мальчик был так же строитив, как и она. А он, в душе, опасался попасть в кабалу и... упустить свое счастье. Ведь как ни молод он, а уже знает: любовь связывает по рукам и ногам и отнимает право распоряжаться собой по своему усмотрению. А он должен быть свободен и сам себе хозяин — ведь ему еще предстоит великие дела. Хотя какие именно, он в ту пору вряд ли даже смутно догадывался.

Вилья вступил в Чиуауа

Необыкновенная жизнь была, как видно, на роду написана Риду. Ему не суждено было, как многим честолюбивым юношам, упыло вести бесконечный счет тусклым дням и, томясь их однообразием, незаметно свыкаться

с рутиной. Вот и на этот раз он и оглянуться не успел, как его захлестнули такие события, что казалось, будто их специально для него выдумали.

Они помогли наконец Риду найти себя, отчеканили его не сформировавшийся еще характер; он понял теперь, в чем его истинное призвание. Все произошло как во сне. Полчища оборванных, нищих людей с героизмом, который, казалось, граничил с безумием, вступили в эпически величественную борьбу не на жизнь, а на смерть; по горам и равнинам неудержимо загрохотала война, в которой дрались, не мудрствуя лукаво, кто как умел, без пощады и без притворства. Это была трагедия, овеянная притом совершенно особой романтикой... Революция в Мексике.

И Риду после недолгих сборов предстояло очутиться в самом ее водовороте, услышать свист пуль, увидеть страдания и кровь, греться у костров на ночных привалах...

Они с Мейбл вернулись из Европы, и Рид поселился у нее. Внешние их отношения не изменились, хотя в них уже звучали новые нотки. Мейбл уяснила себе наконец, что с этим мальчиком шутки плохи, а Джон решил, что постарается никогда не огорчать ее и что лучше держать некоторые свои чувства при себе. Но ему это не всегда удавалось. И принять такое решение куда легче, чем выполнить. «Что они ему так дались, все эти падшие создания, протитутки, что в них интересного? — спрашивала себя Мейбл и злилась. — Просто юношеские бредни!..» И пока он, только что вернувшись с очередной ночной вылазки, развалился в кресле, расписывая ей с горящими от возбуждения глазами, какую необыкновенную девушку встретил он на улице, у фонаря, Мейбл места себе не находила — так ей было не по себе. «Временами, — писала Мейбл Додж, — я горько раскаивалась в своей привязанности к Риду — ведь в Эндрю (Десберге) гораздо больше устойчивости, значительности, а Рид так до конца дней своих и останется мальчишкой». Слово «мальчишка» в самом уни-

чижительном смысле неизменно срывалось с языка у всех, кому Рид, случалось, чем-нибудь досаждал.

Всегдашний добрый гений Рида Линкольн Стеффенс не забывает о нем и теперь. И на этот раз, как и всегда, без лишних слов, со свойственной ему практичностью помогает он Риду сделать новый важный шаг вперед.

Мы уже подошли вплотную к этому решающему моменту. Но автор, которому довелось в свое время испытать на себе самом ни с чем не сравнимое обаяние Стеффенса, не в силах пропустить случай сказать несколько слов об этом человеке.

Пока не вышла «Автобиография» Стеффенса, его явно недооценивали. Считалось, что вся его характеристика исчерпывается кличкой Разгребатель Грязи, вошедшей в обиход с легкой руки Теодора Рузвельта. Но это было заблуждением. Сенсационное разоблачение, как таковое, никогда не являлось для Стеффенса самоцелью; и ни наивное морализаторство, ни, еще того менее, возможность поиздеваться над обществом, в котором он живет, никогда не прельщали его. При всем своем по-детски несдержанном любопытстве и чисто репортерской хватке он был наделен одной редкой способностью. Недаром критик Эдмунд Уилсон сказал о нем: «Стеффенсу ничего не стоит доказать вам естественность чего угодно». Для него не существовало ни добродетели, ни порока, ни образцовых граждан, ни пройдох: в каждом он видел только человека, поступающего точно так же, как поступил бы любой из нас в подобных обстоятельствах. И где бы он ни оказывался с глазу на глаз с человеком — в кабинете ли крупного политического заправилы, в камере осужденного террориста или на борту прогулочной яхты промышленного магната, ворочающего миллионами, — собеседник сносил его беззастенчивое выспрашивание с кротостью, которую крайне редко проявляют, имея дело с интервьюером, а он всякий раз убеждался, что каждый человек может доказать свою правоту. В разговоре со Стеффенсом люди раскрывались без утайки,

словно им нравилось его необычное отношение, не выражавшее ни одобрения, ни осуждения. Высказаться становилось для каждого из них потребностью. И каждый оказывался по-своему прав. В чем же тут было дело? Стеффенс полагал, что открыл секрет: негодовать бесполезно, наш долг состоит в том, чтобы понять.

В мире, управляемом миллионерами и охраняемом полицией, подобные речи звучали довольно нелепо. Они вызвали насмешливое сожаление, на что он отвечал лишь кроткой, но иронической улыбкой и шел себе дальше, семеня короткими ножками, — маленький человек с белокурой бородкой, с ослепительно белыми зубами, сверкавшими в улыбке, не оставляющей сомнений: он понял вас до конца.

У меня есть лишь голос,
Чтоб распутывать лжи клубок —
Городской романтической лжи
И лжи, воздвигаемой властью,
Чьи здания теснятся в небе.
Государства не существует,
Но никто не живет один.
Голод не оставляет выбора
Ни гражданам, ни полиции.
Нам придется любить друг друга
Или умереть.

Новому, идущему следом за Стеффенсом поколению, на долю которого выпало столько испытаний, этот проныцательный сердцевед, этот философствующий репортер, наделенный сверхъестественным чутьем, уже не казался ни гордым, ни чудачком.

Постоянная озабоченность судьбой Джона Рида, которого он любил, как родного сына, подсказала Стеффенсу, что, как ни полпа и содержательна на первый взгляд его теперешняя жизнь в Гринвич-вилледже, она бесперспективна и уже не удовлетворяет Джона, не приносит ему радости. Он занимал пост ответственного секретаря «Мас-сиз», но это была чисто техническая работа, с которой

многие справлялись бы лучше его. Даже те резкие нападки на социальную несправедливость и на политику правительства, с которыми Рид выступал в то время в печати, казалось, оставляли без применения скрытые в нем силы. Рид, несомненно, переживал период внутреннего застоя, и, пожалуй, болезненное, чем когда-либо.

И вот, словно само провидение позаботилось о том, чтобы разом покончить с создавшимся положением. Вспыхнула революция в Мексике.

Франсиско Вилья обрушился во главе своих отрядов на богатый район Чиуауа. Газеты с лихорадочной поспешностью отправляли корреспондентов на место военных действий. Для Джона Рида, решил Стеффенс, лучшего и не придумаешь!

За плотно закрытыми дверями в одной из комнат старого Холленд-хауза, где в предвечерних сумерках отсветы старинного хрусталя, падая на карту, путали линии, обозначавшие передвижение повстанческих бригад, Вигем, Питер Дани, Стеффенс и автор этих строк держали совет. На этом редакционном совете все было решено и подписано. Согласие Рида на поездку считалось само собой разумеющимся. Спорным представлялся лишь один вопрос: к кому он должен присоединиться в Мексике — к Вилье или к Каррансе. У революции были два вождя, казалось, воплощавшие прямо противоположные типы. Действовавший на юге Карранса был образованным человеком, прирожденным государственным деятелем, которого недруги упрекали в надменности и в отсутствии гибкости, — он строил планы и никогда не осуществлял их; Вилья же, настоящий партизан, был груб и невежествен, но зато как он дрался! Стеффенс стоял за Каррансу: Вилья был ему глубоко антипатичен, и впоследствии он лишь укрепился в своем мнении, Карранса же чем-то импонировал ему. Однако на нашем совещании Стеффенс оказался в меньшинстве, и его удалось переубедить. Впоследствии он, как и все мы, познал то чувство, которое, вероятно, охватывает напавшего

на золотую жилу старателя: он понял, чем станет для Рида окружение Вильи — простые и грубые люди, у которых ничего нет, но которые знают, чего хотят, люди, которых единство цели превратило в товарищей по оружию.

Джон принял предложение «Метрополитен» со сдержанностью, которая никого не могла обмануть, — все его существо излучало взволнованность. Он походил на жениха, готового с восторгом принять на себя всю полноту ответственности, предписываемой брачным обетом. Он до тошноты вникал в мельчайшие подробности своего снаряжения. Но вот наконец мы обменялись рукопожатиями, и он отбыл, вооруженный револьвером и фотоаппаратом, с денежным аккредитивом на руках, горя юношеским нетерпением принять боевое крещение.

Впервые, пока еще только издали, мельком, Риду удалось увидеть революцию с плоской крыши одного из зданий в пограничном городке Пресидио, когда он пытался разглядеть, что происходит за рекой возле другого селения — Охинаги. Он увидел кучку серых домиков, затерявшихся в пустыне на фоне зубчатых гор. Там армия федералистов поджидала — впрочем, без всякой надежды устоять — появления непобедимого вождя повстанцев Панчо¹ Вильи. Солнце освещало грязные белые мундиры окапывающихся солдат, играло бликами на стволе орудия, заволакивалось на мгновение клубами дыма. К вечеру по отрогам гор, четко выделяясь на фоне неба, замаячили конные разъезды. Всю ночь вдали горели какие-то загадочные огни.

Рид не стал мешкать. Вскоре он был уже в Мексике.

Проснувшись однажды утром в какой-то горной деревушке, он услышал новость, от которой у него дух захватило: генерал Урбина готовился выступить. То ли правда генерал, то ли просто бандит, этот Урбина был правой рукой Вильи, и уж он-то задаст жару противнику. Но до-

¹ Уменьшительное от Франсиско.

браться до Лас-Ниевес, чтобы присоединиться к нему, было не так просто. Железных дорог в этой части страны не было и в помине. Помощь пришла в лице неожиданно повернувшегося араба весьма непривлекательной внешности, с острым как нож носом и выпученными глазами. Он оказался обладателем двуколки и мула и ехал как раз в том направлении. Крайне неохотно согласился он захватить с собой Рида. Однако, присмотревшись к попутчику и, вероятно, решив, что тот вполне безобиден, араб мало-помалу оттаял и выложил ему историю своей жизни на таком языке, что Рид не понял ни слова.

Долгие часы в полном безмолвии ехали они по бескрайнему плоскогорью, желтыми волнами набегавшему где-то вдаль на подножие пурпурных гор, обрамленных сияющей лазурью неба. По временам араб заговаривал со своим верным мулом, давая Риду понять, что за сердечное существо этот мул.

В мягком предвечернем свете ярче проступали краски пустыни, четче обрисовывались очертания предметов. Вдруг, точно выросшая из-под земли твердыня, перед путешественниками возникло огромное ранчо — прямые отвесные стены, сторожевые башни с бойницами, окованные железом ворота. Вокруг била ключом жизнь. От реки к воротам двигались черные женские фигурки с кувшинами на головах, двое всадников бешеным галопом носились по лугу, загоняя скот в загоны.

Их приветствовал человек чрезвычайно живописной наружности. На нем была красная шелковая рубаша, брюки в обтяжку, сомбреро, отделанное серебряным галуном; но, как ни роскошен был его вид, он оказался не владельцем асьенды, а всего лишь управляющим — сам хозяин поспешил заблаговременно унести ноги. Внутри ограды они увидели группу домов и множество людей, занятых повседневными делами; сельская жизнь шла своим чередом — ни дать ни взять оперная идиллия. Рид с живым интересом приглядывался ко всему. Молодые девушки

с кувшинами на головах шли через площадь, возле одного из домов женщина нянчила ребенка, другая, чуть поодаль, стоя на коленях, с бесконечным терпением растирала в каменной ступе кукурузные зерна; мужчины сидели на корточках вокруг костров, на которых жгли сухие кукурузные стебли, и мирно покуривали свои трубки, наблюдая за работающими женщинами. Не успели путники распрячь мула, как мужчины окружили их, полные дружелюбного любопытства. Откуда они? Куда держат путь? Взяли ли мадеристы Охинагу? Правда ли, что Ороско собирается перебить всех *pacíficos*¹ до единого? До чего же надоела эта война!

— Мой дом в вашем распоряжении, — сказал один из мужчин с изысканной вежливостью и попросил угостить сигаретой. Даже мул и тот был накормлен вволю.

— А что вы скажете об Урбине? — расспрашивал Рид.

— Прекрасный человек, душа нараспашку, — отвечали ему. — И очень храбрый. Пули отскакивают от него, как дождь от сомбреро.

...И вот наконец на следующий день генерал протягивает Риду свою вялую руку, пристально изучая его маленькими блестящими звериными глазками. «Лев Дуранго» принял Рида, восседаая на колченогом, шатком стуле посредине огромного патио, похожего на скотный двор: свиньи рылись в кучах отходов, вокруг бродили куры, козы, в грязи возились полуголые ребятишки. Стоя на коленях перед генералом, неон высыпал из мешка патроны для маузера. Генерал отмахнулся от бумаг Рида, объявив, что понятия не имеет о грамоте...

— Стало быть, ты хочешь идти со мной в бой? Патронов у нас хватит, — засмеялся генерал. — Но я еще не знаю, когда выступлю. А теперь закуси.

— Благодарю, мой генерал, я уже ел.

— Ступай закуси, — невозмутимо повторил Урбина.

¹ Мирных (исп.).

Маленький неряшливый человечек, которого все называли «доктором», привел Риду в столовую, но не успели они войти туда, как послышались крики и принесли раненого. Это был крестьянин, в руках он крепко зажал сомбреро, на голове у него была окровавленная повязка. «Доктор» сейчас же потребовал ножницы и кувшин колодезной воды. Он поднял с пола какую-то палочку, заострил ее, отодрал присохшую к ране тряпку и принялся исследовать рану, орудуя палочкой, точно зондом. Раненый со всхлипом втягивал сквозь зубы воздух. За делом «доктор» не забывал и о беседе.

— Да,— заметил он, забираясь палочкой поглубже,— интересная это штука — жизнь врача. Облегчаешь страдания ближних...

При этих словах раненый лишился чувств, и «доктор», с отвращением посмотрев на него, перестал пользоваться своего пациента. Холодная вода из кувшина привела раненого в себя, и Рид спросил, солдат ли он.

— Нет, сеньор,— ответил он.— Всего-навсего *pacífico*. Я из Канутильо, и, если вам случится заглянуть туда, мой дом к вашим услугам.

За столом Рид познакомился с капитаном Фернандо, седым великаном, участвовавшим в двадцати одном сражении. Ломаный испанский язык, на котором изъяснялся Рид, привел в такой неописуемый восторг капитана, что от его хохота дрожали стены. Рядом с капитаном сидел круглолицый и добродушный Лонхинос Герека, о его храбрости и военных заслугах знала вся армия. Потом пришли Патрисио, который слыл лучшим в стране объездчиком диких лошадей, Фиденсио, чистокровный индеец семи футов росту, и карлик-горбун Саларсо, которого Урбина повсюду таскал с собой для развлечения...

Ночевать Риду пришлось в одной постели с «доктором»: единственная, кроме этой, кровать в доме была приготовлена генералу и его очередной возлюбленной. Ночью Урбина храпел и вскрикивал во сне.

— У генерала,— пояснил лекарь,— ревматизм. Когда муки становятся нестерпимы, он глушит боль *aguardiente*¹, а когда напьется, рвется пристрелить мать... так ее любит! — «Доктор» принялся стягивать с себя свое грязное тряпье.— Революция,— изрек он глубокомысленно,— это война бедных с богатыми. До революции я был совсем беден, а теперь — очень богат.— И, уже снимая нижнюю рубашку, сказал на ломаном английском: — Очень богат вшами.

Но дни проходили за днями, а Урбина по-прежнему не проявлял ни малейшего намерения выступить и дать сражение. Рид при встрече с генералом со всей деликатностью, на какую был способен, попробовал было заговорить о том, что ему необходимо добраться до фронта, и спросил, не может ли он присоединиться к Вилье.

Ни один мускул не дрогнул в лице генерала.

— Чем тебе здесь плохо? — спросил он.— Дом тебе отвели. Чего же тебе не хватает? Сигарет? *Aguardiente*? Бабы, чтобы грела постель? Что тебе нужно? Пистолет? Лошадь? Деньги? — Он извлек из кармана пригоршню серебряных монет и швырнул их к ногам Рида.

Нигде в Мексике не было ему так весело, как в том доме, говорил Рид.

Веселые, милые, простые

*Не хочу быть ороскистом,
Не хочу быть порфиристом;
Буду добровольцем
В войске мадеристов!*

Походная песня Ла тропы

Оставалось только ждать. Как вдруг положение изменилось.

В один прекрасный день Урбина вышел из своей комнаты, громовым голосом отдавая приказания. И кругом все

¹ Водкой (исп.).

закипело. Офицеры кинулись свертывать свои сагарес¹, кавалеристы поспешно седлали коней, пеоны бегали взад и вперед, волоча охапки ружей и амуниции. Генеральское добро грузили на огромную повозку, на которой он имел обыкновение отбывать в поход.

Из-за песчаных холмов показалась Ла тропа — неистовые дьяволы с диким гиканьем, стреляя в воздух из пистолетов, во весь опор мчались по пустыне и, подскочив, осаживали лошадей. Рид впервые увидел солдат армии конституционалистов, своих будущих *compaños*², с которыми ему предстояло совершить не один поход и быть свидетелем многих диковинных и кровавых дел. Они называли себя мадеристами и бросили все, чтобы идти сражаться против правительства Узрты, убийцы Мадеро, который был другом бедняков.

Мадеро был мертв. А они по-прежнему сражались за возвращение ему поста президента Мексики: это беспримерное требование сохранялось и в печатном тексте программы Революции. Тень Мадеро сопровождала повстанцев в походах. Рид слушал солдатские разговоры о нем.

— Я знал его,— говорил один. — Он всегда смеялся. Всегда...

— Да,— соглашался другой,— каждый раз, когда кто-нибудь, бывало, натворит чего и с ним хотят расправиться или засадить в тюрьму, он всегда тут же вступится: «Дайте мне поговорить с этим человеком, и он исправится».

Но каждый из этих бесстрашных компаньеро в душе был также немного и циником, что нашло свое выражение в одной из их заунывных песен:

Сеньоры, ведь жизнь коротка,
И все в ней превратно.

Посмотрите, что стряслось с доном Франсиско Мадеро!

¹ Национальная одежда — шерстяной плащ (кусок ткани с прорезом для головы).

² Товарищей (*исп.*).

Бойцов Ла тропы содержала сама война, под стать этому был и вид всего воинства. Одни были в комбинезонах, другие — в коротких пеонских куртках, реже попадались щеголявшие в плотно облегающих брюках вакеро и башмаках. На глазах у Рида его друзья приобретали вид лихих вояк: у Гутьереса появился старый сюртук, у Валиенте — шпору с бирюзой, Манчилла повесил себе на шею сверкающую медную цепь, к сомбреро Холиана Рейеса были приколоты фигурки Христа и Мадонны. Винтовки они держали поперек седел, грудь перекрещивали патронташи, по четыре-пять у каждого, ветер заворачивал поля высоких сомбреро мчащихся всадников, сверкали на солнце огромные серебряные шпору, скатки ярких сарапе приторочены за спиной к седлам. Вот их боевой наряд!

Когда Ла тропа двинулась в путь, дорогу на многие мили застлала коричневая пыль.

Они ехали по безмолвному, словно замороженному краю. Всюду, куда ни глянешь, цвели огромные кактусы — красные, синие, багровые, желтые. По обочине дороги, точно колесница Ильи-пророка, катила в клубах пыли повозка Урбины. На востоке, на фоне темнеющего неба, на котором уже начинали проступать звезды, громоздились горы: там, за горами, лежала Ла-Кадена — аванпост армии мадеристов. Они ехали по Мексике, стране, которую грех не любить и не сражаться за которую — преступление.

Походный куплетист затянул нескончаемую балладу о корриде, на которой в роли быков подвизались федералистские вожди, а матадорами выступали генералы мадеристов. И Рид, глядя на всех этих веселых, славных, простых ребят, невольно повторял про себя напутствие Вильи первым беженцам-иностранцам, отбывавшим на поезде из Чиуауа: «Вот вам самая свежая из новостей, которую вы и передайте каждый своему народу: в Мексике больше не будет дворцов. Тортилья бедняков вкуснее хлеба богатей».

Рид скакал в голове колонны. Капитан Фернапдо, обернувшись, крикнул:

— Подожди, мистер! Поедем рядом. На вот, вышей.— И протянул бутылку, наполовину полную сотолы¹ — этого ужасного зелья.

Рид заколебался.

— Пей до дна. Докажи, что ты мужчина.

— Но здесь слишком много.

— Пей! — заорали солдаты, сгрудившиеся в ожидании забавного зрелища.

Риду пришлось выпить. Солдаты аплодировали, одобритительно хлопали его по спине. Капитан Фернандо, трясясь от хохота, нагнулся к нему и прокричал:

— Молодец, компаньеро!

Кто-то упорно стоял на том, что Рид — гринго, шпион, порфирист и его надо расстрелять. Но остальные обрушились на него — ни одному порфиристу не выпить залпом столько сотолы.

Когда стали на ночлег, Рид завернулся в одеяло, пристроил под голову вместо подушки седло и тут же заснул богатырским сном.

Посреди ночи его разбудил чей-то крик:

— Мистер! Oiga², мистер! Пошли, у нас бал!

С трудом проснувшись, он услышал музыку и крики танцующих, но идти отказался наотрез:

— Спать хочется!

— Но капитан Фернандо приказывает вам прийти. А ну, быстро!

— Vamonos!³

Проснулись и другие, спавшие тут же вповалку, и начали обуваться:

— Мистер станцует нам! Приказ капитана! Поживее! Поживее, мистер, поживее!

— Иду,— отозвался Рид.

¹ Крепкий спиртной напиток.

² Послушай (*исп.*).

³ Пойдемте! (*исп.*)

Капитан Фернандо обнял его. Торжество происходило в обычной крестьянской лачуге. Музыканты, сгрудившиеся в освещенном свечой углу, заиграли.

— Будут танцевать хоту, — объявил сияющий Фернандо, — давай и ты, дело нехитрое.

Зрители теснились у стен, набились в дверях, смотрели в окна; капитан шепнул:

— Ты танцуешь с первой красавицей.

Но у «мистера» куда только девалась его всегдашняя решительность, ему было не по себе.

Он повел свою даму, выступая медленным шагом, как требует вступление к танцу, а затем закружил ее в вальсе, но зрителям не терпелось.

— Нога! Нога! — закричали со всех сторон. — Давай!

— А что теперь надо делать?

— Vuelta! Vuelta! ¹ Отпусти ее!

— Но я не знаю как...

— Не знает как! — завопили они в полном восторге. «Первая красавица» потянула его за руку и отвела в сторону.

— Все гринго — дураки, — затянул чей-то голос.

А затем, словно в театре, на середину выступили несколько стройных, гибких молодцов, схватили партнерш и тут же разошлись с ними в vuelta, что было несравненно: быстрые повороты, потом — резко отступить вбок и раскланяться на все стороны с партнерами. Теперь Рида так и подмывало попробовать заново.

На этот раз ему повезло: новая партнерша помогла ему справиться. Но зато «первая красавица», решив, что он хотел осрамить ее при всех, подняла крик, призывая друзей отомстить за нее. На помощь к Риду уже проталкивался, размахивая револьвером, Фернандо.

— Этот американец — мой друг, — заявил он. — Так что расходитесь, нечего приставать к нему.

¹ Поворот! (исп.)

Они отдыхали целые сутки, отдыхали и лошади. После отъезда Урбины, которому пришлось вернуться в Лас-Ниевес, командование принял подполковник Пабло. Говорили, что в нем засело никак не меньше пяти пуль. Это был очень веселый парень. Он раскопал в развалинах церкви истинное сокровище — пианолу и распорядился перетащить ее в почерневший от копоти patio. К ней был только один ролик с вальсом из «Веселой вдовы». Его крутили, не переставая, весь день.

А вечером устроили бал в самом casa grande, в господском доме, куда никого из них раньше и на порог бы не допустили. Играл оркестр, его сменяла пианола, потом снова оркестр, и так до бесконечности. Танцы не останавливались ни на минуту, словно слившись в один непрерывный танец. Сотола лилась рекой. Когда разгул достиг апогея, то там, то здесь стали вспыхивать ссоры. Пабло грозил убить каждого, кто посмеет танцевать с его возлюбленной. Сабос, адъютант Пабло, выпалил в арфиста и сам, в полном изнеможении, рухнул на пол.

Рид присел рядом с Хулианом Рейесом, у которого на сомбреро красовались фигурки Христа и святой девы. Рейес был пьян. Он посмотрел на Рида обжигающим взглядом:

— Будешь драться вместе с нами?

— Нет,— сказал Рид.— Я корреспондент и не имею права принимать участия в боевых действиях.

— Врешь! Ты просто не хочешь драться — боишься. А наше дело правое перед лицом самого господа бога.

— Знаю. Но правила, которым я подчиняюсь, запрещают мне сражаться.

— Правила! Плевал я на твои правила! Нам пужны не корреспонденты, а стрелки. Трус! Уэртист!

— А ну, хватит! — послышалось вдруг. Перед ними стоял Лонхинос Герека.— Хулиан Рейес,— сказал он,— ты ничего не знаешь. Этот сомрапего приехал за тысячи миль, чтобы рассказать своим землякам правду о нашей борьбе за свободу. Он идет в бой без оружия,

он храбрее тебя, потому что у тебя есть ружье. Убирайся. Не приставай к нему.

Он сел и взял руки Рида в свои.

— Будем *compadres*¹, — сказал Лопхинос Герека. В его голосе и в мягкой улыбке была какая-то особая теплота и сердечность. — Будем укрываться одним одеялом и везде будем вместе. Я возьму тебя домой, и мой отец примет тебя как сына. А потом я покажу тебе заброшенные золотые копи, оставшиеся еще от испанцев, мы вместе возьмемся за них, разбогатеет.

С тех пор они стали неразлучны. До конца.

На следующее утро Рид был разбужен невероятным гвалтом — армия выступала в поход. Они находились в пустыне Асьенда-ла-Сарка и направлялись теперь к высочайшему горному хребту Ла-Кадена — до него было шестьдесят пять миль; там, между горными вершинами, открывался узкий проход — перевал Пуэрта, который Ла тропа и должна была охранять. За перевалом расположился враг, страшные колорадос — бандиты, наемники федерального правительства. Длинный перечень их кровавых злодеяний знал наизусть каждый мадерист, и мадеристы убивали колорадос на месте и пленных не брали.

Ла тропа проделала весь переход за один день. Они пришли на асьенду уже в полной темноте. Было очень холодно. Холмистый рельеф местности скрывал асьенду, и Рид заметил ее, лишь когда подъехал вплотную. Никаких караулов не было выставлено. Странно, подумал он, об осторожности здесь, кажется, забыли.

Двадцатидвухлетний сублейтенапт Хуан Сантильянес почтил Рида доверием, поведав ему свою родословную: как оказалось, происходит он по прямой линии от величайшего из испанских героев — Жиль Бласа. После этого он затянул непристойную песенку «Я граф Оливерос» и с гордостью продемонстрировал следы четырех пулевых ране-

¹ Кумовьями (исп.).

ний. Хуан признался также, что он самый сильный человек во всей армии и по храбрости не имеет себе равных; любимой его шуткой было давить яйца, которые он незаметно подсовывал Риду в карман пиджака.

После Хино Гереки лучшим другом Рида был сублейтенант Луис Мартинес, которого за красоту прозвали Гачупин — эта кличка считается обидной для испанца. Луису было только двадцать лет, и он еще ни разу не участвовал в сражении. Ночью, когда костры совсем догорели и кругом давно слышался храп, они с Ридом сидели, завернувшись в одеяла, и говорили о жизни, о девочках, о том, что будет после победы. Луис показал детскую фотографию и похвалился, что уже успел стать дядей.

— А что ты будешь делать, когда кругом засвистят пули? — спросил Рид.

— *Quien sabe!*¹ — засмеялся Луис. — Наверное, кинусь бежать куда глаза глядят.

Пуэрта была восточнее — ущелье рассекал могучий горный кряж; к самому ущелью подступала пустыня, а за нею, казалось, не было ничего, кроме сверкающей лазури безоблачного мексиканского неба.

Пока не ожидалось боевых действий, капитан Лонхинос Герека, рядовой Хуан Вальехо и Рид, позаимствовав у полковника повозку, отправились на пыльное маленькое ранчо — домой к Лонхиносу. До ранчо было четыре мили.

Старый Герека родился рабом на одной из богатых асьенд, но после многих лет изнурительного труда сумел стать владельцем крохотного земельного участка — явление крайне редкое в Мексике. У него было десять детей — сыновья, похожие на батраков в Новой Англии, и дочери, милые смуглянки.

Лонхинос сказал:

— Это Хуан Рид — мой любимый друг, мой брат.

¹ Кто знает! (*исп.*)

Старик и его жена горячо обняли Рида, по мексиканскому обычаю похлопывая его по спине.

Он сидел в прохладной длинной комнате с глинобитными стенами и ел острый сыр, майсовые лепешки, свежее масло из козьего молока.

Герека-старший рассуждал о революции не без горечи. Держа в руках уздечку, плетенную из конского волоса, он говорил:

— Три года назад у меня было четыре коня. Теперь остался только один. Какая разница, кто тебя обирает — свои или чужие?

Но он гордился тем, что его младший сын — самый храбрый офицер во всей армии. Пока глухая старуха мать извинялась за скудное угощение, Хино рассказывал о девятидневном сражении под Тореоном:

— Противник был так близко, что, когда они стреляли, нас обдавало горячим воздухом, мы задыхались от пороховой гарн. Мы сошлись вплотную, так что о стрельбе нечего было и думать — молотили прикладами...

Вдруг собаки во дворе разом залаяли. Насмерть перепуганный мальчонка приехал с известием, что колорадос вступают в Пуэрту. В мгновение ока мулы были впряжены в повозку. Лонхинос опустился на колено и поцеловал отцу руку. Они уже мчались по дороге, а мать все причитала им вслед:

— Возвращайтесь живыми! Возвращайтесь живыми!

Колорадос вырезали часовых на подступах к ущелью и хлынули в долину. На рассвете следующего дня огромное белое солнце встало над узким проходом в горах — его свет слепил глаза. По одному или маленькими группами кавалеристы выезжали под его палящие лучи и исчезали из глаз в клубах пыли.

Лонхинос Герека проскакал на своей серой, еще плохо обьеженной лошади и, помахав Риду рукой, крикнул:

— А уж на кони — завтра... Сегодня никак не управлюсь... Но мы еще разбогатеем...

У подножия гор, куда еще не проникло солнце, стлались узкие полосы пыли — враг развертывал свои боевые порядки.

Ла тропа была не в силах выдержать натиск десятикратно превосходящего по численности врага, который обрушился на нее как снег на голову. Пули, отбивая кусочки глины, отскакивали от стены асьенды, у которой стоял Рид. Мимо галопом промчался конник с черным от пороха лицом, крикнув на скаку, что все пропало. Бенено пестлели обливавшиеся потом и кровью всадники; яростно нахлестывая лошадей, они скакали назад, в тыл, в расположение главных сил повстанческой армии. Оставшийся без лошади Рид кинулся бежать к пологим горным склонам. Он бежал что было духу, пока окончательно не выбился из сил, а когда добрался до чапарраля¹, покрывавшего невысокий холм, у него подвернулась нога, он скатился в овраг. Вокруг все кишело москитами. Не успел он опомниться, как появились колорадос. Они вихрем слетали с холма и на всем скаку перепрыгивали через овраг всего в нескольких футах от притаившегося Рида.

Едва всадники скрылись из виду, Рид заснул как убитый.

А как только забрезжило утро, он отправился на ранчо Гереки. На этот раз его ожидал совсем другой прием. Отец, дрожа, расспрашивал его о бое.

— А Лонхинос? — кричал он, вцепившись в Рида. — Видели вы Лонхиноса?

Рид мог только покачать головой, говорить не было сил. Несмотря на это, старик заторопил его — надо уходить немедленно. Если colorados застанут его здесь, то перебьют всех до единого. Однако старая мать Лонхиноса стояла на том, что ему надо задержаться, по крайней мере пока они его накормят-напоят. Старикау пришлось уступить, но, пока Рид оставался у них, он был сам не свой,

¹ Дубовая поросль.

— Оставляйтесь,— говорила мать.— Мы вас спрячем до приезда Лонхиноса.

Но муж прикрикнул на нее:

— Да ты не в своем уме! Не хватало, чтобы его обнаружили у нас...— и, обращаясь к Риду, добавил: — Вы готовы? Так не задерживайтесь же.

Только через несколько дней он добрался наконец до гарнизонного поста в Санто-Доминго, куда бежали бойцы Урбины. Сопрапегос кинулись к нему с распростертыми объятиями.

— Мистер! Мистер! — кричали они.— Да ведь это мистер! Как же ты уцелел? А мы уж думали, тебя убили!

По склону холма спускалась беспорядочная группа конных бойцов разбитой армии, они ехали, опустив головы, бросив поводья на шеи понуро бредущих лошадей. Перебираясь вброд через ручей, они увидели Рида, и у всех разом вырвался радостный крик. Но, обнимая его, каждый спрашивал, знает ли он, что Лонхинос Герека убит.

И Мартинес — тоже. И Редондо.

Рид с болью подумал, как нелепо они погибли — в таком пустяковом бою. А он успел их так полюбить — Хино Гереку и гибкого красавца Мартинеса. И запевалу Редондо, невеста которого отправилась в Чиуауа за подвенечным платьем и сейчас, наверное, все еще на пути туда — не успела доехать.

Рид и капитан Фернандо прилегли рядом, опершись на локоть, они следили, как собираются уцелевшие бойцы, и разговаривали о минувшем сражении.

— Тебе уже сказали, что Хино погиб,— начал Фернандо.— А я видел, как это было... У него был большой серый жеребец, совсем еще не выезженный дикарь, которого ему отдал отец... Ну, сам помнишь. Так вот эта скотина зверела и ничего не соображала от страха, когда ее ввязывали и седлали. Но как только они выехали под пули, Хино с ним справился. Не иначе как все предки нашего Хино были воинами... С ним уже оставалось всего пять-

шесть героев, патроны подходили к концу. Они держались, пока ряды скачущих колорадос не надвинулись вплотную. Хино стоял, укрывшись за лошадьё; как вдруг пули срезали животное наповал, и оно со вздохом завалилось на бок. Товарищи, потеряв голову, прекратили огонь. «Бежим, пока еще можно прорваться!» — крикнул кто-то из них. Хино в ответ отрицательно помахал дымящейся винтовкой: «Нет, надо дать сопрапегоз время уйти подальше!» Они сомкнулись вокруг него, и больше я его не видел. Увидел только сегодня, когда опускали в могилу.

Кто-то другой рассказывал:

— Когда началось отступление, мы поскакали напрямик к Пуэрте, но почти сразу убедились, что проку от нас уже не будет. Колорадос волна за волной прорывались через наши ряды. Мартинес все время был впереди. Но так и не успел сделать по ним ни одного выстрела, а ведь это было его первое сражение. Его убили на скаку, и я тогда же подумал о том, как вы с ним любили друг друга! Ведь вы, бывало, ночью все разговариваете и не даете друг другу заснуть.

Усевшись на приступке, шедшей вдоль всего фасада дома дона Педро, бойцы курили, топтали ногами и громко кричали, заново переживая перипетии боя. Вечер был чудесным, и, после того как стемнело, Рид пошел побродить. Тогда-то он и встретил Елизавету.

То была одна из немногих женщин, затесавшихся в эту грубую мужскую компанию; очень смуглая индианка, крепкого сложения и красивая той особой красотой, которая отличает индейцев. Две большие косы спадали ей на плечи, и улыбка обнажала крупные белоснежные зубы. Смертельно усталая, она брела за лошадьё капитана Феликса Ромеро, таща на плече его винтовку. Капитан подобрал девушку на поле боя и приказал ей следовать за собой. Спешившись, он распорядился приготовить ему ужин; она опустилась на колени, быстро разложила костер, послала какого-то мальчишку за водой и кукурузой.

— Ну и сражение было, сеньорита! — сказал ей Рид. Она взглянула на него и засмеялась.

— А вы тот самый гринго, который отмахал много миль подряд, удирая от колорадос, а те гнались по пятам и стреляли, да? — Она снова было засмеялась, но ей не хватило дыхания, словно что-то сдавило грудь, усталость доконала ее вконец.

Из темноты появился дон Феликс с сигареткой в зубах.

— Ну что мой обед? — спросил он строго. — Скоро?

— Успеете, — сказала она, и он отошел.

— Вот что, сеньор, — торопясь заговорила Елизавета, глядя на Рида. — Вчера моего любовника убили в сражении. Этот человек мне теперь все равно что муж, но, клянусь вам богом и всеми святыми, мне не под силу спать с ним сегодня ночью. Приютите меня у себя!

Когда они уходили, им повстречался капитан.

— А мой обед... — начал было он, но тут же спохватился. — Ты куда?

— С этим сеньором, — ответила Елизавета. — У него и заночую.

Капитан опешил.

— Но ведь ты... — заорал он. — Ты же при мне! Слышите, сеньор! Эта женщина — моя!

— Да, ваша, — согласился Рид. — Никто на нее и не посягает. Просто она выбилась из сил, и я предложил ей отоспаться сегодня на моей постели.

— Это никуда не годится, сеньор! — вскричал капитан. — Хотя вы и гость Ла тропы, и друг полковника, а эта женщина моя, она нужна мне сегодня!

— О-о! До скорого свидания, сеньор, — сказала ему Елизавета, и они с Ридом зашагали дальше. Вряд ли она и сама отдавала себе отчет, почему в ней все восставало при одной мысли, что не успеет еще ее прежний любовник остыть в земле, как этот новый мужчина уже займет его место.

После кошмаров сражения и стольких смертей несправедливость, причиненная капитану, казалась Риду пустяком, не стоящим внимания. И капитану было предоставлено излить свои жалобы в одиночестве.

А Рид и Елизавету, в свою очередь, ожидал прием такой торжественный, словно они были женихом и невестой. Когда они подошли к дому дона Педро, где квартировал Рид, то увидели, что все свечи в доме зажжены. Дон Педро со своей хозяйкой чисто вымели земляной пол и обрызгали его водой, постлали им чистые простыни и зажгли лампаду перед алтарем богородицы, дверь была украшена гирляндами из бумажных цветов.

Елизавета улеглась рядом с Ридом, взяла его за руку, свернувшись у него под боком калачиком, тесно прижалась, устраиваясь потеплей, и тут же заснула сном праведницы.

Рид увидел ее на следующий день, когда она стряпала завтрак капитану Ромеро.

— Ведь теперь я живу с ним,— сказала она, с восхищением глядя на пригожего капитана.

— Собирайся,— сказал капитан Ромеро.— Через час выступаем на север.

...Среди всяких бумажек, которые Рид имел обыкновение отсылать домой, автор этих строк обнаружил удостоверение о присвоении ему звания бригадного генерала «*en vista de muy importantes servicios a la causa*»;¹ свидетельства бесчисленных привилегий, предоставленных ему, и трогательную записку на выцветшем листке голубоватой бумаги: «*Con mucha gusto austed*»², под которой стояли подписи всех членов семьи Гереки Лонхиноса-старшего — Адольфо, Сант-Яго, Мауро, Альберто, Гваделупы, Отилы, Марины, Фелицитас, Барбары и, наконец, старухи матери и самого Хино. Почерк у всех великолепный.

¹ За чрезвычайно важные заслуги в нашем деле (*исп.*).

² С великой любовью к вам (*исп.*).

Революция по-мексикански

*Вот Франсиско Вилья
С штабом и офицерами,
Они явились затянуть петлю
На шею армии федералистов.
Эй, берегитесь, колорадос,
Болгуны и хвастуны,
Вилья и его солдаты
Скоро зададут вам перцу!*

Эта песня может петься бесконечно: кто-то спел один куплет, сосед поет следующий и так далее, пока песня не обойдет всех присутствующих по кругу и каждый солдат не внесет свою лепту в прославление великого военачальника. Она называлась «Утренней песней Франсиско Вилья». Этот простой, грубый человек, в прошлом угонщик скота, объявленный вне закона, за голову которого была объявлена крупная денежная награда, снова раздул в пожар извечную, неизбывную мечту мексиканского народа о свободе и счастье.

Свобода! Само это слово овеяно вечно нетленными в памяти народной воспоминаниями о делах далеких дней, счет которым теряется в тяжелом и мрачном прошлом этой страны: долгий путь с бессчетными задержками, путь побед и предательства, оканчивающийся поражением, отрубленными головами, выставленными сушиться на высокой крепостной стене; и лишь любовь к свободе, жажда свободы остаются неистребимыми.

Имя Мигеля Идальго и Кастилья бессмертно в памяти Мексики, в которой оно увековечено его немеркнущим подвигом во имя свободы. Родился Идальго в бедности и бесправии в 1753-м, а кончил свою жизнь в 1811 г., обезглавленный испанцами, против владычества которых поднял восстание. Гром этого восстания прогремел после того, как Идальго написал свой незабываемый «Grito de Dolores» — «Плач Долорес», этот громовый призыв к борьбе за независимость, гремевший и по сей день.

Идальго был бедным священником-миссионером в миссии Долорес. Этот замечательный человек учил индейцев, стараясь приобщить их к достижениям европейской цивилизации. И уже одно то, что он показал им, как сажают оливковые рощи, построил фаянсовый завод, закладывал основы шелкопрядельной промышленности, делало его злейшим врагом правительства. Но Идальго был для индейцев не только заботливым пастырем — в груди его билось пламенное сердце бойца, не знающего страха, и программа его была по тем временам беспримерной.

— Разовьются ремесла, возникнет промышленность, и через несколько лет коренное население этого благородного края сможет пользоваться всеми дарами, которыми творец всевышний щедро оделил этот гигантский континент,— так заявил он, глядя уже в глаза смерти.

Выбрав благоприятный момент, когда нашествие Наполеона в Испанию ослабило правительство, он призвал своих сторонников к восстанию — церковная хоругвь с ликом богородицы Гвадалупской стала их знаменем, на котором они начертали слова «Свобода и Независимость», — и повел свое скудно вооруженное войско грудью на пушки испанцев.

Поражение было предрешенным. Голова Идальго была выставлена на высокой крепостной стене. Но лучше бы его победителям спрятать ее подальше! Потому что она стала для Мексики немеркнущим символом. «Вперед! — звали мертвые губы Идальго. — И да будут «Свобода и Независимость» вашим паролем! Не забывайте «Плач Долорес».

Но хотя этот урок и не был забыт Мексикой, смысл его был впоследствии извращен самым кощунственным образом, к чему приложили руку ставшие у власти политики и ловкачи предприниматели. Призыв Идальго к свободе и безвозмездному отчуждению землевладений в пользу тружеников совсем потонул в заумных хитросплетениях программ конституционалистов, в которых

не могли разобрать ничего миллионы гибнущих от нищеты простых людей, чьи жертвы не принесли им ничего и чья кровь, казалось, была пролита напрасно.

Солнце снова проглянуло было, когда явился великий борец за справедливость — Хуарес. Но вот не стало и Хуареса. Кому же было и стать его преемником, как не Диасу — Порфирио Диасу, на которого либералы возлагали все свои упования?

Диктатура этого не знающего пощады тюремщика ознаменовала себя прежде всего тем, что земля отнималась у мелких землевладельцев и продавалась тем, кто хотел иметь ее побольше и согласен был покупать по ценам, которые взвинтили до того, что это и теперь еще потрясает даже выдавших виды статистиков. К 1910 г. почти половиной территории всей Мексики владели меньше трех тысяч семей.

Более того — благодаря отрядам своих *rurales* этот верховный вождь занес плеть над головой всех, именуемых чернью, и этот бич свистел, не умолкая, над всей страной.

А уж эти *rurales* были бестиями из бестий: конная полиция, разряженная в пух и прах, словно знатные особы, — дымчато-серые костюмы, отделанные серебром, сверкающие шпоры и поводья, выложенные серебром и золотом, огненно-красные плащи, небрежно и кичливо брошенные на одно плечо. Власть их над крестьянами была беспредельной, и пощады от них не было ни старому, ни малому. Вооружены все они были до зубов, и многие из них не расставались с гитарой — вот, мол, какие они молодцы, никто перед такими не устоит. Но крестьян ничто не могло ввести в заблуждение насчет того, с кем они имеют дело; каждый крестьянин знал, что за дьяволы состоят на службе режима; и в каком бы богом забытом уголке они ни появились, всюду их встречали ненависть и страх. И пусть только какой-нибудь упрямец возомнит что-то о своих правах, ему покажут, что к чему!

Последовательный террор Диаса сделал свое дело: был наведен строгий порядок, народ усмирили. Мир и тишина, поддерживаемые страшными расправами, — кого же не бросит в дрожь от жутких забав верных палачей престарелого диктатора, не упускавших случая поиграть в человеческое поло, когда людей живьем зарывали в землю по шее и пронеслись по ним бешеным галопом на лошадях, сшибающих копытами головы с плеч, раскалывающих череп! Эти зверства не были забыты, беспощадность не могла не быть унаследована от своих мучителей страдающей стороной, когда настал на ее улице праздник.

Так что жестокость последовавшей войны вполне понятна.

Режим Диаса давил все и вся на своем пути. Без малого сорок лет подряд эта незаурядная личность вела страну по раз взятому курсу и изумляла весь мир своим умением мягко стлать. И немногим было件нятно, что он уже довел страну до самого края обрыва в бездну. Меньше всех это было ясно самому Диасу. В честь своего восьмидесятилетия, а также одновременно и очередного переизбрания на следующие шесть лет президентом он задал грандиознейшее представление.

Ни Макс Рейнхардт¹, ни Сесиль де Милль² не поставили бы спектакля монументальней даже в расцвете своих сил и таланта.

Именно тогда и объявляется наконец Мадеро. Франсиско Мадеро, невысокий человек невзрачного вида,

¹ *Рейнхардт Макс* (1873—1943) — выдающийся немецкий актер и театральный деятель. Один из крупнейших режиссеров и театральных педагогов XX в. Постановки Рейнхардта отличались монументальностью, яркой зрелищностью, обилием массовых сцен. В 1933 г., после прихода к власти Гитлера, эмигрировал из Германии. С 1938 г. жил в США, занимаясь в основном кинорежиссурой.

² *Милль Сесиль Блаунт де* (1881—1959) — американский кинорежиссер. Фильмы де Милля («Десять заповедей», «Царь царей», «Крестное знамение» и др.) отличались грандиозностью декораций и роскошью костюмов.

придерживающийся самого крамольного образа мыслей, которые он, не моргнув глазом, прехладнокровно высказывает во всеуслышание, томится в это время в тюрьме, куда его упрятал Диас. Из уст в уста пошло передаваться выражение, пущенное будто бы Мадеро: пуля отыщет наконец Диаса в самый разгар его торжества. На каковое предсказание сей невозмутимый старец ответил попросту: «Тьфу!»

По воле случая восьмидесятилетие этого архидиктатора совпало с годовщиной события несоизмеримо большего значения: ровно сто лет назад, в этот самый день, Идальго положил начало освободительному движению в Мексике своим «Плачем Долорес»; и если чистейший идеализм этого священника теперь был изукрашен так, что и не узнаешь, то его образ по-прежнему оставался символом, много говорящим сердцу масс. Диасу же подобное совпадение отнюдь не казалось некстати: он уже давно привык рядиться под Идальго, это получалось у него естественно и непринужденно. И пока его по-молодому острый и ясный взор упивается созерцанием живых доказательств собственного могущества — столпотворения народного на площади перед президентским дворцом, войсками, проходящими церемониальным маршем, великолепными всадниками, картинно осаживающими скакунов на фоне заката под гром военного оркестра, — в этом не знающем покоя и усталости уме, возможно, возникает тысяча замыслов, перебирается тысяча разнообразнейших возможностей. Дать народу демократическое правление? Придет же на ум такая несусветная чушь!.. Но зато какой бальзам это пролило бы на души тех его сатрапов, которые глаз по почам не могут сомкнуть от тревожных мыслей о том, что с ними будет, когда его не станет! Ну уж нет, не так скоро еще он с ними распрощается — лет до девяноста протянет, не меньше. Мадеро же он считает настолько мелкой сошкой, что решает отпустить его с миром.

В тот вечер весь дворец был залит светом. Посланники со всех краев земли, в орденах и лентах, сидели у него за

праздничным столом, ослепительно сверкали обнаженные руки и плечи дам. Серебряная утварь короля Максимилиана была выставлена для всеобщего обозрения; гостям подавали на золотых тарелках, сказочно мерцали бесценные канделябры.

В урочный час появляется Порфирио на железном балконе, убранном пурпурными тканями, и останавливается под колоколом Свободы. Колокол бьет — это колокол прошлого века, колокол самого Идальго, — и это служит сигналом для зашрудившей площадь толпы разразиться приветственными кликами, в ответ на которые он прокричит слово, которое сам постарался лишить всякого смысла: «Libertad! ¹» Наступает пауза почти молитвенной торжественности. А затем взлетают ракеты, фейерверк чертит черное небо, и шампанское во дворце льется рекой.

Сколько самообольщения было, как оказалось, в этом захватывающем зрелище! Потому что стремительное развертывание дальнейших событий показало призрачность всего этого могущества.

Мадеро вступил в союз с Вильей, вернулся, сметая все на своем пути, и стал временным президентом Мексики. Великий диктатор бежал в Европу, где и доживал свой век в ничтожестве, как того и заслуживал. Его гнусный, не знавший ни единого проблеска человечности режим разлетелся вдребезги. Пуля, которую ему пророчили, была бы для Диаса все-таки не столь жалким концом.

Нечасто случалось сойтись на служение одному общему делу двум людям столь несхожим во всем, как богатырь Вилья и физически немогущий Мадеро. Могучий как бык, вчерашний бандит совсем недавно научился читать, что, однако, было для него каждый раз пыткой. В свободное от боев и походов время он, словно с цепи сорвавшись, не давал проходу ни одной юбке, развлекался тем, что взбадривал мулов, поддавая им своими пожнищами

¹ Свобода! (исп.)

под живот, и всегда у него было что на уме, то на языке, смеялся ли он, сквернословил или грозился. Черты же лица Мадеро, как у большинства интеллигентов-мечтателей, от вечной озабоченности стали сухими, резкими; слабые, хрупкие руки и ноги, высокий, выпуклый, белый, как морская раковина, лоб... Вилья смотрел на него и глазам своим не верил — и такой вот человечек одолел самого Диаса? Но различия не мешали их взаимному доверию.

Вилья всегда оставался верным Мадеро; Мадеро был для него непререкаемым авторитетом. Эти два вождя революции ставили служение своему делу превыше всего. Когда после убийства Мадеро во главе революции оказался Карранса, это вымученное подобие государственного деятеля, грубо разрекламированная пустельга, Вилья сохранял лояльность и по отношению к нему, пока их не развели разногласия и раздоры.

В одном из своих немногих писем из Мексики, адресованных автору этих строк, Рид предлагал написать для «Метрополитен» биографию своего друга Вилья, в которого он был буквально влюблен. В Соединенных Штатах пресса относилась к Каррансе благожелательнее, чем к Вилье, число его приверженцев в официальных кругах непрерывно росло, да оно и неудивительно — титаническая фигура облаченного в хаки Верховного Вождя, этакого громовержца, восседающего в огромном кресле у себя в ставке и мечущего молнии на головы врагов Мексики, пока неотесанный мужлан Вилья всего только воюет, не могла не импонировать государственному департаменту. Во всяком случае, Каррансе удалось с помощью вылинявшего романтического реквизита создать видимость личного обаяния. Даже Стеффенс, которого так редко удавалось одурачить, всячески расхваливал его президенту Вильсону. Рид видел, какое это чудовищное заблуждение. Он знал Каррансу, он сумел раскусить его. Для Рида героем и душой мексиканской революции был Вилья, да еще, быть может, Сапата — этот индеец, действовавший на

юге со своим легионом смерти, но уж никак не такая мокрая курица, как дон Венустиано Карранса. Рид писал:

«Дорогой Хови!

За последнее время я очень близко подружился с Вильей, и завтра будет готова фотография, на которой мы с ним сняты оба в военной форме. Но не нужно называть меня офицером, разве что в шутку. Будьте на этот счет поосторожней: острите себе на доброе здоровье, пока не падает, только стойте твердо на том, что это не более как маскарад. Мексиканцы в подобных вопросах в особые тонкости не вникают, и в случае чего меня могут просто выслать отсюда к границе. А помимо всего прочего, поскольку я в боевых действиях участия не принимаю, то и не хочу, чтобы меня принимали за героя войны.

Глубоко признателен за поздравительную телеграмму. Можете не сомневаться в моей готовности служить интересам «Метрополитен» верой и правдой. Жизнеописание Вильи, с его собственных слов, начну, как только мы с ним окажемся в поезде, идущем на юг. Он так и говорит: «Ничего не утаю». Я уже потратил 250 долларов на подарки и т. п., так что журнал с ним полностью в расчете. Я купил для Вильи седло, винтовку с золотой пластинкой для монограммы и глушитель системы «Максим». Он был в полном восторге, и теперь мне ни в чем отказа не будет.

Ваш Рид».

И чем больше узнавал Рид Франсиско Вилью, тем больше восхищался им. У этого полного жизни крепыша, упрямого потомка неграмотных пеонов, боевого духа хоть отбавляй — на десятерых хватит; ему случалось бесчинствовать, как дикарю, но он не был развращен и сохранил непосредственность, способность к глубоким и искренним чувствам. Рид распознал в нем человека большой души, личность незаурядную, драматическую.

Впервые он разглядел, что за человек этот мексиканский вождь, на похоронах одного из друзей Вильи — Абраама Гонсалеса, убитого федералистами после того, как Вилья назначил его губернатором провинции. Вилья шел за катафалком, который сопровождала тысячная толпа, ему подали было автомобиль, но он сердито отмахнулся и, спотыкаясь, потупив глаза в землю, упрямо шагал по грязным улицам.

Вечером Рид увидел в Театре героев веладу. Это была часть торжественного похоронного обряда — погибшему губернатору, другу Вильи, воздавались последние почести. Кольцо лож, заполненных офицерами в парадной форме, так и сверкало, а выше, на балконе, жалась оборванная беднота.

Велада — ночное бдение возле покойника — является национальным мексиканским ритуалом, значительную часть которого составляет концертная программа.

Сначала была произнесена речь, за ней последовала мелодекламация под рояль, которую сменила патриотическая песня, неуверенно исполненная хором маленьких школьниц-индианок с тоненькими пронзительными голосами, потом снова речь, за ней сольный номер сопрано — пела жена какого-то правительственного чиновника, — еще речь, и так без конца, пять часов подряд.

Вилья сидел в ложе, выходящей прямо на сцену, и с помощью колокольчика направлял ход церемонии. Сама сцена являла зрелище одновременно блестящее и удручающее. Она была украшена траурными флагами, горами искусственных цветов, прескверными карандашными портретами Мадеро и покойного губернатора и множеством красных, белых, зеленых электрических лампочек. А у самой рампы стоял простой черный ящик — деревянный гроб с телом Абраама Гонсалеса.

Ничто не нарушало заведенного раз и навсегда порядка велады, и весь ее мучительный ритуал выполнялся по всем правилам. Так продолжалось уже часа два. Местные

трибуны, трепеща от сознания ответственности момента, как им и было положено, витийствовали, маленькие девочки, совсем еще малышки, терзали «Прощание» Тости.

Глаза Вильи были прикованы к черному ящику, он сидел, не шевелясь, не произнося ни единого слова, лишь в положенное время машинально позванивал колокольчиком. Но наконец ему стало невмоготу. Грузный мексиканец исполнил на рояле «Ларго» Генделя. Не дав ему доиграть до конца, Вилья поднялся, поставил ногу на барьер ложи и тяжело спрыгнул на сцену. Он опустился перед гробом на колени и, крепко обхватив руками, поднял его. «Ларго» смолкло. Собравшиеся онемели от изумления. Бережно, точно мать младенца, неся в руках гроб, Вилья спустился с ним и, ни на кого не глядя, понес его по проходу между рядами.

Зрительный зал поднялся, как один человек, и, когда Вилья вышел из театра, все молча последовали за ним. Широкими шагами, гремя волочащейся по земле саблей, прошел он между шпалерами выстроившихся у подъезда солдат через темную площадь к губернаторскому дворцу и там в аудиенц-зале собственноручно опустил гроб на специально приготовленный, утопающий в цветах стол. Четыре генерала должны были нести почетную вахту, сменяясь через каждые два часа. Свечи освещали лишь небольшую часть зала вокруг стола с гробом, все остальное тонуло во мраке.

Рид, протиснувшись вперед сквозь плотную толпу, стоявшую в дверях, увидел, как Вилья отстегнул саблю и она со звоном полетела в угол. Взяв со стола винтовку, генерал Вилья первым стал в почетный караул.

Незабываемое впечатление произвел на Рида и еще один случай.

Артиллеристы решили преподнести Вилье от имени всей артиллерии его армии золотую медаль за личную доблесть на поле брани. Описание Рида, словно камера кинохроники, приближает нас вплотную к этому событию,

и мы, словно сами, своими глазами, видим по тому, как трудно Вилье справиться в этот момент со своей задачей, какой души это был человек. Неустрашимый вождь — в полном смятении, оставаясь при этом самим собой: вот он, весь какой есть.

Это мучительное испытание было назначено в Чиуауа, и церемонию его обставили со всей военной торжественностью, посмотреть собралась чуть ли не вся Мексика.

— *Ya viene! Вот он! Идет! Идет! Вива Вилья, друг бедных!* — Этот крик начался где-то в задних рядах толпы и тут же, с быстротой огня, перерос в рев, становившийся все громче и громче, пока не стало казаться, что это именно от него тысячи шляп взлетают в воздух над головами кричащих. Под звуки оркестра, заигравшего мексиканскую народную мелодию, на улице показался Вилья.

На нем был старый солдатский мундир цвета хаки, на котором не хватало нескольких пуговиц. Он был давно не брит, с непокрытой головой, не причесан. Шагал он, слегка косолапая, сторбившись, засунув руки в карманы брюк. Вступив в узкий коридор между двумя шпалерами неподвижно застывших солдат, он, казалось, чуть смутился и пошел, улыбаясь и кивая друзьям, которых узнавал в шеренгах. У парадной лестницы его встретили, оба при полном параде, губернатор Чао и государственный секретарь. Оркестр разом умолк, и все стихли, когда Вилья вступил в большой парадный зал. Все огромное людское скопище на Плаца-де-Армас обнажило головы, блестящие офицеры, заполнившие зал, все, как один, взяли под козырек. Прием, достойный Наполеона!

Вилья на минуту замешкался, подергивая ус в явной растерянности, затем решительно направился к одиноко стоявшему посреди зала на возвышении огромному креслу, потряс его за подлокотники, пробуя прочность, и уселся.

Оратор за оратором нескончаемо сменяли друг друга; было произнесено двенадцать речей, прославляющих «не-

победимого генерала», «образец доблести и патриотизма», «надежду республики».

И ото всего этого Вилья все больше сутулился на своем троне, слушал, разинув рот, хитрые глазки его растерянно бегали. И вот ему наконец преподносят медаль в коробочке из папье-маше.

Он жадно, как ребенок, которому показали новую игрушку, потянулся за ней обеими руками, словно ему не терпелось раскрыть ее поскорее и посмотреть, что там внутри. Все, как один, даже толпа на улице, притихли, готовые слушать. Люди почтительно замерли, боясь пропустить хоть слово полагающейся ответной речи Вильи. А он, казалось, онемел.

Но, глядя на обступивших его изящных, ученых людей, готовых, по их словам — и этому можно верить, — умереть за Вилью, простого пеона, видя в открытых дверях оборванцев солдат, которые, забыв военный порядок, тесно набились в коридоре, глаз не спуская с любимого согражданина, он понимал: это и есть она, его революция.

Собрав все лицо в морщины, что всегда означало у него самую напряженную сосредоточенность, он, весь подавшись вперед, оперся руками о стоящий перед ним стол и сказал тихо, так, что его было еле слышно:

— Я не нахожу слов. Могу сказать только одно: все мое сердце принадлежит вам.

Затем, плюнув от бессильной ярости, подтолкнул локтем в бок стоящего рядом губернатора Чао, который, ко всеобщему удовлетворению, и произнес по всем правилам ораторского искусства именно ту, цветистую и высокопарную, речь, которую ждали от Вильи.

Таков Панчо Вилья

Рид, как и было намечено, написал биографию Вильи, и «Метрополитен» напечатал ее: точное по материалу, глубокое по пониманию характера и обстановки, сдержанное,

написанное с эпической обстоятельностью и простотой жизнеописание — с биографом этому партизанскому главарю повезло на редкость! Вне всякого сомнения, Рид явно пристрастен к Вилье и всецело на стороне Вильи, чего не могут поколебать никакие бесчинства этого полудикаря. Но как бы ни был он пристрастен к своему герою, описывает он его без прикрас и ни в чем не погрешив против правды.

Шестнадцатилетним парнем Вилья не поладил с politico — правительственным чиновником — и убил его. Пришлось бежать в горы, и долгие годы его преследовали как опаснейшего преступника, голова которого оценена. Живет он в это время угоном скота с богатых асьенд, и слава его становится настолько громкой, что чуть ли не каждое преступление — от вооруженных ограблений поездов до убийств — приписывали тогда ему. О нем слагали песни, которые пастухи в горах пели по ночам у костров. Его безумная отвага привлекает под его начало удалцов, готовых рискнуть головой, чтобы затем разом сорвать богатый куш, и шайка его вырастает в целое войско.

Когда Мадеро начал борьбу за свержение диктатуры Диаса, Вилья тут же присоединился к нему. Военное счастье принесло ему еще большую славу. Но оно же стало причиной и временного падения Вильи. Грязные происки одного генерала, оспаривавшего у него первенство, привели к тому, что Вилья был разжалован и посажен в тюрьму. Но суровое испытание не сломило его. И вскоре мы снова услышим о Вилье: он собирает в горах на севере страны армию, перед которой разбегаются гарнизоны федералистов, ищущих спасения на юге.

Захватить даже такую значительную часть страны оказалось для Вильи делом, с которым он справился без труда. Талантливый военачальник, природный вожак, личным примером воодушевляющий свое дикое войско, с безоглядной верой готовое за ним в огонь и в воду, — по такому именно человеку уже давно тосковала вся Мексика.

Но после захвата Чиуауа ему предстояло еще и сформировать свое правительство. А такая роль была ему совершенно внове.

Готовить себя к ней он принялся исподволь еще в тюрьме, начав с того, что самоучкой одолел грамоту — огромный шаг вперед для сына суеверных, невежественных неонов. Но как ни изумительно это достижение, оно давало ему возможность лишь прочесть и подписать бумаги, которые ему подсовывали. А это было лишь каплей в море, учитывая огромность и ответственность дел, которые ему теперь приходилось решать. Советники втолковывали ему, как принято решать вопросы государственной важности в современном цивилизованном обществе. Но, как он сам говорил Риду, которому не раз случалось наблюдать героические усилия Вильи, порядки и устройство государственного управления представлялись ему почти во всем невероятнейшей бессмыслицей. «Одни только *políticos*¹ в этом и разбираются», — сказал он со вздохом. Презренные *políticos*! Но, может быть, они все-таки не так уж плохи, как он раньше думал?

Мало-помалу, доходя до всего своим умом, он создал себе какое-то представление об администрации. Теперь мысль его заработала, и начали появляться планы и постановления, регулирующие — согласно его, Вильи, понятиям и разумению — жизнь трехсоттысячного населения, которым он оказался поставленным руководить и править. Финансовая политика, включая сюда вопрос о выпуске денег, об ассигнованиях на начальное образование, о конфискации и разделе крупнейших землевладений богачей испанцев, а также решение судьбы самих испанцев, живущих в Мексике, вопрос о правах женщины при новом режиме — до всего у Вильи доходили руки, и все он старался решить по справедливости и к общему благу.

С деньгами вопрос был решен, не мудрствуя лукаво: он их напечатал и велел принимать всюду. Он открыл пять-

¹ Политики (исп.).

десять школ. Он изгнал богатейших испанцев и мексиканцев со всей территории Чиуауа и экспроприировал их имущество: один росчерк пера — и семнадцать миллионов акров земли и бесчисленные предприятия знатного семейства Терразас становятся собственностью правительства конституционалистов.

Особенно круто и решительно обошелся он с испанцами: он видел в них политическую силу, враждебную революции. Ровно через два часа после того, как он въехал в губернаторский дворец, Вилья потребовал к себе испанского консула. Вместо того явился английский вице-консул и заявил, что представлять интересы испанцев уполномочен он.

— Ну и ладно! — сказал Вилья. — Передайте им — пусть укладывают вещи. Каждый испанец, который через пять дней попадет в пределах провинции, будет тут же поставлен к стенке и расстрелян.

Потрясенный до глубины души, вице-консул попробовал было протестовать против этой меры, которую он называл варварством.

— Решение принято мной не сию минуту, — оборвал его Вилья. — Я не переставал его обдумывать с тысячи девятьсот десятого года. Испанцам здесь делать нечего.

Когда Вилья принимал какое-нибудь решение, ничто не могло помешать ему провести его в жизнь. Так, например, понимая, что земельный вопрос был первопричиной революции, он разрешил его, выделив по шестьдесят два с половиной акра земли на каждого члена семьи мужского пола. Однако новые идеи воспринимались им медленно и трудно. Рид с увлечением следил за тем, как живая любознательность Вильи постепенно преодолевает косность его невежественных представлений.

— Социализм, — спросил он как-то Рида, — это что-нибудь стоящее? Я ведь знаю о нем только из книг, а много ли я читал...

Однажды Рид спросил его, получают ли женщины право голоса, когда республика победит. Генерал в расстегнутом мундире лежал на постели.

— Да нет,— отозвался он и вдруг, сообразив, в чем дело, привстал от удивления.— То есть как это — право голоса? Это что же — выбирать правительство, принимать законы?

Рид заметил, что в Соединенных Штатах женщинам это право предоставлено.

— Ну что ж,— сказал Вилья,— раз они имеют право голоса у вас, почему бы им не иметь его в нашей стране.

Мысль эта развеселила его. Он, видимо, и так и этак переворачивал ее в мозгу.

— Может, оно и правильно,— проговорил он наконец.— Мне это просто никогда не приходило в голову. Помоему, женщины созданы, чтобы их оберегали, любили. У них нет характера. Они не умеют рассуждать, не понимают, что хорошо, что плохо, слишком уж они незлобивы и жалостливы. К примеру, ни одна женщина не отдаст приказа казнить предателя.

Рид возразил, что он далеко не уверен в этом.

Вилья продолжал размышлять, озадаченно дергая себя за усы, потом лицо его расплылось в улыбке. Он перевел взгляд на жену, накрывавшую стол.

— Послушай-ка, подойди ко мне,— позвал он ее.— Вчера ночью я поймал двух предателей; они переправились сюда через реку, чтобы взорвать железнодорожное полотно. Так вот, как мне с ними быть? Расстрелять их?

Растерявшись от неожиданного вопроса, жена схватила его руку и поцеловала.

— Ох, ничего я в этом не понимаю. Тебе видней.

— Нет,— сказал Вилья,— ты сама должна решить. Они хотели перерезать сообщение между Хуаресом и Чиуауа. Это предатели, федералисты. Как же мне быть с ними? Расстрелять их или не надо?

— Расстреляй, раз так,— сказала миссис Вилья.

Вилья в полном восторге захохотал.

— Пожалуй, в том, что ты говоришь, есть смысл,— признал он, обращаясь к Риду, и после этого разговора несколько дней подряд опрашивал всех кухарок и горничных по соседству, кого они прочат в президенты Мексики.

Но сам он не хотел быть президентом.

— Я боец, а не государственный деятель,— объяснял он пристававшим к нему журналистам.— Чтобы стать президентом, у меня не хватит образования. Мексике не поздоровилось бы, если бы в президенты вышел темный человек. Нет уж, я никогда не сяду не на свое место. Можете мне поверить.

Тем не менее к нему упорно приставали с этим вопросом, и это приводило Вилью в ярость.

— Что им, этим газетчикам, все неймется сравнить меня с моим Хефе (Каррансой)? — недоумевал он.

А Риду, который донимал его не меньше других, Вилья пригрозил, что прикажет его высечь и выслать из Мексики. И после несколько дней добродушно ворчал на этого «чатино» (курного), пристававшего с вопросом, хочет ли он быть президентом.

Командующий американскими войсками в Блиссе генерал Скотт переслал Вилье брошюру с гаагскими конвенциями. Мексиканский вожь немало часов провозился, изучая ее: она его заинтересовала и вместе с тем очень позабавила.

— Что это за Гаагская конференция¹? — выпрашивал он у Рида.— А конституционалисты были на ней представлены?

¹ Гаагская конференция — имеется в виду Вторая мирная конференция в Гааге (1907). На ней были окончательно отработаны и приняты, в дополнение к соглашениям Первой гаагской конференции (1899), Гаагские конвенции — многосторонние международные соглашения, определяющие правила ведения войны, статус нейтральных стран, порядок переговоров при заключении мира и т. д.

Ему казалось смешным устанавливать какие-то правила ведения войны.

— Это не игра, — заявил он. — Какая разница между войной цивилизованных наций и любой другой войной? Если мы с тобой подеремся в трактире, то уж конечно не станем перед дракой вытаскивать из карманов книжонки и справляться по ним о правилах.

И он действительно не признавал никаких правил ведения войны. Колорадос он предавал смертной казни тут же, как только они попадали ему в руки, мотивируя это тем, что они такие же простые неоны, как солдаты революции, а пойти по собственной воле против дела свободы неон может, только будучи отъявленнейшим мерзавцем. Беспощадно истреблял он и федералистских офицеров: они люди образованные, значит, знали, на что шли. Простых же солдат армии федералистов отпускал на все четыре стороны: их мобилизовали против воли, внушив им к тому же убеждение, что они сражаются за отечество.

Равным образом не для Вильи была писана и военная наука: у него была своя стратегия и тактика, которые он выработал сам прямо на поле боя и неоспоримые достоинства которых подтверждались его победами.

Вилья являл собой примерно тот же тип военачальника, что и генерал Стоунуолл Джексон (Джексон — Каменная Стена)¹. Стремительность его рейдов, неотразимость внезапных ночных налетов, искусство переброски всей армии на невероятные по своей дальности расстояния — наука всего этого почерпнута из того же неписаного «учебника», которым руководствовался и вдохновлялся и вождь конфедератов в войне Севера и Юга. Общим у них было и то, что имена их внушали ужас. И когда дело становилось особенно жарким, когда его оборванное, черное от загара, вооруженное только винтовками и ручными

¹ Джексон — Каменная Стена — прозвище генерала армии южан Томаса Джонатана Джексона (1824—1863). Кавалерийские рейды Джексона отличались стремительностью, внезапностью и жестокостью.

гранатами, но полное яростной решимости воинство брало штурмом улицы очередного города, по которым мел смерч огня, Вилья всегда был там, в самой гуще боя, сражаясь как рядовой.

Храбрый из храбрых

Однажды Рид завтракал с генералом Торибио Ортегой. В войсках этого худого, очень смуглого мексиканца называли благородным и храбрый из храбрых, из всех своих генералов Вилья ценил его выше других и доверял, как никому. Сам Ортега был из бедных, пастух, проще его и бескорыстней не было человека в армии.

Они сидели в вагоне за завтраком, и Ортега, облокотившись о стол, за разговором совсем забыл о еде. С горящими глазами, улыбаясь одним углом рта своей доброй улыбкой, объяснял он Риду, почему взялся за оружие.

— Я человек необразованный, — говорил он, — но мне ясно, что война — худшее из бедствий для любого народа. Разве что уж дойдет до того, что терпеть больше невмочь, так я говорю? И если приходится убивать брата брата, то что хорошего можно ждать от этого, так? Вы, американцы, и представить себе не можете, чего насмотрелись тут мы, мексиканцы. Тридцать пять лет нас только и делали, что обирали, так? Мы вдоволь насмотрелись, как rurales и солдаты Порфирио Диаса расстреливают наших отцов и братьев без суда и следствия. Насмотрелись и на то, как наши крохотные поля отбирают у нас, а нас самих, всех, оптом, продали в рабство, так? Мы хотели каждый иметь свой дом, школу, где бы нас учили, а над этим смеялись нам в лицо. Нам ведь нужно только, чтобы нам дали жить и трудиться по-своему и чтобы никто не мешал, и нам надоело, что нас обманывают, больше не вмотугу.

А прямо перед вагоном, еле видные в клубах пыли, застилающей небо, длинной шеренгой выстроились конники, командиры обходили своих бойцов, придирчиво проверяя оружие и амуницию. Перед ними, привалившись спиной к

вагону, стоял сам Вилья в старой шляпе с обвисшими полями, в грязной рубашке без воротничка, в лоснящемся, вконец заношенном коричневом костюме. Поспешно седлали коней, оглушительно сипели медные рожки. Бригада «Сарагосса» готовилась к маршу.

Вилья, оказалось, только что прибыл. Он задержался в Камарго, где почтил своим присутствием свадьбу какого-то своего дружка, и теперь лицо его осунулось от усталости.

— *Sagamba!*¹ — говорил он, ухмыляясь. — Мы начали отплясывать с вечера в понедельник, проплясали до утра и потом плясали весь день без передышки и всю ночь напролет! Девчонки из Камарго и Санта-Розалиа славятся красотой на всю Мексику. Какие девки! Я так уплясался, что на ногах не стою. Работка почище добрых двух десятков боев...

На следующее утро Рид зашел в вагон к Вилье. Это был красный тормозной вагончик с ситцевыми занавесками на окнах. Крошечная — двадцать футов на десять — клетушка внутри его была сердцем всей армии конституционалистов. Здесь заседали все военные советы. На стенах висели аляповатые изображения красоток и большой портрет Каррансы.

— *Que desea, amigo?* Что тебе, друг? — спросил Вилья, восседавший в голубом нижнем белье. Солдаты, толпившиеся возле, нехотя расступились, пропуская Рида.

— Мне нужна лошадь, мой генерал.

— Наш друг захотел лошадку! — саркастически ухмыльнулся Вилья, и все собравшиеся громко захохотали.

— *Oiga*, сеньор корреспондент, а известно ли вам, что у меня в армии около тысячи бойцов без лошадей? Ты же едешь в поезде. Зачем же тебе лошадь?

— Тогда можно двигаться с авангардом.

— Нет, — улыбнулся Вилья, — там слишком часто летают пули.

¹ Черт возьми! (*исп.*)

За разговором он поспешно одевался, заодно жадными глотками отхлебывая прямо через край кофе из законченного жестяного кофейника. Кто-то протянул ему пшугу с золотым эфесом.

— Нет, нет. Не на парад идем — в бой. Винтовку! — Выходя, он на миг задержался в дверях вагона, вглядываясь в длинные цепи конников, которым патронташи и разнокалиберность вооружения придавали вид самый картинный. Затем быстро отдал несколько распоряжений и вскочил на своего высокого жеребца.

Ночью, когда Рид брел по разрушенной улице городка, его чуть не задавил мчащийся автомобиль, а с другой стороны галопом подскочил всадник. Автомобиль резко, со скрежетом затормозил, фары осветили коня и всадника, молодого офицера в стетсоновской шляпе. Голос из машины приветствовал его.

— Кто это? — спросил всадник, осаживая копя.

— Я? Гусман. — Из машины выскочил и вышел на свет грузный мексиканец, на поясе у него болталась пшуга. — Come le va, как поживаете, мой капитан? — Всадник прыгнул с седла, и они обнялись, похлопывая друг друга по спине.

— Отлично. Надюсь, и вы тоже? Далеко направляетесь?

— К Марии.

Капитан засмеялся.

— Не ездите, — сказал он. — Я тоже к Марии, если застану вас у нее — убью, можете не сомневаться.

— Вот и я то же самое, ведь стреляете вы не проворней меня, сеньор.

— Но сами понимаете, ведь не явишься к ней вдвоем!

— Безусловно.

— Вот что, — сказал капитан шоферу. — Разверни машину так, чтобы осветить обочину... А мы разойдемся на тридцать шагов, станем друг к другу спиной, и ты сосчи-

таешь нам до трех. Кто первым прострелит другому шляпу, того и верх.

Они вытащили свои громадные револьверы, подошли поближе к свету, прокручивая барабаны, и стали по местам.

— Готово! — крикнул кавалерист.

— Не будем мешкать, — сказал капитан. — Любовь не терпит задержек.

— Раз! — заорал шофер. — Два!..

Толстяк обернулся с молниеносной быстротой. Рид повольно отпрянул назад, когда гулко прокатившись в ночи, грохнул выстрел. Стетсон всадника, даже не успевшего обернуться, снесло футов на двадцать. А когда он повернулся, капитан уже влезал в машину.

— Bueno! ¹ — крикнул он. — Моя взяла. До завтра, дружище!

Было уже поздно, но Риду не хотелось возвращаться в грязную гостиницу, где он остановился. В ясном небе мерцали мириады звезд, и он все размышлял о дуэли, свидетелем которой только что стал, о том, какие чудесные ребята эти мексиканцы, об их удивительных нравах. В гостинице он завернул на минуту в бар. Там пили трое военных, по виду — офицеры, один из них уже порядком набрался. Это был рябой парень с черными усиками полоской, глаза его блуждали, ничего не видя. Но, заметив Рида, он уставился на него в упор и многозначительно зашел:

Есть у меня пистолет
С серебряной ручкой,
Есть чем пострелять американцев,
Которые прибыли на поезде.

Послушав немного, Рид решил идти спать. Он зажег у себя в номере лампу и разделся. Почти тотчас же по галерее затопали нетвердые шаги — и дверь номера распахнулась. В дверном проеме стоял рябой офицер, в руке

¹ Хорошо! (исп.)

у него был чудовищных размеров револьвер. С минуту постоял, зловеще сверкая на Рида глазами, затем вошел и резко захлопнул за собой дверь.

— Лейтенант Антонио Монтойа к вашим услугам,— отрекомендовался он.— Мне стало известно, что в гостинице поселился какой-то гринго. Вот я и пришел прикормить вас.

— Прошу садиться,— вежливо сказал Рид, понимая, что тот с пьяных глаз, того и гляди, так и сделает.

— Gracias,— отозвался гость и, с поклоном сняв шляпу, уселся. Затем, вытащив из-за пояса еще один револьвер, положил на стол рядом с первым.

— Разрешите предложить вам сигарету? — Рид протянул гостю пачку, и тот, помахав в знак благодарности рукой, прикурил от лампы. Затем взял оба пистолета и направил их в растерявшегося Рида, которому ничего не оставалось, как ждать дальнейшего развития событий.

— Я, право, в затруднении,— сказал лейтенант, опуская оружие.— Не могу решить, из какого стрелять.

Рид снова обрел наконец дар речи.

— Извините меня,— сказал он,— но, по-моему, оба ваши револьвера никуда не годятся. Этот кольт сорок пятого калибра — устарелого образца, а смит-и-висон, между нами говоря, просто детская хлопушка.

— И правда,— отозвался гость, с сокрушением разглядывая револьверы,— как это мне не пришло в голову захватить мой новый автоматический пистолет... извините, сеньор.— И он снова поднял оба револьвера, направив их Рида в грудь.— Раз уж так случилось, надо обходиться этими.

Рид уже готов был вскочить, рвануться в сторону, закричать, как вдруг лейтенант заметил на столе двухдолларовые ручные часы Рида.

— Что это? — спросил он.

— Часы,— ответил Рид и показал, как они надеваются на руку. Револьверы немедленно опустились. Приоткрыв

рот, лейтенант, забыв все на свете, с восторгом смотрел на часы.

— Ах,— прошептал он,— какая прелесть!

— Они ваши,— сказал Рид, снимая часы, и протянул их лейтенанту.

Тот посмотрел на часы, на Рида, лицо его все больше светлело от радости, от изумления при виде бесценного сокровища, оставшегося в его протянутой руке. Он благоговейно застегнул их на своей волосатой лапнице. Затем встал. Револьверы упали на пол, но ему было не до них. Он порывисто обнял Рида:

— Ох, дружнице!

Поезд, на котором ехал Рид, шел на фронт, продвигаясь по мере того, как впереди прокладывали рельсы. Все солдатские жены состояли при армии; тогда Вилья еще не успел покончить с этим ветхозаветным мексиканским военным обычаем выступать в поход всем табором, как на ярмарку, что не давало армии развивать темпы. Жилось в поездах совсем неплохо, если только не раздражалась буря, что и случилось на вторую ночь пути, ставшую для Рида памятной.

Он начал мерзнуть, и ему становилось все холоднее, в темноте поднялся ветер, который постепенно крепчал. Чистое, звездное небо заволокло тучами. С ревом крутились смерчи поднявшейся до неба пыли, искры от топок паровозов относил ветром, и тысячи тонких огненных трасс протянулись по степи к югу. Когда в топки подбрасывали уголь, состав вдруг озарялся весь ярким пламенем. Откуда-то стал нарастать гул, похожий на далекую канонаду, вдруг все небо раскололось от края и до края — и грянул гром, разом заглушивший весь шум и гам движущегося войска. Все потонуло во мраке. С равнины, где расположились на ночлег солдаты, прозвучал дружный рев, смешавший крики ярости и хохот; им вторили отчаянные вопли женщин. Мужчины завертывались в сарапе и разбегались в поисках укрытия по зарослям кустарника,

а сотни женщин и детей остались под открытым небом на платформах и крышах вагонов, под дождем, на холоде, с индейским стоицизмом дожидаясь рассвета. С крыши одного из головных вагонов неся пьяный смех и пение под гитару.

На следующий день Рид заметил большого серого мула, мирно пасшегося в поле. Рид схватил свое седло, со всех ног кинулся седлать и отъехал подальше от места находки. Это благородное животное, решил Рид, стоит минимум раза в четыре дороже самого Буцефала, подтверждения чего не замедлили последовать. Все, кто попадался ему на дороге, тут же начинали божиться, что мул их, ничей больше.

Солдат, который шел, положив на каждое плечо по винтовке, остановился при виде Рида как вкопанный, затем приблизился.

— Oiga, компаньеро! Откуда у вас этот мул?

— Я нашел его в поле,— необдуманно ответил Рид.

— Так я и думал,— отозвался тот.— Да ведь это же мой собственный мул! А ну слазьте, пока не поздно!

— А седло тоже ваше собственное?

— Еще бы, клянусь божьей матерью!

— Ну так соврали и про мула, потому что уж седло-то действительно мое.— И он поехал своей дорогой, предоставив солдату разориться всюю.

Не успел он отъехать подальше, как какой-то старый пеон, неизвестно откуда взявшись, кинулся к ним и обеими руками крепко обнял мула за шею.

— Ах, наконец-то! Вот он, мой красавчик,— мул, которого я потерял! Мой Хуанито.— Рид еле отделался и от этого.

Но в городе подскакал кавалерист, загоротивший ему конем дорогу и потребовавший немедленного возвращения своего мула. Рид ответил, что он капитан артиллерии и этот мул с его батареей. На каждом шагу объявлялись все новые и новые хозяева мула, каждый из которых требовал

от Рида ответа: да как же у него хватило духу разъезжать на их драгоценном Панчито... родном Педрито... ненаглядном Томазито? А в городе его перехватил вестовой с письменным распоряжением какого-то полковника, углядевшего мула в окно. Но Рид предъявил пропуск с личной подписью Франсиско Вильи, и вопрос был исчерпан.

Сражение

Пора было наступать, мешкать времени больше не было. С невероятной быстротой надвигались новые грозные события. Федералисты продолжали прочно удерживать богатейшие города Северной Мексики: Гомес-Паласио, Лердо и, главное, Торреон. У Вильи теперь не оставалось иного выбора, как только взять их любой ценой.

Длинные цепи останавливались в темноте. Молчаливые, озабоченные, чуя близость предстоящего боя, ни на кого не обращая внимания, конники проезжали между двумя рядами высоко поднятых факелов. И каждый десятый из них был старым знакомым Рида. Офицеры кричали проезжающим:

— Какой отзыв на пароль? Загните спереди поля шляп вверх! Знаете отзыв на пароль?

— К черту отзыв! — смеясь, отругивались солдаты. — Зачем нам отзыв! Нас и так узнают, как только пойдем в бой, сразу будет видно, на чьей мы стороне.

Казалось, прошло уже несколько часов с тех пор, как они проехали, растворившись в темноте; тревожно вздергивающие головой, заслышав канонаду, лошади, всадники, едущие неподвижно, устремив горящие глаза в темноту, они шли в сражение с допотопными спрингфилдами, со скудным запасом патронов. Незатихающий грохот боя стоял в ночном воздухе.

Вдруг из темноты вынырнула горстка людей, несущих на растянутом одеяле что-то тяжелое, лежащее пластом.

— Эй, земляк,— прохрипел один из них.— Ради божьей матери, далеко еще до санитарного поезда?

— Километров пять,— ответил солдат.

— Благослови тебя боже! А как нам...— Они стояли, растянув одеяло, с которого что-то капало: кап, кап, кап...

Стали прибывать и другие — поодиночке, группами. Они были смутно различимы в темноте и брели, заплетаясь ногой за ногу, словно пьяные или смертельно усталые. Одного вели под руки, почти тащили. Другой, совсем еще мальчик, шатался под тяжестью обмякшего тела отца, которое он тащил, взвалив на спину. Опустив голову к самой земле, прошла лошадь, два перекинутые поперек седла тела раскачивались в такт, кто-то подгонял ее сзади бранью и ударами. В темноте какой-то солдат страшно стонал от невыносимой боли; один из раненых, ехавший верхом на муле, вскрикивал от каждого шага животного.

Под двумя высокими тополями возле оросительной канавы горел костер. Три солдата с расстрелянными патронташами храпели, разлегшись прямо на земле; у огня сидел человек, протянувший к теплу ногу, которую поддерживал обеими руками. До лодыжки это была нога как нога, а дальше все было разворочено так, что не поймешь, где окровавленная штанина, где живое мясо. А человек, словно в забытьи, просто сидел и, бессмысленно разинув рот, смотрел на нее.

С востока над всей этой бескрайней равниной забрезжил тусклый рассвет. В ветвях благородных тополей, плотными рядами выстроившихся вдоль оросительных канав, запели птицы. Начинало теплеть, поднимался пар, и потянуло ароматом земли, трав, поспевающей кукурузы — такая мирная, летняя зорька. И гром сражения, нарушающий эту тишь, казался кощунственным. В припадочной скороговорке винтовочного огня слышались какие-то надрывные стоны, которые становились неразличимыми, едва постараться прислушаться к ним. Нервная стукотня

пулеметов долбила, как гигантский дятел. Пушки гудели, как огромные колокола, свистели снаряды: бум! и-и-и-у! И — самый страшный на войне звук — разрывы шрапнели: тррах! иу-иу-иу!

Огромное жаркое солнце вспыльвало в горячем мареве. На востоке дымно курилась вспаханная земля, а с голых просторов пустыни уже дышало зноем. Засветлели необыкновенно зеленые верхушки тополей, высаженных вдоль протянувшегося параллельно железнодорожному полотну канала. А там, где кончались деревья, виднелись поднимающиеся стеной беспорядочные нагромождения голых каменистых гор. Зарозовели и они.

До Гомес-Паласио было так близко, что развороченный железнодорожный путь был виден до самого города как на ладони. Чуть справа от полотна, впереди, вздымалась высь каменная вершина Черро-де-ла-Пила. Гомес-Паласио почти весь лежал по ту сторону склона Черро, а на западных отрогах расположились виллы и сады Лердо — резкое зеленое пятно на фоне мертвой пустыни.

Подъехал со своим штабом Вилья и задержался посмотреть. Генерал был в старом коричневом костюме, в рубашке без воротничка, в старой фетровой шляпе. Пыль покрывала его с головы до ног, всю ночь он носился верхом с одного фланга на другой, но усталости в нем не чувствовалось. Увидев среди солдат Рида, окликнул его:

— Эй, приятель! Нравится тебе здесь?

— Очень, мой генерал, — ответил Рид.

— Вот и хорошо, — сказал Вилья с усмешкой. — Рад, что тебе понравилось, здесь ты увидишь все, что хотел. — Он повернул коня. Все его движения были по-волчьи легкими, подбористыми. Он снова заговорил: — С ранеными плохо. Сотни раненых. Какие они все мужественные ребята, эта молодежь. Самый храбрый народ на свете! — И он ускорил.

Из чащи низкорослого кустарника появился старый неоп в лохмотьях, весь согбенный от прожитых лет.

— Скажи, друг,— обратился к нему Рид,— где здесь можно подойти поближе, чтобы разглядеть сражение как следует?

Старик выпрямился и внимательно посмотрел на него.

— Пробудь вы здесь с мое,— сказал он,— вам бы и смотреть не захотелось ни на какое сражение. Сагамба! Я своими глазами видел, как за три года Торреон брали семь раз подряд. То наступали со стороны Гомес-Паласио, то с гор. А все одно — война и война. Молодым, может быть, оно и интересно, а нам, старикам, от нее уже неможется. — Он оглядел равнину. — Видите вон тот высохший ров? Если спуститесь в него и пойдете вдоль по руслу, то как раз и попадете.

Словно вспомнив что-то, спросил равнодушно:

— А какой вы партии?

— Конституционалист.

— Ну да. Сначала были мадеристы, потом — ороскисты, а теперь... как вы сказали? Я очень стар, и мне уж недолго осталось; но эта война... по-моему, ничего она не принесет нам, кроме голода. Ступайте с богом, сеньор.

Но спешить было некуда. Призрак сражения, убийство, смерть витали над полями и долами, завесив все своим кровавым занавесом, и день, и второй, и третий, пока наконец не назрел решающий перелом.

Стояла теплая ночь, ни ветерка. Со стороны Лердо, куда ворвалась бригада, неслась яростная стрельба. В самых передних линиях перестрелка разгоралась особенно ожесточенно. К цепи подошел человек с зажженной сигарой, огонек которой, бережно укрытый между ладоней, мерцал во тьме, как светлячок.

— Прикуривайте ваши сигареты,— сказал он.— Да смотрите не зажгите запалы, пока не будем у самой стены.

— Капитан! Не так-то это просто. Как мы узнаем, когда пора?

Другой голос, низкий, грубый, отозвался в темноте:

— Я скажу. Только не отставайте.

Раздались негромкие, приглушенные крики:

— Вива, Вилья!

Спешившийся генерал, держа сигару не в зубах — Вилья не курил, — а в руке, сжимая бомбу в другой, выбрался из рва и кинулся в кустарник, остальные хлынули за ним.

Теперь вдоль всего фронта наступающих винтовочный огонь стал ураганным. Но наступающих Риду снизу из-за деревьев не было видно. Он проехал выше, на каменистый край рва, откуда ему стали видны вспышки оружейных выстрелов в Лердо и мелкая россыпь винтовочного огня вдоль всего переднего края повстанцев. Весь подобравшись в седле, он напряженно ждал атаки.

Она началась. От мгновенной огненной вспышки все небо залило красным, земля содрогнулась от динамита. Рид живо представлял себе этих орущих дикарей, рвущихся вперед, лезущих все выше и выше, в самое пекло, откатываясь, задерживаясь и снова пробиваясь вперед, а впереди всех Вилья переговаривается по своей всегдашней привычке через плечо с теми, кто за ним. И вот по участвовавшей стрельбе стало ясно, что начался штурм вершины Черро-де-ла-Пила. По крутому склону горы, охватывая его с трех сторон, медленно поднималось кольцо сплошного огня. Настолько яростным стал винтовочный огонь атакующих. Яркая вспышка ударила с самого верха горы, за ней — вторая. Миг спустя донесся страшный оружейный рев. Артиллерия била по лезущим на гору прямой наводкой, в упор! А они все-таки продвигались вверх по темной горе.

Кольцо огня то и дело прорывали сразу на нескольких участках, но ненадолго. Так продолжалось, пока вспышки стрельбы наступающих не сблизились вплотную с изрыгающими в них огонь орудиями на самой верхушке горы. Затем все вокруг разом утихло, словно от изумления перед обреченным героизмом этих солдат-пеонов, идущих грудью на пушки. Но еще миг — кольцо наступающих, обозначен-

пое выстрелами, слившимися в сплошную огненную черту, сповз сомкнулось и медленно двинулось дальше.

А на равнину уже пробирались, плутая в непроглядной тьме, раненые. Их криков и стенаний не мог заглушить даже грохот ближнего боя; Рид различал даже треск кустарника, сквозь который они продирались, и скрип песка под их неуверенными шагами. Внизу по тропинке мимо проехал всадник, поносявший на чем свет стоит свою сломанную ногу, из-за которой ему пришлось выйти из боя, и попеременно с бранью плакавший от досады. К краю рва вышел другой, бережно поддерживая здоровой рукой раненую, словно баюкая ее, и присел; он говорил, как в бреду: безостановочно и все, что на ум придет.

— Ну и молодцы же мы, мексиканцы,— сказал он с горечью.— Вон как истребляем друг друга!

Когда Рид вернулся на бивак, его мутило от усталости и отвращения. Одна гнетущая мысль не давала ему покоя: нет ничего безрадостней сражения, большое оно или малое — все равно.

Уехал веселый товарищ

Революцию не поторопишь. И молодым корреспондентом явно начинает овладевать нетерпение, о чем свидетельствует заключительная часть следующего его письма к автору этих строк:

«Первая статья стоила мне такого напряжения сил, что я уже был просто не в состоянии судить сам, так ли она написана. Но сейчас для меня проясняется, какие в нее следовало бы внести поправки. Хорошо бы, если б Вы сняли всякую сентиментальщину и годные только для передовиц сарказмы насчет мира, свободы и т. п. По-моему, очерк только выиграет от простоты и голой правды. Прошу Вас, пройдитесь по нему от начала до конца и, если я где рассусоливаю, правьте безо всякого. Не в службу, а в дружбу...

Мне кажется, что после взятия Торреона война на Севере будет уже просто войной, как все войны. Солдат Вильи, не теряя времени, обряжают теперь в военную форму, муштруют, им платят жалованье, приучают к беспрекословному повиновению старшим. У него теперь завелись пушки, настоящие офицеры, радио, пишущая машинка. Северная армия становится профессиональной и законопослушной. Теперь она потеряет свое лицо и не будет уже чисто мексиканской. Ничего похожего на Ла Тропа. Пленных не будут предавать казни. Ну а в артиллерийских дуэлях нет, по-моему, ничего особенно интересного, — да и вы, вероятно, того же мнения».

И вот Рид возвращается в Нью-Йорк — ни с чем не сравнимая мексиканская пора его жизни отходит в прошлое. Но все пережитое за эти четыре месяца навсегда останется для него немеркнущим воспоминанием, как первая любовь. Он пишет:

«Когда я пересек мексиканскую границу, меня охватил страх. Я боялся смерти, ранения, встречи с чужой страной, с чужими людьми, речи которых были мне непонятны, мысли — неведомы. Но меня подстегивало жгучее любопытство. Прежде всего мне хотелось узнать, как я буду вести себя под огнем, как уживусь на войне с этими простыми людьми. И я убедился, что пули не так уж страшны, что ужас перед смертью можно побороть, а мексиканцы — такой же народ, как мы. Эти четыре месяца, когда мы скакали по палимой солнцем пустыне, оставляя позади сотни миль, спали вповалку на голой земле, пили и плясали до рассвета на разоренных асьендах, когда я жил бок о бок с моими новыми друзьями, не отставая от них ни в потехах, ни в бою, — это время, пожалуй, было лучшим в моей жизни. Я ладаил с этими яростно сражавшимися людьми и с самим собой. Я жил полной жизнью. Я открыл себя заново. Я писал так, как мне уже никогда не писать».

Все, кому дорога литература, сразу же увидели: репортажи Рида превосходны. Ему удалось выйти на простор,

и он заговорил теперь раскованно, во весь голос. С присущим ему великодушием Рид воздал честь за это другому — своему старому наставнику профессору Коппенду. Теперь судьба принесла Риду лавры, на которых можно было бы при желании и почтить. Нежданно-негаданно Рид попал в знаменитости. И это налагало на него свои обязательства — теперь он уже не волен был делать, что душе угодно. Больше всего ему хотелось забиться в какой-нибудь укромный уголок и засесть за книгу, облечь в слова теснившиеся у него в голове мысли и образы, высказать свое восторженное отношение к борьбе конституционалистов. Мейбл звала его в Провинстаун, где у него были бы для этого все условия. Но захвативший его вихрь событий помешал ему уехать.

Американские интервенционисты, с которыми Рид уже сталкивался и которых он успел возненавидеть еще в Мексике, те самые крикуны, что угрожали ему смертью, если он не перейдет на их сторону, создали крайне напряженную обстановку политических интриг, грозивших внести серьезный разлад во взаимоотношения США и Мексики. Американская морская пехота оказалась в Веракрусе — «для охраны жизни и собственности американцев». Хотя Рид и знал, что президент Вильсон не жалует Уэрту, будущего второго Диаса, тем не менее он был потрясен разговорами о том, что Соединенные Штаты не прогадают, посадив в Мехико-сити свое правительство. В заявлении, опубликованном в «Нью-Йорк таймс», а позднее изданном отдельной брошюрой, он обрушился на поборников вмешательства во внутренние дела Мексики, указывая, что, хотя американцы и могут подавить революцию, волнения не улягутся, пока мексиканский народ не станет хозяином на своей земле.

«Американские солдаты, — писал Рид, — не встретят серьезного сопротивления со стороны мексиканской армии. Но им придется расстреливать пеонов и их жен, которые будут сражаться за каждую улицу, отстаивать каж-

дый дом. Терпеливый, великодушный народ, который вот уже четыре века борется за свою свободу и национальное самоопределение, не имея ни современного оружия, ни руководящей организации,— вот кто станет жертвой интервенций».

В Риде неожиданно проснулся борец за справедливость и агитатор. Он заставил Джозефа Пулитцера, редактора всемогущего нью-йоркского «Уорлда», выслушать свои доводы и добился опубликования передовой, поддерживающей его точку зрения, встретился с Брайаном, который был в то время государственным секретарем, побывал у президента Вильсона.

Государственные мужи в Вашингтоне отнеслись к нему вполне благосклонно и внимали с терпением всему, что он собирался сообщить им; но поскольку сами они при этом не изрекали ничего примечательного, эти встречи заслуживают здесь упоминания лишь как факт биографии Рида. Ему запомнилась, например, внешность Брайана, «на котором были его ставшие притчей во языцех визитка, очки со стеклами полумесяцем на широкой черной ленте, его прославленный черный священнический галстук и всем известная приветливая улыбка»; большое впечатление произвели те особые тишина и покой, которые словно исходили от самого присутствия президента, его мягкий голос, усталые глаза, скупые жесты. Но интересно бы знать их впечатление от этого стремительного юноши, который весь во власти кровавой эпопеи, только что прошедшей перед его глазами.

А тем временем в южной части Колорадо, близ Тринидада и Ладлоу, на угольных шахтах, принадлежащих Рокфеллеру и ряду других магнатов, разразилась настоящая буря. Общественность знала, что вспыхнувшая там стачка переросла чуть ли не в вооруженную борьбу, но ничего более определенного не было известно. Сообщения о зверствах тотчас же опровергались, беспорядочный поток обвинений и контробвинений, ежедневно появлявшихся

на страницах газет, позволял только догадываться о происходивших событиях, которые принимали характер не то нелепого и страшного фарса, не то трагедии, настолько ужасной, что этому трудно было поверить. «Метрополитен» направил Джона Рида на бастующие шахты, чтобы он на месте разузнал все, что удастся.

Редакция знала, что Рид не останется бесстрастным наблюдателем, но не придавала этому большого значения. Факты — а Рид не из тех репортеров, которые проходят мимо фактов, — будут говорить сами за себя. К тому же вряд ли можно было предположить, чтобы шахтеры решились вступить в неравную борьбу с могущественными угольными компаниями, если бы их не довели до крайнего отчаяния. Так что же все-таки происходило там, пока читатель под веселое бульканье кофейника пробегал заголовки утренних газет?

К тому времени, когда Рид добрался туда, самое худшее было уже позади. Он словно очутился на поле вчерашней битвы. В Тринидад он попал в полосу затишья. Он бродил по улицам этого почерневшего от угольной пыли городка, и его высокий рост и внушительный, несколько таинственный вид человека, который знает, что ему нужно, но никого не намерен посвящать в свои дела, невольно привлекали внимание. Шахтеры в воскресных костюмах стояли группами, разговаривая между собой; в зале собраний местного профсоюза детишки распевали песни о «денежных королях», и из окон несло: «Забастовка в Колорадо, чтоб шахтерам волю дать»; но вдоль стен домов, сгорбившись, сидели старухи в черных шалих и рассказывали друг другу о недавних ужасах. Сколько убитых! А какая страшная трагедия произошла в Ладлоу! Забастовщики, которых хозяева выгнали из принадлежащих компаний домов, переселились вместе с семьями в палаточные лагеря; самый большой из таких лагерей был в Ладлоу — в центре забастовки. Солдаты сровняли лагерь с землей; они расстреливали рабочих из пулеметов и подожгли па-

латки; многие семьи были истреблены всего за несколько минут... Отряд полиции промаршировал между двумя шеренгами оцепеневших от ненависти людей. Никто не произнес ни слова, но Рид видел, что нервы у шахтеров напряжены до предела — они с трудом сдерживали себя, чтобы не броситься на полицейских.

Рид отправился в Ладлоу. Глазам его представилось мрачное зрелище: валявшиеся на земле горшки и кастрюли с остатками пищи, которую готовили в то страшное утро, детские коляски, груды полусожженной одежды, изрешеченные пулями игрушки, разверстые ямы с почерневшими от огня краями — вот все, что осталось от имущества тысячи двухсот человек. Ему указали на одну из ям. Отсюда были извлечены тринадцать обугленных трупов детей и женщин.

Пусть поглядят, грозился про себя Рид, пусть пресса, пусть все люди узнают и убедятся сами. И возмущение действительно вспыхнуло, на сторону забастовщиков были привлечены новые силы: добровольцы, люди разного звания, захватив оружие, отправлялись в Ладлоу. Срочно вызванные на место событий федеральные войска сменили отряды полиции, принимавшие участие в кровавой расправе: им была поручена охрана порядка.

До сих пор общественное мнение, от которого скрывали действительное положение вещей, было на стороне угольных компаний. Бойня в Ладлоу произвела перелом. Она стала позором для всей страны. От конгресса потребовали специального расследования.

В процессе расследования выяснились некоторые дополнительные обстоятельства. Шахтеры выступили против деспотизма компаний, контролировавших все стороны жизни рабочих. Недовольство шахтеров подогревалось воинственно настроенными организаторами Объединения горнорабочих, которые прибыли сюда, чтобы создать местное отделение профсоюза. Компании, видя, что все их «добрые намерения» истолковываются превратно и их престижу

брошен вызов, ответили, как того и следовало ожидать, грубым нажимом. Оказалось, что они недооценили твердость духа и человеческое достоинство рабочих, этих «иностранцев», «неучей», которых они привыкли презирать.

Невыясненным оставался, однако, главный вопрос: на кого же ложится ответственность за позорную бойню? Солдаты говорили Риду, что им было приказано истребить палаточный городок со всеми его обитателями, рассказывали, как из пулеметов, установленных на холме, они открыли огонь по палаткам, как сотни полицейских вместе с уполномоченными шерифа сразу после прекращения стрельбы устремились в поселок и подожгли его. Губернатор Колорадо Эммонс, поддерживаемый адвокатами, весьма вежливо, но твердо отклонил предъявляемые ему обвинения. Все, что произошло, следует отнести исключительно за счет взаимного озлобления, вызванного затянувшимися — и весьма прискорбными — беспорядками на шахтах. Была даже выдвинута такая версия: сами шахтеры по неосторожности подожгли поселок. И если бы бесконечные словопрения и щедро оплаченная казуистика могли заставить забыть об этой бойне, то оказалось бы, что ее не было вообще.

Ко всему в придачу еще и Джон Д. младший, этот во всех отношениях достойный сын великого Рокфеллера, выступил в печати с поучением:

«Мы скорее пошли бы на то, что неблагоприятно сложившееся для нас положение затянется до бесконечности и вложенные в дело миллионы окажутся потерянными, чем допустили бы покушение на гарантированное конституцией право американского рабочего работать, на кого ему угодно. Если я не справился, выполняя свой долг, я подаю в отставку, но совесть моя спокойна».

Как финансист, он, конечно, только выполнял свой долг, радуя о процветании своих предприятий и не допуская посторонних помех, отражающихся на прибыльности оных; как полноправному гражданину США, никто не воз-

бранял ему ломать эту пошлую комедию чувствительного восхваления преимуществ «открытого предприятия»;¹ но чисто по-человечески, выступая с подобным заявлением, он проявил полнейшее скудоумие. Хотя в этом отношении он тоже не одинок.

То, как Рид трактовал причины забастовки, заставляло прислушаться к нему. В статье «Война в Колорадо» он нарисовал картину человеческого отчаяния, не имевшего ничего общего с тем, что писали газеты под кричащими заголовками, показал, как столкновение классовых интересов приводит к жестокости, уходящей своими корнями в самые основы американской жизни, и нашел слова, вызывающие ко всей нации. Рид почувствовал свою возросшую силу. Теперь он начинал яснее понимать, с кем он. Он всегда был простодушно честен в своих требованиях к самому себе и к миру, который считал своим,— миру отца и обожаемого Тедди Рузвельта; но оставался ли этот мир и теперь еще миром? Вопрос этот был особенно мучительным потому, что с ним пельзя было покончить, раз и навсегда ответив на него: он ставил под сомнение все успехи Рида на избранном им пути. И это стало совсем очевидно во время следующей его большой поездки, когда «Метрополитен» послал его в Европу с заданием освещать ход войны из действующих армий Антанты,— поездки, завершившейся тем, что Рид увидел войну из немецких окопов.

Но прежде чем опять окунуться с головой в новую жизнь, Рид, получив короткую передышку, успел написать книгу «Восставшая Мексика».

В дальний путь

Помещенное в утренних газетах сообщение о вторжении немецких войск в Бельгию поразило Америку. Происходило нечто чрезвычайно странное и, если вдуматься,

¹ Так называются в США предприятия, на которые приписываются и состоящие и не состоящие в профсоюзе рабочие.

недопустимое. Но люди находили сотни доводов, дающих возможность — нет, не усомниться в том, что происходит, но отодвинуть от себя правду на безопасное расстояние, на котором ее удобно рассматривать сквозь мутную призму высокой дипломатии, а когда стали просачиваться известия о победном марше серых полчищ, несущих с собой ужасы войны, многие восприняли это как захватывающий, хотя и жестокий, спектакль. Мало что предвещало приближение той огромной трагедии, которой суждено было обрушиться на людей, — жизнь шла своим обычным порядком.

Некоторое исключение составляли трое молодых людей, расположившихся теплым августовским вечером в ресторане на крыше, высоко над кишачими народом улицами Нью-Йорка. С крыши за нагромождением зданий видна была расплывающаяся в темноте полоска Гудзона, а прямо над головой светили звезды. Молодые люди, сидевшие за поистине царским обедом, были очень не похожи друг на друга, но пребывали в одинаково приподнятом настроении: до рассвета все трое, хотя и порознь, отплывали в Европу.

Рид и Хант когда-то вместе учились в колледже, и Хант уже в те дни слыл серьезным литератором. Теперь они со смехом вспоминали те времена, когда оба удостоились чести быть принятыми в число редакторов «Гарвард мансли», гордо провозглашавшего своим лозунгом срывание всех и всяческих покровов. Хант прочел свое стихотворение о смерти, что как нельзя более соответствовало значительности момента. Потом Рид принялся декламировать свою пародию на вирши Джона Холла Уиллока, который был тогда их главным редактором:

О, безгласное, лепечущее море,
Полное соленой воды и громадных печальных крабов...

И дальше в том же духе, но почему-то тень тревоги промелькнула при этом в глазах трех молодых людей, ко-

торым так хотелось смеяться, но которым было и о чем призадуматься. Третьим в этой компании был Фред Бойд, убежденный революционер, ученый и человек действия.

Бойд был англичанином. Сын революционера, он постоянно встречался с людьми, находившимися на нелегальном положении; он был маленький и всегда какой-то нахохлившийся, настороженный. Теперь он направлялся в Англию, чтобы принять участие в революции: он был уверен, что не пройдет и шести месяцев, как она разразится. Уже недалек был тот час, когда Хант очутится в Антверпене под немецким огнем, а Рид под влиянием событий утратит душевное равновесие. Но пока веселье молодых людей не омрачалось ничем.

На следующий день какой-то тощий человек в грязном пальто протиснулся в дверь моего кабинета и сунул мне в руку записку. На листке почтовой бумаги с названием дешевого ресторанчика в Манхэттене, куда, по-видимому, под конец перекочевала вся компания, было четко выведено: «3 часа ночи»; в этой записке Рид давал последние указания насчет того, куда переводить причитающиеся ему деньги, чтобы его семья могла ими при случае воспользоваться, затем шла многозначительная приписка: «Проглаживайте горячим утюгом все бумаги, которые будете от меня получать». И далее круглым, разборчивым почерком Рида было написано: «Да поможет мне бог».

А сам он к этому времени был уже в море, на борту итальянского парохода, направлявшегося в Неаполь, — таким путем можно было попасть на европейский театр военных действий «с черного хода».

На маленьком пароходике даже верхняя палуба, где находился Рид, была забита пассажирами, а внизу, в четвертом классе, три тысячи несчастных ютились в такой тесноте, что негде было даже прилечь на ночь. Смрад, песни и хохот и день и ночь разносились из этого ада

по всему пароходу. Многие пассажиры четвертого класса возвращались на родину по требованию итальянского правительства; в порыве любви к родине они бросили дела, дом и даже семьи, чтобы обречь себя на закляние, потому что те, кто правил ими, объявили это патриотизмом.

В первом классе ехали итальянский маркиз, крупный капиталист, владелец шелкопрядильной фабрики в Патерсоне, помогавший задушить забастовку, несколько немецких баронов, какой-то австрийский граф и множество офицеров из разных стран. Когда громкие крики, песни и ругань, доносившиеся снизу, нарушали тишину в курительной, где эти господа располагались за карточным столом, кто-нибудь восклицал: «Скоты! Сброд!», а итальянский граф, возвращавшийся на родину, чтобы принять под свое командование полк этого «сброда» в случае вступления Италии в войну, с добродушной улыбкой предрекал, что в ближайшее время большинство из них будет перебито. Его уверенность вполне разделял австрийский офицер, с которым ему, быть может, через какие-нибудь три недели суждено было столкнуться в бою. Вскоре, однако, они чуть не сцепились, заспорив о том, чьи солдаты храбрее и выносливей, — на войне эти «скоты» оказывались замечательными ребятами...

Наконец под вечер они миновали Гибралтар; огромная скала отбрасывала тень, превращавшую день в ночь. А потом наступила настоящая ночь — ласковая средиземноморская лунная ночь в открытом море. Казалось, в мире не было ни войны, ни разговоров о войне. В четвертом классе наступило умиротворение — сотни людей, жалких, грязных, невыспавшихся, но почти счастливых, сбились тесной толпой, окружив одноглазого бандита, игравшего на концертино.

— Триполи! — требовали они. — *La Marcia Reale*¹.

¹ Королевский марш (итал.).

И одноглазый не оставался в долгу — видно было, что игра доставляет ему наслаждение. Зато какое восторженное молчание царило, пока он играл! Какой гром аплодисментов раздавался после каждого марша!

Недели три спустя я получил из Рима телеграмму:

«Здесь поживиться нечем. Ночью уезжаю в Париж, где идут приготовления к осаде. После Парижа думаю съездить в Россию, а потом постараюсь попасть в Германию. Здесь не удалось ничего ни узнать, ни увидеть. Просто ужасно.

Рид».

Телеграмма показалась маловразумительной. Мы надеялись и все еще продолжали надеяться, что Рид в скором времени все-таки сумеет попасть на театр военных действий.

В самой преисподней

В ходе первой мировой войны выяснилась одна важная истина: без военных корреспондентов не обойтись. Всем известно, какие права были предоставлены корреспондентам во время второй мировой войны: их одели в военную форму, присвоили им офицерские звания, разрешили им соваться в самое пекло боя на суше и на море, и многие из них поплатились за это жизнью. Но в те времена, о которых идет речь, военному корреспонденту предоставлялась только одна возможность: сложить голову. Его могли расстрелять, как шпиона, и для этого ему стоило только сделать лишний шаг в сторону от кафе «Мир». В Париже Рида ждал неожиданный удар: он застал там целый корпус корреспондентов, которых без лишних церемоний согнали в одну кучу и с которыми обращались как со школьниками, оставленными без обеда, — ни одному из них, независимо от его влияния у себя на родине и от внушительности представленных им рекомендаций, не давали доступа в действующую армию.

В числе прочих здесь был и Ричард Гардинг Дэвис, корреспондент «экстра-класса», широкую грудь которого украшали ленточки орденов, полученных им в шести войнах, где он проявил себя блистательнейшим образом; с ним обращались ничуть не лучше, чем с остальными,— больше того, он чуть было не погиб бесславной смертью. Вернувшись на родину, Дэвис громогласно выразил свое возмущение: «Прошли те счастливые времена, когда они (корреспонденты) были желанными гостями армии, когда они узнавали о событиях из уст людей, являвшихся участниками этих событий, когда Арчибальд Форбс и Фрэнк Миллет обедали за одним столом с наследником русского престола, когда Мак Ган спал в одной палатке со Скобелевым, а Киплинг скакал верхом стремя в стремя с Робертсом. Теперь в любой армии на корреспондента смотрят как на плавучую мину. На каждом шагу он получает отпор. Его встречают окриком: «Убирайтесь! Здесь вам не место!»

Если бы это писал Рид, с присущей ему нескрываемой неприязнью ко всем власть предержащим, его слова не прозвучали бы так убедительно. Но Дэвис, этот архиконсерватор, который любил вращаться в высших сферах и всегда считал себя там «своим человеком», уж конечно не стал бы преувеличивать.

Официально приглашенное изображение войны, преподносившееся Америке в виде сводок о перебросках сил и сдержанных сообщений о победах или поражениях, давало возможность обывателю спокойно заниматься своими обычными делами, не предаваясь мучительным раздумьям. Те, кто интересовался ходом войны, довольствовались чтением глубокомысленных обзоров военных экспертов, вроде Фрэнка Симондса, стяжавшего славу на этом поприще, и перемещение булавок с красными головками на географической карте воплощало для них военные действия. Поскольку не было человека, который описал бы то неопишемое, что там творилось, подлинный смысл проис-

ходящего оставался скрытым от всех, за исключением лишь немногих, уже повидавших войну своими глазами. В сознании американцев прочно осело почерпнутое из школьных хрестоматий представление о войне как о непрерывной цепи героических подвигов, грустных, нередко смертельно опасных, но сулящих славу. А то, что творилось в Европе, выходило даже за рамки трагедии, человеческие нервы не могли выдержать этого нагромождения ужасов, и смерть уже казалась не самым страшным.

На лицах людей, вернувшихся с фронта, было написано плохо скрываемое снисходительное сочувствие к нашему жалкому неведению. Как раз в это время полковник Рузвельт, подстегиваемый своей неукротимой энергией, загорелся мыслью сформировать новый полк «диких всадников». К его величайшему разочарованию, Вильсон и Першинг не пожелали и слышать об этом. Казалось, такая реакция объясняется чисто политическими соображениями, но дело было не только в этом. Как ни сокрушительна была напористость Рузвельта, затея его казалась просто нелепой. Как-то раз на официальном завтраке в Гарвард-клубе Рузвельт пустился в свои обычные разглагольствования в присутствии молоденького капитана Джозефа Медилла Паттерсона, только что вернувшегося с фронта. Паттерсон слушал с каменным лицом. Наконец он сказал: «Вы просто не понимаете, полковник... Да и никому из тех, кто не побывал там, не понять, что это такое».

Друзья Рида в Нью-Йорке не знали почти ничего о том, как у него идут дела, информация от него поступала в редакцию лишь урывками, но вот наконец пришло письмо. Оно было написано в Париже и датировано октябрём 1914 г.¹

И если некоторые из нас в редакции «Метрополитен» сердились на Рида за бедность материала, который он передавал, то из письма, по крайней мере, стало ясно, в чем причина. Видимо, Рид никак не мог найти себя. Очерк,

¹ См. с. 149—151. *Прим. ред.*

который он прилагал к письму, оказался совершенно бесцветным, а обзорная статья с оценкой общего положения в Англии, которую он сам рекомендовал нам как «первоклассную», была по-мальчишески наивной — вся она сводилась к потоку избитых острот, вошедших в обиход еще во времена Георга III. Ни первая, ни вторая статья никуда не годились. А намерение Рида писать впредь статьи «аналитического характера» означало, что он будет присылать нам материал, от которого американская пресса и так не знала, куда деваться, и в котором к тому же он был не силен. Стеффенс попытался наставить его на путь истинный; он написал ему: «У нас здесь есть та общая перспектива, которой у тебя нет да и не может быть там, на месте. По-моему, лучше было бы, если бы ты передавал нам увиденное и услышанное тобой лично, как ты это делал в Мексике. Ты еще не набрался ума, Джон, пока еще — нет. Но глаз у тебя верный, и писать ты, безусловно, умеешь».

Однако толку от этого благого совета оказалось немного. Рид не мог найти себя в этой обстановке живых кошмаров именно потому, что его угнетало сознание собственной беспомощности, к тому же ему не удавалось ничего ни увидеть, ни услышать — его просто никуда не пускали.

Пришло новое письмо из Парижа. Письмо заканчивалось явно рассчитанной на эффект репликой под занавес, действительно изумившей нас всех¹.

Образ мятущейся в жару девушки, которой не дает угаснуть любовь нашего корреспондента, был слишком призрачным и слишком несвоевременным, чтобы вызвать симпатию. Что проку было от него для журнала в подобном положении? Хотя сама его манера выражаться явно была навеяна поэзией, в том, что новое чувство завладело им целиком, не могло быть никаких сомнений. Прочность

¹ См. с. 153—154. *Прим. ред.*

его отношений с Мейбл Додж, ни в чем не уступавших браку, казалось, исключала мысль о возможности какой-либо новой связи. Разве Мейбл не в Париже вместе с Джоном? Да, она была там, но потом почему-то внезапно уехала. Слухи доходили до редакции окольным путем, через Гринвич-вилледж. Молодая женщина с мужем-скульптором бывала на приемах у Мейбл — молчаливое создание с неподвижным, словно застывшим, лицом, с фигурой бронзовой статуэтки. В Париже она в отсутствие мужа заболела, и Рид перебрался в ее квартиру, чтобы ухаживать за ней. Они сразу же влюбились друг в друга.

Рид не скрывал своих отношений с нею от Мейбл; об этом говорят его телеграммы, неизменно составленные на французском языке; «она» в этих телеграммах обозначена инициалами «X. L.». «J'aime X. L. ... Pardonne moi et sois heureuse»¹. Мейбл отвечала, что она все понимает. В твердой уверенности, что связь эта долго не протянется, Мейбл сохраняла обычную выдержку, хотя временами ее и выводили из себя слухи о том, что влюбленные расположились как дома в ее парижской квартире и что X. L. щеголяет в ее платьях.

Рид и его возлюбленная отправили Мейбл по телеграфу совместное послание, торжественное, как эпитафия: «Force de vie nous a décidé pour toujours»².

Однако Рид по-прежнему оставался военным корреспондентом, всецело зависящим от получения командировочных: на одну только «force de vie», как известно, не проживешь. И вскоре пишущий эти строки получил письмо³.

Редакции журнала описание подвигов нашего странствующего рыцаря и подведение баланса на скорую руку не могли показаться утешительными. Но как образец всегдашней прямоты и откровенности Рида оно очень

¹ Я люблю X. L. Прости меня и будь счастлива (франц.).

² Сама жизнь навеки соединила нас (франц.).

³ См. с. 154—155. Прим. ред.

характерно. Он не сомневался, — да и кто же вообще мог в этом усомниться? — что, сколько бы он ни задолжал, в конце концов он все отработает сполна.

Следующее письмо было отправлено четыре дня спустя¹.

Сердечность, бьющая ключом в нем, неизменно завоевывала Риду друзей; врагам его, которых он всегда третировал так бесцеремонно и весело, эта сторона его личности была совершенно неизвестна. А для журнала он готовил нечто совершенно исключительное.

Рид был журналистом совершенно нового типа. Как общее правило, иностранные корреспонденты в ту пору, следуя узаконенным нормам и традициям, занимались главным образом государственной политикой, а не жизнью народа и писать предпочитали не о рядовых, а о генералах. Киплинг нанес этой традиции сокрушительный удар, но она еще держалась прочно. Рид, следуя природе своего дарования, охватывал в своих очерках представляющую его взору действительность во всем ее многообразии. В дни второй мировой войны такая манера удавалась многим, но в свое время только Рид владел этим искусством, которое мы после него научились ценить в журналистике выше всего.

«Для меня жизнь начинается снова!» Каков же был истинный смысл этой восторженной фразы? Означала ли она, что Рид и его подруга, которую он спас в Париже от смерти, стоят на пороге новой жизни? Или что теперь ему удастся наконец начать писать? Ответ на первый вопрос мы получили позднее, но остановимся на нем сейчас: связь Рида с X. L. (Фредди Ли) кончилась, как только они добрались до Берлина.

Рид полюбил другую, любовь к которой не отнимала у него столько времени. Оставаться долго верным женщинам, чувство к которым становилось всепоглощающим,

¹ См. с. 155—156. *Прим. ред.*

связывало по рукам и ногам, было не в его характере. Свидетельство тому — судьба Мадлен, с которой он познакомился во Франции и на которой обещал когда-то жениться; были, по всей видимости, и другие, нам неизвестные, но появление которых в его жизни давало о себе знать. Рид был совершенно неотразим, и устоять перед ним было нелегко. Сам же увлекался мгновенно, но увлечения его были, как правило, скоропреходящими.

Ответ же на второй вопрос он привез в Нью-Йорк сам. Это был его репортаж, самая актуальная и во многих отношениях самая сильная из всех до сих пор написанных им статей.

«В немецких окопах»

Сейчас вы увидите окопы, — с нескрываемым чувством превосходства объявил сопровождавший нас офицер. — Но предупреждаю вас: это опасно.

Дождь, зарядивший с самого рассвета, внезапно перестал. Они выбрались из автомобилей на затопленную грязью дорогу, здесь их встретили два выложенных немецких офицера в начищенных до блеска высоких сапогах и щегольских шинелях и, сдержанно поклонившись, щелкнули каблуками, буркнув: «фон Ланген», «Рёдигер». По левую сторону от дороги виднелся крестьянский дом, которому успело уже порядком достаться от обстрелов, — там располагался штаб полка. Проложенное французами широкое шоссе, по которому они брели, поднималось по живописному холму вверх и затем снова спускалось, устремляясь, прямое как стрела, между двумя рядами тополей к находившемуся в шести километрах Арра. По ту сторону холма шла и полоса траншей.

Так начинался очерк Рида «В немецких окопах».

Ставка кайзера решила предоставить нейтральной Америке возможность увидеть всеокрушающую германскую армию в действии. В отобранную с этой целью

группу входили корреспонденты, писатели и один сенатор. Чтобы соответственно настроить гостей, их провезли сначала по оккупированной Франции, показали им места боев на Марне и селения, погребенные под грудями обломков. В разукрашенных флажками автомобилях они катили мимо шеренг торжественно приветствовавшей их гвардии и постепенно, незаметно для себя начинали усваивать весьма оригинальную точку зрения немцев, согласно которой было совершенно непонятно, почему многие уцелевшие жители разрушенных деревень не проявляют должной признательности за снисходительное отношение к ним, а очаровательные хозяйки аристократических поместий оказывают ледяной прием блестящим военным в великолепных мундирах и с моноклем в глазу. Пресытившись наконец видом почетных караулов и реквизированными у голодающих французов яствами и винами, гости потребовали, чтобы им показали настоящую войну.

«Гигантская система окопов — отличительная черта первой мировой войны, навсегда запечатленная историей, — поражала воображение сильнее, чем мифические сооружения древности. Траншеи проглотили и упрятали в своих недрах все армии Западного фронта.

— Смотрите, — сказал один из офицеров, — вон там окопы французов.

Невысокая насыпь, какая обычно вырастает у края канавы, когда ее роют, выкидывая землю наверх, пересекала поле по ту сторону холма и шла, то скрываясь, то появляясь снова, на север, постепенно сближаясь с грунтом, так что ее уже нельзя было различить. Оттуда, где они стояли, открывался круговой обзор радиусом километра в четыре, и на всем этом пространстве, и на поверхности земли не заметно было ни малейшего признака человеческой жизни, хотя собравшиеся здесь, на холме, прекрасно знали, что не далее трехсот ярдов отсюда тысяча немцев ели, пили, спали, вели перестрелки, а

в двухстах ярдах тем же самым была занята сейчас тысяча французов.

— Какова длина этих окопов? — спросил кто-то.

— Они тянутся от Северного моря до швейцарской границы, — ответил немецкий капитан. — Можно нырнуть в траншею где-нибудь южнее Ньюпорта и пройти под землей до самого Мильгаузена в Эльзасе. По пути вы будете есть в подземных столовых, спать в блиндажах и за все время не увидите ничего, кроме земляных стен, если только вам не захочется выглянуть за бруствер...»

Рид и его отчаянный товарищ Роберт Дани решили, что всю эту страшную правду жизни и смерти в окопах можно понять, только увидев ее собственными глазами. Ускользнув от своих нерешительных спутников и заручившись провожатым, они двинулись напрямик в окопы, чтобы побывать в них ночью.

Спотыкаясь на каждом шагу, брели они в непроглядной тьме по дороге; дождь лил не переставая, справа от дороги взлетающие ракеты создавали жуткую иллюминацию, при свете которой из темноты выступали обрубки изуверченных осколками снарядов деревьев.

— Сейчас пройдем на самый передний край, — объявил лейтенант, резко сворачивая направо.

Они провалились в грязную, засасывающую жижу и, беспомощно барахтаясь, утонули в ней выше колен, их тащили пришедшие на помощь спереди и сзади. Пробираясь тесным ходом сообщения, они беспрерывно цеплялись за ноги каких-то неразличимых людей, которые сидели, прижавшись к стенам. Лейтенант пробрался вперед и крикнул:

— Привести себя в порядок! Смирно! Равнение на американских корреспондентов!

И они внезапно оказались в окопах первой линии.

Вплотную к фронтальной стене траншеи бок о бок стояли солдаты, защищенные лишь тонкими стальными листами с амбразурами для винтовок; они стояли так по

восемь часов в сутки под проливным дождем, по пояс в густой коричневой жиже, словно вдавленные в липкую глину стены. Они вели огонь, но и в остальное время о сне не приходилось и думать. Их сменяли каждые три дня; те, что находились здесь, должны были смениться в четыре часа, для них это были уже третьи сутки. Бойцы не обратили на посетителей ни малейшего внимания. Они напряженно вглядывались сквозь амбразуры в темноту, выжидая, когда осветительная ракета выхватит из мрака какое-либо движение на переднем крае французских траншей.

Лейтенант велел одному из солдат посторониться и предложил Риду и Данну заглянуть в амбразуру.

— Сейчас мы дадим специально для вас две-три ракеты, — сказал он, — и тогда вы рассмотрите французские траншеи. До них всего восемьдесят метров; а ярдах в тридцати от нас вы, если присмотритесь, сможете разглядеть трупы французов, убитых во время последней атаки. Они шли колоннами, по четыре в ряд, и наши пулеметы скошили их всех до единого.

Резко треснула ракетница. Мигающая светлая точка пошла спиралью вверх, разрослась в ослепительное, светящее жутким мертвенным светом солнце и медленно пошла на снижение. За ней последовала вторая, третья. На минуту стало светло, как днем. По отлогому откосу холма обозначилась неровная линия французских окопов — черная зияющая щель с пунктиром игольных вспышек винтовочного огня. Ничья земля между вражескими окопами была сплошь покрыта какой-то жижей, отсвечивающей, как покрытое слезью морское дно, открывшееся после землетрясения. Совсем близко, рукой подать, лежали, ткнувшись как попало, мертвые тела в синих французских шинелях, убитые лежали тремя ровными рядами, как их настигла смерть полторы недели назад — с тех пор огонь здесь не утихал ни на миг.

— Обратите внимание, — крикнул лейтенант, — как их

день за днем засасывало в эту жижу! Всего три дня назад их было видно гораздо лучше. Видите, вон там — рука, а там — нога торчат из земли, а сами тела уже затонули в грязи. Здесь и могил рыть не нужно. Мертвые сами себя и хоронят!

И вдруг разом по всему фронту резко, протяжно взревели пушки, и пошло: первая — вторая — третья — четвертая...

— Ага! — сказал их друг лейтенант. — Вот и французы!

Воздух над головами наполнился визгом пролетающих осколков и резкими разрывами шрапнели.

Одна — другая — третья — четвертая!.. Одна — другая — третья — четвертая!.. Беглым огнем вдоль всей линии французских траншей резко, отрывисто били пушки, и гром их все парастал. В небе пошла адская свистопляска, шрапнель вдруг резко рванула с небольшим перелетом где-то почти над ними, со скрежетом пролетая, пули врезались в грязь. Поодаль от них дико закричал кто-то из солдат, дружным залпом ударили винтовки. Солдаты с остервенением передергивали раскалившиеся затворы, выбрасывая отстреленные гильзы, и, словно обезумев, стреляли и стреляли в темноту.

Сотрясая воздух, заухала тяжелая артиллерия; вдалеке яркие молнии вспарывали темноту ночи, раздался нарастающий грохот фугасных снарядов, и все заходило перед глазами.

За спиной у них снова ударили немецкие гаубицы, и тяжелые фугасы, высоко вздымая огненные языки, пошли рваться в полумиле за линией французских траншей. Земля дрожала, ружейных выстрелов совсем не было слышно из-за оглушительного рева пушек. А Рид и Дани уже со всех ног бежали, спотыкаясь и падая, ко второй линии окопов, думая только о том, как бы добраться поскорее до блиндажа. Тяжелый снаряд со страшной силой врезался в землю метрах в двухстах впереди них и взорвался,

словно весь мир вдруг разом раскололся. Несколько минут вокруг, казалось, не было ничего, кроме поднятой взрывом в воздух грязи да свиста и скрежета стали.

Они достигли наконец укрытия, и лейтенант улыбнулся.

— Когда на вас обрушивается артиллерия,— сказал он,— безопасней всего в окопах. Их щели настолько узки, что попасть в них осколку почти невозможно. Ночью эта зона обстрела для них крайне трудна, а кроме того, еще и откат орудий все время сбивает наводку. Так что им скоро надоест.

Не успел он сказать это, как вся эта адская какофония почти тотчас же начала утихать. Какая тишина сразу обрушилась на них!.. Тишина, в которой нескончаемый винтовочный огонь казался им теперь стрекотом кузнечиков. Немного погодя, когда они лежали, покуривая, в жарко натопленном, сыром блиндаже, их позвал телефонист:

— Кому-то нужно поговорить с двумя американцами, которые сейчас в окопах.

Рид взял трубку.

— Алло! Говорит майор Ф... ну, помните, мы познакомились в погребе замка. Я даю здесь концерт и подумал, что вы не будете против послушать.

Рид и Дани по очереди слушали, передавая друг другу трубку, как майор играл на рояле вальсы Шопена; а здесь высоко над головой свистели пули и люди, стоя по пояс в грязной жиже, убивали друг друга.

Близилось утро, и солдаты, сменившиеся с дежурства на запасных позициях, уже потянулись гуськом по ходам сообщения, направляясь в тыл, в Комин; Рид и Дани попрощались с лейтенантом и двинулись за солдатами, вниз, по склону холма, по колено в жидкой грязи, затопившей апроши, по скользкому валу, через топкое поле, по которому то там, то здесь, негромко хлюпали пули на излете. И вдруг солдат, шедший прямо перед ними, закричал. Они не могли разглядеть его в темноте, и только слышали его

стоны, нечленораздельные вопли и шарканье ног борющихся людей. Через миг вспыхнул ручной фонарик лейтенанта и осветил солдата. Рот его был заткнут кляпом, руки прикручены веревкой к бокам; два товарища, крепко поддерживая под локти, насильно заставляли его идти дальше. Его безумные, неподвижные глаза расширились от внезапного света, как у дикого зверя, перепачканные в грязи плечи судорожно дергались. Солдат сошел с ума.

— Еще один,— пробормотал лейтенант.— Им пришлось заткнуть ему рот кляпом: иначе его вопли привлекут сюда огонь французов.

Корреспонденты быстро пошли вперед и вскоре снова выбрались на шоссе. Лейтенант взял Рида за руку и держал.

— Слышите? — сказал он.— Смена прибыла. Вот он, истинно баварский военный дух!

Послышалось приглушенное пение хора мужских голосов. Оно приближалось, ширилось, становилось все отчетливей, сильней, но все еще звучало приглушенно; и вот словно сама тьма, сгустившаяся в черные шагающие шеренги, выступила из еще большей тьмы и двинулась в ногу походным шагом, гулко отбиваемым тысячами подошв. Так, распевая «Grosser Got, wir lieben dich!»¹, тысяча солдат, прибывших из Комина, чистых, сытых, сухих, отдохнувших, прошли мимо них на смену тем, что недавно чувствовали себя такой же неодолимой силой, а теперь, в свою очередь, пройдут назад, выраввшись живыми из могилы, этой же дорогой, с пением этого же гимна, который сейчас поют идущие в бой...

Так кончался репортаж Рида с войны, из окопов.

Для читателей этот взволнованный рассказ Рида явился откровением. Впервые перед ними предстала беспощадная картина современной войны, о которой они ничего не знали или лишь смутно догадывались: невыносимая грязь,

¹ «Великий боже, мы любим тебя!» (нем.).

мучительное однообразие окопных будней, нечеловеческая усталость и нервное напряжение солдат, на которых обрушивается апокалипсический огненный смерч, перепыхивающие землю разрывы снарядов, тысячи незарытых трупов...

Очерк Рида был первым сокрушительным обвинением войне, и тот, кто прочел его, не мог уже больше, спокойно отсиживаясь дома, рисовать себе войну в светлых и героических красках — как подвиг, духовно возвышающий человека. Война была испытанием человеческой выносливости, пределы которой невозможно установить.

Наконец сам Рид, эта заблудшая душа, прожившийся до нитки бродяга и гений, явился собственной персоной; пишущий эти строки видит его так ясно, словно вот сейчас стоит он в дверях кабинета, высокий, сильный, в обтрепанной солдатской шинели, и, смущенно улыбаясь, протягивает рукопись. Рид знал: незачем спрашивать, справился ли он на этот раз.

Спор начинается

Наступила весна 1915 года. Рид, вернувшись на родину, оказался не у дел и не знал, чем бы ему теперь заняться. Нью-Йорк мало изменился за это время, однако в разговорах уже слышались новые нотки: всех тревожил вопрос, каково должно быть отношение Америки к грозным событиям, разворачивавшимся за океаном. Царившая вокруг растерянность, по мнению Рида, порождалась полным непониманием того, что происходит. Большинство американцев было против войны, но по причинам чисто морального свойства: их возмущала бесчеловечность немцев; Рид же считал, что разобрался во всем досконально, его не проведешь: все дело в коварных происках Англии. Он был убежден в своей правоте, и, когда его старый друг Уолтер Липпман, которого он именовал не иначе как «наш непогрешимый вождь», заявил, что не может принять его слова

всерьез, это явилось для него неприятной неожиданностью.

Была и еще одна неприятность, с которой приходилось мириться: постоянное присутствие в журнале грозного Теодора Рузвельта, ставшего теперь членом разношерстной компании, составлявшей редакцию «Метрополитен». Бывший президент никогда не упускал случая высказать свое мнение, а Рид не соглашался с ним ни в чем. Казалось бы, Рузвельт не должен был снисходить до споров с таким юнцом, как Рид, однако это явно доставляло ему удовольствие.

Подвизались в «Метрополитен» и правоверные социалисты вроде Хилквита и Алджернона Ли, которые считали своим долгом без конца объяснять на страницах журнала, почему партия социалистов не могла предотвратить войну. Все это были слова, слова и слова... А Рид во время своего пребывания в Берлине познакомился с Карлом Либкнехтом, решительно выступавшим против войны. «Разве социалист может поступать иначе?» — говорил Либкнехт, и впоследствии ему пришлось поплатиться жизнью за свои убеждения. «Вот это был человек!» — думал Рид.

Тем временем подготавливался к печати первый выпуск нового дискуссионного журнала «Нью рипаблик». Его основателей вдохновляла вера в торжество разума, и целью издания было отражение процесса развития общественной мысли. Журналом руководили друзья Рида, и тут-то он с горечью убедился, что стал им чужим. После всего увиденного и пережитого доводы авторов статей, публикуемых в журнале, часто казались ему нелепыми, умозаключения — чрезмерно отвлеченными, бесстрастными.

В довершение всех бед журнал поместил статью под заголовком «Легендарный Рид». Ее автор Уолтер Липпман разделял Рида так, что от него только перья летели. По всей вероятности, Липпман считал себя вправе изобразить Рида таким, каким он представлял его себе. Правда,

еще недавно он сам вознес его на недостижимую высоту — в своем письме, посланном Риду в Мексику, он писал: «Как-то неловко говорить человеку, с которым лично знаком, что он — гений; но Вы сейчас далеко, в дикой стране, а я не нахожу слов, чтобы выразить, до чего хороши Ваши очерки. Глаз у Вас безошибочный, и пишете Вы так, что лучшего и желать нельзя. Если бы все исторические события описывались подобным образом — боже правый! Я утверждаю, что настоящий репортаж начинается с Джона Рида. Между прочим, Ваши очерки, несомненно, хороши и в литературном отношении». Что могло доставить Риду большую радость, чем такая похвала человека, которого он считал умнее всех? А теперь статья Липпмана в «Нью рипаблик» совершенно уничтожала Рида, разила его в самое сердце.

«Он чуть не растратил свое дарование в погоне за наживой,— черным по белому было напечатано в журнале,— ему кружили голову славословия, и он разыгрывал из себя циничного военного корреспондента, что-то вроде ибсеновского героя. На протяжении нескольких недель Рид пытался усвоить точку зрения «Мэссиз». Он поверил, что все капиталисты толстопузы, лысы и лоснятся от жира, что Виктор Бергер¹, партия социалистов, Сэмюэл Гомперс² и тред-юнионы околпачивают трудящихся. Он внушил себе, что пролетариат — это не шахтеры, водопроводчики и вообще рабочий люд, а некий прекрасный гигант, подобно статуе на скале вознесший главу к солнцу. Он писал рассказы о ночных сборищах заговорщиков и пьесы

¹ *Бергер Виктор* (1860—1929) — один из лидеров реформистской социалистической партии Америки, резко выступавший против ИРМ как организации, прибегающей к революционным методам действия.

² *Гомперс Сэмюэл* (1850—1924) — реакционный деятель американского профдвижения, ярый враг коммунизма и СССР. Будучи председателем АФТ, направлял ее деятельность по линии «классового сотрудничества» и отказа от революционной борьбы; всячески препятствовал созданию рабочей партии.

о дамах в кимоно. Он рассуждал о динамите со снисходительностью мудреца и воображал, что ему удалось обнаружить прямую связь между кубистами и ИРМ. Он даже прочел несколько страниц Бергсона.

Время от времени, когда казалось, что он доведет себя и других до беды, когда его идеи становились особенно сумасбродными, я пытался урезонить его. Но все попытки растолковать ему что-либо вызывают у него лишь досаду и раздражение».

Не часто случается молодому человеку, столь одаренному и уже добившемуся успеха, получить такой увесистый шлепок. Надо признать, что в статье довольно точно описывались метания Рида в те периоды, когда он был лишен возможности действовать. Ведь он мог проявить себя только в действии, а не в сфере умозрительных построений. Становясь свидетелем великих событий, он словно окунался в родную стихию, и это придавало ему силы. В нарисованном Липпманом портрете обойдена молчанием одна весьма характерная для Рида черта — его постоянная неудовлетворенность тем, как устроен мир; это чувство, никогда не покидавшее Рида, определяло сущность его душевного склада.

В это время Рид точно одержимый пишет рассказы и пьесы. В «Вашингтон сквер плеейерс» была поставлена его пьеса «Погасшая луна». Но его «Явление Диббла» было отвергнуто Гренвиллом Баркером, ведущей фигурой в театральном мире, как пьеса подражательная и литературно беспомощная, хотя и очень живая.

Герой этой пьесы, землекоп Диббл, был очередным представителем той породы неутомимых говорунов, которым Шоу открыл путь в литературу и которых подражателям Шоу так легко воспроизводить. Но в одном из высказываний Диббла явственно звучит голос самого Рида. Диббл говорит, что жизнь должна превратиться в мир, «в котором Женщина и Мужчина заодно — во всем равны, мудры и прекрасны; никто не является ничьей собствен-

ностью и никем не владеет, как собственностью, не послушен ничьей воле и никому не павязывает своей, просто каждый занят своим делом. Работают не покладая рук, борются, не зная ни усталости, ни страха, творят прекрасную жизнь, и весь мир вторит их веселому смеху».

Сами по себе подобные фантазии более чем далеки от действительности; но с помощью такого рода утопий он хранил в душе мятежное пламя гнева негасимым.

«Метрополитен» напечатал несколько коротких рассказов Рида. Они не были ничем примечательны, кроме непринужденности повествования. Но, как рассказчик, он полагался больше чем следует на собственную непосредственность и темперамент, в уверенности, что одного этого хватит с избытком, чтобы увлечь читателя. Десяткам людей с менее яркой индивидуальностью беллетристика давалась куда лучше. И дело совсем не в том, что от него требовали в «Метрополитен» работы на самый примитивный читательский уровень — ведь журнал тогда же публиковал Джозефа Конрада¹, Д.-Г. Лоуренса, Джорджа Байллуза. Так что же ему все-таки мешало?

Как постоянный редактор Рида, автор этих строк взял на себя однажды смелость объяснить ему, в чем дело: он совершенно не думает о кульминации рассказа, увлекается заранее подготовленным эффектом, у него не хватает терпения раскрыть материал поглубже, он слишком легко удовлетворяется достигнутым. Одним словом, желание произвести впечатление подавляет все остальное.

(Было ли тогда сказано именно это? Во всяком случае, что-то столь же обидное, потому, что разговор закончился нешуточной ссорой.) Не было недостатка и в других не менее досадных подтверждениях того, что Рид в это время лишь попусту растрачивал себя. Очень забавной была его стычка с полковником Рузвельтом по вопросу о двоежен-

¹ Конрад Джозеф (1857—1924) — под этим псевдонимом стал известен в английской литературе Юзеф Конрад Кожениевский.

стве; сражение произошло на пороге кабинета полковника и было столь громогласным, что даже барышням из отдела регистрации все было слышно.

Полковнику заблагорассудилось в ту пору как-то по-человечески смягчить примитивность собственного взгляда на отношения между мужчиной и женщиной, заявив, что он лично исповедует «мораль зеленщика». В устах такого человека, как Т. Р., это смахивало уже чуть ли не на попытку оправдаться. А однажды ему случилось даже затесаться в группу работников редакции, с жадным интересом рассматривавших большие снимки обнаженных эстрадных див, и принять участие в обсуждении, какой из них следует отдать пальму первенства.

— Не все же таскать на себе тяжести, — изрек по этому поводу полковник, полностью отдававший себе отчет в тяжеловесности собственной манеры письма.

Непосредственным поводом к их стычке с Ридом послужило то, что как раз в это время печать снова обрушилась на Вилью, и полковник, с жаром повторяя худшие из поклепов, заявил:

— Я способен простить самые неистовые страсти, но сознательную продуманную жестокость — никогда. Вилья — убийца и двоеженец!

Рид посмотрел на него и произнес с очаровательной дерзостью:

— Но, полковник, я сам сторонник двоеженства.

Полковник пожал ему руку.

— Я рад убедиться, Джон Рид, — сказал он, — что вы являетесь сторонником чего-то. Молодому человеку это просто необходимо.

Другое происшествие, всплывшее из прошлого, было не столь забавным — оно дорого обошлось Риду и разрушило намечавшиеся было планы поездки его во Францию.

Роберт Дани рассказал, как в немецких траншеях какой-то офицер дал ему и Риду винтовки и предложил

выстрелить по французам, что они и сделали, послав свои пули наугад в густой туман. Это был необдуманный поступок. Однако «Нью-Йорк ивнинг пост», газета, в которой работал Дани, с непростительной наивностью поместила рассказ об этом под хвастливым заголовком: «Наш корреспондент — истребитель французов!» Несмотря на варварскую жестокость первой мировой войны или, может быть, именно по этой причине, некоторые условности все же свято соблюдались; в частности, корреспондент ни в коем случае не должен был участвовать в боевых действиях. Положение осложнилось тем, что молодые люди стреляли по французам, нашим будущим союзникам.

Буря, вызванная этим инцидентом, явилась полной неожиданностью для Рида и Дадна. Они никак не предполагали, что к их легкомысленной проделке отнесутся столь серьезно, и чувствовали себя невинно пострадавшими. Когда Ричард Девис, явившись в редакцию «Метрополитен», швырнул на стол свои желтые замшевые перчатки, как бы желая показать, что он умывает руки и не хочет иметь ничего общего с журналом, корреспондент которого отличился столь позорным образом, это еще можно было оценить как злобный выпад представителя враждебных журналу сил, к тому же явно хватившего через край в своем благородном негодовании. Но и Рузвельт тоже пришел в ярость и отнесся к провинившимся, как к настоящим преступникам. В гневе полковник никогда не щадил человеческого достоинства тех, кто заслужил его немилость. Однако Рид как-никак был все-таки коллегой, и следовало что-то предпринять.

Рузвельт позвонил ночью в Вашингтон своему старому другу, французскому послу Жюссерану: нельзя ли замять это дело, удовлетвоствовавшись извинениями?

Безусловно, нет, отвечал Жюссеран, въезд во Францию Риду впредь навсегда запрещен.

Последовал обмен письмами по этому вопросу, но результат был тот же. День или два спустя Рузвельт потре-

бывал Рида и Данна к себе в кабинет; по суровому выражению его лица они сразу же поняли, что их ожидает, однако вряд ли они могли предвидеть напыщенность отповеди, которую им пришлось выслушать. Полковник взял со стола письмо, под которым только что поставил свою подпись, и, помахав им перед Ридом и Данном, сказал:

— Я написал моему другу, послу Жюссерану, чтобы поблагодарить его за внимание к вашему делу и сообщить, что я полностью разделяю его мнение. Я прочту вам заключительную строчку моего письма: «Если бы я был на месте маршала Жоффра и Рид попался бы мне в руки, я предал бы его военно-полевому суду и приговорил бы к расстрелу».

От такого эффектного заключения на глазах у обоих корреспондентов выступили слезы бессильной ярости.

О командировке Рида во Францию нечего было и думать, но на Балканы его могли послать, да и Россия, как тогда думали, ему тоже была не заказана. На Восточном фронте война велась совсем не так, как на Западном, и это, казалось, открывало для журнала большие возможности. Поэтому «Метрополитен», не мешкая, отрядил своего корреспондента в Сербию. Вместе с ним ехал талантливый художник Бордмен Робинсон, карикатурист из «Нью-Йорк трибюн».

Заключения корреспондента и художника

И вот они, рассказывает Рид, на грязной улице какого-то сербского селеньица. Ждут, когда заложат повозки, на которых они должны тронуться в путь. Лошади отбрасывают резкие тени на землю, бречит ржавыми пряжками сбруя.

— Вот так-то, дружище...— сказал Рид.

— За тем и приехали,— отозвался Робинсон, не проявляя ни малейшего желания вступать в разговор.

Не столь уж важно, куда именно держат они путь в данный момент, — всюду было то же, и все здесь им в дыбину, все в повинку. Наконец они усаживаются в повозки, возницы взмахнули кнутами, и они покатали, сопровождаемые напутствиями: с богом!.. в добрый час!.. счастливо!

Ярко светила луна. Когда выехали за околицу, за ними замаячили молчаливые фигуры двух вооруженных кавалеристов, которые отстали после того, как они миновали опасную зону. Потом они то тряслись в повозках с горы на гору, то вязли в грязи, то дорога оказывалась затоплена речным разливом, и лошади бились в воде, доходившей до ступицы колес. Возницы больше уже не щелкали кнутами — их могли бы услышать из австрийских окопов.

Луна зашла, и конный конвой исчез столь же загадочно, как и возник. Повозки по-прежнему шли с горы на гору. Бескрайнее звездное небо чуть засветлело, дело было к рассвету, и на востоке, над отрогами Черной горы, где сербы остановили вторжение австрийцев, занималась белесая, серебристая заря.

Уже вставало из-за гор жаркое, слепящее солнце, когда они въехали на улицы Шабетца. Потянулись бесконечные ряды разрушенных домов и пепелища. Город еще спал. Когда-то цветущий и красивый, теперь он насчитывал от силы сотня две жителей, кое-как ютящихся в развалинах домов. Наши корреспонденты бродили под палящим солнцем по пустынным улицам, миновали городскую площадь, где в прежние времена был огромный, на всю северо-западную Сербию, базар, куда съезжались за сотни километров с плодороднейших горных низин и тучных нагорных пастбищ крестьяне в живописных нарядах.

День был базарный. Несколько унылых женщин в тряпье стояли, словно на похоронах, возле корзин с какими-то худосочного вида овощами. На ступеньках у подъезда сгоревшей префектуры сидел молодой парень, глаза которому выкололи штыками венгры. Был он высок и плечист, с ру-

мянцем во всю щеку, в летней крестьянской одежде из белоснежного домотканого полотна; шляпа украшена желтыми одуванчиками. Он выводил на сербской скрипке с грифом в форме конской головы заунывную мелодию и пел:

— Разнесчастный я, и не видать мне уже никогда ни солища, ни зеленых полей, ни слив в цвету. Да благословит господь подавших мне грош. Боже, благослови каждого, кто не преминет подать...

На протяжении многих недель Рид и Робинсон видели вокруг себя страшные следы войны. Жизнь, которую они наблюдали, была ошеломляюще непривычной, но все, казалось, было окрашено надеждой, решимостью, верой народа, которого никакая трагедия не может сломить. Сербь!.. Каждый из них был прирожденным солдатом. И в самом прямом, а не переносном смысле. Мать, прижимающая младенца к груди, с гордостью говорила:

— Расти большой, маленький мститель за Косово! — (После битвы под Косовом Сербия подпала в XIV веке под турецкое иго.) А когда малыш проказничал, одергивала: — Нет, не освободить тебе Македонию! — Так повелось с незапамятных времен.

Молодые люди съездили в Шера Кулу и увидели там знаменитый курган из черепов. Это была целая пирамида, сложенная из черепов сербских воинов, погибших на поле боя столетие назад. А рядом с этим памятником побоища находился тифозный госпиталь, который Рид и Робинсон собирались осмотреть.

Воздух вокруг был отравлен испарениями потных тел, миазмами заживо разлагающейся плоти. Они вошли в барак, в тусклом свете лампы увидели поставленные вплиты койки, покрытые грязными одеялами. На каждой паре коек помещалось пять-шесть больных; одни сидели, равнодушно жуя что-то, другие лежали неподвижно, словно мертвые, третьи стонали или вскрикивали в горячечном бреде. Рид и Робинсон переходили из одной зловонной палаты в другую, вдыхая запах болезни и смерти, их

тошнило от смрада, а при виде полной беспомощности всех этих рослых и сильных парней у них сжималось сердце.

После посещения палат они обедали с лейтенантом, начальником госпиталя, и молодыми врачами и студентами-медиками, составлявшими его персонал. Они пили отменное красное вино местного изготовления, и за горячими спорами о войне на время и думать забыли о несчастных, умирающих за стеной. Разгоряченный вином лейтенант хвастливо рассказывал, как сербы разгромили австрийскую армию.

— Что они там канительятся, эти французы и англичане? — орал он в экстазе. — Взяли бы да и расколошматили немцев! Им бы туда несколько сербов — те бы показали, как надо воевать. Мы, сербы, знаем, что главное — готовность умереть... тогда война не затянется!..

Потом Рид и Робинсон очутились в Салониках, с тем чтобы оттуда двинуться дальше. Настроение у обоих было приподнятое. Я получил письмо от Рида, в котором говорилось:

«В этом интереснейшем и живописном краю, где Восток сходится с Западом, мы живем полной жизнью, и с нами случаются необыкновенные приключения. В Салониках нас принимают по-царски. Все здесь зовут нас просто по имени — турки, арабы и т. д. Чуть ли не каждый грек, которого нам довелось здесь видеть, побывал в Соединенных Штатах, и один из них повел нас обедать в ресторан, который принадлежит его отцу. Через переводчика из консульства мы купили за три фунта стерлингов рекомендательные письма к премьер-министру и к царю».

После инструкций насчет высылки денег, в которых ничего нельзя было понять, настолько они казались невероятными, Рид продолжал:

«Прошлой ночью мы шатались по городу без дела и задержались у жалкой пивнушки полюбоваться, как компания пьяных греков поет и пляшет вокруг стола. Они заметили нас, мы поздоровались. Они высыпали на улицу и

затащили нас к себе. По-английски они не понимали совершенно, но знали несколько слов по-испански, по-французски, по-итальянски. Мы спели «Солдаты Джона Брауна» — бурные аплодисменты. При общем ликовании сплясали им бостон. Успех имели умопомрачительный. Ну, и повеселились же мы там! Их было семеро, и все, как один, плотники, и вся эта фантасмагория смахивала на сказку из «Тысячи и одной ночи» под заголовком: «Семь плотников из Салоник».

В городе карантин. К нашим услугам холера, брюшной тиф, скарлатина, возвратный и сыпной тиф, оспа и бубон! Но страна поразительная. Изумительно интересная. Материал будет лучше не надо».

Следующее письмо я получил уже из Бухареста:

«Вот Вам наконец первая статья из Сербии, стоившая мне невероятных усилий и мук; я переделывал ее шесть раз. Робинсон посылает с дипломатической почтой свои изумительные зарисовки. Это лучшее из всего, что он до сих пор создал, — рисунки прекрасно изображают Сербию. Боюсь, что моя статья отнюдь не блестяща, но говорить об этом сейчас бессмысленно. По-настоящему я могу писать только дома. Однако статья дает все же довольно точное представление о стране и о вещах, о которых у нас ничего не пишут».

Жизнь здесь дороже, чем в любом другом месте Европы. А мне, как на грех, необходимо сейчас хорошее питание и комната, где я мог бы отдыхать.

Врач советует мне сделать рентген — он полагает, что у меня камни в почках.

Бухарест раз в десять шикарней, нарядней и веселее Парижа и Вены. Женщины, которых видишь на улицах, словно сошли с рекламы парижских мод. Жизнь в городе начинается по-настоящему в час ночи и не утихает всю ночь напролет. Будь я покрепче здоровьем... да, боюсь, что тогда я совсем бы не так утруждал себя работой, как сейчас.

Пожалуйста, выполните указания Робинсона относительно его рисунков как можно точнее и, очень Вас прошу, пригласите специалиста потолковей, чтобы он проследил за изготовлением репродукций. Если нужно, лучше сократите текст, но поместите все зарисовки. Об одном лишь молю Вас буквально на коленях: не давайте Г. или Д. трогать статью и, пожалуйста, попросите Д. сохранить в ней мою пунктуацию».

И статья и рисунки вполне заслуживали того внимания, на которое рассчитывал в своем письме Рид. Статья, «отнюдь не блестящая», по выражению Рида, на самом деле была поистине блестящей, зарисовки же Робинсона превзошли все ожидания — они были просто великолепны: глубокие по содержанию, выполненные в необычайно острой манере, они произвели ошеломляющее впечатление на читателей, привыкших к стандартным поделкам, не сходящим со страниц иллюстрированных журналов.

За время изнурительной семимесячной поездки Рид и Робинсон прислали столько материала, что трудно себе представить, как они могли работать так много и с таким мастерством в том подавленном состоянии, в какое их непрерывно повергали обстоятельства; казалось бы, даже при величайшей преданности делу невозможно преодолеть все мытарства пути, вежливую уклончивость чиновников и упорство военных властей, вечно отказывавших корреспондентам в проезде именно туда, куда им хотелось или необходимо было попасть.

И в постскриптуме к одному из своих писем Рид просит: «Войдите же в бедственное положение двух несчастных военных корреспондентов, которым все здесь перечат». И дальше: «У Робинсона хандра, он валяется на постели с книжкой Г. Уэллса «Мистер Киппс» и отказывается ставить свою подпись под этим письмом. Завтра он напишет вам самолично, в своем неподражаемом обличительном стиле». Письмо от Робинсона начиналось так: «Почему, во имя здравого смысла, суждено мне гнить в

этой дыре?» (Деньги не были доставлены им своевременно.) И заключалось словами: «С глубоким отвращением...» Нам в Нью-Йорке порой представлялось, что в этот балканский лабиринт неизвестно даже как войти.

Писатель и художник двигались к цели медленно, зигзагами. Воспользовавшись неразберихой во время большого отступления русских войск в Карпатах, они пробрались во Львов и там разыскали князя Трубецкого, — имя хорошо известное в Америке, — который в трудную минуту мог оказаться им полезным. Они надеялись побывать в Перемышле.

Название этой могучей австрийской твердыни облетело весь мир в те дни, когда главные русские силы подступили к ее стенам и после упорной осады взяли; город стал главным опорным пунктом русских войск, фронт которых здесь стал круговой обороной. (Перемышль не сходил в те дни со страниц американской печати, которую занимало, впрочем, не столько его стратегическое значение, сколько невозможность для американцев выговорить его название; в конце концов, к великому облегчению читателей, газеты начали помещать это слово, сопровождая его в скобках транскрипцией, которая звучала как «пжёмисл».)

Высокий, красивый молодой человек с ослепительной улыбкой и пышными усами вышел им навстречу и протянул руку:

— Я Трубецкой, — сказал он по-английски. — Как же вы ухитрились пробраться сюда? Для корреспондентов попасть во Львов дело просто немыслимое.

И тем не менее они все-таки здесь, заверили его Рид и Робинсон.

— Уж эти американцы! — вздохнул Трубецкой и прикусил губу, чтобы удержать улыбку. — Уж эти американцы! Стоит ли устанавливать порядки, если могут появиться американцы? Не понимаю, откуда вам стало известно, что я здесь, и почему вы явились именно ко мне.

Они знавали в Нью-Йорке скульптора Трубецкого.

— Ах да,— сказал он.— Космополитическая личность. Он и по-русски, кажется, не говорит.

— Мы хотим попасть на фронт.— Он покачал головой.— Мы полагали, что уж хоть в Перемышле-то побывать, по крайней мере, генерал-губернатор все-таки разрешит...

— Так бы оно, безусловно, и было, если бы не скорбное сообщение, полученное сегодня утром. В восемь часов австрийцы вступили в Перемышль.

— Вы думаете, они могут дойти до Львова?

— Вполне возможно,— ответил он.

Князь Трубецкой обещал подумать, чем им помочь. Когда они вышли на улицу, из-за угла появилась колонна солдат гигантского роста, они шли по четыре в ряд, с оловянными котелками, обедать. Поравнявшись с губернаторским дворцом, первая шеренга грянула песню, которую громовыми голосами подхватили остальные. И вот солдатская песня льется уже по всем улицам. Море голов в солдатских шапках затопило улицу из конца в конец. Огромные хоры сошлись на перекрестке, как встречные морские течения,— только гулкое эхо прокатилось между высокими зданиями, и весь город загудел от мощи этого пения. Вот она, неисчерпаемая русская сила, подумалось Риду, кровь России, которую проливают так бездумно, бессмысленно, щедро, черпая ее без конца вот в этом неиссякаемом людском источнике. Как не вязался с представлением о разбитой армии, стягивающей остатки сил, вид этих отходящих войск, даже отступление которых предвещает победителям неминуемую гибель.

В результате хлопот Трубецкого корреспондентов пропустили в Холм, до которого было около трехсот миль по железной дороге; их заверили, что командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов сделает для них все возможное.

Поездка была, что ни говори, интересной. Поезд еле тащился по бескрайней равнине, мимо необозримых пше-

пичных полей, по краю которых пламенели красные маки, посреди этого желтого моря были разбросаны, словно утесы, рощицы и, словно архипелаги, приветливые польские деревеньки с соломенными крышами. Полускрытые в зарослях цветущей белой акации, возникали на пути деревянные станции, где гостеприимно пыхтел самовар и неторопливые, с суровыми лицами крестьяне смотрели, остановившись, на поезд, — мужики в длинных грубошерстных свитках, повязанные платками бабы в ярких, веселой расцветки, юбках. А позже, когда день разгулялся, солнце, уже клонившееся к закату, затопило равнину сильным, ярким светом, и все красные, зеленые, желтые краски вспыхнули и засверкали; поезд, свистя, понесся сосняком, стоящим на песках, и прямо перед ними встала сплошь покрытая садами гора, на которой расположился Холм, завиднелись, словно золотые пузыри, вздувающиеся над зеленым лиственным массивом купола церквей.

Совершенно произвольно в воображении заглядевшегося на этот ландшафт Рида возникали один за другим невесты откуда берущиеся образы, мысли. И пока он глядит в окно вагона и весь во власти того, что проносится сейчас перед его глазами, думается ему о том, что вот кто-то другой, не он, но такой же, как он, и того же возраста, сидит в это же самое время, может быть, дома и читает детективный роман или играет в карты. Жаль, что не всегда удается вот так помечтать.

В письме к автору этих строк Рид рассказывает, что произошло в этом городе, который казался им издали столь заманчивым:

«Прямо с вокзала мы отправились в главный штаб, но уже никого там не застали. Пошли устраиваться с жильем и без особого труда сняли номер в грязной еврейской гостинице безо всяких удобств. На следующее утро, в девять часов, к нам явился офицер, говоривший по-французски, и попросил следовать за ним в штаб. Там нас встретил офицер, говоривший по-английски, которому мы

предъявили свои удостоверения и паспорта и попросили разрешить нам проехать на фронт. Он принял нас очень сердечно. Да, разумеется, мы можем получить разрешение. Но он должен сначала запросить по телефону великого князя. Не будем ли мы любезны вернуться в гостиницу и подождать там? Ждать придется не больше трех часов. Мы вернулись в гостиницу и перекусили у себя в номере — кормят тут ужасно. Часов около двух к нам явился офицер и попросил нас отдать ему все наши документы, что мы и сделали. Он сказал, что никакого ответа от великого князя пока не получено и ему придется просить нас дать слово никуда не отлучаться из гостиницы.

— Это не значит, что вы арестованы или задержаны, — сказал он. — Просто мера предосторожности, поскольку вы находитесь в расположении штаба.

Мы дали честное слово и тут же заметили, что в коридоре и на лестнице поставлены часовые — казаки.

— Ответ от великого князя будет получен, по нашим расчетам, в течение часа, — сказал офицер. — Самое позднее, завтра утром.

Два дня спустя мы направили протест генералу, которого ставили в известность, что мы здесь по рекомендации генерал-губернатора Галиции и не имеем представления, по какой причине мы задержаны, а также жаловались, что мы дали честное слово не выходить из гостиницы, а к нам приставили стражу и казаки заходят к нам в комнату в любое время дня и ночи. Генерал ответил, что казаков уберут, и мы заметили, что охрану усилили.

На следующий день снова появился офицер.

— Ответ от великого князя получен, — сказал он. — Вас велено взять под стражу.

Вот и все.

Казак был приставлен к нашей двери, иногда их дежурило здесь двое; по одному было поставлено в вестибюле, у входа в гостиницу и во дворе. Выходить из комнаты нам разрешалось только в уборную, в сопровожде-

нии казака. Нельзя было переговариваться с соседями, что было нашим единственным развлечением. Комната наша была под самой крышей, и в жаркие дни было просто невыносимо. Уборная грязная, и всю вонь из нее несло прямо к нам в комнату. Еду нам приносили из ресторана, такую, что от нее с души воротило; диета была нарушена, и пища не шла мне впрок.

Мы пробыли в этой комнате четырнадцать дней и четырнадцать ночей, изнывая от безделья; читать было нечего. Ужасно».

В самый разгар всех этих перипетий Рида терзало и нечто иное, не имевшее ничего общего с тем, что творилось здесь.

Во время пребывания в Нью-Йорке, перед самым отъездом, любовь его к Мейбл Додж вспыхнула с новой силой. Скорее всего, он вообще никогда не переставал любить ее. Во всяком случае, он мечтал о том, как они заживут вместе, не допуская и мысли, что она может воспротивиться его замыслам. Это было глубочайшим заблуждением. Мейбл полюбила другого — скульптора и художника Мориса Стерна, за которого она впоследствии вышла замуж. Когда не только другие, но и сама Мейбл сообщила об этом Джону, он отказался в это поверить. Мейбл не любит его больше? Почему? Нет, этого не может быть.

— Такова жизнь, — отвечала она спокойно.

Все еще не веря, он принес ей на прощание перстень из двух соединенных в одно золотых колец. Но вот что написала Мейбл в своем дневнике после его отъезда:

«Как только он ушел после долгого и нежного прощания и таких страстных заверений в любви, каких я не слышала от него в те времена, когда он был мне действительно дорог, я сейчас же забыла о нем раз и навсегда».

Что же касается Рида, то дальность расстояния и вынужденное безделье в Холме, где ему не оставалось ничего иного, как предаваться мечтам и фантазиям, меша-

ли ему взглянуть правде в глаза. И пока его товарищ, вооружившись словарем, неутомимо толковывал казакам, стоявшим у их двери, что у него на родине остались дети и что в Америке есть дома в пятьдесят этажей, Рид, закрыв глаза и отрешившись от жары и всех невзгод, грезил о счастье, которое ждет его на далеких холмах Рамапо. Но потом он вдруг все понял, хотя и слишком поздно.

В конце одного из его писем была краткая приписка: «Мейбл порвала со мной окончательно, не сообщайте ей больше, как у меня обстоят дела, и вообще не напоминайте обо мне».

Заточение в убогой комнатухе гостяницы в Холме закончилось так же внезапно, как и началось. Рид писал мне:

«Мы потребовали, чтобы была дана телеграмма нашему послу, но прошло пять дней — никакого ответа. Нам сказали, что позволят обратиться к нему по телеграфу вторично, но текст отобрали, а телеграмму так и не отправили. Мы хотели телеграфировать вам, но они взяли и этот текст, а отправить отказались».

Наконец получаем ответ от американского посла, к которому я обратился с запросом, почему мы арестованы. Он сообщил: «Вас арестовали потому, что вы проникли в расположение войск, не имея на то разрешения соответствующих инстанций. Министерство иностранных дел поставило наше посольство в известность о том, что вас отправляют в Петроград». Прошло еще два дня — полное затишье. Мы уже совсем было начали сходить с ума, как вдруг являются два офицера, полковник и поручик — тот самый, который говорит по-английски. Они объявили:

— Господа, вы можете отправляться на все четыре стороны.

— Можно ехать в Петроград?

— Безусловно.

— Как нам получить разрешение на поездку на фронт?

— Для этого нужно подать по всей форме соответствующее прошение через вашего посла. Тогда вам, вне всякого сомнения, разрешат.

Казалось бы, Риду с Робинсоном наконец улыбнулась удача. Ничуть не бывало! В Петрограде двум нарушителям спокойствия уже была подготовлена соответствующая встреча. Здесь их ждало еще одно пугало, еще одно воплощение власти, представшее перед ними в образе американского посла. Рид писал:

«Приехали сюда в полной уверенности, что мы сейчас же получим возможность двинуться дальше, я прямо с вокзала кинулся к послу и ворвался к нему в «Асторию», когда он завтракал. Он принял меня холодно, сухо и недружелюбно: «Мой совет вам, мистер Рид: сию же минуту уезжайте из России». Я остолебенел от изумления. «Уехать из России?! Но нам необходимо попасть на фронт! Почему вы советуете мне покинуть Россию?» — «Я основываюсь на сообщении, полученном нами из министерства иностранных дел. Вас чуть не казнили, мистер Рид. Если бы мы не смогли подтвердить, кто вы такой, вас предали бы военно-полевому суду и расстреляли. А теперь, когда вас прислали сюда под конвоем...» — «Но нас же отпустили в Холме на все четыре стороны! — завопил я. — Мы приехали без всякого конвоя!» — «Я получил ноту министерства иностранных дел, в которой сказано, что вас доставят сюда под конвоем, и, насколько мне известно, вас собираются выслать через Стокгольм».

Стокгольм! Не иначе как решение великого князя, догадались корреспонденты. А затем не замедлило поступить новое неприятное известие: им надлежит отбыть из России через Сибирь и Владивосток! Всю канитель надо было начинать сначала.

Как английский подданный, Робинсон обратился за поддержкой в свое посольство, и англичане охотно приняли на себя роль заступников, заодно уладив и дело Рида.

— А почему бы вам, ребята, не задержаться в России? — с улыбкой сказал секретарь посольства. — Съездили бы на фронт...

Но от своего посла Рид не мог добиться ничего путного, оба только и знали, что предъявляли друг другу встречные обвинения. Американский посол был наслышан об инциденте в немецких окопах и додумал этим Рида, без конца объясняя, какая дурная слава будет теперь сопутствовать ему везде, где бы он ни очутился. А тот отвечал, что у посла пропала бы охота так важничать, представляй он себе свою политическую судьбу в недалеком будущем столь же ясно, как ее представляет себе Рид. И так без конца.

Хотя за Ридом и Робинсоном всюду следовали по пятам агенты тайной полиции, им все же удалось осмотреть Петроград, съездить в Москву; они даже попытались сбежать в Румынию, но их поймали и вернули обратно, отобрав у них все личные бумаги.

«Они забрали почти все мои записи,— пишет Рид.— Но мне ничего не стоит все восстановить по памяти. Это проклятое дурачье отобрало также и все зарисовки Робинсона. Но он может сделать другие».

На этот раз великий князь дал им двадцать четыре часа на сборы, после чего они должны были выехать во Владивосток или предстать перед судом. Но до суда дело не дошло.

Английский посол сэр Джон Бьюкенен обрушился на русское правительство, «как тонна кирпичей», и корреспонденты вмиг очутились на свободе. Рид показал своему закоренелому врагу — великому князю — нос, запечатлев обгоревшей спичкой его профиль, который, как он надеялся, «Метрополитен» не преминет опубликовать, и они с Робинсоном тронулись в путь.

Теперь все их счеты с войной были покончены. Они задержались лишь в Бухаресте, чтобы привести в порядок

статьи и рисунки. Поездочка им, говоря словами Рида, «выдалась хоть куда». Рид писал:

«Дорогой Хови!

Врачи повергли меня в полное уныние, уверив, что если я и впредь буду вести столь беспорядочную жизнь, то протяну недолго. Они запретили мне поездку в Россию и велели возвращаться домой, отказаться от своей беспокойной профессии и поселиться где-нибудь в тиши, на покое, предварительно сделав операцию. Однако я все-таки взял да поехал в Россию, и вся моя диета пошла насмарку: я ел, что хотел, спал на деревянных скамейках, да еще угодил в тюрьму. И вот вернулся, и врачи признают, что я совершенно здоров. Мы теперь что ни день отправляемся в бассейн и резвимся под здешним знойным солнцем. Глупости?.. Но зато мы чувствуем себя по-царски, то есть так, как цари, которые живали в довоенные времена. Теперь нам придется пересмотреть подобные глупые метафоры заново.

Между нами говоря, жизнь в первоклассных гостиницах совершенно невыносима. Особенно же ужасно то, что, по слухам, которые доходят до нас, Америка готовится вступить в войну. Я бы, кажется, просто взбесился, если бы мы впутались в эту жуткую кутерьму. Каждый раз, встречая какого-нибудь солдата, я испытываю все большую ненависть и отвращение к войне.

Рид».

Но в тех случаях, когда симпатии Рида были на стороне воюющих и он считал, что их дело правое, как это было, например, в Мексике, война не казалась ему ненавистой и отвратительной. Он принимал ее и становился ее летописцем.

А мертвый механизм этой войны подавлял Рида; армии представлялись ему машинами, перемалывающими здоровых людей в слепых калек, сваливающими их трупы

в кучу гнить на солнышке. Это представление о войне тогда уже проникало понемногу в сознание всего человечества... не настолько быстро и глубоко, однако, чтобы предотвратить новую войну.

Перед отъездом в Америку Рид еще заглянул в Константинополь, куда ему пришлось отправиться одному, — Робинсону, как британскому подданному, въезд в Турцию был запрещен. Вдвоем они еще проехали по Болгарии, только что вступившей в войну.

Результатом этой поездки были несколько превосходных очерков и множество изумительных зарисовок — места, где они побывали, люди, которых встречали. На этот раз художник преуспел, пожалуй, больше писателя. Робинсон уверенно воссоздавал то, что видел, работал легко, весь отдаваясь радости творчества и тщательнейшим образом отделывая рисунок. Внутреннее же состояние Рида слишком усложнялось запутанным положением дел в личной жизни, что не давало ему всегда быть на уровне своего дарования.

«Почти тридцать»

Большая сложность характера Рида зачастую скрадывалась его веселым нравом, забубенностью. Однако на его развитии сказался ряд влияний, значение которых трудно переоценить: понятия и манеры, тщательно привитые ему матерью, женщиной утонченной и самых консервативных взглядов; пример рыцарского подвижничества отца, сотворившего себе кумир из Тэдди Рузвельта и запустившего собственные дела; Гарвард, где он подвизался в роли сына богатых родителей; полная веселой безответственности жизнь богемы, в которую он окунулся с головой в Нью-Йорке; новый мир чувств, пробужденных в нем Мейбл Додж...

Но все это нам было уже знакомо. Теперь же он вернулся домой совершенно другим человеком; во всяком случае, этот новый человек все больше распрямляется в

пем. Несогласие, разлад с окружающей его жизнью завладевают им всецело, явно становятся все непримиримей, и теперь он только этим и живет.

А Рузвельт со страниц «Метрополитен» громогласно зывал: «Готовьтесь! Нация должна мобилизовать все свои силы, и притом немедленно — пока еще не поздно!» На молодежь его призывы действовали зажигательно. Его негодующие выпады против благоразумной осторожности президента Вильсона находили широкий отклик. Для прохождения вневойсковой подготовки офицеров был основан Платтсбургский лагерь — детище генерала Леонарда Вуда, бывшего командира Рузвельта и его ближайшего друга. Был устроен даже «парад готовности», который прошел под аплодисменты «жаждущих крови светских дам», как писал Рид, несколько не скрывавший своего возмущения.

Статья Рида «Республику берут за глотку» не могла быть помещена в «Метрополитен», так как она была не только по полковнику, с его откровенными призывами к войне, но и по самому журналу, зато в «Мэссиз» Рида всегда готовы были печатать. Оставалась и еще одна возможность — публичные лекции, читать которые его охотно приглашали, хотя, нужно признать, получалось это у него не слишком удачно. Перед большой аудиторией он всегда терялся, от смущения становился в позу и утрачивал всякое чувство меры, а если ему не удавалось завладеть вниманием слушателей, он осыпал их насмешками. Но ничто не могло помешать ему высказать то, что накипело у него на душе. Что знают американцы об ужасах, которые ему довелось увидеть? Понимают ли они, какие черные силы руководят приготовлениями к войне? Было ясно, что смелые речи Рида и его дерзкие выходки не могут долго сходиться ему с рук.

Казалось бы, после тяжких трудов, требовавших огромного физического напряжения, Рид мог позволить себе пожить на покое и заняться поэзией — ведь он все время

мечтал вернуться к ней. Но он лишь составил из своих старых стихов, написанных еще три года назад, сборник под общим названием «Тамерлан» и надолго распростился с поэзией. Не мог же он сидеть сложа руки, когда противоборствующие силы пришли в столкновение и страсти разгорались все жарче, когда дебаты о том, вступать ли Америке в войну, захватили всю нацию. И он с головой ушел в эту борьбу.

В «Мэссиз» и в газете социалистов «Колл» можно было высказываться без обиняков. В статье «Список павших смертью храбрых» Рид пишет: «Не пройдет и нескольких недель, как начнут поступать списки убитых и на страницах иллюстрированных воскресных выпусков появятся сотни фотографий красивых молодых людей под заголовком: «Павшие смертью храбрых». Как вы сами понимаете, это будут фотографии молодых офицеров, а не безвестных солдат, которым несть числа и до чьих родных с их плебейской скорбью никому нет дела. Наши улицы мало-помалу заполнятся худыми, изможденными людьми в военной форме, опирающимися на сестер милосердия, человеческими обрубками без рук, без ног, неловко ковыляющими на костылях. И тогда в Нью-Йорке разучатся смеяться. Европе уже давно не до смеха».

В статье «Милитаризм в действии» Рид описывает, как тайные агенты сорвали митинг против всеобщей мобилизации, который готовила Эмма Голдмен. Написав статью «Готовьте смиренную рубашку тем, кого провожаете в солдаты», написанную под впечатлением прочитанного им медицинского отчета об участвовавших в армии случаях психических заболеваний, Рид вступил в прямой конфликт с законом, и номер «Мэссиз» с этой статьей был конфискован.

Рид был непоколебим в своей вере, но ему тяжело было огорчать родных, особенно мать. Брат Генри писал ему, что решил пойти в армию добровольцем. А в письме матери были такие слова: «Я просто потрясена, как это ты,

сын своего отца, мог заявить, что тебе нет дела до отчизны и ее знамени». Мать чувствовала себя «глубоко опозоренной». И даже умудренный жизнью Стеффенс, философ, который, стоя над схваткой, рассматривал все происходящее в мире с чисто умозрительных позиций, обратился к Риду с непрошеными увещаниями.

Да, Рид-старший не ошибался, провидя, как опасна окажется для его первенца убежденность в правоте своих идей.

Стеффенс вещал в письме к Риду со своей всегдашней безапелляционностью: «В вопросе о войне ты зарвался и лезешь на стену. Во-первых, война была неизбежна; во-вторых, вполне понятны и естественны и те явления, которые неизбежно сопутствуют войне; в-третьих, общественное мнение сейчас поражено тяжелым недугом.

В последнем я убедился на собственном опыте. Я причинял боль. Я старался, выступая, ни на минуту не упустить из виду, что слушатели мои не в себе, и говорил со всей бережностью, на какую только способен. Но то и дело замечал, что я говорю, а мои слова действуют, как нож хирурга, которым попали в самый очаг болезни, и мне становилось грустно. Я должен выждать. Ты — тоже. Я знаю, это нелегко, но убедить людей невозможно. Мысли, которые насаждают, не дают всходов. Реальны только чувства. И по-моему, пытаться сильно воздействовать на людей в нынешнем положении недемократично. Пиши, но пречь написанное в стол».

Рид, как и следовало полагать, не внял этим увещаниям.

Президент Вильсон в своем обращении к конгрессу по случаю вступления Америки в войну заявил: «Настал день, когда Америке представляется возможность пролить кровь за те принципы, которые дали жизнь нации и привели ее к благоденствию... Да поможет ей бог,— так кончалось его послание,— иного выбора у нее нет».

В этот же вечер Рид присутствовал на митинге в Народном собрании, на котором председательствовал Дэвид Старр Джордан. Здесь собрались тысячи пацифистски настроенных людей. И вот им объявили, что президент потребовал вступления Америки в войну.

До этого Рид молчал. Но после сообщения о войне раздалась возгласы:

— Джон Рид! Слово Джону Риду! — Крики становились все настойчивее.

Председатель потребовал тишины — собрание не может тратить времени на то, чтобы слушать Рида. Но Рид был уже на ногах.

При виде этого широкоплечего человека с воинственно вскинутой головой, горящими глазами и шапкой буйных волос аудитория разразилась аплодисментами, сквозь которые пробивались враждебные выкрики. Рид поднял руку и крикнул:

— Это не моя война, и я не желаю участвовать в ней! Это не моя война, я не приемлю ее!

Рид явился в Вашингтон на обсуждение вопроса о введении всеобщей воинской повинности. Встретили его там не очень любезно. Собравшиеся конгрессмены решили разделаться с ним по-своему.

— Я не из тех, кто согласен на любые условия, лишь бы сохранить мир, — говорил Рид в своем выступлении, — я не пацифист в полном смысле слова, но на эту войну я не пойду. Можете, если хотите, расстрелять меня, но попробуйте только призвать меня в армию...

Один из членов конгресса перебил его:

— Я думаю, нет больше смысла выслушивать этого джентльмена.

Другой поддержал его:

— Такие молодчики найдутся в любой стране, и можно лишь радоваться тому, что в Америке они в меньшинстве.

— Вполне поцятно и естественно, — сказал бы на это Стеффенс.

Вскоре после возвращения из Европы Рид съездил в Портленд навестить мать. Деньги он посылал ей регулярно, оставляя себе лишь необходимый минимум.

Родной город показался ему совершенно чужим. Знакомый с детства пейзаж — холмы, полого спускающиеся к реке, по которой взад и вперед снуют пароходы, сжатые вершины гор, вырисовывающиеся вдалеке, — не будил в нем волнующих воспоминаний. На каждом шагу к нему приставали с избитыми разглагольствованиями о политике, которые теперь уже потеряли всякий смысл; он упорно отмалчивался. Поездка оказалась неудачной; как писал он одному из друзей, она была «настолько ужасной, что и не расскажешь. Мама очень добра и нежна, но, по-моему, совершенно беспомощна. У меня такое ощущение, что здесь не с кем перемолвиться словом!»

Впрочем, одна живая душа все-таки нашлась: Луиза Брайант, бывшая школьная учительница, корреспондентка местной газеты, а теперь — жена зубного врача, с которым она не была счастлива. Она читала о Риде и восхищалась им. И вот они встретились и полюбили друг друга. Когда Рид вернулся в Нью-Йорк, она последовала за ним.

Луиза была очень хороша собой — молодая, изящная, с пышными волнистыми волосами и выразительными глазами на живом и умном лице. Рид был рад представить ее своим друзьям: он водил ее по заветным уголкам старого Гринвич-вилледжа, любовался ею, когда она блистала на балу, устроенном в «Мэссиз», принимал комплименты как счастливый обладатель такого бесценного сокровища и упивался славой ее избавителя. Неизвестно, понимал ли он это уже тогда, что связь между ними окажется прочной.

Сгорающая от любопытства Мейбл отправилась к нему на квартиру на Вашингтон-сквер, дабы увидеть все собственными глазами. Дверь на ее стук открыла высокая молодая женщина с зажженной свечой в руке.

— Дома Джек Рид?

Неожиданно появился и он сам. «Волосы у него были всклокочены, глаза смотрели страдальчески,— шипит Мейбл Додж,— и только лоб прекрасен, как и прежде».

— Это Луиза Брайант,— сказал он мрачно.

...Еще раз поговорить им с Мейбл довелось лишь однажды, они столкнулись на улице, неподалеку от редакции «Метрополитен», день был дождливый. «На улице было грязно, сыро, уличные фонари загорелись рано, и свет их отражался на мокром тротуаре, Рид смотрел на меня измученными, злыми глазами. Он сказал, что переписал по-новому конец «Пигмалиона». Это его любовное стихотворение начиналось словами:

Прекрасную мрамора глыбу исторг у земли из груди он,
Искусный резец оживляет пленительный образ
Единственной в мире, в мечтах его долго витавшей.
Тонка и изящна, бела и полна своеволия,
Сияла на солнце, и тень ей была что истома.
Поутру бледна, загоралась в час предвечерний.

В первом варианте стихотворение кончалось так:

Все каменно в ней. Безразлична. Не внемлет.

Теперь же конец был другим:

И от поцелуев и ласк его вздрогнула вдруг Галатей.

Теперь ни о каком отдыхе уже нечего было и думать. Деньги были нужны до зарезу, и приходилось брать работу, за которую хорошо платили. Он напечатал имевшее шумный успех интервью с государственным секретарем Вильямом Дженнингсом Брайаном.

Между этим самодовольным, напыщенным и невозмутимым политиком и дерзким молодым журналистом лежала такая пропасть, что написанная Ридом статья, в которой не было ни тени непочтительности или насмешки и которая в то же время удовлетворяла не только Брайана, но и его самого, казалась настоящим чудом искусства. Рид встретился с Генри Фордом и написал о нем, что ока-

залось куда более легкой задачей, потому что некоторые затей Форда, вроде «корабля мира», определенно импортировали Риду, да и независимость, завоеванная им в финансовом мире, с которым у него были вечные распри, характеризовала Форда как личность незаурядную. Затем последовала поездка в Чикаго на Национальный съезд прогрессистов, куда Рид был послан для репортажа, Арт Янг — чтобы делать зарисовки, и автор этих строк — в качестве той мухи из басни Эзопа, которая «пахала» вместе с волом. Мы сняли один номер на троих, и тут выяснилось, что Рид спит в длинной, до пят, ночной рубашке, похожей на хитоны древних пророков, и что он привез с собой кучу галстуков самых пестрых расцветок. Уж не затем ли понадобился ему весь этот реквизит, чтобы подчеркнуть, как он не похож на тех маменькиных сынков от политики, которыми он приехал сюда полюбоваться?

Прогрессисты! Как далеки они от живой жизни, думал он с презрением. Еще бы. Ведь старая гвардия, бывалые политиканы, заправляющие государственной машиной, пообщипали этих птенчиков так, что ни одного перышка не осталось — не полетаешь.

Рид назвал свою статью «Национальный цирк», эта статья — один из лучших образцов его юмора. Зарисовки Янга были полны ядовитой насмешки, по этой части никто не мог с ним тягаться. Статья и рисунки к ней припились «Метрополитен» как нельзя более по вкусу, хотя и втянули журнал в очень досадную для него полемику с одной из детройтских газет, припомнившей Риду те выпады, которые он допустил против нее в статье о Форде. И это оказалось последним удачным опытом сотрудничества Рида в журнале. После этого его с Бордменом Робинсоном послали в Байонн (штат Нью-Джерси) с заданием написать о стачке на предприятиях «Стандард ойл», и они привезли оттуда статью, которая была воспринята как предательство — они-де обманули оказанное им доверие! В действительности это было, конечно, не так. Но в то

время такую статью мог напечатать лишь «Мэссиз», а уж никак не «Метрополитен», журнал, существовавший на средства бизнесменов.

В продолжение доброго десятка лет — а то и больше — курс, взятый «Метрополитен», и так вызывал раздражение у поставщиков рекламы, бывших его главной опорой в делах денежных. Журнал все время маневрировал, заставляя уживаться на своих страницах архисоциалиста Хилквита с образцами подлинной литературы и поэзии, уравнивая Рида Рузвельтом, стараясь представлять враждебные стороны на равных правах. Благодаря этому и искусной политике Вигема, который был вхож к промышленным магнатам и умел уговорить их, воздействуя личным обаянием, удалось добиться того, что в журнале можно было высказываться довольно свободно. Свобода эта была, разумеется, весьма относительной, но все же ее хватало на то, чтобы журнал велся интересно и даже имел влияние.

Мы, сотрудники «Метрополитен», могли проявлять порядочность только в известных пределах. Нам разрешалось зондировать «язвы общества», не прикасаясь, однако, при этом к наиболее болезненным местам. Статья же о стачке в Байонне преподносила истины, переварить которые было нелегко. Она все же была напечатана, но заставила нас призадуматься: долго ли мы еще сможем терпеть Джона Рида, который вот уже несколько месяцев ведет беспощадный огонь по всему, что, по его мнению, необходимо истребить, не щадя при этом и нас самих, и который теперь уже, видимо, не остановится ни перед чем?

Рид знал, на что идет; и, отказываясь следовать путем, на который уже ступило его отечество, поднимая знамя восстания, он нашел себя. И с его взглядами — а нам следовало бы тогда лучше понять, во что вылилась мечта поэта о всеобщем благоденствии, — нельзя было рассчитывать на широкую поддержку, когда вся страна буквально

рвалась на войну. И не приходилось рассчитывать на то, что его будут печатать, дадут ему высказываться в прессе во всеуслышание. Неизвестно было, долго ли ему можно будет оставаться в Америке.

У Рида хватало смелости открыто выступать против войны, которую он ненавидел. Но «Метрополитен» не мог уже больше предоставлять ему трибуну: если бы даже издатели разделяли точку зрения Рида, о чем в данном случае не могло быть и речи, то его сотрудничество докато бы журнал — «Метрополитен» прихлопнули бы без долгих разговоров. Что же нам оставалось? Только одно — сказать Риду: «Очень жаль, Джон...»

И тут возникла мысль отправить Рида в Китай. Эта огромная страна была охвачена восстанием. После свержения императорской династии, многие века безраздельно правившей Китаем, Сунь Ятсен повел борьбу за обновление страны, за преодоление ее многовековой отсталости. Для Рида с его умением все подмечать там открывалось широкое поле деятельности, а заодно эта поездка удаляла его на безопасное расстояние. Сама по себе идея была превосходна. Да и Рида такая командировка тоже прельщала. Однако затея провалилась: лечащий врач категорически заявил Риду о необходимости лечь в клинику Гопкинса на операцию — нужно было удалить больную почку. А к тому времени, когда Рид оправился после операции, Америка уже воевала; задуманное предприятие пришлось отложить, и связь журнала с нашим любимцем, нашим чудо-корреспондентом прервалась.

Незадолго до этого — Рид тогда еще не вернулся с Балкан — в самой редакции «Метрополитен» произошло событие, из которого явствовало, что впредь правительство намерено не давать спуска тем, кто действует ему наперекор, что пощады им не будет. Подтверждением этого было дело Фреда Бойда.

Речь идет о том самом Бойде, интеллигенте до мозга костей, высокообразованном радикале, который — как много

уже воды утекло с тех пор! — вместе с Ридом и Хантом устроил веселый кутеж по случаю отплытия из Нью-Йорка в Европу перед началом войны. Он поехал в Англию, чтобы там, на месте, встретить ее поражение, а когда расчеты его не оправдались, вернулся в Америку и поступил на работу в «Метрополитен».

Теперь, пожалуй, уже и не вспомнишь точно, какую именно должность он занимал, но что-то он у нас, несомненно, делал, и его сутулая, неуверенно движущаяся фигура маячила в помещении редакции, где он находился под той же крышей, жил теми же внутриредакционными интересами, что и громовержец Рузвельт; они были коллегами. Не будем утверждать, что они были знакомы и сходились поспорить. Такого не было. А что в самом деле было — это история, в которую попал Бойд, и дело обернулось как нельзя серьезней. Можно даже сказать, хуже некуда.

Его обвинили в подстрекательстве к саботажу, в изменнических речах, с которыми он будто бы обращался к забастовщикам в Нью-Джерси. И, несмотря на энергичные действия друзей, считавших, что с ним обходятся с недозволенной жестокостью, его приговорили к тюремному заключению.

Пишущий эти строки вместе с Уолтером Липпманом навестил Бойда в его камере за тяжелой стальной дверью, у которой была поставлена охрана. Никогда не забуду того смертельного холода — в прямом и переносном смысле, — которым дохнуло на нас от этого узлища и узника, от одного вида которого сердце сжималось. Пришлось-таки и ему познать мудрость пословицы, рекомендующей от сумы да от тюрьмы не отказываться.

Когда про то услышал полковник Рузвельт, реакция его была совсем не та, какую с полным основанием ожидали все, кому были памятны его неистовые нападки на Хейвуда, все, кто знал его бешеную нетерпимость к любым доктринам, не совпадающим с его собственной.

На этот же раз вся его ярость обрушилась не на Бойда, а на судей. По всей видимости, полковник счел тюрьму неподходящим местом для своего коллеги по журналу. Он сделал все от него зависящее, шум поднялся невообразимый, и вскоре Бойд очутился на свободе. Тюрьма его не сломила.

Прежде чем полностью покончить с целой эпохой в жизни Рида, связанной самыми тесными узами с «Метрополитен», который фактически открыл его талант и предоставил ему возможности проявить себя во всем блеске, нельзя не сказать хотя бы нескольких слов и о самом журнале, само бурное существование которого было своего рода авантюрой, полной риска и, на мой взгляд, весьма поучительной.

В наши дни уже не может быть двух мнений насчет того, что дело в «Метрополитен» было поставлено совершенно по-особому, сугубо на свой лад. Да, конечно, издание было в самой основе своей коммерческое — иначе бы ему просто не просуществовать и не завоевать подписчиков, — но было в нем также и что-то чуть шальное — журнал вечно искушал судьбу. Мелкие издания крикливо-обличительного толка жаловались, что «Метрополитен» отбивает у них хлеб, наживаясь на обличениях. Пожалуй, их редакторы сами заговаривали себе зубы насчет собственного бескорыстия по отношению к передовым идеям, любовь к которым у них была не столь уж беспредельной. Во всяком случае, если бы вопрос сводился к наживе, «Метрополитен» ничего не стоило достичь этой цели средствами куда более простыми.

Журнал обвиняли — в числе прочих и Рид, хотя истинное положение вещей ему было известно лучше, чем всякому другому, — в том, что он пользуется тайной поддержкой финансовой олигархии. С известной точки зрения, так оно, можно считать, и было, хотя не в том смысле, какой имелся в виду: у журнала был «богатый дядюшка»... правда, задвинутый совсем на задворки.

Звали его Гарри Пейн Уитни, и принадлежал он к семейству Уитни, ворочавшему миллионами. Он и являлся владельцем журнала, хотя ни на какую поддержку с его стороны журнал рассчитывать не мог, что было твердо оговорено с самого же начала, и, собственно говоря, основания для обложения его налогом, как издателя, становились фактически все более сомнительными. Что же касается внутренней политики журнала и вопросов о его успехах, то ото всего этого Уитни просил его избавиться.

Журнал свалился на него неожиданно-негаданно (перешел по наследству от отца, у которого были свои дела или какие-то интересы в спортивном мире). В ту пору это был тусклый и малопочтенный бродвейский журнальчик, исподтишка поощрявший преследуемый законом промысел бродвейских красоток и с пошловатым умилением расписывавший их пышные прелести. И первым же делом Гарри Уитни, как он сам говорил, почувствовал непреодолимое желание тут же сбыть куда-нибудь эту пакость с рук. Затем он решил передать его безвозмездно, оставшись владельцем лишь номинально, своему другу Джиму Вигему, опытному английскому журналисту, полагавшему, что сумеет поставить журнал на ноги.

На том и порешили. Сама по себе простота всей этой сделки не могла не сбивать с толку подозрительные умы. Эйч-Пи-Даблю, как называли Гарри Уитни, сбыл эту пакость с рук, а его прозорливый, хладнокровный, бесстрашный друг получил дело, перспективность которого не замедлил доказать.

Впоследствии желание Уитни, чтобы к нему не совались с делами журнала и не мешали ему заниматься финансовыми операциями и спортом, чему он отдавался с полным самозабвением, усилилось еще больше. И только однажды журнал вторгся в заповедную область и задел интересы Уитни, но последствия это имело поистине роковые.

Мы подготовили сенсационные разоблачения роли Распутина при русском дворе, его всемогущества, невероятной власти, которую он забрал над подпавшей под его чары царницей. Все это казалось наваждением, словно наш тогдашний союзник впал в какое-то умопомрачение.

Когда слухи о готовящейся кампании дошли до Уолл-стрита, там взбеленились от ярости, представив себе, как это ударит по курсу акций русского займа на бирже, и немедленно кинулись к Уитни — искать управы на «Метрополитен».

Не столько потому, что его убедили по существу, а скорее из чувства признательности к другу, который проявил в отношениях с ним такое бескорыстие, широту и предоставил ему полную свободу, Витем убил сенсацию в зародыше. Тем более что у него были большие замыслы и он не хотел рисковать. С тех пор он стал владельцем «Метрополитен» уже и формально и вел его, ни на кого больше не оглядываясь.

В конце концов великий кризис начала двадцатых годов перерезал глотку журналу, и «Метрополитен», как, впрочем, и многие другие периодические издания, скончался. Издавать журнал по-прежнему было невозможно ввиду резко изменившихся после войны требований массового читателя. Наступали времена спроса на одно только чтиво с девственницами, сбрасывающими с себя за ненужностью последние охраняющие скромность покровы и щедро расточающими поцелуи на десятках страниц пошлейшей бульварщины, которую в прежние времена ни у кого язык бы не повернулся назвать беллетристикой, а теперь иначе и не именовали; читатели же должны были сгорать от нетерпения в ожидании новой главы или появления еще одного женского тела с атласной кожей. В одном таком сочиненьице повествовалось, как один широкоплечий, поджарый молодец пристрелил другого широкоплечего поджарого молодца, которого застал подсматривающим за голой девицей, купающейся в ручье.

Можете себе представить, как преподнес эту сцену иллюстратор!..

Вернемся, однако, к вынужденному уходу Рида из «Метрополитена». Учитывая то обстоятельство, что в смелости и наличии здравого смысла редакции журнала все же не откажешь, можно было, вероятно, считать это отлучение временным.

Но пока все двери перед Ридом оказались закрытыми. Кроме одной: газете «Нью-Йорк мейл» очень хотелось привлечь его в качестве очеркиста. Но хотя Рид и напечатал там несколько блестящих очерков, работал он без увлечения.

Да и жилось ему в то время невесело. Жизнерадостность, бывшая в нем обычно ключом, во многом шла от ощущения избытка сил, от здоровья, которого теперь ему как раз не хватало. Да и то, что он был в разладе чуть ли не со всеми, кто его окружал, тоже, конечно, не прибавляло бодрости духа. В полном унынии писал он тогда Луизе: «Тебе уже пришлось примириться с моей неполноценностью (так это, кажется, называется), во всяком случае, с тем, что я уже не прежний; так же точно надо тебе уяснить, что и в мыслях своих, и чувствах я тоже уже не тот». В другом письме к ней он писал: «Когда я вдруг понял, как бесконечно далек от меня сегодня молодой поэт, который некогда писал о Мексике, это поразило меня до глубины души. Все равно я еще вернусь к поэзии, к душевной ясности, лишь бы бог меня не оставил».

Ему исполнилось двадцать девять. Он чувствовал себя постаревшим — такое чувство испытывает любой, даже самый заурядный молодой человек, когда перед ним замаячит цифра 30. Рид потихоньку от всех написал краткую автобиографию, которую назвал «Почти тридцать». Опубликована она была много лет спустя.

...Надвигались великие события. Риду предстояло вскоре отправиться в революционную Россию, где сбудутся самые смелые мечты.

Год 1917 —

сентябрь, октябрь, ноябрь...

У Рида не было недостатка в друзьях, готовых поддерживать его в любую минуту; но с поездкой в Россию все складывалось особенно сложно. Луизе Брайант нетрудно было получить командировку в каком-нибудь газетном синдикате, но с Ридом ни одна газета не желала иметь дело. С «Метрополитен» к тому времени все было кончено, что явилось величайшей потерей для журнала. В «Мэссиз» к желанию Рида ехать в Россию отнеслись с горячим сочувствием, но у журнала не было денег. Нужную сумму кое-как собрали среди людей, которые верили в Рида и так же, как он, понимали, что происходящие в России события могут оказаться началом новой эры в истории человечества. Ради того, чтобы получать сообщения от такого писателя, как Рид, с его умением вникать в суть дела, стоило пойти на любые жертвы.

Рид и Луиза Брайант выехали в Петроград. Их приезд совпал с провалом попытки генерала Корнилова захватить власть, и весь город праздновал эту победу — так, во всяком случае, казалось на первый взгляд.

«Город не узнать, — пишет Рид Бордмену Робинсону. — Там, где царило отчаяние, теперь праздник, а там, где веселились, — уныние. Мы в самой гуще событий, и, можешь мне поверить, это потрясающе. Здесь разыгрывается столько драматических событий, о которых мне хотелось бы рассказать, что я просто не знаю, с чего начать. По яркости и размаху происходящее здесь затмевает Мексику».

Но разобраться в новой обстановке, освоить загадочный язык политики, понять маневры враждующих партий было нелегкой задачей. К счастью, за помощью дело не стало. Рид встретил в Петрограде Реймонда Робинса. Вот уж кого он никак не ожидал здесь найти! В последний раз они виделись в Чикаго на злополучном собрании прогрессистов: Робинс восседал на председательском месте,

оглушительно постукивая молоточком. Как представитель Красного Креста Робинс пользовался в России большим влиянием; он всем сердцем принял русскую революцию и горячо верил в Ленина. Робинс отрядил в помощь Риду своего секретаря и переводчика Александра Гамберга, у него же Рид познакомился с братом Гамберга Зориным и несколькими американцами, которые активно сотрудничали с большевиками. Рид никогда не упускал случая завести знакомство с русскими, ревниво оберегая при этом непосредственность своего восприятия, стараясь непредвзято судить об этих необыкновенных людях и еще более необыкновенных событиях.

Скоро Риду стало ясно, что Февральская революция, свергнувшая царя и поставившая Керенского во главе Временного правительства, была лишь пробой пера и что режим Керенского никого не устраивает. Да и чего можно было ожидать от Керенского, который, несмотря на развал армии, пытался продолжать войну, хотя все жаждали покончить с ней, от Керенского, который не мог, да и не хотел отдать землю крестьянам.

История не знает второго примера столь же плачевного — чтобы у власти оказался правитель, которому бы ответственность его положения оказалась не по плечу и который бы так же безудержно заносился с добрыми намерениями именно того порядка, которыми вымощена дорога в ад, отчего положение его и стало действительно адским. Непримируемость большевиков, их программа, зовущая к продолжению революции, буквально прижали его к стене. Ведь это был всего-навсего искусный оратор, златоуст, вещающий одни откровения, импозантная фигура... Рид задался целью в ближайшее время, пока еще не поздно, встретиться с Керенским.

Он увидел седеющего, но еще моложавого мужчину средних лет, издерганного и безусловно понимающего, что дни его пребывания у власти сочтены. Керенский ловко уклонился от ответа на поставленный вопрос Рида:

— Какой урок для революционной демократии всего мира можно извлечь из русской революции?

— А вы думаете, революция окончена? — отозвался Керенский. — С моей стороны было бы слишком уж недальновидно извлекать из нее какой бы то ни было урок уже сейчас. Революция еще не кончена. Она только начинается! Преподавать урок — дело масс, всего русского народа. А вы уж разбирайтесь сами — имеющий глаза да видит.

В своей статье для газеты «Колл», где он описывал Керенского, Рид отмечал: «Обстановка здесь сейчас такая, что соглашатели долго не протянут». По всей стране шло размежевание политических группировок. И все это клокотало в море дебатов, в их нескончаемых приливах и отливах. Запад никогда не знал, да и представить себе не мог подобных словопрений. А когда доводы иссякали и спорящие уже не знали, что еще сказать, слово брали пулеметы, винтовки.

Рид уже успел разобраться в разнице между монархистами, кадетами, меньшевиками и большевиками — партией, возглавляемой Лениным и состоящей из людей, которых отличала суровая простота и ясное представление о том, чего они хотят. Они призывали к пролетарской революции, к захвату народом промышленных предприятий, земли и всех энергетических ресурсов, банков и правительственных учреждений.

Рид был в самом центре этого грандиозного водоворота, стараясь не упустить ничего, во все вникнуть и разобраться как можно полнее. Он знал: этот его репортаж войдет в историю как отчет потомкам.

Как быстро, думал он, развиваются события! И писал: «В отношениях все больше теряющего власть правительства и непокорного народа наступает полоса, когда все меры, принимаемые правительством, встречают отпор со стороны масс, а каждое уклонение от решительных мер возбуждает их презрение. Сейчас, с одной стороны, бесную-

щаяся монархистская пресса требует утопить революцию в крови; с другой — гремит голос Ленина: «Восстание! Больше ждать нельзя ни минуты!»

Ставший штабом Всероссийских Советов Смольный находился на окраине, близ Невы.

У входа в Смольный и у наружных ворот стояли суровые часовые, требовавшие у всех входящих пропуск; в комнатах, где работали различные комиссии и комитеты, гул голосов не смолкал ни днем, ни ночью; сотни рабочих и солдат спали прямо на полу, вповалку, не оставляя прохода, а наверху, в огромном актовом зале, набитом до отказа, шли шумные заседания Петроградского Совета.

А тем временем в центре столицы от зари до зари не замирала лихорадочная жизнь: в игорных домах рекой лилось шампанское и ставки достигали двадцати тысяч рублей, по улицам сновали разряженные проститутки, кафе ломились от посетителей, и казалось, весь этот огромный серый город, сдвинувшись с места, мчится куда-то сквозь туман и дождь, все быстрее и быстрее... но куда?

Около четырех часов утра седьмого ноября Рид встретил в вестибюле Смольного Зорина.

— Мы выступили, — сказал Зорин. — Уже арестованы товарищ министра юстиции и министр вероисповеданий. Они в подвале. Один полк идет брать телефонную станцию, другой — телеграф, третий — Государственный банк.

А издали с восточной стороны города доносилась винтовочная стрельба — это юнкера пытались развести мосты через Неву, чтобы не дать рабочим и солдатам с Выборгской стороны присоединиться к вооруженным силам Совета в центре, но кронштадтские матросы уже снова навели мосты. Огромное здание Смольного было ярко освещено и гудело, как гигантский улей.

После этого он отправился на заседание прежнего Центрального исполнительного комитета Всероссийских Советов, руководители которого собрались, чтобы последний раз попытаться взять верх над вышедшими из повино-

вения Советами, которыми они еще недавно управляли и которые теперь восстали против них. Кончился первый период русской революции, а с ним вместе конченными людьми становились и все те, кто пытался спустить ее на тормозах. Трех крупнейших из них, отметил Рид, уже не было в зале: Керенский бежал на фронт, пробираясь через захолустные провинциальные городки, где его вряд ли принимали с распростертыми объятиями; Чхеидзе высокомерно удалился в родную Грузию, где сляжет от чихотки; не было и Церетели — его тоже разбил тяжелый недуг, но он еще вернется, чтобы излить потоки красноречия во спасение гиблого дела, которому уже никакие ораторы не помогут. Присутствовали Гоц, Дан, Либер, Богданов и бледный, с ввалившимися глазами Филлиповский.

Восьмого ноября, наутро после взятия Зимнего, атмосфера в Смольном стала еще напряженной. По темным коридорам по-прежнему бегали люди, строились взводы рабочих, руководители с туго набитыми портфелями о чем-то спорили, что-то кому-то объясняли, поспешно, на ходу отдавали распоряжения. Казалось, все здесь совершенно забыли о себе, никто не думал о сне, об отдыхе; все эти люди, немые, заросшие щетиной, с лихорадочно горящими глазами, устремлялись к единой цели, не давая себе передышки, выжимая из себя все до последней капли. Им надо было столько сделать! Надо было создать правительство, навести порядок в городе, удержать на своей стороне гарнизон, справиться с Думой и Комитетом спасения, подготовиться к решающей схватке с Керенским, отразить немцев, информировать провинции, вести пропагандистскую работу по всей России, от Архангельска до Владивостока.

На Втором съезде Советов Рид увидел Ленина.

Ровно в восемь часов сорок минут оглушительный приветственный гул возвестил о появлении членов президиума. Среди них был Ленин, великий Ленин.

Невысокая коренастая фигура с большой лысой, лобастой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже прораставшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы: простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, ставший вождем исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без пристрастия к внешним эффектам, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки, человек с проныцательным, гибким и дерзновенно смелым умом.

Сначала выступали ораторы, по-видимому, получившие слово без предварительной записи. Но вот на трибуну поднялся Ленин.

Он стоял, положив руки на края трибуны, оглядывая делегатов и пережидая бурную овацию, длившуюся несколько минут. Когда зал затих, он коротко и просто сказал:

— Теперь пора приступить к строительству социалистического порядка!

И опять бура аплодисментов, приветственных криков...

Главной задачей большевиков было завоевать на свою сторону крестьянство, составлявшее четыре пятых всего населения России; крестьянство, без признания революции которым все бы пошло насмарку. Но когда эти темные люди становились на сторону революции, то иметь с ними дело подчас было небезопасно — слишком уж просто они на все смотрели. И Рида, как только ему случалось забрести в какую-нибудь запретную зону, каждый раз волокли к ближайшей стенке. Все его удостоверения и пропуска были для них пустыми бумажками — подумаешь!

Они беспомощно вертели их в своих ручищах. Нет, лучше расстрелять его тут же как подосланного буржуями шпиона — так оно на душе спокойней... Выручало его каждый раз появление командира, умеющего читать. А потом его поили водкой — давай пей, до дна, еще!

И, попадая из переделки в переделку, Рид все время был в самой гуще русской революции, в самом пекле ее событий, так что и в повести о нем они — Рид и революция — сливаются в одно целое, их просто уже и не отличишь друг от друга.

Рид снова и снова приходит в Смольный, чтобы узнавать сводки с фронта, со многих фронтов. В частях шло брожение. На Южном и Юго-Западном фронте большевики опередили Керенского. Одни голосовали за нейтралитет армии, другие, избавившись от своих офицеров, двинулись на помощь революционному Петрограду. В залах Смольного составлялись тексты прокламаций.

День десятого ноября выдался серый и сумрачный. Когда Рид вышел на улицу, со всех сторон неслись фабричные гудки, резкие, нервные, полные тревоги. Рабочие — мужчины и женщины — выходили на улицу десятками тысяч. Гудящие предместья выбрасывали наружу толпы. Красный Петроград в опасности! Казаки!.. Мужчины, женщины и подростки с ружьями, ломами, заступами, мотками проволоки, патронташами поверх рабочей одежды тянулись по грязным улицам к югу и юго-западу, к Московской заставе...

Город никогда не видел такого огромного и стихийного людского потока.

На телефонной станции засели юнкера. Подъехал красногвардейский броневик, матросы пошли на приступ здания; по комнатам с воплями заматались насмерть перепуганные телефонистки. Не выдержав яростного натиска, юнкера поспешно срывали с себя погоны... Большинство

из них было отпущено под честное слово не поднимать больше оружия против народа.

Усталые, торжествующие, окровавленные рабочие и матросы вломилась в диспетчерскую, но при виде такого множества хорошеньких барышень стали как вкопанные и в смущении попятились к дверям. А те, как только убедились, что им ничто не угрожает, принялись кричать на бойцов.

— Скоты! Свиньи! — визжали они в негодовании, поспешно надевая пальто и шляпки. Они пережили такие незабываемые минуты, поднося патроны своим юным ненаглядным защитникам и перевязывая их раны, а тут перед ними встали простые рабочие, мужики — чернь!

Приземистый Вишняк, комиссар Военно-революционного комитета, перебивая барышень, начал убеждать их оставаться на рабочих местах с помощью самых неотразимых доводов:

— Ваше жалованье повышается с этой же минуты... рабочий день сокращен... Как представительницам рабочего класса, вам бы только радоваться.

Рабочего класса?! Да он не так бы их кровно оскорбил, назови он их шлюхами... Уж не хочет ли он сказать, что у них с этим зверьем может быть что-нибудь общее?! И они пулей вылетели из своей оскверненной обители.

Места их за пультами заняли мужчины, вынужденные волей-неволей как-то осваивать эту механику. И вот провода ожили, заговорили:

— Дурачье! Дьяволы! Думаете, долго это протянется? Ну, подождите, наедут казаки!..

Рид отправился в Думу. Все здание ее было залито ярким светом, в дверях была давка. В нижнем зале стоял стон и плач. Множество народа — одни подходили, другие уходили — толклось перед доской объявлений, на которой был вывешен список юнкеров, убитых днем в бою. Наверху, в Александровском зале, наперекор всему, заседал Комитет спасения. Не могло не внушать подозрений

обилие золотых и красных погон, было много знакомых лиц: меньшевики, эсеры — интеллигенция; тут же были грузные, величественные, с жестокими глазами, банкиры, дипломаты, какие-то старорежимные сановники, нарядные дамы...

В понедельник, двенадцатого ноября, страна затаив дыхание ждала известий. Глаза России были прикованы к окрестностям Петрограда, где все силы старого порядка, какие только можно было собрать, стояли лицом к лицу с революционными силами. В Москве было временное затишье. Обе стороны ожидали исхода событий в Петрограде. В Смольном выступал Ленин, отвечая на обвинения эсеров. Митинг был бурным. Один за другим на трибуну поднимались ораторы — политические деятели, солдаты, рабочие. Они спорили, убеждали, высказывали все, что накипело на душе. То и дело выкрикивали названия частей, отбывающих на фронт; на смену ушедшим прибывали другие: отпускники, раненные, откомандированные в Смольный за оружием и боеприпасами.

Около трех часов утра в зал вбежал один из членов Реввоенсовета, лицо его сияло.

— Все в порядке! — крикнул он. Стиснул руку Риду: — Посмотрите! Телеграммы с фронта. Керенский разбит!

Победа!.. Ее духом был овеян и этот эпизод, которому Риду довелось быть свидетелем. Он возвращался на извозчике домой через Знаменскую площадь и увидел огромную толпу, собравшуюся перед Николаевским вокзалом. Там сгрудилось несколько тысяч матросов, над головами их стальной щетиной дыбились штыки. Стоя на парадной лестнице, представитель Союза железнодорожников урезонивал их:

— Товарищи, да не можем мы вас везти в Москву! Мы сохраняем нейтралитет и не перевозим войск ни той, ни другой из воюющих сторон.

Площадь ответила ревом, и матросы угрожающе двинулись было на него. Как вдруг двери другого входа рас-

пахнулись, и на пороге стали двое или трое, видимо, из паровозной бригады.

— Сюда, товарищи! — крикнул один из них. — Доставим вас в Москву... да хоть и во Владивосток, была бы охота! Да здравствует революция!

Дорога победы

Красные отблески революционного пожара в России озарили весь мир. Неужели нависшие на горизонте тучи заставят их померкнуть? С Керенским было покончено, но против революции выступали силы, гораздо более могущественные: помещики, представители всех имущих классов, банкиры, генералы старой армии, Англия и Америка — силы врагов были неисчислимы. О нейтралитете было забыто. Нейтральным не оставался никто, и, уж во всяком случае, не наш летописец русской революции — Джон Рид. Каждое из ночных заседаний в Смольном было для него историческим событием.

Теперь все зависело от крестьянства — эта истина была неоспоримой. По указанию Ленина вестники революции были разосланы по всей России для разъяснения крестьянам политики нового революционного правительства, и прежде всего — его аграрной политики.

Рид видел, какое ликование охватило всю Россию, когда стало известно, что большевики решили вопрос о земле.

Восемнадцатого ноября выпал первый снег. Проснувшись утром, Рид увидел, что снег завалил карнизы, за окном кружились снежные хлопья; в десяти шагах за сплошной белой пеленой уже ничего нельзя было разглядеть. Грязи на улицах не стало, и весь сумрачный город побелел и осветился. Бородатые извозчики мчались на сани по неровным мостовым. Революция революцией, но, несмотря на то что будущее всей России было туманным и пугающим, город радовался снегу. На лицах у всех были

улыбки; люди протягивали руки и, смеясь, ловили на лету снежинки. Серых тонов города как не бывало — над снежной белизной сверкали золотые шпили и разноцветные купола.

Уже наступила ночь, и снег поблескивал в неярком свете луны. На набережной канала выстроились солдаты Павловского полка; оркестр играл «Марсельезу». Под оглушительные приветствия солдат делегаты крестьянского съезда стали в строй и развернули огромное красное знамя Исполнительного комитета Всероссийских Советов крестьянских депутатов, на котором было вышито золотом: «Да здравствует союз революционных масс трудящихся!» Откуда-то появились факелы, расцветившие тьму оранжевыми пятнами, зазвучали песни, и толпа двинулась вдоль берега Фонтанки мимо безмолвных зрителей. Огромная, нескончаемая процессия потекла по городу, становясь все шире, и над головами людей одно за другим развертывались все новые и новые знамена.

Жребий брошен

Вера дает нам твердость и душевную ясность, и без нее все становится зыбким и ненадежным. Но сама по себе вера подвержена сомнениям, испытание жизнью способно расшатать и омрачить ее. И тем больше мы счастливы, тем больше чувствуем себя окрыленными, когда вдруг становятся явью самые смелые, казавшиеся несбыточными мечтанья, когда жизнь подтверждает истинность нашей веры.

На обратном пути Рид надолго застрял в Швеции. Со стороны могло показаться, что этот сердитый молодой человек поглощен только одним — как получить разрешение вернуться на родину и покончить с затянувшейся на два месяца волокитой. На самом же деле это было совсем не так. Он испытывал такой душевный подъем, какого не знал еще никогда, — ведь он только что был свидетелем

падения бессмысленного и жестокого строя, наблюдал торжество новых идей, становление новой, лучшей жизни, зарождавшейся у него на глазах.

Словно самое заветное, что томилось под спудом, вдруг распрямилось в его душе, вольно расправило крылья, — и он готов был отдать всего себя без остатка, жизнь будто начиналась сначала, душа пела, вырвавшись на простор. В таком состоянии сворачивают горы. И, может быть, припомнилось ему старое предание родного края — вспомнил и подивился правде сказания о том, как Пол Баньян с товарищами-лесорубами обшивал однажды гонтом крышу. А туман стоял такой густой, что они и сами не заметили, как вышли за ее гребень и уже обшивают небо, — спохватились, только когда прошли по нему обшивкой сорок футов — а где ж крыша-то?.. Или о том, как родилась могучая река Колумбия, когда Бэйб, вороной бык-гигант Пола Баньяна¹, вырвался однажды и кинулся от гор к морю и плуг пропахал за ним борозду, ставшую руслом великой реки. Да, его Америка — поистине страна чудес!

Давно уже не было у него на душе так легко. Жажда жизни, интерес к живой действительности не затухали в нем никогда. Но чтобы такие воспоминания вдруг нахлынули на него!.. Это было ново.

Америка встретила его сурово, жестокими буднями, и он тоже стал суров, весь ошетинился.

В схватке

На митинг в Бруклине, на котором выступал Рид, для поддержания порядка и благопристойности была отряжена сотня полицейских. Рида предупредили, чтобы он в своем выступлении воздержался от критики правительства. И он начал свою речь так:

¹ Пол Баньян — популярный герой многих легенд и преданий, распространенных на севере США и в Канаде.

— Мои предки со стороны отца и со стороны матери поселились в этой стране в 1607 году, мой прадед Патрик Генри подписывал Декларацию независимости, другой мой предок был генералом в армии Джорджа Вашингтона, третий — полковником в армии северян во время гражданской войны. Мой брат, майор авиации, находится сейчас во Франции. Я — гражданин Соединенных Штатов и избиратель, и я настаиваю на своем праве критиковать правительство своей страны сколько мне будет угодно.

Далее Рид заговорил о том, что свобода слова в Соединенных Штатах всячески подавляется вашингтонскими плутократами, что собрания социалистов запрещены, что в стране насаждается прусский дух. И это после войны, которая должна была «обеспечить демократию во всем мире»!

— Ну вот, друзья, — сказал Рид, — война окончена; а где же, черт побери, эта самая демократия?

Теперь, заявил он, начинается новая война — война между деспотизмом и демократией.

О том, какого нервного напряжения стоила эта новая война молодому человеку, подорванное здоровье которого уже никогда больше не восстановится, можно судить по письму Рида к Стеффенсу:

«Милый Стефф!

О себе могу сказать только одно — я ровно ничего не делаю. Выступил с несколькими речами о России и завтра утром еду в Чикаго, а затем — в Детройт, где также буду выступать на митингах. Начал большую серию статей, но газеты побоялись напечатать их. «Кольерс» принял было один мой очерк и уже набрал его, но потом пошел на попятный. Освальд Виллард сказал мне, что, если он напечатает Джона Рида, ему не поздоровится.

Я заключил с Макмилланом договор на издание книги, но государственный департамент забрал все мои

записи и по сей день наотрез отказывается вернуть хотя бы часть их, обещая, впрочем, сделать это, «как только они будут просмотрены». Это тянется уже два месяца, и я не могу написать ни слова о величайшем событии в моей жизни и одном из величайших в мире. Я в безвыходном положении. Не подскажешь ли, каким способом я мог бы изволить мои бумаги? Если их не вернут мне сейчас же, то с книгой время будет упущено — Макмиллан откажется от нее.

На днях я был арестован в Филадельфии, где пытался выступить с речью на улице, и дело передали в суд, перед которым я должен буду предстать в сентябре по обвинению в «подстрекательстве к беспорядкам, к насилию и к антиправительственным высказываниям». Самочувствие у меня довольно паршивое. Почка, та, которая осталась после операции, пошаливает, — пожалуй, в этом все дело. Мама в письме угрожает покончить с собой, если я не перестану позорить наше имя.

Прости, что это письмо такое унылое. Я и сам не пойму, с чего это мне вздумалось писать тебе в такую невеселую минуту. Сегодня с утра я чувствовал себя совсем недурно, может быть, и завтра тоже будет получше.

Как всегда, твой
Джон».

Вторичное рассмотрение дела, которое правительство США возбудило против «Мэссиэ» (первый раз дело слушалось в отсутствие Рида, и мнения присяжных разошлись), дало Риду возможность выступить на суде с речью, в которой он выложил все, что думал. Рид говорил о своей ненависти к войне, и его спросили, что могло подсказать ему такой заголовок: «Готовьте смиренные рубашки тем, кого провожаете в солдаты».

Начав с описания ужасов, которые он увидел в немецких окопах, Рид далее заявил:

— И вот, вернувшись на родину, что я застал? Что произошло, пока я был на войне? Когда я приехал — это было в начале шестнадцатого года, — в разделах хроники светской жизни только и писали что о бенефисах в пользу воюющих и премьерах пьес о войне; в гостиницах и особняках Вест-сайда и Пятой авеню устраивались «вязальные» приемы, на которых дамы вязали носки для солдат. Они вязали не потому, что их сыновья находились в окопах, как это произошло позднее, — тогда это было просто модно. На такие приемы приглашали Карузо, и вязание спорилось под его пение, под легковесную болтовню о войне, которая идет где-то в Европе. Англия и Франция воевали, воевать стало признаком хорошего тона, почему же мы не воюем? От всего этого меня просто мутило.

— Поэтому вы и написали статью под таким названием?

— Поэтому я и написал ее.

— А вам не приходит в голову, — спросил судья, возвращаясь к описанию ужасов войны, с которых начал Рид, — что нам нельзя было больше оставаться в стороне? Ведь вы же видели, как обстояло дело.

Рид молчал. Он не сразу сообразил, в чем здесь подвох. Наконец ответил:

— Нет... я смотрю на дело иначе... по-моему, вывод напрашивался иной. Я убежден, что все это говорило против нашего вступления в войну.

Мнения членов суда разделились, и дело было прекращено. Слушание же дела в Филадельфии закончилось полной победой Рида, который отстоял свое право выступать с речами где угодно, хотя бы и на улице. Казалось, обстановка начинает разряжаться.

Но это было не так, и процесс над ИРМ свидетельствует об этом. Сто лесорубов, сельскохозяйственных рабочих, шахтеров, печатников и их руководитель Билл Хейвуд предстали перед судом в Чикаго. Суд шел под пред-

седательством судьи Кинесо Маунтина Лендиса. «Худой как скелет человек с давно не чесанными седыми волосами,— так описывает его Рид,— на костлявом лице сверкают глаза, желтая кожа натянута, точно пергамент, лопнувший на том месте, где полагается быть рту...» Судья выглядел и в самом деле устрашающе, но подсудимые были не робкого десятка: чего они только не повидали на своем веку! Среди них были опытные, закаленные в боях борцы, и теперь, когда их пытались прижать к стене, они и не думали сдаваться.

Старые раны не забылись, и теперь обвиняемые, в свою очередь, наносили противнику один удар за другим. На суде во всей своей остроте раскрылась драма современной Америки, страшная драма повседневной жизни рабочего человека, добывающего хлеб трудом своих рук, собственным горбом. Процесс был открытым, но подсудимым не удалось извлечь из этого никакой пользы — широкая публика не интересовалась в то время подобными разоблачениями. Все представшие перед судом были признаны виновными в том, что они тормозили выпуск военной продукции.

Допрос Хейвуда длился четыре дня; подавшись огромным телом вперед, он рассказывал присяжным и судьям историю своей жизни, рассказывал о детстве, проведенном на шахте, о тяжелом пути вождя рабочего класса, о том, как ему не раз приходилось подставлять грудь под пули; он говорил с безыскусственностью и простотой человека, убежденного в своей правоте, но когда он кончил и сел, ему было ясно: судьба его решена. Мысль о тюрьме была ему невыносима — у него уже не было больше сил сидеть за решеткой. Его приговорили к двадцати годам заключения.

Как-то раз Теодор Рузвельт принялся разбирать Хейвуда по косточкам, и хотя полковник был настроен благодушно, пришел он в конце концов к выводу, что «таких граждан Америке не нужно»:

Возможно, он был и прав по-своему. Но вряд ли это мнение можно назвать непредвзятым, хотя именно это словечко было одним из его самых излюбленных.

Представим себе, что они поменялись местами. Допустим, жил на свете такой человек, звали которого Теодор Хейвуд. Он уже и на свет появился богатым, был у него в детстве пони — катайся на здоровье!.. И с малых лет так уж и было известно, что быть ему президентом.

Другого же человека, по прозвищу Большой Билл Рузвельт, произвели на свет божий где-то в темном углу, на куче тряпья, и никаких благ ему от родных и близких ждать не приходилось, и поддержать его им было печем. Как же все обернулось бы для него тогда? А случилось бы то, что окажись этот Большой Билл Рузвельт от природы того же склада, что настоящий Рузвельт, то очень скоро — и это как пить дать — он и слышать бы не захотел ни о каком гражданском долге, во имя которого полковник, не задумываясь, помыкал и справедливостью и законом.

Вождь ИРМ не дал упрятать себя в тюрьму. Адвокатам Хейвуда удалось добиться для него отсрочки, и он, воспользовавшись временной свободой, бежал в Россию.

По странной иронии судьбы, дела его там повернулись совсем не так, как можно было ожидать. И годы, проведенные в революционной России, оказались для него горькими. Правдивое описание всего, что с ним случилось, дает Стеффенс, постаравшийся разрешить эту загадку с обычной своей объективностью и непредвзятостью. Тем, кого интересует всестороннее выяснение обстоятельств, мы и предлагаем его свидетельство:

«Билл Хейвуд, — отмечает Стеффенс, — мучительно переживал пренебрежение, с которым они (русские) отнеслись к нему лично, к тому, как он понимал борьбу за дело пролетариата, к его идеям. Они назначили ему пенсию и забыли о его существовании. Страдал он неопишимо.

Но Билл сделал ряд непростительных промахов и сам пренебрег теми возможностями, которые ему предоставлялись. Он не принял во внимание, что сами вожди русской революции прошли ради нее долгий страдальный путь: Сибирь, истязания, голод — все муки ада. И несколько лет, проведенных в чистенькой американской тюрьме, по сравнению со всем этим были сущим пустяком — есть о чем говорить... Но сначала они очень прислушались к словам Билла. Они созвали собрание, на которое множество народа сошлось послушать, что он думает, и прежде всего — узнать его прогнозы насчет возможностей революции в США. И Билл ораторствовал всюду; чтобы воодушевить русских, он расписывал им, будто вся Америка готова вот-вот заняться огнем; он старался внушить собравшимся уверенность, что революция в США не за горами, говорил, что рабочие готовы к восстанию, и вообще... заврался.

Не дослушав этой оптимистической речи Билла, Ленин поднялся с места и покинул собрание со словами: «Еще один американский коммивояжер!»

Для Билла это было приговором, и, когда я его увидел, это был самый одинокий человек на свете. Кроме заезжих иностранцев вроде меня, никто уже не желал его и слушать.

Он дошел до того, что уже тосковал по тюрьме там, у себя на родине, и ото всего этого сердце щемило, да и сейчас еще щемит. Но случившееся с ним понятно. Русские уверены в том, что их дело правое, и за него они бились с врагами внутри страны и с интервентами, бились не на жизнь, а на смерть, бились за него и с людьми в собственных рядах. Они убеждены в своей правоте и в своей вере столь непоколебимо, что живут этой верой и готовы за нее идти, не раздумывая, на любые муки. Они не щадят и себе тоже не ждут пощады».

В том же письме Стеффенс старается снять камень и с собственной души, избавиться от мучительного сознания собственного бессилия перед роковой непоправимо-

стью того, что некоторые из лучших, самоотверженнейших людей отравлены ядом нетерпимости. На эти мысли навела его встреча с Ридом:

«Как-то вечером на одной из нью-йоркских улиц у ярко горящего фонаря я повстречал Джона Рида, поэта и повесу (эта слава прочно укрепилась за ним), недавно возвратившегося из революционной России. Его сопровождал некий молчаливый субъект, который слушал, помалкивая, а потом, в рецензии на мою книгу, припомнил, что на мое сердечное приветствие Рид ответил крайне сухо и сразу же спросил с упреком: «Почему ты не с нами? Ведь мы стараемся осуществить то, о чем ты всегда писал и говорил».

Мне в тот вечер было не по себе, и не потому, что, как думал спутник Джона, да и сам Джон, я был уличен в неискренности, предательстве или трусости. Нет, дело совсем в другом. Меня поразила мысль, что я не знаю и никогда прежде не видел этого человека — революционера Джона Рида. Я был в Советской России и мог достаточно ясно себе представить, с чем столкнулся там Рид, но мне трудно было поверить, что этот поэт и повеса мог стать революционером. Где это видано, чтобы поэзия привела человека к революции? Разве так бывает? Мне пришлось также в голову, что отец Джона — о его кроткой и любящей матери нечего и говорить, — Ч.-Дж. Рид, этот умнейший человек, пришел бы в отчаяние, узнав о печальной судьбе своего сына, подававшего такие надежды. И он считал бы меня виновным в этом.

«Я восхищаюсь русскими, но быть с ними в непосредственном контакте мне бы не хотелось. У них за каждую ошибку спрос такой, о каком мы в Америке и не слышали, спуску они не дают никакого. Вы лично интересуете их лишь постольку, поскольку служите «делу», а у них принято считать, что служить ему надо не только каждым поступком, но и каждым помыслом своим. Но сами они — герои. Я стою за них до конца. Я горячий поборник

России, я убежден, что ей принадлежит будущее. Россия победит, и в этом — спасение для всего мира. Я в это верю. Но жить в России я бы не хотел. Жизнь там сейчас слишком уж похожа на службу в действующей армии, где слабым нет снисхождения и некогда возиться с ранеными. Молодежи это по плечу, молодежь это любит, но для меня, человека, безнадежно избалованного привычным течением жизни, Россия не подходит. Я могу служить ее делу, только находясь вне пределов этой страны, у себя на родине».

Так говорил самый старый друг Рида, почти его второй отец. Так думал этот необыкновенный человек, единственный и неповторимый Стеффенс, как называл его Хаксли, Стеффенс — вечный исследователь могучих течений, ни одному из которых так и не удалось подхватить и понести его в своем потоке — он лишь жадно наблюдал за их стремнинами, а сам оставался на берегу.

«Человек,
по которому плачет веревка»

Рид был убежден в своей правоте и держался стойко и независимо, но пренебрежение друзей, которые еще недавно преклонялись перед ним, а теперь ясно давали понять, что считают его предателем, было не просто досадным, оно причиняло боль. Достаточно было взглянуть на белое, как мел, лицо Джона, чтобы понять, как скрутили его болезнь и заботы.

Правда, теперь можно было, махнув на все рукой, заступить за работу. Государственный департамент вернул наконец его записи, надо было приниматься за книгу.

В небольшой квартирке в Гринвич-вилледже, в которой поселились Джон с Луизой, что-нибудь — не одно, так другое — постоянно отрывало его от дела, и он отыскал мансарду, где можно было спрятаться от всех и, перетащив туда материалы, на несколько месяцев стать затвор-

ником; обстановка там была настолько благотворной, что, казалось, слова сами ложились на бумагу.

Работая над книгой «Десять дней, которые потрясли мир», Рид просматривал сделанные им в России заметки, приводил в порядок привезенные документы, и все виденное оживало в его памяти. Он прекрасно понимал, что ему выпал необыкновенный жребий и книга должна быть написана правдиво и ярко, чтобы выдержать испытание временем. Он хотел, чтобы эта книга заставила других пропикнуться его мыслями и чувствами, но понимал, что не следует навязывать их читателю, пусть он придет к ним сам.

Говорят, что «истинное назначение писателя состоит в том, чтобы создать шедевр...». И Рид создал такой шедевр. Однако вторая часть этой сентенции — «все остальное для него не имеет значения» — совершенно не подходила Риду, он никогда не согласился бы с подобной мыслью. И если его друг поэт Ален Сигар совмещал — как позднее Андре Мальро — творчество с жизнью солдата, то и Рид не считал для себя возможным оставаться в стороне от идейной борьбы и политических разногласий. Он не мог не встать на защиту Советской России; всем сердцем веря в идеи Ленина о перестройке жизни, об уничтожении голода и нищеты, Рид считал себя призванным бороться за свою веру.

Год 1918 был годом смятения, распри, раздоров; страх перед революцией заглушал голос здравого смысла. Идеалистов и пацифистов, которые, предвидя опасность новой войны, уповали на всемогущество Лиги наций и верили в ее способность предотвратить войну, люди, считающиеся с реальными фактами, не принимали всерьез. А тех, кто говорил, что «русский эксперимент» — это не дворцовый переворот, устроенный ничтожной горсткой опасных сумасбродов, а великое дело, определившее дальнейшую судьбу России, называли изменниками.

Реймонда Робинса, который имел возможность на месте познакомиться с большевиками и судил о них на основании

собственного опыта, вызвали в сенатскую комиссию по расследованию, члены которой, разумеется, не имели о России ни малейшего представления.

Комиссия вызвала и Джона Рида, и его жену Луизу Брайант. Допрос Рида превратился в сенсацию. Одна из газет поместила на первой полосе статью о революционных взглядах Рида, озаглавив ее: «Джон Рид — человек, по которому плачет веревка».

Жаркие схватки шли и в зале заседаний комиссии. И Рид, окруженный ненавистью, когда на него нападали со всех сторон, мог позволить себе сослаться на слова крепкого американца доброй старой закваски федерального судьи Кинисо Маунтина Лендиса на процессе ста одного лидера ИРМ. Тогда прокурор тоже настаивал: «Закон не признает за человеком права устраивать революцию...» — «Ну, это как сказать, — перебил его судья, — все зависит от того, хватит ли у него сторонников, чтобы повернуть закон по-своему». Но врагов это, конечно, хоть сколько-нибудь утешить не могло.

Страх перед тем, чтобы Америке не привили какую-нибудь опасную заморскую доктрину, оказался сильнее веры в природные силы и здоровый дух нации. Это был патриотизм наизнапку.

К сожалению, лишь очень немногие задавались в то время вопросом, который, казалось, напрашивался сам собой: что же все-таки опаснее для Америки — паникующие лжепатриоты или проникновение в страну тех идей, от которых они лезут на стену? Сначала им всюду мерещились прогерманские настроения и шпионаж, потом — большевизм и социализм, которые надо беспощадно искоренять. На самом же деле антиамериканскими были действия этих сумасбродных, тупых и самоуверенных чинуш с их бесконечными «расследованиями», погромами, арестами и конфискациями.

Тем временем Рид уже приступил к решению задачи, которая, по его глубокому убеждению, не терпела ни ма-

лейших отлагательств и которую он считал своим кровным делом: он принялся — ни много ни мало! — за реорганизацию социалистической партии США.

Тот доморощенный социализм, который исповедовался у нас, не был бозвой программой. Рид же предлагал встать на путь борьбы.

Благодаря стараниям Морриса Хилквита и других лидеров, борьба за социализм свелась к бесконечным разглагольствованиям и междоусобицам в партии; социалистическое учение, потонув в пучине этих словопрений, не могло вырасти в силу, способную завладеть массами, не могло превратиться в программу действий.

Рид с пеистошимоу энергией принимается за дело; он выступает на дискуссиях враждующих фракций, а затем уже в качестве лидера левых появляется на съезде партии. Борьба завершилась выходом коммунистов из социалистической партии и образованием двух новых партий — Коммунистической партии Америки и Коммунистической рабочей партии. С этой, второй неразрывно связана последующая судьба Джона Рида. Партия возложила на него обязанности ее представителя в Коминтерне и решила послать его в Советскую Россию.

Вероятно, может показаться, что, пересказав лишь вкратце все эти исключительной важности события, автор недооценивает их политического значения и влияния на бурную, стремительную жизнь Рида. Но наша книга не посвящена специально Джону Риду как политическому деятелю. К чему бы ни рвалась его душа и как ни разнообразно было применение, которое находил себе в жизни его талант, — все становилось у него глубоким, значительным, он творил страстно, с горячей верой, и весь он был в той искренности и правдивости, с какой писал, весь он был в том, что он писал. Художник совершенно необычного типа, не претендуя на роль пророка, он обладал пророческим даром слова. Сигер и Мальро, хотя оба и сражались, нашли свое истинное призвание все же в литературе, а не в сол-

датском ремесле. Для Рида тоже живое вмешательство в жизнь было естественной потребностью и душевной необходимостью, что и привело его к политике. Но его непреходящее значение в том, что он обладал несравненным умением проникновенно видеть события и понимать их.

И вот он снова на пути в Россию, большего он и желать не мог.

Учитель и ученик

Прежние времена, когда он был здоров и молодость была в нем ключом, трудности такого путешествия — приходилось пробираться тайком, как скрывающемуся от закона преступнику, убийце или бежавшему из лагеря военнопленному, — только позабавили бы Рида. Теперь же ему было не до смеха.

Он отплыл из Америки кочегаром на какой-то скандинавской посудине, записавшись в судовом журнале как Джим Гормли, а в Бергене пересел на другой корабль. С этой минуты он снова становится Джоном Ридом и с помощью подпольных организаций движется дальше.

Его переводят через границы и кордоны; окольными путями, медленно, но упорно, преодолевая все опасности, он пробивается к цели. Наконец на советско-финской границе его передали с рук на руки красноармейцам, после чего он прямым сообщением отправился в Москву, к Ленину.

Этот удивительный человек братски приветствовал Рида. Придвинув свой стул вплотную к Риду, так что их колени соприкасались, посмеиваясь и оживленно жестикулируя, он принялся расспрашивать о положении в Америке, вникая в мельчайшие подробности. У Ленина были все основания отнестись с сомнением к некоторым сообщениям Рида, особенно к его утверждению, что революция в США не за горами, но в глазах его искрились неподдельный интерес и сочувствие. Ленин всегда был внимателен

к молодежи, и на этот раз он держался как учитель, терпеливо выслушивающий слишком порывистого ученика. Он одобрил решение Рида отказаться от предоставленных ему ЦИКом привилегий и удобств и поселиться где-нибудь в рабочем квартале. Только так можно было выучить русский язык и по-настоящему узнать Россию.

Эта первая беседа была лишь началом знакомства. Несмотря на то что к Ленину сходились все нити управления гигантской страной, которая ждала от него решения множества неотложных вопросов, и у дверей его кабинета вечно толпились люди, Ленин, как все истинно русские люди, всегда ухитрялся урвать минутку для разговора. Рид постоянно был у него желанным гостем.

Они обсуждали сложнейшие проблемы развития человеческого общества; беседы их, как правило, затягивались далеко за полночь. Возвращаясь домой по пустынным улицам, на которых уже брезжил рассвет, Рид уносил с собой не только ленинские работы об империализме, войне, о революционном насилии и стратегии пролетарской революции, о проблеме разоружения, об историческом значении Вашингтона, Кромвеля, Великой французской революции. Он уносил с собой и нечто большее: ленинскую правду, которая постепенно овладевала всем его существом, и благоговение перед ленинской ясностью, его умением, отсекая все лишнее, вскрывать суть вопроса. Риду казалось, что он получил в руки ключи, отпирающие двери в будущее.

Ленин подсказал Риду темы ряда статей — о революционной ситуации в Америке, об американском рабочем движении, о политике ИРМ и т. д. Одновременно Рид выполнял и свои обязанности полномочного представителя Коммунистической рабочей партии.

Зимой Рид совершил поездку в глубь страны, в далекие, глухие деревушки на берегах скованной льдом Волги — ему хотелось познакомиться с крестьянами, посмотреть, как они живут.

А потом, как гром с ясного неба, пришло сообщение: американское правительство начало массовые аресты коммунистов. Более чем ста коммунистам, в том числе и Риду, было предъявлено обвинение, которое не решались откровенно сформулировать как «неблагонадежность». Нация страдала несварением желудка, ей предписывалась строжайшая диета, а потому всех неамериканцев (в том числе и старого друга Рида Эмму Голдмен) посадили на пароход и вывезли в Европу.

Шел декабрь 1919 г. Рид решил немедленно ехать в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом. Скорее всего его ждала тюрьма, но он считал, что не может поступить иначе.

Однако, пускаясь в путь, он рисковал гораздо больше, чем предполагал: если выбраться из Америки было трудно, то попытка вернуться туда чуть не кончилась для Рида гибелью.

Рид спрятался в бункере финского парохода, направлявшегося в Швецию, но в Або его вытащили оттуда полицейские, и при виде его бумаг, а также находившихся при нем денег и драгоценностей (отнюдь не принадлежавших ему — просто кто-то из знакомых уприсил захватить их с собой для передачи в США) у них глаза полезли на лоб. Рида тут же упрятали в одиночную камеру, где ему предстояло ждать, пока правительство Финляндии сообразоволиит рассмотреть его дело.

Но проходил месяц за месяцем, а правительство, казалось, забыло о его существовании.

Неопределенность положения — ведь его вполне могли приговорить к смертной казни! — отсутствие известий от друзей на родине, которые, казалось, не торопились прийти ему на помощь, ощущение полной потерянности и одиночества — все это не могло не отразиться на его здоровье и состоянии духа. Весь март он только и делал, что, меряя шагами камеру, предавался мрачным размышлениям о злосчастном стечении обстоятельств, жертвой кото-

рых он стал. В апреле, словно очнувшись от тяжелого кошмара, он попытался писать. Им было задумано два романа, но дело так и не пошло дальше заголовков и черновых набросков; тем не менее это помогло ему прийти в себя, обрести душевный покой.

Рид пишет большое стихотворение с громким названием «Всепобеждающая». С нежностью вспоминая Луизу, он обращается к ней:

У ее слагаю нѣг
Все, чем я в себе горжусь.
К ней лети, тоска моя,
На ее родной груди
Легкой бабочкою жди.
Вспыхнет алая заря,
И к любимой я вернусь
На веки веков.

Переданное кем-то в американское телеграфное агентство и напечатанное в газетах сообщение о том, что Джон Рид казнен в Финляндии, заставило государственный департамент зашевелиться. Вся эта история оказалась уткой, но она так взволновала умы, что в Вашингтоне почувствовали беспокойство. Сам Барух¹ в беседе с авгурами из госдепартамента заметил: «Насколько я понимаю, этот Рид — опасный радикал. Но все равно, он американский гражданин. Вы должны что-то предпринять».

Хотя государственный департамент действовал недостаточно энергично и каких-либо реальных результатов ждать не приходилось, его вмешательство все же заставило финнов изменить свое обращение с Джоном Ридом. Шел май, уже третий месяц он сидел в заточении, и только теперь ему наконец разрешили писать Луизе и получать от нее письма; о большем он и не мечтал... разве что только о свободе.

Теперь он мог хотя бы успокоить ее насчет своего здоровья и сообщить ей, что живется ему неплохо. «Я совер-

¹ Барух Бернард Мэннес (1870—1965) — видный американский государственный деятель.

шенно здоров, — писал он Луизе. — Последние два месяца не курю — бросил. Мне разрешены прогулки по тюремному двору. Начальник тюрьмы очень добр ко мне. Что же до американских властей, то они за все это время не удосужились даже повидаться со мной или установить какую-либо связь. Но я благодарен им за это. Я не хочу от них никакой помощи.

Мне кажется, я достаточно ясно представляю себе, что творится сейчас у нас, в Америке, и, когда выйду, буду знать, что делать. Мне совсем неплохо здесь, родная, и если бы не безделье и одиночество, если бы не беспокойство за тебя, моя любимая, я мог бы жить здесь хоть целые годы. Передай сердечный привет всем нашим. Скажи Орасу (Ливрайту), что великий вождь (Ленин) считает мою книгу великолепной». (Оба примечания в скобках мои. — К. Х.)

Вряд ли можно было в таком положении, в каком находился Рид, подыскать слова, более успокаивающие и более убедительные; а между тем бесконечные, томительные дни и недели, казалось, тянулись все медленнее и атмосфера становилась все более гнетущей — финны выдвинули против Рида прямое обвинение в подготовке подрывных действий против правительства Финляндии.

Сырая камера и тюремная кормежка — заключенным изо дня в день давали сырую рыбу — сделали свое дело, душевное и физическое состояние Рида было очень тяжелым. Последние его силы были на исходе. Он уже был не в состоянии заставить себя сосредоточиться на каких-либо занятиях и только и знал, что бередил себе душу. Ему начало мерещиться, что Луиза умерла и сам он вот-вот должен умереть, и он записывает на клочках бумаги, на книгах стихи:

Думая и мечтая,
Днем, и ночью, и днем,
Не могу не думать я все об одном:
Мы потеряли друг друга,
Ты и я...

Но вот наступил июнь, и внезапно все изменилось.

Рид не знал, что Советское правительство хлопочет о его освобождении. Переговоры велись на этот раз без обычных дипломатических околичностей. В Советской России находились под арестом два финских профессора. Их предложили обменять на Рида. Предложение было немедленно рассмотрено.

И вот Рида встретила приветливая и оживленная Москва. Было начало лета, на бульварах цвели цветы, играла музыка, в переполненных театрах шли представления. Риду удалось послушать Шалапина в «Фаусте». Эмма оказалась опытной сиделкой, и, пока она выхаживала Рида, у них ни на минуту не затихали споры, не прекращался обмен колкостями.

И сердце, и жизнь...

Три месяца, проведенные Ридом в тюрьме, стоили трех лет. Даже на залитых солнцем улицах Москвы он не мог забыть полумрак одиночки. Пережитые страдания окончательно расшатали его организм. Рид выглядел постаревшим, разбитым — на лице обозначились резкие морщины, суставы опухли, мышцы потеряли упругость, и хотя он ходил, все так же расправив широкие плечи, говорил все так же горячо и порывисто, достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, как сильно он сдал, как измучен. Не осталось и следа от его юношеской легкости, постоянной готовности поддурачиться; по-новому обозначившаяся прямая, жесткая линия рта внушала мысль, что нам никогда уже больше не увидать его прежней беззаботно-насмешливой улыбки, не услышать его ядовитых шуток.

После возвращения из тюрьмы Рид словно одержимый принимается за работу. Нечего нянчиться с недугами — черт с ними! Он может служить делу, которое ему дороже всего, о котором в Америке пока еще нельзя и помыслить; ему выпало редкое счастье — он знал, что при-

носит пользу. Такая самоотверженность не часто встречается в людях.

Рид произвел огромное впечатление на известного скульптора англичанку Клэр Шеридан. Она и сама была личностью незаурядной — красивая, свободомыслящая, хотя ничего подобного пламенной одержимости Джона Рида в ней, конечно, не было и в помине. Рид зашел к ней, когда она работала над скульптурным портретом. В ее дневнике осталась запись: «Нам так и не удалось в тот раз приступить к работе из-за появления зашедшего по делу американского коммуниста Джона Рида, — это ладно скроенный, красивый молодой человек, который покинул родину и бросил все, чтобы отдать свое сердце и жизнь революции. Русских я еще понимаю, но что за неведомая сила движет этим как будто бы совершенно обычным молодым американцем?»

Сила, которая так и осталась неведомой для этой далеко не глупой женщины, захватила Рида без остатка. Теперь ему было не до поэзии. Мятущийся дух, который мог бы найти свое выражение в литературном творчестве, устремился по другому руслу, и только теперь все в его жизни стало на свои места.

Пожалуй, эту «неведомую силу» лучше всего можно определить словом «надежда». Надежда окрыляла Рида и в дни мексиканской революции, которую он принял всем сердцем потому, что миллионы оборванных пеонов, казалось, могли вот-вот завоевать себе лучшую жизнь, — в том не было сомнения. А то, что совершил народ России, было величайшим подвигом в истории, и ради того, чтобы участвовать в нем, Рид сжег за собой все мосты. Иначе и быть не могло.

Конечно, больше всего он прислушивается к голосу сердца. Подобно капитану Ахаву, он «чуется нутром». Учение о революции он несет с собой в походной сумке, такой же, как у всех ее солдат. И сам он такой же, как все солдаты революции. Его выразительные, полные неугаси-

мого обаяния зеленоватые глаза, взгляд которых проникает в самую душу людям, словно завораживая их, говорят о том убедительней всяких слов. После тюрьмы Рид был окружен общей любовью.

Стояло лето 1920 г. Октябрьской революции не исполнилось еще и трех лет. То была великая эпоха. Уже была разгромлена интервенция, шла к концу гражданская война, недалек был час, когда измученные до крайности люди смогут наконец перевести дух. Революция переживала новый подъем, чувствовался прилив свежих сил, еще больше окрепла уверенность народа, что он взял историю в свои руки.

А впереди вставали задачи неимоверной трудности, до которых пока еще и руки не доходили. Цели были поставлены великие, а народу приходилось тяжело, и суровым испытаниям, казалось, конца не видно. Но вера в революцию превозмогала все. Потребность в митингах и дискуссиях была непременной, люди хотели решать немедленно, тут же не только насущные вопросы первоочередной, жизненной важности, но и мировые, совершенно необъятные проблемы.

Совещания конгресса Коминтерна затянулись на несколько недель. На этом конгрессе Рид схватился с двумя такими матерыми политиками, как Зиновьев и Радек, и дело дошло до прямого конфликта. Камнем преткновения стал вопрос о тред-юнионизме в крупной промышленности. Рид узнал ему настоящую цену еще в Патерсоне и на опыте ряда других забастовок, возглавляемых ИРМ. Рид считал методы АФТ в корне порочными. Поддержка, которую АФТ получила на конгрессе, а позже — в Исполкоме Коминтерна, убедила Рида в том, что русские товарищи неясно представляют себе, как разворачивается профсоюзное движение в США. В Исполкоме Коминтерна считали, что коммунисты должны сотрудничать в консервативных профсоюзах, а Рид стоял за то, что против этих профсоюзов надо всеми силами бороться.

...Приближаясь к концу своего повествования, автор чувствует себя обязанным объяснить читателю как можно ясней, как он сам представляет себе Рида. Итак, вернемся к этому еще раз.

Каждому — будь то человек мыслящий партийно или просто интеллигент с достаточно ясным отношением к жизни — ясно, что предложить читателю хотя бы даже только на время выключиться из сегодняшней идеологической атмосферы, отрешиться от сегодняшних настроений, от понятий, актуальных для нас сейчас, — значит требовать от него слишком многого. Но иного выбора нет.

Всякие попытки соотнести жизнь, психологию, чувства Рида с сегодняшней идейной борьбой неизбежно поведут к подделке его образа, к полнейшей его фальсификации. Наш сегодняшний опыт не поможет нам в понимании Рида.

Одна страсть владела им безраздельно. Она заявляла о себе во всех его словах и делах. Это его верность романтика мечте о будущем. Она-то и была той верой, которая дает нам ключ к объяснению всей его жизни. Определение это может показаться на первый взгляд слишком отвлеченным и расплывчатым. И тем не менее случай наш сам по себе настолько своеобразен, что такое определение следует признать достаточным. Задаваться же вопросом, почему, например, Джон не похож на своего брата Генри и на большинство своих аккуратненьких, чинных, благонадежных сверстников, почему он ни под какие мерки не подходит, — значит терять время попусту.

«Большого нам не дано...»

Сомневался ли Рид когда-либо в том, что избрал правильный путь? Это праздный вопрос. Лучшим доказательством твердости его убеждений является то, что он оставался верен им до конца.

Два старейших друга Рида, столь неукротимых во времена сборищ у Мейбл Додж, испытали в России горькое разочарование.

Неистовая Эмма Голдмен и ее верный соратник Александр Беркман, приехав в Россию, пришли в отчаяние от тех решительных мер, которые вынуждено было принимать революционное правительство, — неуважение к правам личности, Чека, тюрьмы, террор, расстрелы... — они наотрез отказывались верить, что революция не может обойтись без насилия, без страданий, без жертв. Годы агитации против правительства в США, за которую их бросали в тюрьмы и которая, как они полагали, должна была изменить всю жизнь, оказались для них недостаточной школой, и они не стали подлинными революционерами. Они отправились к Ленину, считая необходимым убедить его в своей правоте. Кончилось дело именно так, как и следовало ожидать. Никогда еще, кажется, ленинская нетерпимость к упорству во взглядах, враждебных его собственным, не высказывалась столь ясно и откровенно.

Ленин говорил с ними очень мягко, расспрашивал об Америке, интересовался, какую работу можно поручить им в России. Наконец Беркман задал вопрос — почему при Советской власти анархистов держат в тюрьмах? Ленин перебил его. Анархистов? Что еще за вздор! От кого они наслушались таких сказок? В тюрьмах сидят не анархисты, а бандиты. Эта публика разглагольствовала о свободе, а такие разговоры на руку реакции, всеми силами старающейся задушить Россию, только бандиты и способны на такое пособничество ей... Так говорил Ленин. Он посоветовал американским друзьям не судить опрометчиво, а разобраться во всем как следует. Лучше всего сразу же взяться за дело, это поможет им покончить с путаницей в представлениях о революции.

Неудивительно, что преданность Рида делу революции, его страстная непреклонность привели Эмму в ужас.

«Рид ворвался ко мне в комнату,— вспоминает она об этих днях,— словно внезапный луч света, это был все тот же неутомимый Джон, каким я знала его в Штатах.

— Ну разве это не изумительно, не потрясающе? — закричал он.— Ведь все, о чем ты когда-то мечтала, сбылось в России, идеи, за которые жестоко преследуют у нас в стране, здесь, словно по мановению волшебной палочки, воплощены в жизнь. И это сделано Лениным и его соратниками, большевиками, о которых у нас отзывались с таким пренебрежением! Могла ли ты когда-нибудь думать, что нечто подобное произойдет в стране, которой веками правили цари?

— Этого добились не Ленин и его соратники,— возразила я,— а русский народ с его славным революционным прошлым».

«Славное прошлое» было присловьем, которое, не переставая, твердили те, кто отстал от революции, кого она опередила или смела на своем пути. Рид твердо стоял на том, что пролетарская революция давно переросла мерки этого прошлого.

— Ты только взгляни на своих «старых бойцов»,— крикнул он,— на всех этих брешковских и чайковских, черновых и керенских, посмотри, с кем они теперь заодно! С черной сотней, с погромщиками, со сворой монархистов! Они помогают им подавлять революцию! Мне нет дела до их прошлого. Я сужу о них только по той предательской деятельности, которую эта банда ведет уже три года. И я говорю — к стенке их! Здесь я научился хорошему русскому слову: «Расстрелять!»

— Замолчи, Джон, замолчи! — закричала Эмма.— Слово это и у русских звучит довольно жутко. А когда к этому еще прибавляется твой грубый американский акцент, то у меня просто кровь в жилах стынет. Где это видано, чтобы революционеры видели в массовых казнях единственное средство преодоления трудностей? А ну-ка, скажи мне, только не горячась и положи руку на сердце,

по-твоему, могут быть какие-либо оправдания тому, что людей ставят к стенке?

Джон умолк. Между двумя старыми друзьями — героиней и ветераном анархистского движения, когда-то чуть ли не в одиночку сражавшейся с существующим строем, и молодым борцом, увидевшим смену этого строя новым, — разверзлась пропасть, и никакие слова уже не могли помочь им перешагнуть ее. Эта измученная женщина была намного старше Рида. Но их разделял не только возраст, но и упорное неверие Эммы Голдмен в величие революции, в необходимость суровой беспощадности к врагу.

Великий русский поэт Маяковский писал:

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Должно быть, нечто подобное промелькнуло в голове и у Рида; он быстро переменял тему разговора.

— Тебе нужно выпить чаю, — сказал он, и Эмма была поражена его внезапным спокойным тоном.

...Внимание! Внимание! Внимание! Крестьяне из далекой Персии, из древней Месопотамии, Анатолии, Армении, Сирии, Аравии! Раньше вы, следуя старинному обычаю, совершали труднейшее паломничество в Мекку. И расстояния не могли испугать вас. Так идите же через горы, реки, пустыни, чтобы сойтись всем вместе на съезде в Баку. И пусть этот съезд покажет вам, что с эпохой рабства покончено и светлое будущее близко.

Так призывало Советское правительство народы Востока на съезд в Баку. Рида известили, что принято решение: он должен участвовать в работе съезда. И впервые призыв к действию не вызвал у него особой радости.

В нормальных условиях он бы запрыгал от радости при одной мысли о такой возможности. Но в теперешнем состоянии все выглядело иначе.

Рид со дня на день ждал приезда Луизы Брайант, которую он вызвал из Штатов. Она уже добралась до Стокгольма и в скором времени должна была прибыть в Москву. Чувствовал он себя прескверно, больше всего ему хотелось поселиться с Луизой где-нибудь в глуши и хорошенько отдохнуть. Но решение было принято и обсуждению не подлежало — надо было ехать.

И когда он — в белой рубашке с отложным воротом, с открытым взглядом и растрепанными волосами — оказался в президиуме съезда и посмотрел в зал, где сидели люди самых разных национальностей — турки, персы, индусы, китайцы, у него захватило дух от восторга. Он слушал выступления множества ораторов и сам произнес горячую, взволнованную речь. В его голосе звенела страстная убежденность, и, хотя он говорил по-английски, главное было понятно всем. Такого высокого душевного подъема ему уже больше не пришлось испытать.

Где-то вдали слышалась артиллерийская стрельба — на Каспийском побережье еще шла гражданская война, и делегаты из Москвы прибыли на съезд в бронепоезде. На бронепоезде же они и вернулись в Москву после закрытия съезда.

Здоровье Рида было в самом плачевном состоянии — напряжение, в котором он прожил эти дни в Баку, отняло у него остаток сил.

В Москве его ждала Луиза. Ее поразили измученный вид Рида. Но Рид успокаивал ее: она приехала, и теперь он быстро поправится; ему нужно всего несколько недель, чтобы прийти в норму, и тогда он поедет в Америку и предстанет перед судом. Это стало у него навязчивой идеей, и на все уговоры Луизы он твердил свое. Луизе бросилось в глаза его странное лихорадочное возбуждение.

Она привезла ему письмо от матери, и у него от нахлынувших вдруг воспоминаний защемило сердце — как же он мог забыть ее!

«Твои слова о том, что ты кажешься себе эгоистом,— писала мать, отвечая на его письмо, посланное из тюрьмы в Финляндии,— огорчают меня, родной. Пусть это чувство никогда больше не беспокоит тебя. Ты служишь делу, которое считаешь правым,— большего нам не дано в этой жизни, и если мы поступаем иначе, то совершаем непоправимую ошибку. Меня мучит только страх, что твоя жизнь под угрозой, а в остальном, раз ты уверен, что прав, все обстоит так, как нужно».

Как ему стало больно от этого кроткого самоотречения, от того, как нежно и беспечно, с какой твердостью все это было сказано старой женщиной, уже отошедшей в прошлое! В жизни и вообще-то немало мучительного. Но самое худшее, кажется, то, что как ни стараешься не причинять боли тем, кого любишь, а все причиняешь...

Мечта Джона Риду

Если бы Риду случилось когда-нибудь молиться, то за всю его бурную, полную опасностей жизнь у него не было бы для этого более веской причины, чем теперь: счастье изменило ему, подкрадывалась беда.

Ему предстояло еще своротить целую гору дел, неотложных и увлекательных. Быть может, он надеялся, что его не арестуют, ведь ему уже столько раз удавалось избежать тюрьмы. Он думал поселиться в сельской местности, в Кротоне, где у него был коттедж, и осуществить наконец свою мечту — писать романы, пьесы, стихи и целые дни проводить с Луизой. Там все иначе, непохоже на шумную сутолоку московской жизни; там, где выются дороги, забегая на гору, высящуюся над Гудзоном, великой, безмятежной рекой, достойной разделять материки; тишина, покой, умиротворение — что еще нужно надорвавшим-

муся служакe? Все это не сбылось... Вскоре по возвращении из Баку он тяжело заболел, его свалил тиф...

Прощание с Ридом было печальным. Из Колонного зала, где был установлен гроб с его телом, траурная процессия медленно двинулась к Красной площади. По обе стороны катафалка шли красноармейцы, военный оркестр играл похоронный марш. Несмотря на холод и морозящий дождь, Рида провожали тысячи людей. У Кремлевской стены процессия остановилась, начался траурный митинг. С речами выступали многие ораторы, говорившие о том, что революция славит павших во имя ее. Скорби они при этом не испытывали. Но для Луизы все это было слишком мучительно, и она не выдержала — ноги подкосились, она упала без чувств и больше ничего не слышала.

Еще задолго до смерти Рид писал:

«Я слишком много взвалил на себя и, быть может, поэтому пока еще не успел ничего. Я хотел написать новую «Человеческую комедию». Вместо этого мне пришлось пережить ее. И теперь я пришел к заключению, что только это мне и было дано — жить, и притом полной жизнью».

Такую чрезмерную скромность можно объяснить тем, что Рид всегда стремился к художественному творчеству, а на этом поприще он преуспел сравнительно мало.

Подобно многим другим, Рид был убежден, что в нем остался нереализованным большой художник и что, сложись жизнь иначе, он написал бы потрясающие книги... если бы не увлекся безоглядно делом более насущным и актуальным. Но это заблуждение. Для таких великих художников, как Т. Манн, Хемингуэй, Мальро или Т.-С. Эллиот, не было и не могло быть дела насущней и актуальней, чем жгучая потребность творческого самовыражения, чем служение искусству. Своеобразие не знавшего себе равных художнического таланта Рида состояло в том, что в полную силу он проявлялся лишь в очерке, репортаже, и тут он был гениален — маг и чародей; но для того, чтобы достичь той великой простоты самой жизни,

с какой оживали его страницы, он должен был видеть все сам, на месте, своими глазами.

А жизнь его, о которой он говорит, что ему было дано только прожить ее, прожита так полно, блистательно и завидно, что горькие слова его о себе как о неудавшемся художнике отметаются сами собой — пустая жалоба в минуту слабости и уныния, и только.

И случись так, что судьба уберегла бы его еще раз и дала ему возможность поселиться в маленьком коттедже в Кротоне, прошло бы немного времени, и он снова шагал бы во главе демонстраций, выступал бы на митингах, снова с головой ушел бы в борьбу.

Главным стремлением, ставшим пульсом всей его жизни — смелой жизни, полной стольких превратностей и так безвременно оборвавшейся в момент своего высочайшего влета, — было поднимать бедный, обездоленный люд на всей земле на восстание, открывать людям глаза, чтобы они знали — они возьмут будущее в свои руки только тогда, когда станут в ряды борцов за него.

Это и было мечтой Джона Рида.

Строго говоря, мы должны будем признать: разрыв этой мечты с действительностью все еще огромен. Утраченные иллюзии напоили горечью самый воздух, которым мы дышим. И сами мы уже не так верим в себя. Мир не принял того облика, который виделся вдохновенным мечтателям, он по-прежнему глух к пламеннейшим призывам лучших своих сынов. И что еще страшней — человечеству словно бы и дела нет до неисчислимых жертв, принесенных им на войне: ненависть все еще царит повсюду.

Одни находят избавление, витая в мечтах, в которых не видят никого, кроме себя самих, другие бегут от мирской суеты, послав ее предварительно ко всем чертям, в горы, селятся в хижине над ручьем и полагают, что теперь им есть где отсидеться в случае новой мобилизации...

Но правы агитаторы, поэты, пророки. Род людской не погибнет. Вечный мир наступит. С нищетой будет по-

кончено. Но сбудется все это не так скоро, как нам думалось раньше.

Недавно в газете я попал на высказывание насчет того, что является залогом мира и всеобщего благополучия в будущем: .

«Достичь их осуществления, хотя бы даже частично, в какой-то мере, не удастся, пока несколько поколений не посвятят себя целиком этому делу и не положат за него жизнь, и тогда мало-помалу, в долгих родовых муках, возникнет новый мир».

Джон Рид отдал всю свою жизнь за новый мир. В самом прямом и буквальном смысле.

Именно это и служило Риду путеводной звездой. Она была единственной и сверкала ослепительно. Но он знал: пути, по которому она ведет, на его век хватит с избытком, и жизни его неостанет, чтобы дойти до заветной цели, которая будет достигнута непременно — все идет только к тому. Достигнут же ее не в те наши дни, что проходят, и не в те грядущие, что нас еще застанут. «Но когда исполнится срок».

Это был человек редкостной души; простое, горячее сердце. Америка гордится своим сыном, и он ей в честь и в славу.

*Печатается с сокращениями по:
Хизи К. Львенок. Джон Рид,
каким я его знал. М., 1967*

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗБРАННОЕ	1
ОЧЕРКИ	3
ВОЙНА В ПАТЕРСОНЕ. Перевод С. А. Раскиной и Е. С. Пестовской	—
С ДЖИНОМ ДЕВСОМ В ДЕНЬ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ. Перевод С. А. Раскиной и Е. С. Пестовской	15
СТАТЬИ	23
ЧЬЯ ВОЙНА? Из статьи, опубликованной в журнале «Мэссиз», апрель 1917 г. Перевод Н. В. Алипова	—
ОБ ИНТЕРВЕНЦИИ В РОССИИ. Из статьи, опубликованной в журнале «Либерейтор», ноябрь 1918 г. Перевод З. В. Рахлиной	26
БЕЛЫЙ НОВЫЙ ГОД. Из статьи, опубликованной в газете «Революция эйдз» от 4 января 1919 г. Перевод З. В. Рахлиной	33
ЛИБКНЕХТ УБИТ. Статья, опубликованная в журнале «Либерейтор», март 1919 г. Перевод М. Кобрин	38
ОТЛИВ НА ВОСТОК. Статья, опубликованная в журнале «Либерейтор», июнь 1919 г. Перевод Н. В. Алипова	47
БЕЛЫЙ ТЕРРОР. Статья, опубликованная в журнале «Коммунистический Интернационал» № 7-8 за 1919 г.	57
ПОЛОЖЕНИЕ И БОРЬБА НЕГРОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ. Речь на заседании II конгресса Коминтерна, состоявшемся в Москве 26 июля 1920 г.	64
ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ. Из статьи, опубликованной в журнале «Коммунист», официальном органе Объединенной коммунистической партии Америки, № 10 за 1921 г.	70
СТИХОТВОРЕНИЯ	73
ФЕРМОПИЛЫ. Перевод А. К. Казарновского	—
ПЕСНЯ МОРСКИХ ГЛУБИН. Перевод Ю. Кушака	74
ПОЛДЕНЬ. Перевод Ю. Кушака	76
ТУМАН. Перевод Ю. Кушака	77
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД. Перевод Е. Печерской	78
МЯТЕЖ. Перевод Е. Печерской	80
ЗИМА (фрагмент). Перевод Е. Печерской	81
АМЕРИКА, 1918. Перевод И. Кашкина	83
ПИСЬМО К ЛУИЗЕ. Перевод А. К. Казарновского	93

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ	94
ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ. <i>Перевод З. В. Рахминой</i>	—
ДЖОН РИД ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ. Из протоколов юридического комитета сената Соединенных Штатов Америки, 21 февраля 1919 г.	115
ПИСЬМА ДЖОНА РИДА РЕДАКТОРУ	141
ЭПТОНУ СИНКЛЕРУ. <i>Перевод З. В. Рахминой</i>	156
ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖОНЕ РИДЕ	159
ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РЕВОЛЮЦИИ	161
Альберт Рис Вильямс. О ДЖОНЕ РИДЕ — РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ, ХУДОЖНИКЕ, ЧЕЛОВЕКЕ. <i>Перевод С. Г. Займовского</i>	—
Линкольн Стеффенс. ДЖОН РИД У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ. <i>Перевод З. В. Рахминой</i>	172
Майкл Голд. РОМАНТИКА НАСТОЯЩЕГО ДЕЛА. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	176
Майкл Голд. ОН ЛЮБИЛ НАРОД. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	181
Роберт Хэллоуэл. ХУДОЖНИК, ПОЭТ, БУНТАРЬ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	193
Джойс Л. Корнблю. ОРГАНИЗАТОР МАССОВОГО СПЕКТАКЛЯ В МЭДИСОН-СКВЕР-ГАРДЕН. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	197
Негги Фарсон. ПОД НАДЗОРОМ ЦАРСКОЙ ПОЛИЦИИ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	201
Бордмен Робинсон. ДЖОН РИД В СЕРДЦЕ РОССИИ. <i>Перевод З. В. Рахминой</i>	207
Лунс Антермейер. СЛОВО О ПОЭТЕ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЕ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	208
Елизавета Драбкина. ПОЭТ И ЛЕТОПИСЕЦ ОКТЯБРЯ	209
Джордж Ашкенази. КАК ДЖОН РИД ПРИВЕЗ ДОБРУЮ ВЕСТЬ В США. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	220
Маргарет Каул. ДЖОН РИД — ОДИН ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ КОМПАРТИИ США. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	223
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ МИТИНГ В ФИЛАДЕЛЬФИИ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	226
Уильям Уэйнстон. НЕУТОМИМЫЙ РИД. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	228
Хуго Геллерт. ОН ВЕРИЛ В ТРУДЯЩИХСЯ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	229
Джессика Смит. ЕГО БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	230
Флойд Делл. ЛЕНИН И ЕГО ВРЕМЯ. <i>Перевод З. В. Рахминой</i>	231
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДЖОНА РИДА. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	234

Э. Райдмаа. УЗНИК № 42	242
Елизавета Драбнина. СЫН РЕВОЛЮЦИИ	246
Уоллис Уолтер Лефо. МУЖЕСТВЕННЫЙ ДО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	248
ЛУИЗА БРАЯНТ — МАТЕРИ ДЖОНА РИДА. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	251
ЛУИЗА БРАЯНТ — МАКСУ ИСТМЕНУ	255
БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАННЫЙ КОММУНИСТ. <i>Перевод Э. В. Рахлиной</i>	260
ПАМЯТИ ДЖОНА РИДА — АМЕРИКАНСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА. <i>Перевод Э. В. Рахлиной</i>	262
РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	264
Джозеф Пэсс. ДЖОН РИД — СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	266
СТАНОВЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРА. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	269
Джеймс Олдридж. ДЕЛО СТОИЛО ТОГО, ДЖЕК!	273
Арт Шилдс. ВЕЛИКИЙ АМЕРИКАНЕЦ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	276
Арт Шилдс. ПЕВЕЦ ОКТЯБРЯ	273
Артур Зипсер. ОН ПРОЖИЛ НЕЗАУРЯДНУЮ ЖИЗНЬ. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	292
Корлисс Ламонт. ДЖОН РИД: СОЦИАЛИЗМ — ПУТЬ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. <i>Перевод Н. А. Краснова</i>	297
Карл Хови. Львенок. ДЖОН РИД, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ. <i>Перевод В. Небелина</i>	302

ДЖОН РИД

ИЗБРАННОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ
О ДЖОНЕ РИДЕ

Книга 2

Иллюстрации подобраны
И. М. Красновым

Заведующий редакцией *А. В. Никольский*

Редактор *Е. В. Салынская*

Младший редактор *Т. В. Гуничева*

Художник *В. И. Иванов*

Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*

Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 5640

Сдано в набор 08.01.87. Подписано в печать 03.04.87. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать
высокая. Усл. печ. л. 23,80. Усл. кр.-отт. 24,85, в суперобложке 25,11.
Уч.-изд. л. 24,73. Тираж 200 тыс. экз. Заказ 2523. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат, 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.





1811-03 29 P



THE BOOK OF JEREMIAH

—

2